

Тореадоры из Васюковки

ВСЕВОЛОД  
НЕСТАЙКО









ВСЕВОЛОД НЕСТАЙКО

# ТОРЕАДОРЫ из ВАСЮКОВКЕ

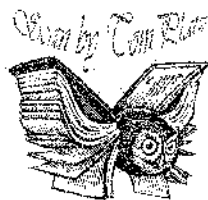
Повести



Перевод с украинского

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980

С(Укр)2  
Н56



Решением Международного совета по детской и юношеской литературе книга Всеволода Нестайко «Тореадоры из Васюковки» в 1979 году в связи с Международным годом ребенка внесена в Особый Почетный список Г.-Х. Андерсена как одно из «выдающихся произведений современной детской литературы».

Художник А. Василенко

Н 70803—383  
М(101)03-80 330—80

© Предисловие.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.



## ВЕСЕЛАЯ ДОБРОТА

Доброта людская проявляется по-разному. Одни делают добро открыто, размашисто. Другие — со смущением, застенчиво. Третьи — озорно, весело, с улыбкой на устах. А еще я где-то читал — существует, мол, «доброта с кулаками». Только я в такую доброту не очень-то верю. Как это так — доброта и вдруг с кулаками? Выходит, злая она, драчливая? Разве это доброта, если ей ничего не стоит пустить в ход кулаки, вместо того чтобы помочь человеку добрым делом и веселым словом?!

Жизнерадостные книги украинского детского писателя Всеволода Нестайко совершают доброе дело без кулаков. Они несут читателю веселую доброту. Какое бы из его произведений мы ни взяли — будь то юмористическая трилогия «Тореадоры из Васюковки» или повести «Синий медвежонок Гришка» и «Единица с «обманом», сказки «В стране солнечных зайчиков», «Приключения близнецов-козлят» и «Лесик-Веселесик и Жар-птица», многочисленные рассказы, адресованные школьникам, — в каждом доброта одерживает победу с помощью юмора, уничтожает зло силой смеха. Писатель, как и его юные герои, творит добро весело, с задорной ребячьей выдумкой. От такой доброты светлее, человечнее становится в большом мире, где в дружбе живут ребята и зверята, дети и взрослые, где каждому открыт широкий простор для хороших дел и благородных поступков. Только не ленись, спешి делать добро людям!

Именно так и поступают главные герои книги «Тореадоры из Васюковки», состоящей из трех повестей — «Необычайные приключения Робинзона Кукурузо...», «Незнакомец из тринадцатой квартиры» и «Тайна трех неизвестных», выходивших прежде в издательстве «Детская литература» отдельными книжками, а теперь вот собранных под одной обложкой. Веселые мальчишки-одноклассники Павлуша Завгородний



и Ява Рень, активно действующие во всех этих повестях, и дня прожить не могут без приключений и поисков, без стремления кому-то помочь и что-то разведать, открыть. Где бы они ни находились — в селе или городе, в дебрях кукурузного поля или на необитаемом острове, обязательно с ними случается что-то неожиданное и необыкновенное. То и дело встают на их пути преграды. Но наши герои не из робкого десятка. Смело идут они вперед, не ведая страха. Протягивают руку дружбы попавшему в беду и восстанавливают справедливость. Выступают зачинщиками интересных пионерских игр и, подобно Шерлоку Холмсу или майору Пронину, разгадывают тайну «трех неизвестных». Правда, из-за своей неопытности друзья подчас терпят неудачи, оказываются в смешном положении. Но это не беда! Снова и снова берутся они за прерванную следопытскую работу и доводят ее до победного конца. И в этом им, как правило, помогают старшие наставники, люди веселые и добрые. Без их поддержки незадачливым мальчишкам пришлось бы очень туго.

Взрослые в книге удивительно похожи на детей, а дети — на взрослых. Автор справедливо считает, что чем дольше человек не разлучается с детством, сохраняет по-мальчишески восторженное и простодушное отношение к окружающей действительности, тем радостнее ему живется. А чем раньше дети начинают приобщаться к делам и заботам взрослых, тем вернее получаются из них люди настоящие, смелые и работающие, способные на подвиг. Героическое и веселое живут в книге в большой дружбе.

О забавных похождениях ребят писатель рассказывает с ласковой улыбкой, не скрывает своей симпатии к ним. И в то же самое время он в своих юных героях видит и показывает читателю некоторые отрицательные черты характера: чрезмерное бахвальство и хвастовство, легкомыслие и наивность, опрометчивость решений и необдуманность поступков. Искорки смеха то и дело вспыхивают на страницах книги, высвечивая эти ребячьи пороки, подвергая осмеянию то, от чего необходимо избавиться. И чем раньше, тем лучше. Добродушный смех здесь выступает в роли воспитателя. Он лечит от разных душевных недугов, пробуждает в ребятах добрые чувства.

Через всю книгу приключений Павлуши и Явы проходит мысль о силе дружбы, о том, как важно иметь надежного товарища, который



в любую минуту поддержит тебя, подбодрит, укажет самый верный выход из, казалось бы, безвыходного положения.

Друзья друг за друга — горой. Они не представляют, как бы могли обойтись один без другого, без спасительной взаимовыручки. Даже к написанию повести о своих злоключениях они приступают вместе, хотя и понимают, что все время писать сразу от имени двоих «как-то не того», смехотворно получается: «Каждый в отдельности ничего сделать не сможет. Ни чихнуть, ни почесаться, ни в носу поковырять. Нужно будет писать «мы чихнули», «мы почесались», «мы поковыряли в носу»... Глупость какая-то! Чего это я должен чихать или чесаться, когда мне не хочется! Только «за компанию»? Да и совсем оно не художественно получается. Думали мы, думали и надумали, что, сочиняя вдвоем, будем писать вроде как от одного лица. А другого уже называть по имени.

Первую книжку будет писать один «Я», вторую — другой».

Написанная таким необычным способом трилогия «Тореадоры из Васюковки» сразу же обрела горячую любовь юного читателя. На украинском языке она вышла в 1973 году массовым тиражом и была раскуплена буквально за одну неделю. Книга пришлась по душе не только украинским ребятам. Ее читают на родных языках латышские, литовские, армянские дети. Переведена книга также в ГДР, Чехословакии и других странах, где многие школьники зачислили Павлушу Загородного и Яву Реня в число своих верных друзей.

Читателям-школьникам так понравился бесхитростный, забавный и правдивый рассказ двух неразлучных украинских мальчишек, что они стали писать в их адрес письма, благодарили за увлекательную книгу и просили сочинить новую повесть о смешных приключениях. Одни просили об этом Павлушу, другие — Яву, а некоторые — обоих сразу, ибо были уверены, что лишь совместными усилиями они смогут создать такую веселую детскую книжку.

Авторы подобных писем всерьез считали, что повествование о «тореадорах» из Васюковки написано детьми. О том, что на книжной обложке обозначено имя взрослого писателя, они почему-то забывали. Видимо, потому, что все здесь, на каждой странице, подлинно детское: и юмор, и переживания, и размышления, и разговоры. Чтобы так писать, надо быть самому в душе ребенком, по-ребячьи мыслить и видеть, досконально знать детский мир, его особенности и забавы.



Именно таким писателем, навсегда сохранившим верность детству, и является Всеволод Нестайко. Хотя он давным-давно расстался со школой и ему в 1980 году исполнилось пятьдесят, но о чем бы он ни писал, все у него получается по-детски забавно и непосредственно. Многие годы работая в украинском детском издательстве «Веселка», он постоянно находится в гуще октябрятских и пионерских дел, связан крепкой, нерушимой дружбой с детворой, с учителями и школьниками.

В детской жизни черпает писатель темы для своих произведений и находит людей, которые затем становятся героями его книг, умных и озорных, наполненных радостью восприятия жизни. Он, как ребенок, радуется всему веселому и доброму, что есть в детях и взрослых, светлой улыбкой приветствует каждый новый день. «Случайно или нет,— сказал как-то писатель,— но почти всем героям моих книг одиннадцать-двенадцать лет. Я как бы застрял в том возрасте... Детство — неповторимая, волшебная пора. Не у всех жизнь может сложиться одинаково удачно и хорошо. Но детство у всех должно быть радостным, светлым и счастливым. А счастье не может быть без улыбки. И если юный читатель хоть раз улыбнется, читая мою книгу,— значит, я не зря живу на свете».

Книга «Тореадоры из Васюковки» подарит (убежден в этом!) хорошее настроение, добрую улыбку всем ее читателям. Она учит жить по-пионерски ярко и интересно, с пользой для общего дела.

*Владимир Разумневич*

# НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КУКУРУЗО

И ЕГО ВЕРНОГО ДРУГА  
ОДНОКЛАССНИКА  
ПАВЛУШИ ЗАВГородНЕГО  
В ШКОЛЕ, ДОМА  
И НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ  
ПЛОТНОСТИ СЕТА ВАСЮКОВКИ







## ГЛАВА I

### МЕТРО ПОД СВИНАРНИКОМ

— Вот архаровец, авантюрист желторотый! Ванька-а! Вылазь сейчас же! А то такого чёсу задам — неделю вспоминать будешь. Вылазь, слышь — вылазь!

Мы лежим в густом бурьяне за овином<sup>1</sup>, уткнувшись в землю носами, и не дышим.

— Вылазь, убоище, а то хуже будет! Ты ж меня знаешь!

— Знаю, знаю,— еле слышно вздыхает мой друг и наконец отваживается подать голос.— Диду! — жалобно отзывается он.

— Давай, давай!

— Диду! — ещё жалобнее повторяет мой друг.— Вы отойдите за хату, мы вылезем.

---

<sup>1</sup> О в ѝ н — строение для сушки снопов перед молотьюбой.

Они ещё мне условия ставят, вышкварки! А ну вылезьте!

— Да мы ж не хотели. Мы ж хотели метро, такое, как в Киеве.

Я вам дам метро. Я вам такого метра дам, что...

— Мы ж не знали. Мы сейчас всё зароем — ничего и видно не будет. Ещё и свинарник почистим. Отойдите, диду.

Долго ещё продолжаются переговоры. Наконец дед в последний раз ругнулся, закашлялся и, шаркая хромой ногой, полёлся за хату.

Мы вылезаем из бурьяна.

Возле свинарника нас встречает гундосым хрюканьем пятипудовая свинья Манюня, пятнистая, как географическая карта.

- У-у, скотинище!

Это из-за неё мы попали в такую неприятность.

У нас была благородная идея — прорыть под свинарником метро. Это должно было быть для всех сюрпризом. Первая линия метро в Васюковке! Станция «Овин», станция «Кривая груша». Три копейки в один конец. Родственники — бесплатно. С учительницы арифметики — пять копеек.

Мы уже подрыли почти до половины свинарника, и вдруг произошла непредвиденная катастрофа — проклятая свинья Манюня провалилась в наше метро. Провалиться-то она сумела, а вот вылезти — дудки! И подняла такой визг, что прихрамал дед. Ну и...

Тяжело вздыхая, мы засыпаем метро. Время от времени боязливо оглядываемся — как бы опять внезапно не появился дед и не надрал нам уши. Хоть и сказал он, что не тронет, пока не кончим, но кто его знает... Надо быть начеку. Вы б послушали, как он ругался, когда Манюню вытаскивал. Ох и ругался! И где он только словам таким научился — ни в одном словаре не найдёшь!

Но деда не видно. И, пока мы работаем (а дело это долгое, нудное и противное), я вас познакомлю со своим другом.

Вы, конечно, знаете, что есть такой остров — Ява. В Индийском океане. Тот, который Ява, Суматра, Борнео, Калимантан...

Ну так Ява — это не остров.

Ява — это и есть мой лучший друг и напарник Ява Рень.

Наверное, вы думаете: что это за имя такое странное — Ява? Должен вам сказать, что это он сам себя так назвал, когда ему ещё и года не было. То ли он хотел сказать «я Ваня», а получилось «Ява». То ли



«Иван» у него так вышло (потому что на самом деле его Иваном звать), но только прицепилось к нему имя Ява, как репей к собачьему хвосту. Даже милиционер товарищ Валигура, что живёт в нашем селе, так его называет.

У них вообще вся семья интересная.

Папа на скрипке играет. Корова Контрибуция называется. А дед Варава (вы уже с ним знакомы) охотник заядлый. На охоте, когда стреляет, левый глаз платком завязывает. Потому что левый глаз у него без правого не прищуривается. Если левый прищурит, правый сам собой закрывается.

Но зато и меткий же дед Варава. Ох и меткий!

Городские охотники, которые на «Волгах» из Киева приезжают, только ахают.

«Вы, дедушка, абсолютный чемпион»,— говорят.

В честь старого Реня даже озеро, что возле нашего села, Реневым прозвали.

Мама же Явина — депутат райсовета, звеньевая кукурузоводов.

Как-то Ява с Иришкой, сестричкой своей младшей, поссорился и при всех надавал ей тумаков. Так она, вместо того чтобы заплакать, вдруг как закричит:

— Опозогил! — Она букву «р» не выговаривает. — Маму — депутата — на всё село опозогил.

Такой шум подняла, что Ява не знал, куда глаза девать! Стоял, стоял: красный как рак, а потом как даст стрекача — только пятки засверкали.

Впрочем, такое только раз было. А вообще характер у Явы редчайший. Сталь, а не характер. Таких на миллион только один бывает.

Ява сам говорил:

— Мы с тобой, Павлуша, хлопцы будь здоров! Точно-точно, без брехни, мы хлопцы с фантазией. Скажи?

— С фантазией,— поддакивал я.

— Ты ж слышал, что дед Саливон вчера возле сельмага сказал: «Вона Ява и Павлуша пошли. От хлопцы! Орлы! Орлы и пираты. Прута на них хорошего нет!»

— Слышал. Точно.

— Надо, чтоб все про нас так говорили. Надо, чтобы слава про нас гремела на всю Васюковку, как радио Первого мая.

— Надо,— соглашался я.

И Ява всё время выдумывал разные штуки ради нашей славы.

Это ради неё мы с ним поймали в лесу сову и выпустили в клубе во время лекции на тему «Воспитание детей в семье». Лектор упал с трибуны и опрокинул себе на голову графин с водой.

А то как-то летом Ява сказал:

— Давай устроим бой быков.

— Что? — не сразу понял я.

— Ты помнишь, мы в клубе заграничное кино смотрели «Тореадор»?

— Ага, помню... Ну и что?

— Помнишь, на арене разъярённый бык, а дяденька в шляпе с кинжалом у него перед носом танцует.

— Ага, помню...

— А потом дяденька — рраз! Бык — шлёп! И аплодисменты.

— Ага. Здорово... Но это же убивать нужно. Кто ж нам позволит убивать рогатое поголовье?

— Вот балда. «Убивать»! Что это тебе — мясозаготовки, что ли? Это же зрелище. На стадионе. Вроде футбола. Главное тут — красиво размахивать перед носом быка красным платком и ловко увёртываться, чтоб он рогом не зацепил. Ты же видел. Тореадоры — это самые настоящие герои. Главное тут — тренировка, ловкость и смелость. Понимаешь? Впервые в истории Васюковки — бой быков. Тореадор Иван Рень и тореадор Павел Завгородний! Гости съезжаются со всей Украины. Трансляция по радио и по телевизору. Даже в Жмеринке у твоих родственников видно будет.

Я призадумался. Это было здорово! По радио, по телевизору и вообще... у родственников в Жмеринке.

Мы устроились поудобнее и начали обсуждать детали. Прежде всего необходим бык. Кандидатура колхозного племенного быка Петьки была отвергнута сразу. Это такое страшилище, что его даже сам зоотехник Иван Свиридович боится. Глаза — как тракторные фары. Сам величиною с комбайн. Землю ногами роет, как экскаватор. На километр подойти страшно.

Одного дачника, который отдыхал у нас летом, он даже на телеграфный столб загнал.

Нет уж, пусть с быком Петькой враги наши бьются!



Собственно, кроме Петьки, настоящих быков у нас больше не было. Поэтому второй кандидатурой был козёл Жора. Это я его кандидатуру выдвинул, чтоб отомстить. Очень противен был мне козёл Жора, потому что он сжевал мою новую праздничную рубашку, когда я купался.

Но Ява меня не поддержал.

— Нет, не годится,— сказал он.— Жора всё время бекает и мекает. Из-за него мы и аплодисментов не услышим. И потом, это же ведь бой быков, а не козлов. Надо, чтобы было что-то большое и рогатое — бык или корова.

— Слушай, так, может, и взять просто корову? Ведь нигде же не сказано, что обязательно должен быть бык.

Ява задумался:

— Кто его знает, может быть, и так.

— Тогда,— говорю,— лучшей кандидатуры, чем ваша Контрибуция, и не придумаешь.

— Почему Контрибуция? А почему не ваша Манька?

— Потому что у нашей Маньки телёнок и рог один сломан. Ты хочешь, чтоб над нами смеялись. Тореадоры с однорогой коровой! Карикатура! Такого ещё никогда в мире не было.

— Можно, конечно, и Контрибуцию. Но она немного психическая.

— Что значит «психическая»? Скажи лучше, что ты просто матери боишься.

— Я боюсь? Вот сейчас дам тебе в ухо, и ты увидишь, как я боюсь. А ну возьми свои слова назад!

— Я возьму, но ты всё равно боишься.

— Боюсь?

— Боишься.

— Боюсь?

— Боишься.

Ява не выдержал и ударил меня в ухо. Я ответил Яве ударом в живот. Мы сцепились, рухнули на траву и выкатились на дорогу. Вся дрянь, что на дороге валялась, тут же пристала к нашим рубашкам. Первым опомнился я.

— погоди,— говорю,— хватит. А то вместо боя быков вышел у нас бой дураков.

— Это ты виноват... Ну ладно,— согласился Ява.— Попробуем Кон-

трибуну. А то твоя Манька действительно для телевизора не подходит. Глупа больно.

Я хотел обидеться за Маньку, но передумал. Мне уже надоело драться.

На следующее утро мы встретились на дороге, что вела к выгону. Я гнал перед собой Маньку, Ява — Контрибуну. Коровы плелись, лениво махая хвостами, и не подозревали, какой это для них исторический день.

У Явы на голове была мамина шляпа с полями, в которой она ездила в Киев на совещания. Шляпа была Яве великовата и сваливалась на глаза. Чтоб хоть что-нибудь видеть и не упасть, Яве приходилось всё время дёргать головой. Казалось, что он то и дело с кем-то раскланивается.

Шляпу Ява, конечно, взял без спроса.

У меня под мышкой был коврик. Знаменитый коврик! Я его помню столько, сколько вообще что-нибудь помню. Он с самого моего рождения висел над моей кроватью. Коврик был красный, и на нём были вышиты три смешных щенка, которые сидели рядышком, склонившись друг к другу головами. Это были Цюця, Гава и Рёва, про которых мама рассказывала мне множество разных историй, пока я не засыпал. Последние два года, поскольку я уже вырос, коврик лежал в сундуке, и теперь от Цюци, Гавы и Рёвы сильно пахло нафталином.

Коврик и шляпа были нашими тореадорскими принадлежностями. По дороге мы ещё вырезали из орешника две шпаги. Мы были в полной боевой готовности.

Мы шли и пели арию из оперы «Кармен»:

«Торе-адор, смелее-эээ в бой, торе-адор, торе-адор...»

Мы пели и ещё не знали, что нас ждёт.

Небо было синее-синее, настоящее испанское небо.

Погода — самая подходящая для боя быков.

Мы погнали своих коров на край выгона, туда, где пруд, — подальше от людских глаз.

— Отгони свою Маньку куда-нибудь в сторону, чтоб не мешала, — сказал Ява, — и давай начинать.

Я не стал спорить. Тем более, что Манька у нас очень нервная: ей лучше не видеть боя быков.

Ява поправил на голове шляпу, подтянул штаны, взял мой коврик,



вздохнул и, пританцовывая, на носках стал подходить к Контрибуции. Подошёл к самой её морде и начал размахивать ковриком у неё перед глазами. Я затаил дыхание — сейчас начнётся...

Контрибуция спокойно щипала траву.

Ява замахал ковриком ещё сильнее. Контрибуция не обращала на него никакого внимания.

Ява хлестнул её ковриком по ноздрям. Контрибуция только отвернула морду.

Ява раздражённо крикнул и ещё раз изо всех сил хлестнул её ковриком. Контрибуция, лениво переступая ногами, повернулась к Яве хвостом. Ява снова забежал вперёд и начал пританцовывать.

Через полчаса он сказал:

— Она ко мне просто привыкла, любит меня. А ну давай ты!

Через час, запыхавшись, я сказал:

— Какая-то дохлятина, а не корова. Жаль, что моя Манька безрогая, я бы тебе показал, что такое настоящая корова.

За дело опять взялся Ява. Он время от времени менял тактику: то подходил к корове потихоньку и неожиданно бил ковриком, то подлетал с разгона. То забегал сбоку. Но Контрибуция упорно не принимала боя.

Чубы у нас взмокли, коврик нервно дёргался в руках — казалось, что Цюця, Гава и Рёва вот-вот залают. А Контрибуция — хоть бы что.

Один раз только, когда Ява схватил Контрибуцию за ухо, она с укоризной посмотрела на него своими грустными глазами и сказала: «Мму-у!»

В переводе с коровьего это, очевидно, значило: «Идите, хлопцы, отсюда. Не трогайте меня».

Но мы вовремя не сумели понять её.

Хекая, мы прыгали около неё, вызывая на поединок. Яве было стыдно передо мной за свою Контрибуцию, это я видел.

Наконец разозлённый Ява крикнул:

— А ну дай ей, дай ей, Павлуша, хорошенько! Что, боишься? Ну, так я сам!

Он размахнулся и лягнул Контрибуцию ногой в бок.

И вдруг... Вдруг я увидел Яву где-то высоко в небе. И оттуда, с неба, услышал его отчаянное визгливое:

— Вва-ввай!

Он начал бежать, по-моему, ещё в воздухе. Потому что, когда ноги его коснулись земли, он уже изо всех сил мчался к пруду. Я бросился за ним. Это было наше единственное спасение. Мы с разгона влетели в пруд, вздымая целые фонтаны воды и грязи. Остановились только уже где-то на середине.

То, куда мы влетели, прудом, честно говоря, назвать можно было только условно. Когда-то тут действительно был большой пруд. Но он давно пересох, загрязнился и превратился в обыкновеннейшую лужу. В самом глубоком месте нам было по шею. Именно в этом месте мы сейчас и стояли.

Контрибуция бегала вокруг лужи и мычала в наш адрес какие-то свои, коровьи проклятья. В лужу лезть она не хотела. Она была брезгливой, аккуратной коровой.

Мы стояли и молчали.

Дно пруда было илистое, топкое, вода — грязная, мутная и вонючая.

Долго мы стояли тогда с Явой в этой грязной луже. Полчаса, не меньше, пока Контрибуция не успокоилась и не отошла. Она ещё оказалась очень человечной и благородной коровой. Потому что подкинула тореадора Яву не рогами, а просто мордой. И когда мы наконец вылезли из лужи, несчастные и грязные, как поросята, она и словом не напомнила о нашем недобром к ней отношении. Мы остались с ней друзьями.

Ява после того не только никогда её больше не ударил, но всегда угощал конфетами, которые давала ему мама.

Вот такая история вышла у нас с Контрибуцией.

И теперь, когда мы, сокрушённо вздыхая, засыпаем наше неудавшееся метро, Контрибуция выглядывает из коровника и сочувственно смотрит на нас. И нам даже кажется, что на глазах у неё слёзы. Дорогая Контрибуция! Какое у тебя большое и нежное сердце! Ты единственная понимаешь и жалеешь нас. Спасибо тебе, корова!

— Ещё не кончили, архаровцы? — неожиданно прогремел сзади дед Варава.

Мы потеряли бдительность — и вот наказаны.

Впереди стена свинарника, с боков густой бурьян, сзади дед Варава. Бежать некуда. Мы замерли на короточках — как цыплята перед коршуном.

— Не бойсь, не трону!

Эти слова подняли, выпрямили нас. И будто велосипедным насосом кто-то качнул — это мы разом вздохнули. И дрожащие губы наши сами собой растянулись в противную подхалимскую улыбочку. Но дед на улыбку нашу не ответил. Не любил дед таких улыбок. Суровый был дед Варава.

Лицо у него серое и пятнистое, как прелые прошлогодние листья. Губы тонкие, опущенные и так сомкнуты, будто во рту вода. Глаза без ресниц, круглые и неподвижные, как у петуха. Из-за этих круглых неподвижных глаз казалось, что дед навеки чем-то удивлён. Но это только казалось. Наверное, не было уже на свете ничего, что могло бы удивить деда Вараву. Восемьдесят третий ему пошел.

— Кончайте, шмендрики, да идите уроки учить, экзамены скоро!

Мы скривились. Мы это и так знали. Но нам не хотелось думать об экзаменах. И кто только их придумал! Да ещё весной, когда воздух пахнет футболом и цурками-палками<sup>1</sup>, когда птицы галдят и когда так солнечно и тепло, что мы с Явой уже трижды купались. Как хорошо было прошлый год в четвертом классе! Никаких тебе экзаменов. Лучше было бы и не переходить в пятый. Никогда в жизни мы с Явой не сдавали экзаменов. Это будет первый раз. И хоть мы хорохоримся и говорим: «Наплевать!» — но у каждого из нас при мысли об экзаменах тоненько ноет в животе. Лучше двадцать метро засыпать, чем один экзамен.

— Всё, диду, кажется. Так, как и было. Правда ж? — несмело говорит Ява, притаптывая ногой свежую землю.

Дед косится на нашу работу — видно, что он не очень доволен. Но говорит:

— Идите, идите уже. Но знайте, ещё раз что-нибудь такое этакое — уши оборву и свинье выброшу!

О том, чтобы чистить свинарник, дед ничего не говорит, да и мы не напоминаем — работа эта совсем неинтересная. Прижимаясь спинами к самому бурьяну, мы боком проходим мимо деда и, как только минуем его, сразу бежим со всех ног. И как раз вовремя успеваем проскочить: ещё миг — и шершавая рука деда с размаху прилепилась бы к нашим штанам...

---

<sup>1</sup> Цурки-палки — так на Украине называют игру в «чижик».



## ГЛАВА II

### ЗА ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ. КТО ТАКИЕ КНЫШИ

Я живу за четыре хаты от Явы. И через минуту мы уже переводим дух в нашем саду. Сидим под вишней возле высоченного дощатого забора, который отделяет наш сад от соседнего. Сидим и печалимся, что такая досадная неудача постигла нас с этим самым метром. Впрочем, долго печалиться мы не умеем.

— Айда на великую китайскую...— говорит Ява.

— Айда,— говорю я.

И мы начинаем карабкаться на забор.

Эту высоченную трёхметровую ограду соорудил наш сосед Кныш. Мы с Явой прозвали забор великой китайской стеной. Лишь в одном месте можно подняться на него — там, где прислонилась к нему наша старая вишня. Тут, почти на самом верху, проковыряли мы в заборе две дырочки и часто наблюдаем сквозь них, что делается на вражеской территории. Вы, может быть, думаете, что мы просто такие нескромные и невоспитанные — к чужим людям заглядываем. Совсем нет. Ничего не просто. Вы же не знаете, что это за люди. Разве хорошие нормальные люди от соседей такими стенами отгораживаются? И из-за чего? Как раз на меже росла у Кныша груша и протянула одну ветку в наш сад. И с той ветки груши иногда падали к нам. Мы, конечно, их все отдавали, но порой свинья (разве ей втолкуешь, где чья собственность) какую-нибудь падалицу невзначай и слопаёт — не уследишь же. Так из-за той поганой падалицы и соорудил Кныш великую китайскую стену. А груша, как назло, взяла и засохла.

Кнышиха была широкоплечая, хоть и не толстая, но какая-то квадратная. Глаза маленькие, как дырочки в пуговицах, а нос, или, как говорил тракторист Грыць Кучеренко, «румпель», крупнейший и похожий на топор. Если бы сам не видел, я никогда бы не поверил, что у женщины может быть такой здоровенный нос.

У Кныша, наоборот, нос был маленький. Зато волосатый был Кныш страшно. Руки, ноги, плечи, грудь, спина — всё-всё было покрыто густыми рыжими волосами, жёсткими, как проволока. Даже в ушах были волосы, которые торчали будто пакля (мы удивлялись, как доходили до Кныша

звуки, не запутываясь в этой пакле). И из носу торчали, и на переносице росли, и даже на кончике носа.

Кроме того, Кныш был ещё и какой-то мокрый — словно сырая стенка в погребе. Руки всегда мокрые, шея мокрая, лоб мокрый. Как-то он взял меня за плечо своей мокрой и холодной, как у мертвеца, рукой. Я даже передёрнулся весь. Бр-р! И ещё — когда Кныш смеялся, нос у него дёргался и кожа на лбу дёргалась (не морщилась, а именно дёргалась). И это было очень неприятно. Хотелось отвернуться и не смотреть.

Жили Кныши вдвоём, детей у них не было. И родственников, по моему, тоже.

В колхозе ни Кныш, ни Кнышиха почти не работали. Он считал себя инвалидом, потому что на животе с правой стороны был у него шрам, который он часто показывал, всегда повторяя при этом страшную историю своего ранения на фронте. Но говорили, что это неправда: никакое это не ранение, а просто аппендицит, который ему вырезали задолго до войны, когда он ещё был мальчишкой.

Кнышиха тоже считалась очень больной. Болезнь у неё была неизлечимая и очень загадочная. Она шёпотом рассказывала о ней соседкам, закатывая при этом глаза и приговаривая: «Я ж такая страдалица, такая страдалица».

Впрочем, эта неизлечимая болезнь не мешала ей каждый день таскать на базар тяжеленные корзины, а на праздники выпивать бутылку денатурчика. «Денатурчик» — так ласкательно называли Кныши страшный синий спирт-денатурат, на бутылке которого нарисован череп с костями и написано: «Пить нельзя. Яд». Кныши не обращали внимания на ту надпись. Они что-то там такое делали с денатурчиком и потом пили его. Кныш был в этом деле тонким специалистом. Он говорил:

— Житомирский денатурчик — то действительно гадость, отравка. А вот черниговский... это, я вам скажу, здоровье! Украинский женьшень! Пей — и до ста лет проживёшь.

И Кнышиха и особенно Кныш любили выпить. Кныш выпивал почти каждый день. А на праздники, то есть на Новый год, на рождество, на Первое мая, на светлое воскресенье, на пасху, на День физкультурника, на храм и т. д. (Кныши не пропускали ни одного ни церковного, ни нашего, советского, праздника), они выпивали семейно, вдвоём.

В такой день с утра Кнышиха выходила за ворота и крестилась на телевизионную антенну, которая стояла на крыше сельского клуба.

Потом Кнышиха возвращалась к себе во двор, где стоял под вишней уже накрытый стол, и начинался праздничный завтрак. Через какой-то час из-за великой китайской стены уже слышалось:

Ах, зачем эта ночччь  
Так была хороша-а-а  
Не болела бы грудь,  
Не страдала б душа...

Это пели гнусавыми голосами пьяные Кныши. После чарки их всегда тянуло на песню. Пели они долго, часа два или три. Пели и украинские народные, и русские песни, и песни советских композиторов.

А потом до самого вечера Кныши в два голоса оглушительно, с перебоями храпели в саду, словно за забором работали два трактора.

Праздновали Кныши всегда только вдвоём. Никогда к себе не приглашали. К ним никто не ходил, и они ни к кому. Очень были скупые и боялись, чтобы кто-нибудь не увидел, что у них дома есть. На людях всё время приbedнялись.

— Да я же гол как сокол! — говорил Кныш. — С хлеба на воду перебиваемся. Чтоб я бога не видел! Даже на зиму ничего не запасли...

Зато Кнышиха каждое утро, отправляясь на базар, сгибалась под тяжестью двух огромных мешков. В них стояли корзины, бутылки с молоком. Корова у Кнышихи была одна из лучших в селе.

Я однажды слышал, как женщины говорили:

— Ох же и молоко у той коровы! Ох же и молоко! Ну как смалец! Хоть ножом режь.

— Эге. Так что ж ты хочешь, она ведь её хлебом кормит. Каждый день тянет из города мешок. А в том мешке, думаешь, что? Булки! Батоны по двадцать две копейки штука. Корми я свою Лыску так, она тебе сметаной доиться будет.

— Ну да! А на базаре, я видела, продаёт молоко жидкое-жидкое, аж синее. Наполовину разбавляет, не меньше.

— И куда только милиция смотрит.

— Милиции не до Кнышихи. Милиция бандитов ловит.

— А Кнышиха не бандит разве? Настоящий тебе бандит.

Короче, происходило за великой китайской стеной что-то не то, что-то подозрительное. Мы с Явой это уже давно заметили.

Однажды мы слышали, как Кныш таинственно сказал Кнышихе:

— Скоро будут у нас большие перемены... Как я тебе говорил. Сведения точные.

А то как-то вечером, когда уже стемнело, приезжали к ним какие-то два верзилы на мотоцикле с коляской, нагрузили что-то в коляску и сразу же уехали. И потом ещё дважды приезжали, и опять-таки вечером.

А однажды возле чайной Кныш, изрядно уже подвыпивший, кричал на всю улицу:

— Не боюсь я вашего Шапки... Какой он Шапка! Штаны он, а не Шапка. И не председатель-голова, а это самое... Он у меня вот здесь.— Кныш показал кулак.— Я уже написал куда следует. Скоро вашему Шапке дадут по ш-шапке... Фить — и нету... Ги-ги-ик!

Иван Иванович Шапка, председатель нашего колхоза, был очень хороший хозяин, и все у нас очень его любили. Все, кроме бездельников, лодырей и пьяниц, которым он спуску не давал. И Кныш все время писал на Шапку жалобы и заявления, куда только можно. Причём писал всегда так, чтобы люди видели. Открывал ворота, выносил на двор стол, садился и, как школяр, склонив набок голову и высунув язык, царапал что-то на бумаге.

— Опять пишет какую-то собаку,— насмешливо говорил дед Варава.

Жалобы Кныша, конечно, вреда председателю никакого не приносили. Но у людей тёмных вызывали к Кнышу уважение и даже боязнь — раз человек пишет, значит, силу имеет. Когда-то, говорят, Кныша из-за этих заявлений даже разумные люди боялись. Это делало его в наших глазах ещё более таинственным и загадочным.

И уж совсем мы сбились с толку после одного случайно услышанного нами разговора...

Дело было в Киеве, куда мы всем классом ездили на экскурсию во время зимних каникул.

Как-то раз, когда наши направились на концерт в филармонию, мы с Явой «на минуточку» отстали, чтобы сбежать посмотреть на «чёртово колесо». (Хотя оно зимой и не работает, но всё равно интересно.)

Побежали, покрутились возле «чёртова колеса» (жаль, что не



работает!), собрались идти назад, смотрим — а на скамейке сидит Кныш с каким-то незнакомым человеком. Сидит спиной к нам — нас не видит. Но зато мы его сразу узнали. И удивились, конечно. Что он тут делает? В Киеве, возле «чёртова колеса»... Остановились. Слышим такой разговор.

— Четвертак, не меньше,— говорит Кныш.

— Двадцатку, больше не могу,— говорит человек.

— Да вы знаете, как я рискую! Думаете, хочется в тюрьме сидеть?

Четвертак, не меньше.

— Ну хорошо, не по-вашему, не по-моему — двадцать три.

— Только четвертак. Не могу меньше. Не могу!

Тут они вдруг умолкли: по аллее шёл милиционер. Кныш и незнакомый человек вскочили и исчезли.

С тех пор этот подозрительный разговор не давал нам покоя.

— И что бы это могло значить? — говорил Ява, медленно прищуривая левый глаз.

— Ага, что? — говорил я, прищуривая правый.

— Слушай,— прищурил Ява оба глаза,— а может, Кныш шпион?

И это он нашу родину продавал?

— Что-то очень дешево. Двадцать пять рублей за родину?..

— А откуда ты знаешь, что рублей? Может, тысяч, а то и миллионов.

— Ну да? — недоверчиво сказал я.

— Вот тебе и «ну да». Нужно за ним следить.

— Нужно,— согласился я.

И мы начали следить. Регулярно. Почти каждый день.

Однако наши наблюдения пока что никаких результатов не давали. Кныш возился по хозяйству, кормил свиней, чистил коровник, ремонтировал сарай и ничего шпионского, к сожалению, не делал. Честно говоря, мне уже начали надоедать эти наблюдения. И вот я уже дал слово, что лезу на великую китайскую стену в последний раз.

Ничего интересного мы опять не увидели. Кныш копался на огороде. Кнышихи не видно — то ли в хате, то ли совсем нет дома. Поглядев минут пять, мы уже собирались слезать, когда вдруг из хаты вышла Кнышиха и сказала:

— А ну поди-ка глянь на улицу, нет ли кого, и калитку запри. А то ещё увидят эти злыдни...

Мы сразу наострили уши.

Кныш выглянул на улицу, осмотрелся, потом запер калитку и пошёл вместе с Кнышихой в хату.

— Слышал? Видал? — взволнованно шепнул Ява.

Я не знал, что ответить.

— Надо как-то подглядеть, что они будут в хате делать, — заявил Ява. — Может, шпионские деньги в наволочку зашивать будут или по рации передавать что-нибудь...

— Давай перелезем через забор, а потом на орех, который возле хаты, с него через окно всё будет видно, — шепчу я.

— Айда.

Мы не стали терять время и через какую-то минуту уже сидели в густых ветках ореха и вглядывались через окно в хату Кнышей. В хате было темновато, и мы не сразу разобрали, что там происходит. Наконец увидели, что Кныш и Кнышиха сидят за столом с ложками в руках и что-то едят. Мы хорошенько присмотрелись и удивлённо глянули друг на друга. Кныши ели... торт. Обыкновенный бисквитный торт с кремовыми и шоколадными розами и вензелями. Ели торт ложками, как кашу.

— Ну всё, продал! — неожиданно прошептал Ява.

— Что продал? — не понял я.

— Родину продал, иуда! Раз торты ложками уминают, значит всё! — Ява сказал так решительно и убеждённо, словно торт был неоспоримым доказательством Кнышовой измены.

Мы были так взволнованы, что даже не заметили, как Кныш вышел из хаты. Увидели его лишь тогда, когда он уже стоял на крыльце и скручивал сигарку. От неожиданности я вздрогнул, и ветка подо мной треснула. Кныш заметил нас.

— А вы что тут делаете?! Ах вы ворюги! Ах вы щенята! По чужим деревьям лазите, стервецы! Вот я вас сейчас! Я вам ноги из штанов повыдёргиваю за такое дело! А ну слазьте, злодюги!

Он стоял под деревом и так размахивал руками, что казалось, от этого поднялся ветер. Слезть — это означало верную гибель. И мы стали карабкаться вверх.

Кныш продолжал бушевать внизу.

— Дядя, детей любить надо, — вдруг жалобно сказал Ява.

— Да-да, нас надо любить,— поддакнул я, со страхом прислушиваясь, как трещит подо мною ветка.

— Все советские люди любят детей,— продолжал Ява.— Об этом и учительница говорила, и во всех газетах написано.

Кныш совсем рассвирепел:

— Я вас полюблю! Я вас так полюблю, что опухнете! Вы разве дети? Бандиты вы, а не дети! Убивать надо таких детей!

И тогда Ява сказал:

— Дядя, а вы знаете, мы вас в Киеве видели. Как вы в парке с каким-то дядей торговались...

И Кныш вдруг умолк. Сразу. Так, как будто бы выключили радио. Потом что-то такое невнятно пробурчал, что мы и не разобрали, и снова умолк. Вид у него был обалделый.

Кнышиха, которая на крики своего мужа вышла из хаты и стояла на крыльце, тоже какое-то время смотрела растерянно. А потом набросилась на Кныша:

— Ну, чего ты прицепился к детям? Чего? Ишь как напугались, бедняжечки, лица на них нет...

— Да я разве что? — уже совсем другим тоном забормотал Кныш.— Я разве бить, я только пострашать хотел, чтоб по деревьям не лазили.

— Не бойтесь, мальчики. Слазьте и идите себе, идите, идите,— ласково проговорила Кнышиха.

Нас не надо было долго упрашивать. Вмиг мы слезли с ореха, прошмыгнули мимо Кнышей и выскочили на улицу.

— Ну, что ты скажешь? — спросил Ява.

— Ты смотри! Как он перепугался, когда ты сказал! Умолк, словно язык проглотил. Значит, дело серьёзное.

— А я тебе что говорил!

— И Кнышиха сразу как всё перекрутила, чтоб замаять... От змеюка!

— Короче, за ними надо следить — это факт! Надо их разоблачить! Во что бы то ни стало, любой ценой! Не жалея сил! Надо теперь всю жизнь посвятить этому!

Впрочем, полностью посвятить себя разоблачению Кныша мы сейчас, к сожалению, не могли. Через два часа в школу (мы учимся во второй смене), а за уроки мы ещё не сядились.

Разом вздохнув, мы поплелись ко мне учить уроки.

## ГЛАВА III

### «ДЕТИ ЗА САЖЕЙ»

Сегодня контрольный диктант. Галина Сидоровна задала повторить правописание суффиксов. Это и на экзамене будет.

— Провались они пропадом, эти суффиксы, вместе с префиксами и самой грамматикой! И вообще она не нужна! Не всё равно, как писать — грамотно или неграмотно. Лишь бы понятно было, — раздражённо говорит Ява.

Но это всё разговорчики. От них легче не становится. Я раскрываю учебник и начинаю читать:

— «Если основа слова заканчивается на дэ, тэ, зэ, сэ, жэ, то для образования существительных, обозначающих названия людей по их профессии, занятиям, употребляется суффикс «чик», а не «щик». «Шик» во всех остальных случаях. Примеры: переводчик, переплётчик, извозчик, разносчик, перебежчик. Но — обойщик, стекольщик».

Закрываю учебник и говорю Яве:

— А ну повтори!

Ява смотрит в небо и начинает:

— Суффикс «чик», а не «щик», который обозначает профессию, пишется после дэ, тэ... зэ... сэ... — И по глазам видно, что мысли его где-то далеко-далеко, в лесу или на реке, среди шумливых камышей, где плещется рыба и крикает в зарослях дикая утка. — Зэ...зэ... дэ, тэ... сэ... тфу! — Ява не выдерживает: — А ну давай ты!

Я тоже закатываю глаза и начинаю бубнить:

— Суффикс «чик», а не «щик» пишется, когда основа оканчивается на зэ, дэ, тэ, сэ... сэ... сэ... — Дальше этого почему-то не идёт.

Я начинаю сначала, но опять не выходит. Тогда я чуть приоткрываю учебник (палец мой предусмотрительно заложен на нужной странице) и пытаюсь заглянуть.

Но Ява не даёт:

— Нет, нет, не подглядывай. Ты на память.

На память у меня не получается. Раскрываем учебник и снова читаем. Пока читаем — всё в голове. Закроем — как ветром выдуло.

— Вот заноза! — сердится Ява. — Каких-то пять букв — и никак



не запомнишь. Когда пишется «щик», легко — во всех остальных случаях, хотя таких случаев миллион. А тут всего пять буквочек, после которых «чик», — и хоть ты тресни... Слушай, знаешь что — давай придумаем на эти пять букв слово. Слово большое — его сразу видно, а буквочки, как букашки, маленькие, разве их запомнишь.

Мне эта идея понравилась, и мы начинаем сочинять слово.

— «Же-ле-зо», — говорит Ява.

Прекрасное слово, но «л» мешает (никому оно не нужно), и нету «д», «т», «с» — большей половины букв.

— «Ди-вер-сант», — говорю я.

— Замечательное слово, ещё лучше, чем «железо», но куда ты денешь «в», «р», «н», и как ты вместо нихставишь «ж» и «з»?

Мучились мы долго. Какие только слова не брали! И «дот» и «динамит», и «желток», и «зонтик», и даже «дизентерия». Все они были неподходящие.

— «Же-же... жест»... — задумчиво тяну я.

— А зэ и дэ куда прикажешь всунуть?

— «До-о-лжность», — бормочет Ява.

— Зэ нету в твоей «должности». И лы здесь, и ны. Не проходит такая «должность».

— А ну её в болото! — сердится Ява.

— «Бо-ло-то», — бормочу я. — Тыфу! Так и с ума сойти можно!

— Слушай, — раздражённо говорит Ява, — а кто сказал, что обязательно нужно только одно слово? А если два коротеньких? А ну, какие там буквы? Дэ, тэ, зэ, сэ, жэ... Значит, так... Дэ, тэ... дэ, тэ... Ну, так о чем разговор? Дэ, тэ — это «дети». Ясно. Дальше что там? Зэ, сэ, жэ... сэ... сэ... жэ. «Са... жа»... «Са-жа»... «Дети», «сажа»... Остается зэ... зэ... за... «Дети за сажей». Всё... Готово.

— Что — готово? Ерунда какая-то! «Дети за сажей»... Никакого смысла!

— А какого тебе ещё смысла? Что ты — стихи сочиняешь, что ли? Тебе правило надо запомнить. Чтоб знать, что после чего пишется. А он — смысл, смысл!.. «Дети за сажей». Я, например, уже запомнил. «Дети за сажей» — «чик», всё остальное — «щик». Здорово! Почти как стихи.

— А вообще ничего, запомнить можно, — согласился я.

— Не «ничего», а просто здорово! — радовался Ява. — Вот если бы на все правила такое попридумывать! Сразу отличниками можно стать. Ну мы и молодцы! Гении!

Никогда мы не шли на диктант в таком весёлом настроении. Пели: «Нам не страшен серый волк...»

— Чего это вы распелись? Наверное, забыли, что сегодня контрольная? — спросила нас возле школы Ганя Гребенюк, наша одноклассница.

— Ничего мы, Гребенючка, не забыли, — ответили мы. И снова запели: — «Нам не страшен серый волк...»

Когда мы вошли в класс, то заметили, что все очень волнуются. Особенно наш первый отличник Стёпа Карафолька. Он сидел за партой белый как сметана и дрожал.

Лучше сроду не получать пятёрок, чем так портить здоровье.

В класс вошла Галина Сидоровна.

Все положили перед собой чистые листы бумаги, взяли ручки и вытянули шею, как гусаки, — приготовились.

Галина Сидоровна начала диктовать:

— «Старый извозчик привёз в штаб белогвардейского перебежчика».

Я вмиг представил себе старого извозчика, похожего на деда Саливона, такого же добродушно-лукавого и беззубого, который везёт на пролётке в штаб растерянного, похожего на Карафольку, белогвардейского перебежчика.

«Хороший диктант, — подумал я, — очень даже лёгкий и понятный».

— «Старый... извозчик...» — чётко, по словам, диктовала Галина Сидоровна, прохаживаясь между партами.

Высунув язык и склонив голову набок, мы старательно скрипели перьями.

— «...извозчик...»

Я на секунду замер.

«О! «Дети за сажей»... точно! Так что же после этих «детей»? «Чик» или «щик»? «Чик» или «щик»?»

Этого я не помнил, хоть убей. Слышалось «щик», безусловное, сто-процентное «щик», а не «чик».

— «...привёз... в штаб...» — продолжала диктовать Галина Сидоровна. Больше думать было некогда, и я аккуратно вывел: «извощик».

«Перебежчика» я за компанию (раз уж они ехали на одной пролётке) тоже написал через «щ»...

— Ну как? — спросил меня Ява после диктанта.

— Порядок, — уверенно сказал я. — А у тебя?

— Будь здоров! — подмигнул Ява.

Мы чувствовали себя именинниками.

На следующий день Галина Сидоровна вернула диктанты.

— Гребенюк — четыре, — называла она отметки. — Карафолька — пять. Ну, а Завгородний (это я то есть) — три с минусом. Рень (это Ява) — два!

Нас будто кто мокрой тряпкой по шее шлёпнул.

— Допелись! — хмыкнула Гребенючка.

Я показал ей кулак.

— А с тобой, Рень, я просто не знаю, что делать, — вздохнула Галина Сидоровна. — Через две недели экзамен, а ты ровно ничего не знаешь. Ведь суффиксы — это материал первой четверти.

Мы возвращались из школы мрачные и молчаливые. Вот тебе и «дети за сажой»! Мне было неудобно перед Явой за свою тройку с минусом. Словно я провинился перед ним. Вместе же учили, вместе придумывали этих дурацких «детей». А какие-то пол-отметки — и уже нет единства. Эх! Лучше бы и я получил двойку!

— Хочешь, я пойду и скажу, чтоб она и мне поставила двойку? Что это нечестно, что мы одинаково знаем.

— Вот ненормальный! Думаешь, я переживаю? Двойка! Плевать!

Мне вообще почему-то всегда больше везло на диктантах, чем Яве. То ли он был такой невнимательный, то ли ещё что-то, диктанты для него всегда кончались плохо. Устно он ещё мог иногда ответить грамматику на тройку, а пару раз бывало, что и на четвёрку. А в диктантах — двойка за двойкой. И я знал, что Ява очень переживает свои неудачи. Но он был гордый.

— Может, засядем за повторение? — несмело предлагаю я.

— Засаживайся, если тебе нужно, — не глядя на меня, говорит Ява, — а мне оно ни к чему.

— Да оно же знаешь как!.. Всё-таки экзамен, — осторожно начинаю я. — А что, если и на экзамене двойка! Могут же не перевести.

— Что-о?.. Эх, ты! Ничего ты не понимаешь... Думаешь, это так

легко! У них же свой план по пятёркам и даже по тройкам. А за каждую двойку знаешь какие неприятности! От них же знаешь как требуют эти самые... как его... инстанции. Я слышал, Галина Сидоровна моей маме жаловалась. Так что не бойся — тройку как-нибудь поставят. К тому же моя мама депутат. Это тоже что-нибудь да значит.

— Ну, раз так, тогда, конечно...

Явина уверенность передалась мне, и настроение у меня сразу исправилось.

Утром мы уже забыли и думать про диктант, про грамматику, про экзамены и возились на реке возле старой полузатопленной плоскодонки. Мы решили сделать из неё подводную лодку. Конечно, это была опять Явина идея.

— Воду вычерпать, дырки заткнуть, просмолить, верх забить досками. Тут перископ. Вот здесь люк. На дно балласт,— озабоченно говорил Ява.

— А двигатель?

— На вёслах будет. Нам же не надо, чтоб очень быстроходная. Лишь бы подводная.

— А дышать как?

— Через перископ.

— А на поверхность как всплывать?

— Балласт выбросим и всплывём.

— А если водой зальёт и затопит?

— Ты что — плавать не умеешь? Вот ещё!

## ГЛАВА IV

### ЭКЗАМЕН

Как быстро летят дни! Мы едва успели зашпаклевать и просмолить свою «подводную» лодку (ещё и верх не покрывали, и перископ не устанавливали), а уже и экзамен. Завтра. Мы сидим на берегу и варим на костре смолу — досмаливаем лодку.

Смола варится и булькает, как манная каша. И в груди у нас булькает тревожное предчувствие завтрашней беды.

— А чего мне переживать? — словно отвечая какому-то внутреннему



голосу, говорит Ява.— Я всё равно не успел бы выучить всю грамматику. За две недели! Кто же её за две недели выучит! Люди её веками выдумывали, головы себе сушили. Сколько учёных полысело на этой грамматике. А хотят, чтобы я её выучил за две недели. Кино!

«А кто тебе не давал целый год учить?» — хочу сказать я, но не говорю: поздно уже говорить, да и чего это я такой умный — я и сам не очень учил и тоже могу получить завтра двойку. Запросто! Экзамен — это экзамен, и кто там знает, что оно будет — удача или неудача.

— Давай, может, всё-таки что-нибудь повторим, на всякий случай,— говорю я.

— Перед смертью не надышишься. Только в голове всё перепутается.

— А Карафолька, я видел, повторяет, и Гребенючка тоже.

— Пускай. Они всё знают, им нужно повторять. А мы ничего не знаем. Нам и повторять нечего. Нам учить нужно. А всё сразу не выучишь.

Как хорошо, что Ява говорит «мы», «нам». Он знает, что мне всегда хочется всё делить с ним поровну — и радости и печали.

До позднего вечера пробыли мы с Явой на реке возле лодки...

И вот наступил день, день первого в нашей жизни экзамена.

В школе празднично и торжественно, как во время выборов (у нас и агитпункт и избирательный участок всегда в школе). В коридорах постелены дорожки, на окнах цветы, стол в классе накрыт красной скатертью. Даже плакат висит в вестибюле: «Добро пожаловать!»

Девочки в белых передниках, хлопцы непривычно умытые и причёсанные.

Входим в класс. В груди холодно, как перед прыжком с вербы в реку. Садимся. Каждый за отдельную парту. Списать — и думать нечего. Звенит звонок.

Входит Галина Сидоровна, с красивой причёской, в шёлковом платье. За ней идёт Николай Павлович, учитель географии. Он у нас на экзамене ассистент.

Галина Сидоровна становится у доски, сжимает руки, словно сейчас петь будет (она, видно, тоже волнуется), и говорит:

— На первой странице каждый напишите: «Экзаменационный диктант ученика (ученицы) пятого «Б» класса Васюковской средней школы» — и свою фамилию.

Мы задерживаем дыхание, склоняем головы, пишем.

Экзамен начался.

Ученики сопят, перья скрипят.

Пот течёт мне за воротник праздничной рубашки. Ох и мука адская этот экзамен!..

Наконец — всё!

В полном молчании мы выходим из класса. Идут все вяло, еле-еле — как после двухдневного пионерского похода.

Я подхожу к Яве:

— Ну как?

Он только рукой махнул. По всему видно, что дела у него плохи. Все надежды теперь на маму-депутата и на те инстанции, которые требуют от учителей план по пятёркам.

Давно уже можно идти домой, но все толпятся возле школы и не расходятся. Каждому не терпится узнать, как оно там, как написали. Галина Сидоровна закрылась в классе с Николаем Павловичем — проверяют.

И даже школьный пёс Собакевич, который всегда носится по двору вместе с нами, сейчас присмирел и сидит у дверей — вроде тоже переживает.

Уже дважды Николай Павлович выходил на крыльцо покурить и говорил:

— Чего вы? Идите домой. Всё равно сегодня ничего не скажем. Завтра утром приходите.

Потопчемся мы немножко, двинемся к воротам. Потом глядь — кто-то остался.

«Ага, — думает каждый, — он останется и узнает, а я как дурак дома сидеть буду. Нет!»

И назад. Сперва тихо было, потом девочки «классы» на земле понарисовали, запрыгали на одной ноге, мальчики в пятнашки стали играть. Всё-таки время не так долго тянется.

И вот наконец двери открылись, и на крыльцо вышла Галина Сидоровна. Все — сразу к ней. Хлопцы молчат, а девочки, как со-роки:

— Галина Сидоровна, ну скажите! Галина Сидоровна, ну пожалуйста-ста! Галина Сидоровна, дорогая!

Галина Сидоровна отрицательно качает головой: «Завтра, завтра». Но девочки не отстают.

— Галина Сидоровна, ну хоть намекните!

Улыбнулась учительница:

— Хватит уже, хватит вам. Успокойтесь. Отметки объявим завтра на родительском собрании. А вообще все перешли в шестой класс... Все, кроме...

И на Яве взглядом остановилась:

— Все, кроме Реня. Тебе, Рень, придётся ещё раз писать. Осенью. Переэкзаменовка у тебя. Написал ты диктант даже не на двойку, а на единицу. Сам виноват — сколько раз я тебе говорила...

Мне больно было смотреть на Яву. Он стоял бледный, с опущенной головой.

Эх ты, мама-депутат! Эх вы, инстанции, которые требуют пятёрок!

Я никогда не видел Яву, всегда независимого и насмешливого, таким униженным, жалким и одиноким. Были все — весёлые и счастливые, что перешли в шестой класс. И был он — один со своей переэкзаменовкой. Я боялся, что он вот-вот заплачет. Должно быть, он сам этого боялся. Потому что крутнулся вдруг на одной ноге, рванулся и побежал. Никто не стал его догонять. Даже я. Что я мог ему сказать, чем успокоить? Я перешёл себе в шестой класс, а у него переэкзаменовка.

Впервые в жизни разошлись наши пути. И ничто, ничто до самой осени, до переэкзаменовки, не сделает нас равными, как когда-то. Да ещё и неизвестно, что будет осенью.

С тяжёлым сердцем возвращался я домой. И радости, что я сдал первый в своей жизни экзамен, не было.

В тот день я больше Яву не видел. И не знаю, как встретили у него дома эту грустную новость. Да, уж конечно, пирогов не пекли и патефон не заводили... Знаю только, что на следующий день на родительское собрание Явина мама не пришла. Ей, наверное, было очень стыдно.

Кстати, за экзаменационный диктант я получил не тройку, а четверку. Меня даже в жар бросило, когда я узнал об этом.

Годовую мне, конечно, вывели тройку, но всё равно получить на экзамене четвёрку было... ну, как... ну, как выиграть, например, в денежно-вещевую лотерею автомобиль «Москвич». Я даже не мечтал!

Это, наверное, с перепугу, от нервного напряжения.

Когда прошло первое удивление, я сразу подумал: «Яве, наверно, будет неприятно, когда узнает». И стало мне досадно, будто я поступил не по-товарищески. Да разве я хотел!..

Грустно было. Хотя лично у меня, казалось бы, все основания были для радости: и экзамен я сдал, и в шестой класс перешёл, и в Киев послезавтра еду, в гости к дяде своему, на целый месяц.

Я так мечтал поехать в Киев вместе с Явой, пойти с ним в Исторический музей и посмотреть там и казацкое оружие, и личные вещи Ковпака, Руднева, Кузнецова и других героев... И вообще всё осмотреть. Разве во время той двухдневной экскурсии мы могли успеть что-нибудь? А целый месяц в Киеве — это же здорово! Я уж и с отцом договорился, и дядя не возражал против Явы. А теперь... Разве пустит теперь мама Яву в Киев! Вряд ли. А может... Надо всё-таки попробовать.

Я пошёл к Яве.

Он сидел на завалинке и чистил в деревянное корыто картошку и свёклу для свиньи Манюни. Это была препротивная работа, которой Ява всегда избегал. А теперь он, по-стариковски сгорбившись, покорно резал тупым ножом бугристые картофелины и свёклу с крысиными хвостами. И лицо у него было такое... такое было лицо...

Ява молча кивнул мне, продолжая резать свёклу.

— Ява,— дрожащим голосом сказал я.— Ну чего ты, Ява?

— А что? Ничего,— тихо сказал он, не поднимая головы.

Я не знал, что говорить дальше. Я стоял и молчал. Он тоже молчал. Потом, всё так же не глядя на меня, вдруг спросил:

— Едешь в Киев?

— Послезавтра. А ты?

— А я...— криво улыбнулся он.— В Париж. А потом в Рио-де-Жанейро.

...Зря я спросил — конечно же, он никуда не едет. Никуда он не едет, бедный Ява. А люди едут. Вон Карафолька сегодня утром в пионерлагерь поехал, к морю. Никогда мы с Явой не были на море. Только в кино видели. А как нам хотелось к морю!.. Синие дали, белые корабли, чайки стонут над волнами, реют альбатросы, в дымке мигает огонь маяка... «Курс норд-ост!» — кричит капитан...

Море...

В прошлом году мы дважды пробовали бежать к морю. И дважды нас ловили на станции.

Карафолька же никуда не бежал, а важно поехал в плацкартном вагоне. У открытого окна. Ещё и мороженое пломбир по девятнадцать копеек на перроне, чертяка, ел. Я сам видел...

— Так послезавтра, говоришь,— вздохнул Ява.— Ну что же. Приедешь — расскажешь.

И такая покорность неумолимой судьбе звучала в этих словах. Неужели это он, мой храбрый и мужественный друг Ява!

Эх, что сделали с человеком! И с каким человеком!

Да знаете вы, как он играет в цурки-палки, как бьёт пенальти, как прыгает вниз головой с самой верхушки старой вербы в реку! (А ну, пусть прыгнут так ваши отличники, пусть попробуют!)

Эх, люди! Ничего вы не понимаете!

Из хаты вышел дед Варава. Не глядя на нас, направился к колодцу, который был у них возле перелаза. И только дед загремел цепью, спуская вниз ведро, как с улицы подошёл к колодцу... Кныш.

— День добрый, диду,— вежливо поздоровался, стал и на нас искоса поглядывает. И вдруг говорит: — Я слышал, у вас неприятность, можно сказать, большая. Хлопчик вашенький на экзаменах в школе провалился. Один на всё село. Ай-яй-яй!

Дед нахмурился и молчит. А Кныш своё:

— Ну и бюрократы в той школе. Да как и везде теперь. Жалко им было, чтоб хлопец перешёл в шестой класс. И это, должно быть, нарочно. Знают, что мама депутат, так чтоб насолить. И вообще только здоровье отнимают у детей в той школе. И кому это нужно... Один, знаете, выучился на инженера и без штанов ходит, а другой расписаться не умеет, а имеет и хлеб, и даже с маслом... так что...

Дед как раз вытянул ведро.

— Извиняюсь, некогда мне,— сказал он и, не взглянув даже на Кныша, пошёл в хату.

Кныш скривился и пошёл прочь.

Как жаль, что нам не до него, что у нас переэкзаменовка, что не можем мы сейчас вывести его на чистую воду. Но берегись! Мы ещё доберёмся до тебя, Кныш! Мы всё раскроем!



## ГЛАВА V

### КАК ЯВА СТАЛ РОБИНЗОНОМ КУКУРУЗО

Я поехал в Киев.

Ну, что вам сказать? Этот месяц, ясное дело, был очень интересный. Побывал я, конечно, прежде всего в Историческом музее. Был я там с дядей своим, который много рассказывал мне об истории нашей Украины, об истории Киева. Целый день бродили мы по залам музея. И вообще побывал я в Киеве везде, где только можно было. Даже катался по Днепру на «Ракете», что на подводных крыльях.

Очень я скучал по Яве этот месяц. Всё время вспоминал Яву и жалел, что его нет рядом со мной. Что бы я ни увидел, всегда думал: «Вот это б Яве понравилось! Вот бы Ява обрадовался, если б увидел!»

Я даже написал ему из Киева письмо, но он не ответил. Может, боялся, что ошибок наделает. Кто его знает. Гордый он, Ява.

И вот я возвратился домой. Только с мамой, с папой поздоровался и — к Яве. В кармане электрический фонарик лежит, «динамический» (рукой нажимаешь, в середине что-то визжит и крутится и загорается лампочка — никаких батареек не нужно). Это подарок Яве из Киева.

Иду я, а у самого сердце стучит, словно колёса поезда, — ту-тук, ту-тук, ту-тук... Волнуюсь. Целый месяц же не виделись. Подхожу — смотрю, а он как сидел перед моим отъездом на завалинке над корытом, так и сидит и картошку чистит. Кино прямо! Будто он целый месяц с завалинки не вставал.

Кашлянул я, он голову поднял, меня увидел. Бросились мы друг к другу. Вот радость!

— Ну! Здоров! — хлопаю я его по спине.

— Здоров! Ну! — толкает он меня в плечо.

Не целоваться же нам.

Вытащил я из кармана фонарик.

— На,— говорю,— это тебе.

Смутился он, растерялся:

— Да зачем! Вот ещё!..

А у самого глаза так и горят. Ещё бы! Такой фонарик! Вечный!

Ява тут же стал пробовать, как он действует. А я начал рассказывать

про Киев. Мне не терпелось поделиться с ним своими впечатлениями. Это же закон — если не поделишься впечатлениями, и радости по-настоящему не почувствуешь. Я всё время говорил, а он молча кивал головой или поддакивал: «Ага», «Ты смотри», «Да ну?», «Интересно». И это было как-то непривычно. Потому что всегда он говорил, а я слушал. Фантазии у него было больше, чем у меня. А тут вышло наоборот. Сперва я увлёкся и ничего не замечал. А потом заметил, что он становится всё грустнее и мрачнее.

Я словно споткнулся, оборвал себя на полуслове:

— А вообще... а вообще ничего особенного. Ну, а у тебя как? Как тут Кныш? Ты что-нибудь новое выследил?

— Не-а.— Ява махнул рукой.— Я его почти не видел.

— Ну, а у тебя у самого как дела?

Он пожал плечами и отвернулся:

— Никак.

— Ну всё-таки? На рыбалку. В футбол. В цурки-палки. Да?

— Нет.

— Что — нет?

— Ни разу я на рыбалке не был. И в футбол не играл. И в цурки-палки.

— Да ну?

— Вот тебе и ну. Не пускает меня мать никуда. Только уроки и только возле свиней да возле коровы вожусь. Настоящим крепостным стал. Как Тарас Шевченко. Прямо хоть стихи пиши — «Мені тринадцятий минало...».

— Да-а,— как только мог сочувственно, протянул я.

Ява вздохнул:

— Замучился я, Павлуша. Не могу больше. Бежать думаю.

— Куда?

— На какой-нибудь необитаемый остров.

— Вот дуралей! Где же ты возьмёшь этот необитаемый остров? Теперь таких островов и не бывает.

— Бывает. Это ты не знаешь.

— Как же ты убежишь, когда мы и до моря с тобой доехать не сумели? Тебя же на первой станции поймают.

— А я и не пойду на станцию. Зачем мне станция?

— А как же?

— В плавни<sup>1</sup> подамся. Знаешь, сколько там островов!

Это я знал. Плавни у нас знаменитые. Начиная от нашего села на много-много километров тянутся они на юг. Как заедешь, куда ни кинь глазом — всюду плавни, от края до края.

Чистоводье чередуется с топью, покрытой кочками, с островками, заросшими осокой и вербами. Но в основном плавни — это камыши. В тех камышах люди прорезали так называемые стружки — узкие извилистые коридоры чистоводья, по которым можно проехать лодкой. Заблудиться в этих стружках — раз плюнуть.

Недаром во время войны плавни наши были партизанским краем. Сотни партизан скрывались здесь, и немцы ничего не могли с ними сделать.

А дичи в плавнях, как мошкеры, — темно. И кряквы, и чирки, и бекасы, и дикие гуси... Чего только нет!

Для охотников наши плавни — настоящий охотничий рай. «Эльдорадо» — край чудес, как говорит учитель географии Николай Павлович, тоже заядлый охотник.

Да, знаменитые у нас плавни. И, конечно, найти какой-нибудь необитаемый остров там очень просто.

— Но как же ты там жить будешь? Пропадёшь. Помнишь, как Гунька пропал?

...Жил в нашем селе когда-то блаженненький Гунька. Пришелец-бродяжка. Никто не знал, как он в селе появился. Зимой босиком ходил, без шапки. Старухи его святым считали. Тихий был, никого не трогал. Ходит себе по селу и смеётся: «Ги-ги... ги-ги». Любил в плавнях бродить. Уйдёт — два дня нету. Потом является — худой, голодный, заросший рыжей щетиной. Даже зимой в плавни ходил, по льду. В трескучий мороз пойдёт, разожжёт на острове большущий костёр; люди уже думают, плавни горят. Приходит. «Фу, — говорит, — натопил. Теперь в селе тепло будет». Два года назад пошёл Гунька в плавни и не вернулся — то ли действительно погиб, утонул где-то в болоте, то ли просто ушёл из села, так никто и не знает. Больше его не видели.

---

<sup>1</sup> П л а в н и — поросшие камышом и кустарником низкие берега и островки; затопляемые весной.

— Неужели хочешь пропасть, как Гунька? — повторил я.

— Не пропаду, — уверенно сказал Ява и вытащил из-под рубашки книгу. — Вот жил же человек на необитаемом острове, и ничего. Не пропал.

— Что за книга? — спрашиваю.

— «Робинзон Крузо». Читал?

— Нет. Что это за Кукурузо?

— Крузо, а не Кукурузо, чужак. Очень интересная книга.

— Книга книгой, а плавни плавнями. Ты лучше подумай.

— Я уже думал. И решил окончательно. Ты меня знаешь. Я только тебя ждал, чтобы посоветоваться и чтоб ты мне немного помог.

Это меня обезоружило. Раз человек обращается к тебе за помощью, отговаривать его — свинство.

— И надолго ты собираешься на тот остров? — спросил я.

— Робинзон пробыл на необитаемом острове двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней, — вздохнув, сказал Ява.

— Ого-го! Это же сколько тебе тогда будет? Сорок с хвостиком. Это мы все уже школу окончим и институты. Карафолька академиком станет, Гребенючка агрономом. Я лётчиком... если получится. А ты...

— Что ж поделаешь, — опять вздохнул Ява.

— Слушай, а кто же будет за Кнышом следить? Кто будет его разоблачать, выводить на чистую воду? Может, он и в самом деле опасный преступник?

Ява смутился. Я уже торжествовал, считая, что он сейчас откажется от своей затеи, но он сказал:

— Нет, ничего я не забыл. Но придётся тебе самому следить за Кнышом и разоблачать его. А я не могу тут больше жить. Не могу. Я помолчал.

— А может, всё-таки не будешь бежать? Перетерпишь, перемучишься как-нибудь.

— Нет, раз я решил — всё!

— А чтоб он сторел, тот Кукурузо, что надоумил тебя на остров бежать! Что же, мы до старости так и не увидимся? — с отчаяньем сказал я. — С кем же я в цурки-палки играть буду? С Карафолькой что ли?

Ява сморщил лоб, посмотрел на меня, что-то соображая. И, помолчав немного, сказал:

— Почему это не увидимся? Ты один будешь знать про остров.

И будешь иногда приезжать... Робинзон тоже не совсем один был. Потом он спас дикаря Пятницу и вдвоём с ним жил. Так что...

— Выходит, я буду у тебя дикарём,— нахмурившись, сказал я.— Ты, значит, герой... А я дикарь. Вот Кукурузо!

— Да Крузо, а не Кукурузо. Робинзон Крузо. Понятно?

— Это он был Крузо, а ты — Кукурузо. Как раз подходящее для тебя имя. Помнишь, как мы в кукурузе...— И я хихикнул.

Так Ява перестал быть Явой, а стал Робинзоном Кукурузо. Видимо, на роду ему было написано носить выдуманные имена.

«Что же случилось в кукурузе?» — спросите вы.

Охотно вам расскажу. Слушайте.

## ГЛАВА VI

### ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В КУКУРУЗЕ

Однажды (это было прошлой весной) Ява неожиданно предложил:

— Давай, Павлуша, вырастим новый сорт кукурузы.

Я уставился на него: заболел он, что ли?

А он...

— Кукуруза,— говорит,— очень важный сельскохозяйственный продукт, и выращивание новых её сортов — дело большой государственной важности. И вообще селекционеры-мичуринцы очень уважаемые люди — не меньше космонавтов. Вот моя мать, смотри, и депутат, и в Киев на совещания ездит, и в президиуме всегда сидит.

Слушал я, слушал, а потом не выдержал.

— Тю,— говорю,— на тебя! Тоже ещё нашёл весёленькое дельце — кукурузу выращивать.

Посмотрел он на меня, скривился презрительно.

— Ты,— говорит,— Павлуша, дубина. Ничего не понимаешь. Да ты знаешь, что бы это для меня значило, если бы я изобрёл новый сорт кукурузы! Какой это был бы выход! И-эх! Никакая грамматика, никакие штаны не были бы страшны для меня. Начала бы меня мама за штаны или грамматику ругать, а я ей — раз! — новый сорт кукурузы. Она — ах! — и про всё на свете забыла. Кукуруза — это же её жизнь. Освободился бы я от неприятностей навеки.

Кроме грамматики, многие беды Явы были связаны со штанами. Штаны на Яве горели. Любые новые штаны из любого самого прочного материала за полмесяца превращались в отрепье. Потому что такой уж был у Явы характер. Ява не ходил, не бегал, а летал. Если сравнить его характер с авиацией (вы же знаете, я лётчиком хочу стать!), то характер у Явы был реактивный — тысячи километров в час. Прежде всего не выдерживали таких скоростей и перегрузок штанины. Они обтрёпывались внизу, превращаясь в бахрому. Ява сокрушённо вздыхал и подстригал бахрому ножницами. Этим парикмахерским делом ему приходилось заниматься всё чаще и чаще, штаны с каждым разом становились короче. К тому же Ява всё время на что-нибудь напарывался, оставляя на этом «что-нибудь» куски штанов, и в конце концов от Явиных штанов оставался один ремешок.

Да, выращивание нового сорта кукурузы было для Явы делом очень нужным и полезным.

— Ты понимаешь,— убеждал он меня,— это же интересно. Может, мы настоящими мичуринцами станем. Разве плохо? Про нас вся республика узнает. В газетах вот такими буквами писать будут.

— Нет,— сказал я,— не хочу. Я хочу лётчиком. А лётчиков-мичуринцев не бывает, потому что в небе кукуруза не растёт... Пусть уж что-нибудь одно. Да я и не верю, чтобы мы что-нибудь стоящее вырастили. Это же надо и тут иметь,— я постучал себя пальцем по голове,— и работать много. Нет!

— А ты болтун.

— А ты сонная муха.

— А ты... тьфу на тебя!

— И на тебя тьфу!

Крепко мы тогда поссорились. Правда, через два дня мы помирились, но про кукурузу больше не вспоминали. Сразу после школы я поехал в гости в другое село, а когда приехал, Яву не застал — он в пионерлагерь уехал. Так мы с ним целое лето почти не виделись. И встретились, только когда начались занятия в школе. Я, конечно, совсем забыл о том разговоре, который был у нас весной. И вдруг он говорит:

— Знаешь, Павлуша, а ведь я новый сорт кукурузы всё-таки посадил. Я рот разинул от удивления.

— Бре...— говорю.— Где? Как?

— На маминном участке. Полез я однажды на чердак, искал колёсико, то, что ты мне подарил. А у нас ты же знаешь, на чердаке всегда валяется кукурузных початков — миллионы. Искал я, искал колёсико и вдруг наткнулся на необычный початок — ну просто как поросёнок. Сроду такого не видел. И стрельнуло мне: да это же, наверное, новый сорт кукурузы сам вырослся случайно, и никто об этом не знает. Должно быть, мама его среди других початков не заметила, не обратила внимания. Вот это дело! Счастье само в руки лезет... Вышелушил я зёрна. Ох и зёрна! Если бы я тебе одним зёрнышком по лбу саданул — вот такую шишку бы набил... Пошёл я тайком на мамин участок, самое хорошее место выбрал, повыковыривал то, что было посажено, и целый ряд своим сортом засадил. Ещё и колышки повбивал — для памяти, чтобы не спутать.

— Ну и что? — спрашиваю с нетерпением. — Вырос твой сорт?

— Да, наверное. Я не знаю. Я же в лагерь поехал. Давай вдвоём пойдём сегодня, посмотрим. Давай?

— Давай, — говорю, — раз такое дело, надо идти. Тем более, через неделю-полторы кукурузу убирать будут. Соберёт комбайн твой сорт — дудки ты его тогда найдёшь.

Разговор этот происходил на большой перемене. А когда уроки кончились, Ява сказал:

— Пошли.

— Так, может, — говорю, — сначала пообедаем?

— Да чего там обедать, не умрёшь. Мы быстро. Посмотрим только, и назад. И будешь себе хоть до вечера обедать.

Я вижу, что так ему нестерпёж, и согласился. Может, и в самом деле он новый сорт открыл!

Пошли мы.

Вышли за село, на полевую дорогу.

На небе — ни облачка. Солнце светит, нежаркое, ласковое сентябрьское солнце.

По обе стороны сплошной зелёной стеной, словно лес, стоит кукуруза, высоченная, метра три, а то и больше. Хорошо в этом году уродилась.

Идём мы и идём. Уже и села не видно.

— Долго ещё? — спрашиваю.

— Да нет. Ещё малость, и всё.



После этого мы ещё добрых километра два отмахали. Наконец Ява говорит:

— Вот тут. Видишь, табличка?

Действительно, у дороги торчит на колышке фанерная табличка, а на табличке кривыми буквами написано:

Кукуруза  
Сорт Буковинский № 1  
участок  
Надежды Рень  
Площадь 8,5 га.

— Точно,— говорю,— это оно.

— Пошли,— говорит Ява,— теперь вглубь нужно.

Свернули мы с дороги и — в кукурузу. Ява впереди, я за ним.

И сразу будто в джунгли попали. Ох и густая кукуруза! Руками всё время приходится листья раздвигать, чтобы по носу не ударили. А тут ещё и портфель мешает — цепляется. Яву я сразу из виду потерял. Только по шороху слышу, куда идти.

Через некоторое время спрашиваю:

— Ну как? Скоро?

— Скоро-скоро,— слышу далеко впереди бодрый Явин голос. Вот реактивщик!

— погоди, не спеши так,— кричу,— а то я не вижу, куда идти!

У меня уже дважды портфель из рук выпадал, и щёку я поцарапал о жёсткие кукурузные листья.

Наконец снова спрашиваю:

— Ну как? Нашёл?

— Нет ещё. Густо очень.— И в голосе слышу, нет уже той бодрости.

— Слушай,— говорю,— ты становись на четвереньки и ползи. Потому что так никогда тех колышков не увидишь.

Сказал и сам стал на четвереньки, портфель в зубы, чтоб не мешал, и пополз.

Ползу и молчу — с портфелем в зубах много не наговоришь. Во все стороны гляжу, колышки иду. С разгона прямо носом в Явины штаны ткнулся. Смотрю — он тоже с портфелем в зубах. Сели мы, портфели положили на землю, дух еле-еле переводим.

— Ну что? — спрашиваю.

— Да знаешь, — говорит растерянно, — очень трудно в этих зарослях искать. Где-то тут должно быть, а не могу найти.

— А давай, — говорю, — действовать планомерно. Прочешем этот участок по всем правилам. Ты в одну сторону ползи, я в другую, а потом сойдёмся. Кукуруза ведь квадратно-гнездовым посажена, по квадратам и будем прочёсывать. Это очень просто.

Ява повеселел:

— Правильно. Я давно говорил, что ты гений, Павлуша. Только давай портфели тут оставим, а то очень трудно их в зубах таскать.

Положили мы портфели и расползлись — я в одну сторону, Ява в другую.

Ползу и смотрю. Хоть и говорил я, что это очень просто, по квадратам, но, оказывается, не очень просто. Если голову у самой земли держать — то ещё немного видно эти квадраты-ряды, а если подымешь голову — никаких тебе квадратов, сплошные листья. Не будешь же всё время щекой о землю тереться.

Ползал я, ползал и прямо, и зигзагами, колени уже все ободрал — колышков нет.

— Ява-а! — кричу.

— Ау! — издали отзывается.

— Давай, — кричу, — назад!

— Давай!

Пополз я назад. Показалось мне, что назад полз я значительно дольше, чем вперёд. Уже давно должен был бы я встретиться с Явой, а его всё не видно. И не слышно даже.

— Ява! — зову наконец.

— Ау! — слышится где-то далеко справа.

— Ява! — кричу я. — Куда ты пополз, чтоб тебе! Не туда ты ползёшь.

— Это ты, — кричит он, — это ты не туда ползёшь! Я ползу правильно.

— Да ну тебя! Ползи сюда.

— Это ты сюда ползи!

Вот так, переключаясь, мы начали подползать друг к другу. Долго подползали. Наконец подползли. Оба злые.

— Ну, — спрашиваю, — нашёл?

— «Нашёл, нашёл!»! — передразнивает он. — Если бы я нашёл, разве я полз бы к тебе? Я бы тебя звал!

— Ну,— говорю,— хватит. Мне твоё мичуринство надоело. Я пошёл домой. Я есть хочу. Где мой портфель?

— Там, где ты его положил.

Лёг я на землю, стал осматриваться. Пыли наглотался, а портфеля не вижу.

— Это ты,— говорю,— ты виноват. Пополз куда-то. Из-за тебя мы портфели потеряли. Попробуй их теперь найти в таких джунглях.

— Это не я, это ты, как слепой щенок, пополз по-дурачки и всё запутал.

— Ну ладно,— говорю,— ссориться потом будем, давай сначала портфели найдём.

Поползли мы искать портфели.

Теперь двигались вместе, я даже для верности держался за Явину штанину.

Через полчаса мы поняли, что найти портфели в этом дремучем кукурузном лесу не легче, чем те колышки. Колени жгло огнём. И когда мы наконец поднялись, то чуть не упали — ноги онемели и подгибались, не хотели нас держать.

— Ява,— сказал я,— давай плюнем на портфели и пойдём домой. Пообедаем, а тогда придём за портфелями. А то я так есть хочу, что даже голова не работает. Какое-то гууу-гууу в голове, и больше ничего.

— Давай,— сразу согласился Ява,— а то у меня тоже живот к хребту присох. Это, наверное, потому мы и найти не можем, что голодные. А вот пообедаем, так сразу и портфели найдём, и колышки тоже. Пошли.

И Ява бодро рванулся вперёд. Я за ним. Несмотря на боль в коленях, мы шли очень быстро, почти бежали. Кукурузные листья били нас по щекам, царапали руки. Но мы не обращали внимания. Мы хотели есть.

Идти становилось всё труднее.

— Ява,— сказал я, тяжело дыша,— что-то мы очень долго идём.

Ява молчал.

— Ява,— сказал я, дыша ещё тяжелее,— где дорога?

Ява молчал.

— Ява,— крикнул я, почти задыхаясь,— мы не туда идём!

Ява остановился:

— А куда? Ты знаешь куда?

— Нет, — говорю я, едва держась на ногах, — это ты меня сюда завёл, ты и выводил!

Ява бессильно опустил на землю.

— Я бы вывел, — сказал он, переводя дух, и лёг навзничь. — Я бы вывел, если бы ты не запутал меня. А теперь я не знаю.

— Чего ты не знаешь? Чего ты не знаешь, диверсант?

— Не знаю, куда идти. Вот что. Тут поле ого-го на сколько километров тянется. Если не туда пойти, можно два дня идти и не выйдешь. Совсем заблудиться можно.

— Что-о! Что ты мелешь? Кукуруза — не лес и не плавни, в кукурузе нельзя заблудиться. Вставай и выводил меня сейчас же! Я есть хочу. Слышишь? Я хочу есть!

— Так и выходи сам, раз считаешь, что нельзя заблудиться.

— Что — сам? Что — сам? Это же твоя мать кукурузовод. А моя мать доярка. Из коровника я тебя с закрытыми глазами выведу.

— Дай отдохнуть немного. Распустил нюни. А ещё летчиком хочешь быть! Какой ты лётчик! Слюнтяй ты! Мамалыга<sup>1</sup> ты недоваренная. Знал бы твой тёзка, космонавт Попович, что у него такой земляк... Э! Только имя хорошее портишь.

Наверное, мы бы подрались, если бы не усталость и не отчаянное положение. Мы не имели права тратить силы и энергию на междоусобную войну.

Вздохнув, я лёг рядом с Явой. И тут у меня возникла идея.

— Ява, — говорю, — а что, если влезть и посмотреть, куда идти!

— Влезть? Что это тебе — дерево? Это же кукуруза. Злак. Не слышал я, чтоб люди на злаки лазили.

— Ну так что, — говорю. — Видишь, какое крепкое. Как бамбук! Может, и выдержит.

— Ну так лезь.

— Нет, ты лезь. Ты легче — у тебя штаны короче и пуговиц меньше. А я подсажу.

Ява вначале не хотел. Наверное, ему досадно было, что это не он придумал. Он привык, что все идеи принадлежат ему. Потом махнул рукой:

---

<sup>1</sup> М а м а л ы г а -- каша из кукурузной муки.

— Ну, давай попробуем.

Мы выбрали наиболее высокую и толстую кукурузину, я прислонился к ней спиной, сплёл пальцы рук, чтоб держать Яву, когда он на них ногой станет, и сказал:

— Ты больше на меня опирайся, а за кукурузу только держись.

— Ладно-ладно,— сказал Ява и, кряхтя, стал вскарабкиваться на меня. Вот уже коленом на плечо стал, опёрся руками о голову...

Ой! Ботинком по носу зацепил. Но я пока что молчу, терплю... Ботинок вдавливается мне в плечо, каблуком ключицу мне проламывает. Я начинаю шататься, колени дрожат, подгибаются, подгибаются...

— Ява,— кричу,— скорее смотри, я падаю!

И... что-то затрещало, зашумело, завизжало — словно бомба в кукурузу ударила.

Я лежу, зарывшись носом в землю. Во рту песок, в ушах песок.

Отфыркиваюсь, отплёвываюсь, протираю глаза и кричу:

— Ява, где ты? Ты живой?

— Жи... апчи... вой.— И из кучи поломанной кукурузы высовывается Явина голова.

— Ну что,— спрашиваю,— видел?

— Ничего,— говорит,— я не видел. Сплошные метёлки перед носом. Ява вздохнул.

Я посмотрел на небо.

«Смехота,— подумал я.— Космонавты летают в бескрайнем небе, среди звёзд, за сотни километров от земли, и ничего. А мы в кукурузе пропадаем».

— Ява! — подхватился я.— Это ерунда какая-то. Этого не может быть, потому что это невозможно. Ещё никто в мире ни разу не заблудился в кукурузе. Мы просто пошли не в ту сторону. Я хорошо помню, что, когда мы шли, солнце было нам в спину. Пошли назад.

Сперва Ява недоверчиво смотрел на меня. Но я говорил, наверное, так убеждённо, что он поднялся.

— Кто его знает, может, и правда. Пошли.

И мы поплелись.

Ох, как тяжело было идти! Батюшки, как тяжело было идти!

Мы не чувствовали ног под собою. Мы просто механически переставляли их, как ходули. И зачем это мы ползали на коленях!

Трудно было сказать, сколько мы шли: полчаса, час или два, - и сколько мы прошли: километр, два или десять. Но я, наконец, не выдержал.

— Ява,— говорю,— я больше не могу! Я сейчас упаду. Давай отдохнём.

Мы снова легли на землю.

Долго мы лежали.

Было тихо. Только жёсткие кукурузные листья шуршали над нами. Где-то далеко прокричал перепел, и опять стало тихо.

Даже кузнециков не слышно.

— А что, если мы совсем не выберемся отсюда? — тихо сказал Ява.— Никто же не знает, куда мы пошли. И нас не найдут. И мы погибнем. И через две недели комбайн вместе с кукурузой соберёт наши косточки.

— Надо было,— говорю,— хоть пообедать. Всё-таки дольше бы продержались. А так к утру и поумираем.

При воспоминании об обеде мне так захотелось есть, что я чуть не заплакал.

— У нас сегодня на обед борщ и вареники с мясом,— грустно сказал Ява.

— А у нас суп с галушками и жареная курица,— сказал я, еле сдерживая слёзы.

Нет, больше терпеть я не мог.

— Ява,— говорю,— давай людей звать. Давай людей звать, Ява.

Но Ява был более мужественным, чем я.

— Ты что,— говорит,— чтоб смеялись! Здоровые ребята средь бела дня в колхозной кукурузе караул кричат.

— Пускай,— говорю,— лишь бы было кому смеяться.

— Нет,— говорит Ява,— если уж так, давай лучше петь.

— Ну что ж,— говорю,— давай петь.

И мы затянули первое, что в голову пришло. И первой почему-то пришла нам в голову песня из мультфильма.

— «В траве сидел кузнечик...» — жалобно-жалобно выводил Ява.

— «В траве сидел кузнечик...» — ещё жалобнее подтягивал я.

Долго мы пели. Песни, которые знали, почти все пропели. Особенно почему-то хорошо пелись те, которые начинались на «ой». «Ой, в поле

могила», «Ой, я несчастный», «Ой, не свети, мисяченьку», «Ой, не шуми, луже», «Ой, одна я, одна», «Ой, в поле жито»...

Это «ой» мы рывкали так, будто нас кто-то в бок пинал.

Хорошо пошла у нас также песня «Раскинулось море широко». Особенно получался куплет «Напрасно старушка ждёт сына домой». Трижды пели мы эту песню, и трижды, когда доходило до этого «напрасно», у меня начинало щемить в горле. Наконец мы совсем охрипли и прекратили пение. Мы лежали, обессиленные от голода и от песен, печальные от безнадёжных мыслей.

Я почему-то засунул руку в карман и вдруг нашупал там что-то твёрдое. Вытянул и даже ахнул: да это же конфета, которую я ещё вчера забыл съесть! Да к тому же мятная! Это же и пить меньше хотеться будет.

— Ява,— хриплю,— смотри!

Ява глянул и вздохнул:

— Одна?

— Одна.

Конфета слежалась в кармане, растаяла, обёртка прилипла так, что и зубами не отдерёшь. В хорошие времена я бы её, наверное, просто выбросил. Но теперь это была такая ценность, что ой-ёй-ёй!

Я осторожно раскусил конфету пополам. Но неудачно: одна половинка вышла больше, вторая — меньше. А ещё кусать — только раскрошишь.

Я вздохнул и протянул Яве большую.

— Чего это? Давай мне ту.

— Нет,— говорю,— бери. Ты больше есть хочешь.

— Почему?

— Потому что,— говорю,— я хорошо позавтракал: яичницу ел, и колбасу, и молоко пил.

— А я! Я картошки целую тарелку, и мяса, и салат из огурцов и помидоров. Значит, ты голоднее, а не я. Бери.

— Нет. Я ещё съел пирог с яблоками вот такой и варенья блюдце. Бери ты.

— А я два пирога, и целый кувшин молока, и стакан сметаны, и творога полтарелки, и...

— А я ещё блинчики, и груши-гнилушки, и...



Наши завтраки всё увеличивались и увеличивались. Состязание в благородстве кончилось тем, что Ява с большей половины очень ловко откусил маленький кусочек, и таким образом порции сравнялись.

Мы старались сосать конфету как можно дольше, но через несколько минут во рту даже вкуса не осталось. Есть захотелось ещё сильнее. И есть и пить. Особенно пить.

Вскоре о голоде мы даже забыли. Пить, только пить!

Лишь теперь почувствовали мы себя по-настоящему несчастными. Еле шевелили мы пересохшими губами.

Солнце начинало садиться, приближался вечер.

Впереди была ночь. Доживём ли мы до утра?

— Прости меня, Павлуша, если что не так было,— неожиданно очень тихим и проникновенным голосом сказал Ява.

И я понял, что это он прощается со мной.

— И ты прости, дорогой Ява,— сдавленно прохрипел я.

Всё расплылось у меня перед глазами от мысли о том, как глупо гибнут наши молодые, цветущие жизни. Мы отвернулись друг от друга и зашмыгали носами, роняя на пыльную землю горячие слёзы в ожидании последнего часа. У меня занемела левая нога (должно быть, оттого, что я неудобно лежал). «О, уже одна нога отнимается! Значит, уже скоро!» — подумал я и ещё отчаяннее зашмыгал носом.

И вдруг совсем рядом кто-то громко сказал:

«Говорит Киев. Восемнадцать часов. Передаём последние известия».

Нас словно кто-то подбросил.

— Ява, — кричу, — это же радио в селе говорит! Мы спасены!

А он:

— Павлуша, побежали, пока говорит! А то замолчит, опять заблудимся.

И мы рванули. Ох и рванули! В ушах зашумело.

Но не успели мы пробежать и нескольких шагов, как Ява обо что-то споткнулся и шлёпнулся на землю. Я с разгона — на него.

Опомнились, сели, смотрим — а это наши портфели. Ну как в сказке прямо. Мы засмеялись глупым счастливым смехом.

Когда мы были уже в селе, Ява задумчиво сказал:

— Да, радио — это всё-таки вещь!..

— И кукуруза — тоже сила.

## ГЛАВА VII

### ИЩЕМ ОСТРОВ

Теперь вы понимаете, что Ява был настоящим Робинзоном Кукурузо. Самой судьбой предназначено ему было носить это имя.

— Ты что же, прямо сегодня хочешь бежать на остров? — спросил я.

— Ишь какой ты шустрый! «Сегодня»! — недовольно сказал Кукурузо. — Надо же сначала найти, выбрать подходящий необитаемый остров, подготовиться, а тогда уже бежать.

— А что там выбирать? Высадился на какой угодно и живи.

— Тебе — конечно! А мне двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней жить. Думаешь, легко?

— Да я разве что — можно и выбрать. Хоть сейчас. Поехали?

— Немного погодя. Через часок. Когда дед в сельмаг пойдёт.

— А что ты дома скажешь перед тем, как удрать? Они же волноваться будут. Всё село на ноги поставят. Поиски начнут. И милиционер товарищ Валигура, и все. Я себе представляю!

— Конечно же, я не скажу: «Дорогие родичи, я удираю от вас на необитаемый остров. Будьте здоровы. Пишите письма». Это же комедия. Никто же так на необитаемый остров не удирает. Матери и отцу вообще ничего не придётся говорить. Мать завтра в Киев на совещание передовиков едет. Неделю пробудет, не меньше. Отец на курсах в районе. Один дед будет дома. А деду я что-нибудь придумаю. Скажу, например, что к тётке Ганне в Пески пойду. Там же и Иришка сейчас гостит. Что-нибудь выдумаю. Чтобы панику заранее не поднимал.

— А потом что? Когда мать приедет и когда узнают, что ты пропал?

— А мне что — пусть ищут. Лишь бы не нашли. Гуньку тоже ведь помнишь, три дня искали, а потом перестали. И ничего. Теперь редко кто и вспоминает. Так и меня... — И тут голос у Кукурузо задрожал. Наверное, мысль о том, что его забудут, была всё-таки горька ему. И он поспешил перевести разговор на другое: — Главное, остров хороший найти надо. Чтоб и место рыбное было, и дичь чтобы...

— А ты и ружьё брать будешь?

— А как же. У Робинзона было даже несколько ружей. Но ничего,

я и с одной своей берданкой не пропаду. Ты же знаешь мою берданку? Бьёт как сумасшедшая. Лучше дедового зауэра.

Это, положим, Кукурузо преувеличивал. Да я не стал спорить: хлопец на двадцать восемь лет на необитаемый остров удирает, пусть потешится. В прошлом году дед подарил ему на день рождения берданку и начал брать с собой на охоту — приучать. Кукурузо очень гордился и своей одностволкой, и тем, что ходил на настоящую, взрослую охоту. Я за-видовал ему и тоже мечтал о ружье.

В сенях послышался кашель, скрипнула дверь, и во двор вышел дед Варава. Метнул на нас сердитый взгляд и сказал:

-- Я в сельмаг на минутку. Смотрите мне, не безобразничайте тут!

— Да мы ничего. Вот только на речку, может, сходим выкупаемся. Жара ведь такая, — просительным тоном сказал Кукурузо.

-- Уроки, уроки учить надо, а не купаться. Двоечник! — буркнул дед и, кряхтя, переступил через перелаз.

Я с сомнением взглянул на Кукурузо.

— Ничего, пойдём, — тихо сказал он. — Я знаю эту «минуточку». Встретятся возле сельмага с дедом Саливоном и часа три проговорят, не меньше. Помоги мне дорезать свёклу, и пойдём.

Вдвоём мы быстро дорезали свёклу, задали свинье корм и пошли.

Хотя ничего странного и не было в том, что мы едем на лодке в плавни (сколько раз ездили и рыбу ловить и просто кататься), но сейчас мы пробирались к речке тайком, всё время оглядываясь. И ни одной хорошей лодкой не воспользовались. Хотя все они были привязаны у берега и нам не возбранялось брать их — тут и моего отца лодка была, у деда Варавы целых три (челнок-«довбанка» и две плоскодонки). Мы разделись и переплыли на другую сторону, на песчаный островок, где за большим кустом краснотала лежала изношенная, как старая туфля, ничья плоскодонка, из которой мы думали сделать, но так и не сделали подводную лодку. Впрочем, перед самым экзаменом, как вы помните, мы её зашпаклевали, просмолили, и она хоть и пропускала воду, но не тонула: если не забывать вычерпывать, плыть можно. Тут же, под лодкой, лежало длинное потрескавшееся весло, которое мы ещё тогда «одолжили» у деда Варавы. Он и не заметил — у него в сарае вёсел с десяток валяется: и короткие — для челнока, и длинные — для плоскодонки. У нас знаете как на плоскодонках ездят? Стоя. Стоишь на

корме (или же на носу) и то с одной стороны, то с другой подгребаешь. Потому и весло длинное. Так грести — уметь надо! Если не умеешь, можешь — кувырк! — и корми раков. Ну, мы с Кукурузо с малолетства умели, нам не страшно.

— Черпак не забудь, а то ртом хлебать придётся. Видишь, течёт всё-таки, калоша старая, — сказал Ява.

Оттолкнулись мы и поехали.

Обогнули островок — и уже в камышах. По узенькой полоске плывём. Гребёт Кукурузо — хоть и я хорошо умею; но у него получается лучше. Гребёт тихо, осторожно — глядит в оба. Стружка узкая, всё время заворачивает. Гребёшь сильнее, чем нужно — раз! — и лодка уже носом в камыши залезла. Отталкивайся тогда назад, вытаскивай нос — морока!.. Хорошо гребёт Кукурузо — ни разу в камыши не врезался.

Я лежу на носу, смотрю в воду. Вода прозрачная-прозрачная, до самого дна видно: водоросли, корневища лилий, коряги. И даже видно, как среди водорослей рыбы шныряют. Интересно!

Всё дальше и дальше углубляемся мы в плавни. Неожиданно за поворотом открылся широкий плёс<sup>1</sup>. Гладь — ни морщинки. Белые и жёлтые лилии разбросаны, как на картинках, что на нашем базаре продаются. Только вместо лебедей посреди плёса два нырка плавают. Увидели нас — и нету. Так быстро нырнули — вроде и вовсе не было. Потом глядь — метров за двадцать появились, будто другие...

Снова мы в стружку заехали.

Ш-ш-ш! С-с-с! Ш-ш-ш! — утки пролетели.

Охотничий сезон не открылся, и, ещё непуганные, утки смело летают над нами.

— Вот бы ружьё! — говорит Кукурузо.

— Да-а, — тяну я.

Правду говорят — охотничий рай тут, в плавнях. Представляю, сколько охотников приедет на открытие сезона. И те, конечно, приедут, киевские, что всегда приезжают. Вот тот долговязый, в очках, — Олег, который собственную «Волгу» имеет. И коренастый Сидоренко. И скуластый, с редкими волосами Задвижка (настоящая фамилия

---

<sup>1</sup> Плёс — широкое речное пространство между островами.



такая). И совсем без волос, лысый, толстый Батюк. Все они кандидаты в какие-то науки.

Как бы там ни было, но и на этот раз киевские кандидаты, должно быть, придут и снова, наверное, останутся у деда Варавы. Они знают, у кого останавливаться. И с вечера по старой охотничьей традиции будут пить водку, и рассказывать разные охотничьи истории, и петь песни, и подтрунивать друг над другом. А на рассвете дед разбудит их, и они, поспешно собирая свои охотничьи доспехи, будут морщиться от головной боли, дрожать мелкой дрожью от утренней прохлады и стонать. А Батюк, как всегда, вообще не захочет вставать. Накрыв лицо шляпой, он будет хрипло бормотать сонным голосом:

— Ложитесь! Чего вы вскочили! Ночь на дворе. Не успели улечься — и уже... хр-р-у,— и сразу перейдёт на храп.

Они будут долго расталкивать его, он будет лягаться, говорить: «Идите, я вас догоню»,— наконец ругнётся и встанет. И отправятся они в плавни. Дед на челноке, они на плоскодонках. Дед только и делает, что стоит и ждёт их. Потому что они не едут, а зигзагами дёргаются по воде: с левого борта гребнут, лодка вправо плывёт, с правого гребнут — влево плывёт и так всё время. А челнок деда как по струнке идёт. Ох и челнок у деда Варавы! Лёгкий как пёрышко, летит по воде, как птица, как новые корабли на подводных крыльях. Однако усидеть на нём, кроме деда, мало кто мог. Очень неустойчивый, вёрткий челнок. Плывёшь на нём, вроде по канату идёшь,— всё время балансировать надо.

В позапрошлом году на открытие охоты охотников к нам понаехало тьма. Лодки сразу все разобрали.

А киевляне опоздали — ночью приехали. Не досталось им лодок. Один челнок дедов остался. Что делать?

— Вдвоём на этом челноке ехать и думать нечего — потонет,— сказал дед.— А то можно было бы развести на места.

— Так по одному же можно переехать,— говорит Задвижка.

— Совершенно верно,— спокойно замечает дед.— А оттуда кто лодку будет перегонять?

— М-да,— глубокомысленно промычал Задвижка.

— А если пацанов использовать! — сказал Олег (мы как раз тут же стояли).

— Ещё утопите мне пацанов,— сердито буркнул дед.

— Да нет! Чего там! — вырвалось у меня. — Мы же лёгкие. По очереди будем перевозить. А если и перевернёмся, так вы же знаете, как мы плаваем! Как рыбы!

Ну что ж, попробуйте, — согласился дед. — Только разденьтесь, хлопцы. Потому что придётся, наверное, искупаться.

Поскольку я первым выскочил, то и перевозил первым я. Перевозил Олега. Ну, перевозил, видимо, не то слово, потому что перевернулись мы у самого берега, даже не успели отъехать. Только он сел, только начал устраиваться, как мы уже и перевернулись. И хотя у берега было совсем мелко, Олег умудрился окунуться в воду с головой.

— Проклятая посудина! Душегубка, а не чёлн! — ругался он, вылезая на берег.

Товарищи смеялись, а Сидоренко сказал (он говорил, широко растягивая слова):

— Вот верт-ля-вый! Усидеть не мо-же-ет! Словно у него иго-олки в одном месте! Сейчас я поеду, раз ты не можешь.

И полез в челнок.

— Вы штанами, штанами прямо на дно садитесь, — советовал дед.

Но на дне челнока была вода, и Сидоренко не хотел мочить штанов.

— Это, чего доброго, радикулит заработаешь, — сказал он, положил поперёк бортов досточку и сел на неё.

Дед держал челнок, пока мы усаживались, а потом оттолкнул нас от берега. Я осторожно начал грести, и мы поехали. Сидоренко сидел прямо, как первый ученик за партой. Обеими руками он держал ружьё, балансируя им, словно канатоходец в цирке.

«Хорошо сидит, доедем», — подумал я. Мы уже были как раз на середине реки. И тут над нами низко-низко с шумом пролетели три криквы. Сидоренко вдруг дёрнулся, вскинул ружьё (охотник он был очень азартный), но выстрелить не успел — мы потеряли равновесие. Челнок стал клониться-клониться набок.

— Дядечка! — кричу. — Внимание, переворачиваемся!

Он только рукой по воде — ляп, ляп, ляп.

Да разве рукой за воду удержишься! Бултых!

Последнее, что я видел, — это то, как новенькие резиновые сапоги с длинными голенищами мелькнули в воздухе и вода сомкнулась над



ними. Оказавшись в воде, я сразу вынырнул и схватился за перевёрнутый челнок.

Через какую-то секунду из воды показалась голова Сидоренко, лица не видно: мокрые волосы до подбородка всё залепили.

— Ружьё! — булькнул он и снова исчез под водой: как поплавок, когда клюнет рыба.

Потом снова вынырнул, снова:

— Ружьё!

И снова под воду.

— Что там у вас? — весело закричали с берега.

— Дядько, ружьё, кажется, утопили! — закричал я в ответ.

Тут и Сидоренко уже окончательно вынырнул и, отплёвываясь, прорыдал:

— Упусти-и-и-л! Ведь ему цены нет!

Еле мы с ним до берега добрались — я челнок и весло перед собой толкал, а он... Я уж боялся, чтоб он с горя сам не утонул. Плывёт и стонет:

— О господи! Такое ружьё! Такое ружьё!

На берегу дед начал успокаивать:

— Ничего, вытащим! Вот хлопцы нырнут и вытащат.

Поплыли мы с Явой. Ныряли-ныряли — ничего не вытащили. Дно вязкое, затянуло ружьё в ил — разве найдёшь.

Пока мы ныряли, дед Варава успокаивал Сидоренко, а когда вернулись с пустыми руками, дед рассердился на него — будто Сидоренко не своё, а его ружьё утопил:

— А чего вы дёргались? Чего дёргались? Надо было сидеть спокойненько! Ехать, раз везут! Так нет же — уток ему захотелось. Первому. Ещё никто не стрелял, а он уже, видишь, дёргается. Такую дорогую вещь утопить! Разве вам можно ружьё доверить! Из пугача вам стрелять, а не из ружья.

Сидоренко виновато молчал, и не оправдывался, и не обижался, что дед его (кандидата в науки) отчитывал, как школьника. Дед часто на охоте под горячую руку и ругался, и подшучивал над ними, и они никогда не обижались. Невыгодно им было обижаться. Дед Варава знал плавни, как свой карман.

Во время войны был он тут у партизан проводником — «главным

лоцманом», как его тогда называли. И все охотники знали — как пойдёшь с дедом на охоту, никогда без дичи не будешь.

Конечно, и в этом году приедут киевские охотники к деду Вараве. Это факт...

— Как ты думаешь,— спросил я, глядя в воду,— если ружьё два года пролежало под водой в иле — испортилось оно? Или можно вытащить, почистить и снова стрелять?

— В иле оно может пролежать и тысячу лет, и ничего. Что бы тогда археологи делали, если бы вещи не сохранялись под землёй, под водой и вообще. Без работы они бы сидели.

— Вот бы вытащить то ружьё. Оно же редкостное. Из него на соревнованиях чемпионы стреляли. Думаешь, зря он так горевал.

— Никакого ружья ты, конечно, не вытащишь. Потому что его уже так затянуло, что нужно речку осушить, чтоб его найти. Может, археологи его и найдут через триста лет. Но никто не узнает, что это при нас оно утонуло и мы ныряли — думали достать.

— И никто не узнает, что ты убежал на необитаемый остров и жил там двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней. И самого острова, может быть, тогда уже не будет.

— Остров-то будет, не волнуйся.

Мы снова выплыли на плёс, довольно большой, по которому даже ходили волны с барашками (потому что как раз поднялся ветер), как по настоящему морю. Это был уже пятый плёс, который мы проплывали. И островов мы уже проехали чуть ли не десяток. Я каждый раз спрашивал: «Может, этот?.. Или этот? Хорошенький же необитаемый остров. Что тебе надо?» Но у Кукурузо было своё мнение, и все острова он браковал. По разным причинам. Тот был слишком маленький — негде разгуляться. У того берега очень заросли камышом — к воде трудно подойти. На том деревьев нет — где же дрова брать для костра. И так далее.

И вот перед нами новый остров. Словно сплошная зелёная гора: кусты краснотала, плакучие ивы и кое-где тополя. Берега заросли камышом не целиком — есть выходы к воде. Чистоводье с трёх сторон омывает остров.

— Кажется, этот,— сказал Кукурузо.— Давай пристанем.

— Давай! — с радостью сказал я, так как мне уже надоело искать.

Мы пристали.

Остров был замечательный. Будто специально созданный для такого дела, какое задумал Кукурузо. Деревьев много и сухих веток — как раз на двадцать восемь лет хватит. В камышах, даже сейчас слышно, утки крикают. Значит, дичи полно. На плёсе у самого берега рыба играет — сама в уху просится. Посреди острова поляна: не то что в цурки-палки — в футбол играть можно. На краю поляны огромнейшая старая плакучая ива стоит, ветвями землю подметает. И без шалаша от дождя спрячешься. Но шалаш, конечно, нужен.

— Шалаш я тебе помогу сделать, — сказал я, — ты же знаешь, как я шалаши делаю.

Это правда. Лучшего, чем я, шалаша никто из хлопцев в селе не сделает. Меня этому отец научил. Он плотник, строитель. Половину хат в селе строил.

На лице Кукурузо было написано сомнение:

— Робинзон, конечно, всё сам делал. Потому что он один попал на необитаемый остров...

— Так то Робинзон Крузо, а ты Кукурузо, — возразил я. — Нельзя же, чтоб всё было одинаково.

Мне изо всех сил хотелось помочь другу. Кукурузо не стал спорить. Я тут же вытащил из кармана большой перочинный нож с деревянной колодкой и принялся резать лозу. Я очень любил свой нож, никогда с ним не расставался, и от бесконечного ношения в кармане колодка его отполировалась так, что блестела, как лакированная.

Кукурузо покорно помогал мне, признавая в этом деле моё первенство. Он носил лозу, расчищал для шалаша место, заострял палки для каркаса — в общем, выполнял всю чёрную работу.

Через некоторое время под старой вербой уже стоял прекрасный просторный шалаш, крепкий-крепкий (никакие бури, никакие грозы не страшны) и такой уютный, что мне самому захотелось в нём жить. Я был очень доволен своей работой.

— Все двадцать восемь лет без капитального ремонта простоят — гарантия! — уверенно сказал я.

Лишь теперь мы вспомнили, что дед уже, видимо, вернулся из сельмага, и заторопились назад. Добравшись наконец до берега и спрятав лодку, мы до самой хаты бежали бегом.

А когда, запыхавшись, прибежали — оказалось, что дед ещё не приходил. Кукурузо был прав: «минуточка» деда Варавы имела свойство растягиваться до нескольких часов.

— Ну что! Раз деда нет, можно сейчас собрать всё необходимое, — сказал Кукурузо. — Сегодня всё приготовим, перетащим в лодку, а завтра...

— Значит, решил уже завтра? — спросил я.

— А чего тянуть. Через несколько дней приедет мать — будет сложнее.

Кукурузо ходил по хате, задумчиво взявшись рукой за подбородок, и примерялся, что брать с собой.

— Прежде всего ложку. — Он вытащил из буфета деревянную выщербленную ложку и сунул её за пояс. — Соли обязательно, без соли пропаду, — отсыпал себе в тряпочку полпачки соли. — Хлеба! — грустно посмотрел на чёрствую горбушку, что лежала на столе. — Мало...

Дед пошёл в сельмаг как раз за хлебом.

— Я тебе принесу. И хлеба и сухарей. У нас есть, — успокоил я его.

— Чаю? — Он покрутил в руках пачку с чаем. — Обойдётся. Тогда и чайник брать нужно. А у нас один...

— Фонарик не забудь. Пригодится, — напомнил я.

— Фонарик обязательно. Без фонарика нельзя.

Он прошёлся по хате, взял в руки топор, который стоял в углу у порога:

— Топор, надо было бы хоть два. У Робинзона было целых двенадцать топоров.

— Он что — жонглировал ими, что ли? — удивился я. — Зачем ему было столько? Станный какой-то твой Робинзон.

— Ты очень умный, — обиделся за своего вдохновителя Кукурузо. — Молчи лучше! Ты никогда на необитаемом острове не жил.

В это время дверь растворилась, и на пороге появился дед. Кукурузо так и замер с топором в руках.

— Ов-ва! — спокойно сказал дед. — Мебель рубить вздумал? А ну поставь топор на место.

— Да я ничего, — промямлил Кукурузо. — Я... я... я хотел показать ему, какой у нас топор хороший. А он говорит, что у них лучше... Правда же у нас лучше, диду?

Дед ничего не ответил, и мы шмыгнули из хаты.

— Фу! Чуть не засыпались! — уже за овином выдохнул Кукурузо. — И как это мы шагов не слышали!

Было действительно странно. Это значит, мы очень увлеклись. Потому что шаги деда слышны издалека. Дед ходит как на лыжах — не отрывая ног от земли: шарк-шарк, шарк-шарк!.. Кажется, еле ноги переставляет, вот-вот упадёт. Но видели бы вы его на охоте. По чернотропу на зайца дед может прошаркать так километров пятьдесят — и хоть бы что.

Сидим мы с Кукурузо за овином и размышляем, как лучше перетащить всё необходимое в лодку. Наконец договорились. Кукурузо по вещичке будет выносить из хаты и прятать в бурьяне за овином. А как стемнеет, я (чтоб Кукурузо был у деда на глазах и не вызывал подозрений) тайком перенесу всё в лодку. А завтра...

## ГЛАВА VIII

### РОБИНЗОН КУКУРУЗО ВЫСАЖИВАЕТСЯ НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Утро следующего дня. Солнечное, звонкое и голосистое: петухи поют, гуси гогочут, коровы мычат, тётки у колодцев вёдрами гремят...

Я скорчился у плетня и смотрю в щёлку, что делается во дворе у моего друга.

Подготовительные работы успешно завершены. Всё добро Робинзона уже в лодке: и берданка, и удочки, и фонарик, и ложка, и коньки (на зиму), и топор (к сожалению, один, да и то без топорщицы — ну это ничего, на острове можно будет выстрогать), и много чего другого. Червяков накопано — полная жестянка из-под бычков в томате (я слово «бычки» зачеркнул и написал карандашом «червяки», получилось «червяки в томате»). И харчей целая торба. И даже две таблетки пирамидона (на случай болезни). Итак, всё в порядке.

Теперь осталось одно — отпроситься у деда.

Дед сидит на колоде и выстругивает ручку для вил. Кукурузо ходит вокруг него и канючит:

— Диду!

— Га?

— Так я к тётке Ганне пойду в Пески.

— Отцепись.

— Диду?!

— Га?

— Так я пойду.

— Отцепись, тебе говорят. Иди лучше уроки учи.

Помолчали немного. Потом опять:

— Диду!

— Га?

— Мне с вами скучно.

— Так что, мне на голову стать, чтобы тебя развеселить?

— Я к тётке Ганне пойду. Там же Иришка. Я её столько не видел...

— Когда она дома, так только ругаешься с ней, а тут, видишь, со-  
скутился...

— Я вам и самосада принесу. Вы же знаете, какой у тётки Ганны самосад.

— У меня свой есть не хуже. Отцепись.

Опять помолчали.

— Диду!

— Га?

— Так я пойду. Да?

— Ну что пристал? А уроки?

— Так я возьму книжку и там учить буду. Вот спросите тогда у тётки Ганны.

Я притаился и думаю: «Ох и трудно же в наше время удирать на необитаемый остров!»

Долго канючит Кукурузо. Наконец терпение у деда лопается, и он говорит:

— Вот чертёнок, а не дитя! Совсем замучил. Ну иди уже, чтоб я тебя не видел! Только на три дня, не больше. И если тётка Ганна скажет, что ты уроков не учил,— вот этой палки попробуешь. Двоечник!

Кукурузо не стал мешкать, бегом побежал в хату (а то ещё передумает дед), схватил грамматику — и за ворота. Потом вдруг остановился, обернулся, потоптался на месте, вздохнул:

— Бывайте здоровы, диду! Хороший вы... Я всегда знал, что вы хороший...

— Иди-иди! — буркнул дед. Разве он знал, что прощается с ним Кукурузо на двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней.

На улице я присоединился к своему другу. Молча дошли мы до речки, молча сели в лодку и молча поплыли в плавни.

Не проронив ни одного слова, доплыли мы до острова.

В торжественном молчании перенесли все вещи на поляну к шалашу.

И вот в последний раз стоим на берегу возле лодки. Опустив головы, ковыряем носками ботинок землю. Стоим и вздыхаем. Надо прощаться, а мы не знаем, что говорят в таких случаях. Ведь не на день мы прощаемся, не на месяц, не на год даже, а на целых двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней. Ещё никто в мире не прощался на так долго.

— Ну что ждёшь? Отчаливай! — не выдерживает наконец Кукурузо.

— А ты что, спешишь? — говорю я.

— Да нет, я ничего, но вообще... Тебе ж домой нужно. Ребята, наверное, в футбол на выгоне играют.

— Да! — машу я рукой. Дескать, не нужны мне ни футбол, ни ребята. А сам думаю: «Неужели Кукурузо никогда в футбол больше играть не будет? Вот бедный хлопец!» И так мне его жаль стало! Какой же он вратарь замечательный был! Настоящий Лев Яшин мог из него вырасти.

Вздохнул я, полез в карман и вытащил свой перочинный нож.

— На, — говорю, — тебе пригодится. Ты же знаешь, какой это нож. Как бритва. Такого ни у кого нет... А у тебя обломок какой-то.

Кукурузо даже покраснел от удовольствия. Он давно с завистью смотрел на этот ножик и не раз предлагал меняться, да я не хотел. Но теперь пусть у него остаётся, раз он в футбол больше никогда не сыграет и в одиночестве жить будет.

Я ещё раз вздохнул, полез в другой карман и вынул спичечную коробочку. Там лежали рыболовные крючки, которые подарили мне в Киеве. Прекрасные крючки. Целое богатство для рыбака. И маленькие — для верховодок, плотвы и карасей; и побольше — для ершей, окуней и лещей; и большие — для шук, линей, карпов; и совсем большие, тройные, — для сомов и другого рыбьего зверья.

— Лови, — говорю, — на здоровье. Рыбой ты теперь обеспечен... Только, знаешь, когда я к тебе как-нибудь приеду, ты и мне дашь половить. Очень я привык к этим крючкам.



Почему я так сказал — сам не знаю. Я же ещё ни разу не ловил этими крючками. Наверное, жалко всё-таки было мне их. Даже больше, чем ножик. Кукурузо почувствовал это:

— Да зачем. Не надо. У меня же есть.

Однако не мог оторвать восторженных глаз от коробочки. Разве хватит у человека сил отказаться от такого подарка! Нет, хоть и жалко, но не жалко мне крючков.

Кукурузо же остаётся на необитаемом острове один-одинёшенек, как зуб во рту у деда Саливона. И никто его больше не увидит. Даже письмо ему написать нельзя. Ну да, нельзя. У него же нет адреса. У всех людей на свете есть адреса, а у него нет. Эта неожиданная мысль встревожила меня.

— Слушай,— говорю,— так нельзя. Выходит, у тебя теперь нет адреса. Никакого адреса.

— Ну так что?

— Как — ну так что? Адреса нет, понимаешь! Выходит, вроде ты вообще не живёшь на свете.

— А что же я могу сделать? — растерялся Кукурузо.

— Надо немедленно как-то назвать остров. Будет название, тогда и адрес будет.

— Давай. Я разве что — против? А как?

— Я знаю? Острова на земле все по-разному называются. Остров Сахалин, остров Мадагаскар, остров Таймыр. Нет, то, кажется, полуостров. Ну, как-нибудь так.

— Ну пусть будет остров Мадагаскар. Хорошее название. Мне нравится.

— Так уже есть Мадагаскар. Надо, чтоб такое название, которого ещё нет.

Кукурузо задумался. Долго шевелил губами, видимо перебирая в уме названия. Потом сказал:

— А знаешь что — пусть будет имени Перезкзаменовки. Перезкзаменовка меня сюда привела, и пусть будет остров её имени. Такого названия ещё нет — ручаюсь.

Я не стал спорить. Так на карте мира (хоть об этом ещё никто, кроме нас, не знал) появилось новое географическое название — остров Перезкзаменовки. Кто знает, может, когда-нибудь, через много лет, школь-

ники даже будут учить об этом на уроках: «Остров Переэкзаменовки. Знаменит тем, что на нём провёл в одиночестве почти тридцать лет ученик пятого класса Робинзон Васильевич Кукурузо». И какой-то лентяй получит двойку за то, что не будет этого знать.

Я повеселел. И прощание показалось мне не таким грустным.

— Не трусь, Робинзон, всё будет хорошо,— бодро сказал я.— На таком острове не то что двадцать восемь — сто лет прожить можно. Лишь бы рыба клевала.

— Я тоже так думаю.

— Прощай!

— Прощай!

Я сел в лодку и оттолкнулся веслом от берега.

Последняя связь Робинзона Кукурузо с человечеством прервалась. Он остался один на необитаемом острове. Теперь, даже если бы он и захотел вернуться домой, он бы не мог сделать этого сам, без посторонней помощи. Потому что у него не было лодки. А без лодки выбраться из наших плавней невозможно — утонешь. Я предлагал, чтоб он оставил себе нашу «подводную» (мы же могли воспользоваться для перевозки какой угодно лодкой), но он категорически отказался. «Это несерьёзно,— сказал он.— Это была бы какая-то прогулка: надоело — вернулся. Если бы у настоящего Робинзона был транспорт,— вряд ли бы он сидел так долго один на острове. Нет, надо по-настоящему. Никаких лодок, никакой возможности вернуться».

Героический человек этот Робинзон Кукурузо!

## ГЛАВА IX

### ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ОСТРОВЕ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКИ. ГЛАВА, РАССКАЗАННАЯ РОБИНЗОНОМ КУКУРУЗО СВОЕМУ ДРУГУ И ОДНОКЛАССНИКУ ПАВЛУШЕ

Так вот, когда оттолкнулся ты от берега и поехал и когда исчез уже за камышом, лишь морщины на воде остались,— такая вдруг тишина наступила, никогда я такой тишины не слышал (даже тогда, когда мне уши после первого моего выстрела из берданки заложило). Стою я и не дышу, словно окаменел. Тишина-тишина...

Стою я и, что делать, не знаю. И спешить мне не нужно, и делать нечего. Хоть стой, хоть сиди, хоть через голову кувyrкайся — всё равно. Никто не видит, никому до этого нет дела.

Плохо мне стало. И главное, эта проклятая мысль, что сам я отсюда не выберусь. Хоть кричи, хоть бейся головой о дерево — ничего не поможет. Не знаю, что бы я делал, если не почувствовал бы вдруг, что хочу есть. Ты же помнишь, я так волновался и спешил, что дома хорошо и не позавтракал. Это сразу привело меня в чувство. Харчей я решил пока что не трогать — кто знает, что дальше будет. Решил наловить рыбы. Выбрал я подходящее место, размотал удочки, наживил, закинул. Жду. Сижу, на поплавки смотрю и жду. Жду, жду, жду... Поплавки даже не шелохнутся. Не клюёт. Я уж и плевал на червяков, и менял их, и с места на место переходил — нет клёва. А голод меня всё больше разбирает. Сижу я, слюни глотаю и шепчу: «Клюйте, рыбочки! Клюйте, пожалуйста! Я же есть хочу». А полавки, как гвозди из доски, торчат себе просто из воды — и всё. Нет рыбы. Плавает мой завтрак под водой и никак его не достанешь.

Нервничаю я, всё время удочки дёргаю, да только червяков на крючках вытаскиваю. Хоть самих червяков ешь. Тьфу!

Сам понимаю, что время неподходящее для ужения, что клюёт или рано утром, или под вечер, но мне от этого не легче. Не ждать же до вечера — живот так подтянет, дойду совсем. Кончилось тем, что зацепил я крючком за корягу и леску оборвал. Пропал крючок — один из лучших, что ты мне подарил. Рассердился я, плюнул и пошёл к торбе — не мог больше терпеть. Как дорвался, полторбы харчей съел. Лёг на поляне животом вверх, дремать начал и незаметно уснул... Долго, должно быть, спал, проснулся, потому что почувствовал, что печёт. Солнце жарит! Притронулся рукой к лицу — щёки огнём горят. Обжёгся я на солнце. Пошёл водой умылся — печёт. Мокрой земли приложил — печёт. Вспомнил — сметаной или кислым молоком нужно. Да где же её взять — сметану! Вот тут я впервые почувствовал, что необитаемый остров — это необитаемый остров, а не наш колхоз «Светлая заря», где сметаны целые озёра. А мне бы сейчас хоть ложку, хоть пол-ложки. Ох же и печёт! Залез я в шалаш. Темно в нём, холодок. Полежал я немного, хоть и печёт, да жить нужно. Нельзя же двадцать восемь лет в шалаше пролежать. Вылез, взял топор, нож твой и пошёл вырезать топорнице.

Нашёл хороший сухой сук, вырезал топорщице, начал обстругивать и вдруг занозу в палец загнал. Да такую болезненную — под самый ноготь. Сразу палец в рот. Сосу — не высасывается, зубами давлую — не выдавливается. Иголкой бы! Иголкой бы сразу вынул... А где же иголка? В село за иголкой бежать надо. «Беги, чего же ты не бежишь?» — сам себя спрашиваю.

Чуть не заплакал я от бессильной злости. Такую нужно вещь, как иголка, забыл! Взял крючок рыболовный, начал ковырять. Но боюсь — ковыряю осторожно. Там же на конце крючка зазубрина: как загонишь, то, мало того что с занозой, ещё и с крючком в пальце ходить будешь. Ох и намучился я. Мокрый стал. А занозу всю не вынул — маленький кончик остался. И потом долго болело. Хорошо ещё, что нарывать не стало.

Солнце начало садиться, и я снова почувствовал голод. На торбу даже смотреть боялся — знал, что если подойду к торбе, то завтра придётся землю грызть. Рыба, только рыба могла спасти меня от голода.

Я опять закинул удочки. И на этот раз мне повезло. Ох, Павлуша, как я обрадовался, когда вытащил наконец первого пескаря! Был он маленький, с палец, но для меня он был дороже полуметровой щуки, которую мы с тобой поймали прошлым летом. Я даже поцеловал его, этого пескарика. Потом пошли окунишки, краснопёрки, карасики... Я так увлёкся, что не заметил, как перевернулась жестянка с червями. А когда увидел — они уже расползлись. Я даже подскочил. Ой! Без червяков и рыбы не будет. Бросился я на колени, стал ползать по берегу и собирать. Но большинство уже в землю позабирались, попрятались. К тому же темнеть начало. Еле я четверть банки насобираю... Рыбу больше не ловил, решил червяков экономить.

Разжёл я костёр, почистил ту мелюзгу, что поймал, взялся уху в старой кастрюльке варить. Варю и замечаю, что очень быстро вода выкипает — всё время доливать приходится. И под дном что-то шипит. Присмотрелся я — батюшки, да это же моя кастрюлька течёт-протекает! И как же это я раньше не заметил, что там дырки! Чуть не заплакал я от горя. Что же я теперь делать буду! В такой кастрюле только глину месить, а не уху варить. Это же решето, а не кастрюля. А другой у меня нет и взять негде. На необитаемом острове я.

Хорошо было Робинзону Крузо. Всё нужное выбрасывало ему на

берег море после кораблекрушений. Всё абсолютно, даже деньги.

Захотел двенадцать топоров — на тебе двенадцать топоров. Захотел шёлковые рубашки — на тебе шёлковые рубашки... А мне хоть бы одну кастрюлечку. Хоть бы махонькую. Да где там! Дождёшься тут в плавнях кораблекрушения! Дудки! Хоть сто лет жди! Только один раз тут было настоящее кораблекрушение. Это когда киевский охотник Сидоренко ружьё утопил, да какая мне польза от этого. У меня своя берданка есть. Нет, на кораблекрушение мне нечего и надеяться!

Похлебал я с отвращением недоваренной ухи, пожевал полусырой рыбы и сижу. Уже совсем стемнело. Даже звёзд на небе не видно — облачно. Лишь угольки в догорающем костре тлеют. В животе холодно стало, и оттуда в сердце страх пробирается — скользкий и противный. Надо что-то делать, отвлечься. Полез я в шалаш, нащупал фонарик, засветил. Нашёл тетрадь свою по языку (ты же знаешь, я и тетради и грамматику взял, чтобы дед думал, будто я у тётки учить буду). Карандаш отыскал в торбе... Тебя это удивляет, правда — не уроки ли я учить собрался? Нет! Да будет тебе известно, что Робинзон Крузо на острове дневник вёл, записывал все события, которые с ним происходили. Что же я — хуже его! Я же, как и он, на необитаемом острове. А на необитаемом острове без дневника нельзя.

Ну, подряд всё писать — ты же знаешь — я не могу. Я не писатель. Даже больше — я по письму перекламенщик. Решил я коротенько записывать только факты — хорошие и плохие. Провёл я в тетради посередине линию, разделил таким образом лист на две половины — левую и правую. В левой сверху написал «Приключения» (это для меня, ты же знаешь, что ради этого я и на остров высадился, без приключений моя жизнь — не жизнь, особенно на острове). В правой половине написал вверху «Неприятности» (что ж поделаешь, и без них не обойдёшься).

Долго я думал, долго грыз карандаш и наконец написал. Вот что у меня получилось:

#### **Приключения**

1. Наловил рыбы и съел.

#### **Неприятности**

1. Обжёгся на солнце.
2. Загнал под ноготь занозу.
3. Потерял крючок (один из лучших).

4. Съел полторбы харчей.
5. Удрали почти все червяки.
6. Протекает кастрюля, и я не знаю, в чём уху варить (хоть в пригоршне вари).

Как видишь, приключение одно и малюсенькое, как тот песчарик (да и то я его в приключения только по своей доброте записал). А неприятностей целых шесть, и все здоровенные, как акулы.

Всё это я писал, локтем прижимая тетрадь к колену и жикая себе над ухом фонариком, потому что костёр уже догорел, а разжигать его снова мне не хотелось (только не думай, что из-за того, что за хворостом нужно было идти в тёмные-претёмные заросли!).

Фонарик твой действительно вечный. Спасибо тебе за него. Но это жиканье... Жикаешь — есть свет. Не жикаешь — нет света. Я жикал. Полчаса после этого у меня в ушах жикало от одного воспоминания. И рука онемела. Написал я и думал, что всё, — день кончился и больше ничего не будет, никаких событий. Не знал я, что меня ждёт самое главное приключение, — даже не акула, а целый кит.

Спать мне не хотелось — я днём выспался. Вышел я из шалаша, сел на берегу, обхватил руками колени, а мысли разные в голове копошатся — про село, про школу, про тебя (что-то ты там сейчас поделяваешь — давно спишь, должно быть)...

Молодой месяц из-за тучки вышел, как сабля казацкая, — осветил плёс тускло-серебряным светом. Невидимые утки просвистели крыльями над головой — и тихо. Ветра нет, и даже всегда шуршащие камыши молчат, не шепчутся между собой. Я смотрю на плёс и думаю.

И вдруг тень легла на плёс, длинная-длинная. Из-за камышей выплыл чёлн — без звука, без единого всплеска, как привидение. И это было самое страшное (как во сне). В челне во весь рост стоял кто-то высокий и длинным веслом правил. Я заморгал — не пригрезилось ли... Нет! Чёлн плыл прямо к острову. Увеличивался, увеличивался, как на экране в кино; у самого берега повернул и исчез за прибрежными кустами.

Сердце моё забилося. Кто это? Водяной? Леший? Нечистая сила?.. Да что я! Это же только старые неграмотные бабки верят во всю эту

чертовщину. А я верю в радио, в телевизор, в космические ракеты! Нет, глупости, не надо бояться!.. И вдруг я вспомнил Гуньку... Того самого блаженненького, ненормального Гуньку, который два года назад пропал, исчез в плавнях... Гунька! А что, если это Гунька! Что, если он тоже, как и я, живёт в плавнях на каком-то необитаемом острове! Гунька! Он же не в себе, он же ничего не соображает. Он может увидеть меня, подумать, что я какой-то злой дух (чего бы это, спрашивается, обыкновенному, нормальному парню ночью делать в плавнях!), и задушит. Задушит — и ничего ему не докажешь. Хоть кричи, хоть плачь, хоть умоляй... Будто черви поползли у меня по спине — мокрые, скользкие и холодные. И словно петлю кто-то затягивал на шее — сдавило горло,дохнуть трудно.

Я замер, прислушиваясь. Даже сердце, казалось, остановилось, чтобы я лучше слышал. Из-за кустов донёсся всплеск, что-то плюхнулось в воду — будто кого-то с лодки сбросили. Может, это Гунька привёз кого-то и утопил... И теперь моя очередь... Я не мог больше сидеть на месте. Сделал одеревеневшими ногами несколько шагов в темноту к шалашу. И вдруг на кого-то наткнулся... Кто-то огромный схватил меня цепкими руками за плечи. Я брыкнул ногами, дёрнулся, упал. Кто-то навалился на меня, царапнул по лицу и...

Тут рассказ Робинзона Кукурузо обрывается, потому что Павлуша в этом месте ахнул, перебил, и начался разговор, которого читатель не поймёт, пока не услышит о том, что случилось в тот день и в ту ночь с Павлушей Завгородним.

## ГЛАВА X

### ГЛАВА, КОТОРУЮ РАССКАЗЫВАЕТ ПАВЛУША ЗАВГОРОДНИЙ. О ТОМ, ЧТО ОН ДЕЛАЛ В ТОТ ДЕНЬ И В ТУ НОЧЬ

Оставил я, значит, Робинзона Кукурузо на острове и направился домой. Не успел я проплыть полдороги, как произошло со мной приключение. Смотрю, в лодке что-то очень много воды — почти половина. А волны нет, и бортом я не зачерпывал. Что такое? Стал присматриваться, глядь — а в днище, как раз посередине, дырка (три пальца всунуть можно), и вода оттуда хлещет, даже булькает. Мы когда-то

именно с этой дыркой больше всего и намучились, берёзовую затычку вгоняли, замазкой замазывали. И вот вылетела эта затычка и неизвестно куда делась, вода хлещет, как из трубы, что в задачах по арифметике — «через одну трубу вливается, из другой выливается». С той только разницей, что тут только «вливается». И ответ у этой задачи один, и очень для меня неприятный. Не пройдёт и пяти минут, наберётся воды до краёв и... Без лодки до села не доплыву — очень далеко. Да и стебли кувшинок, и водоросли такие, что вмиг ноги и руки опутают, и от меня останутся только пузыри на воде. Замёрзло у меня всё внутри, задрожало, а сверху пот выступил. «Неужели конец? — думаю. — А я же только в шестой класс перешёл. Я жить хочу. Я вырасти хочу. И лётчиком стать... И на Гребенючке жениться (если никого другого не встречу)». Нет. Ни в коем случае нельзя погибать. Надо немедленно к какому-то острову пристать, дырку заделать и воду вычерпать. Нажал я на весло. А кругом сплошные камыши — землю не видно. А вода всё прибывает и прибывает — уже под коленями мне щекочет. Я головой во все стороны кручу — сушу, землю высматриваю. Наконец заметил островок и изо всех сил — туда. Пристал как раз вовремя, потому что от лодки моей осталось только сантиметра два над водой — такая себе рамочка из бортов плывёт, — в середине вода и снаружи вода, и уровень той воды одинаковый. А я в этой рамочке как портрет. Ещё бы немного, и никто бы моего портрета больше не увидел. Выскочил я, начал лодку тянуть — надо же воду вылить. Тяну, а она не тянется. Тяну, а она не тянется. Будто гвоздями ко дну прибита. Что делать? Неужели не вытяну никогда?! Что же это получается? Получается, что я тоже на необитаемом острове. Ой-ёй-ёй! Я не хочу! Я домой хочу. У меня же нет ничего с собой. Голый пуп под рубашкой. Даже ножика нет в кармане. Я же не готовился совсем. Это Кукурузо готовился. У него всё есть. Еды целая торба, фонарик, даже ружьё, не говоря уж об удочках и червяках. И остров он выбрал хороший. А это разве остров! Это кизяк какой-то, а не остров. И по размеру, и по качеству. Ни деревца, ни кустика. Даже суши настоящей нет. Сесть негде. Сплошная грязь вонючая. Если жить на нём, так только как аист, одну ногу поджав. А я не аист. Я пятиклассник, в шестой перешёл. Я не могу жить на этом острове. Помру я тут. Люди! Где вы?! Караул!

Ну да! Дозовёшься тут людей! Только лягушки квакают... Никто тут



тебя не спасёт, если сам не спасёшься, дорогой товарищ Завгородний! Надо, надо спастись.

Шлёпаю я по грязи вокруг лодки, носом шмыгаю, что делать — ума не приложу. Пробовал воду из лодки вычерпывать. Да где же её вычерпашь, если она снова через дырку набирается. Это всё равно что речку вычерпывать. А что, если дырку чем-то заткнуть? Идея! Нарвал я пучок травы, которая одна только на острове и росла, нащупал дырку, заткнул. Снова начал вычерпывать. О! Пошло дело! Хоть помаленьку, но пошло. Сантиметр за сантиметром борта лодки из-под воды вырастают. Уже и на берег тащить можно.

Кряхтя, потащил. Поташилась. Есть! Теперь надо наклонить лодку — воду вылить, которая уже не вычерпывается. А ну-ну! Ох и трудно! Красные круги перед глазами пошли. А ну ещё малость! А ну!.. Ф-фу! Наконец-то! Молодец, Павлуша! Хлопец ты будь здоров! Ого-го-го! Стоголосьм эхом покатила в плавнях радость моя безудержная... Затыкай теперь дырку получше, чтобы снова ничего не случилось.

Помахал я острову, которому так и суждено было остаться на веки вечные необитаемым, и поехал. До села добрался уже без происшествий. Только по дороге всё время на дырку поглядывал (не течёт ли) и несколько раз останавливался, чтобы проверить. Немного воды, конечно, просачивалось, но это не страшно.

Приехал я и сразу взялся лодку чинить. До обеда провозился, но все дырки заново законопатил и хорошенько просмолил.

Пока занят я был работой, то ещё ничего, а вот когда кончил, когда вышел после обеда на улицу, когда глянул на высокий тополь за воротами, у которого мы каждое утро встречались с Кукурузо, чтоб не расставаться уже до самого вечера, то такая тоска меня охватила — хоть плачь. Такой пустой показалась мне улица, всё село, весь мир — как остров необитаемый. Есть люди, и нет их, потому что нет среди них друга моего лучшего. Слоняюсь я по селу, места себе не нахожу. И каждый уголок, каждый кустик и деревце каждое о нём мне напоминают. Вот тут мы в цурки-палки всегда играли... В этих кустах прятались, когда щеглов ловили... На этом дереве соревнования верхолазов устраивали. Помнишь, как ещё тогда ветка подо мной обломилась и я вверх ногами на сучке повис, а потом упал прямо на голову и думал, что голова моя в плечи совсем влезла —дохнуть не мог. Ха-ха!

А впрочем, ты не смеялся, ты мне искусственное дыхание делал. Думаешь, я это забуду!..

И на великую китайскую стену я не могу смотреть. Там, за стеною, наш общий враг — Кныш, которого мне теперь придётся одному выслеживать и выводить на чистую воду. Эх, как тоскливо заниматься таким интересным делом одному!

А вон верба над речкой стоит. Найдётся ли теперь кто-нибудь из ребят, кто прыгнет с неё в воду. Нет, не найдётся. Так и останется твой рекорд непревзойдённым навеки. Эх, друг мой, друг, сколько бы ещё ты мог установить таких рекордов!

До позднего вечера бродил я в одиночестве по памятным для нас местам.

Наконец лёг спать.

Я лежу, и не спится мне. Я думаю. За окном темно — хоть глаз выколи. На небе ни звёздочки — облачно.

Что делает там, на необитаемом острове, друг мой Кукурузо? Спит ли?.. Вокруг никого. Догорел костёр, и со всех сторон надвигаются чёрные причудливые страшные тени... А он один, не с кем словом перекинуться, только слушает, как стучит его сердце...

А что, если случилось с ним что-нибудь? И кричит, и зовёт он на помощь, и никто-никто не слышит, только пучеглазые жабы равнодушно квакают в ответ, да утки в камышах крикают, да эхо стоголосое катится — катится плавнями и не докатывается до людей, теряется в густых камышах. Кто ж поможет ему?

Я лежу, напрягся весь, затаил дыхание. И вдруг послышалось мне, что где-то далеко-далеко пронеслось тонкое и тоскливое: «А-а-а-а-а!..» То ли еле слышный гудок паровоза на дальнем полустанке, то ли действительно голос — не разберёшь... Но я почему-то уверен, что друг в беде. И никто, никто не знает, где он. Кроме меня. И никто дороги туда не найдёт. Кроме меня. И никто не поможет ему. Кроме меня...

Нет, не могу я спокойно спать, когда друг в беде. Не могу.

— Мама,— говорю,— я пойду во двор спать. На сено. Душно очень.

— Иди,— спросонья говорит мать.— Только одеяло возьми, укройся хорошенько.

Я беру одеяло и выхожу из хаты. И сразу попадаю в густую и даже как будто липкую темноту. Иду почти ощупью, как слепой. Чтоб

невзначай не скрипнуть калиткой, прокрадываюсь в сад и уже там перелезаю через забор. Иду по селу, словно по лесу — темень и тишина. Лишь в одном месте мелькает огонёк. Это на столбе у сельсовета горит фонарь. Ветер качает его, и круглое пятно света скользит по земле, словно качели. А дальше снова темнота. Я дважды уже спотыкался и чуть не упал. Вот и речка. Тут немного светлее. Тускло блестит вода. Я сажусь в лодку, осторожно, чтобы не замочить, кладу на нос одеяло (чего я его взял — сам не знаю) и отправляюсь. Руки мои — будто не мои. Гребут механически — я их не чувствую. И всё тело — не моё: какое-то деревянное. Будто не в действительности всё происходит, а в бреду каком-то.

Лишь бы не сбиться с пути, лишь бы не заблудиться!.. Первый плёс. Стружка. Второй плёс. Теперь направо... Вон тот гнилой островок, на котором я чуть не остался навсегда... Верно. Правильно я плыву. Из-за туч выглянул месяц, и не только в плавнях, а и в душе моей сразу стало светлее и веселее. Ещё немного, ещё... Уже близко. Вот ещё эта стружка, потом поворот и — будто из узенькой улочки выехал я на большую площадь. Широкий ровный плёс отражал рогатый месяц и серебряные кудри залитых сиянием облаков, и показалась мне вдруг зелёная громада острова гигантской сказочной горой среди бескрайнего моря, и до горы той далеко-далеко, на горизонте она, а сам я маленький-маленький, как букашка. Казалось мне, что я даже дивные города на склонах горы с церквями, с дворцами, с высокими башнями (то причудливо переплелись ивовые ветви) и всадников вижу, которые мчатся по извилистым горным дорогам, и даже слышу цоканье копыт (это звенит у меня в ушах от тишины)...

Вот ведь порой причудится.

И тем неправдоподобнее и фантастичнее показалось мне то, что я вдруг увидел наяву. А увидел я огромную серую фигуру в лодке у самого берега — будто Гулливер вторгся в страну лилипутов. Я вздрогнул от неожиданности. Кто это? Кукурузо? Но у него же нет лодки! Рыбак какой-то? Но рыбаки никогда так далеко не заплывают в плавни, да ещё ночью. Рыба и у самого села прекрасно ловится...

Злодей? Пират?.. Сердце моё покатилося-покатилося куда-то вниз... Тем временем лодка исчезла за прибрежными камышами. Мне так хотелось повернуть и как можно скорее рвануть назад. Но я удержался.

Ведь там, на острове, Кукурузо, мой друг, совсем один. Я же плыву к нему на помощь. И, может, как раз в эту минуту моя помощь ему нужнее всего. Ведь у меня лодка. И если незнакомец, которого я только что видел, действительно опасный злодей и хочет причинить моему другу зло, я спасу друга, мы удерём на лодке. Быстрее, быстрее! Я налёг на весло и направил лодку к берегу. Пристал, вылез и осторожно начал красться в глубь острова. Кукурузо, наверное, в шалаше — скорее всего, спит и ничего не подозревает,— не слышно ни звука. Звать его опасно — сразу привлечёшь внимание незнакомца.

Ох, как темно, какие заросли! Ничего не видно... Внезапно, где-то там, за камышами, где был незнакомец, что-то бултыхнулось в воду. Сердце моё остановилось. Что это?.. Что?.. Ой! А что, если это... если это он уже утопил моего друга! Меня бросило в холодный пот. Прошла минута... вторая. Я стоял в совершенной темноте, вытянув вперёд руки, и не мог шевельнуться. И вдруг... вдруг на мои руки кто-то натолкнулся. Большущий, как медведь. Руки мои сами собой сжались, вцепились в его грудь. В следующее мгновение я почувствовал страшный удар по ногам и полетел на землю. Но почему-то не назад, а вперёд, на него. Должно быть, он подбил меня и бросил на себя (есть такой приём в борьбе самбо, мы с Кукурузо его знаем). Я вскрикнул и бешено замолотил руками и ногами, вырываясь. Царапнул по чему-то мягкому — кажется, по лицу, изо всех сил рванулся, вскочил на ноги и бросился бежать. Я мчался сквозь чащу, ломая ветки, спотыкаясь и натыкаясь на деревья. Но я не чувствовал боли ни от царапин, ни от ударов. С разгона я вскочил в лодку и, схватив весло, стал отгребать от берега.

Никогда я не грёб так отчаянно — лодка летела, как ракета. Всё время я панически оглядывался — не гонится ли за мной он. Нет. Погони не было видно... Опомился я лишь тогда, когда пристал к берегу возле села. Я всё время дрожал от напряжения, от усталости, от страха. Но, несмотря на усталость, по селу я тоже не шёл, а почти всю дорогу бежал — в полной безопасности я мог чувствовать себя только в своём дворе. Мокрый конец одеяла (я всё-таки замочил его) шлёпал меня по спине, словно подгонял... Как бревно, упал я в сено у сарая и долго лежал не двигаясь, словно без сознания,— приходил в себя. В голове одна за другой проносились картины только что пережитого. Что же случилось?.. Кто это был?.. Неужели Кукурузо погиб? Что делать?..

Может, разбудить отца, всё рассказать, собрать людей и — туда... А если Кукурузо не погиб? Если моя стычка с незнакомцем (теперь я уже почти гордился ею) разбудила его и дала возможность благополучно избежать встречи со злодеем? Но я не был уверен в этом. И тогда, если я приведу людей, тайна Кукурузо раскроется и выйдет, что я изменил... О нет! Изменить другу — ни за что! Я никогда не пойду на измену. Всё, что угодно, только не это. Но что мне делать? Что же делать? Долго я мучился, но так ничего и не смог придумать. Наконец усталость и сон одолели меня и я уснул...

Ночное приключение было такое неправдоподобное, что когда я утром проснулся, то подумал — не приснилось ли это мне...

Но вот ко мне подошла мать, склонилась:

— Ну как спалось на дворе, сынок? О, чего это у тебя одеяло мокрое? Разве ночью дождь был?

— Да это... это... я... воды захотелось, кружку сюда взял и разлил нечаянно.

Хорошо, что мать спешила доить корову и не стала допытываться.

Ночное приключение вспомнилось мне во всех подробностях. Но теперь оно почему-то не казалось мне таким ужасным, как ночью. Может, потому, что утро было солнечное и весёлое, а, как вы знаете, все ночные страхи проходят утром. Ночью всё кажется страшнее оттого, что темно и тихо и люди спят. А утром светит солнце, щебечут птицы, гремят вёдрами женщины у колодезев и всюду люди. Я был бодр и полон энергии. На остров, немедленно на остров! Узнать, как же там, живой ли...

Умывшись на скорую руку, я побежал в хлев. Мать ещё доила корову.

— Мама! — крикнул я. — Дайте молока, пожалуйста, скорее, потому что я бегу.

— Куда это ты? Сейчас завтракать будем.

— Да я потом. Я не хочу. Я молока только. Я с ребятами договорился на рыбалку.

— Ты хоть хлеба возьми.

Выпил я одним залпом стакан молока, отрезал большой кусок хлеба — за пазуху и на улицу со всех ног. За ворота выбежал и с разгона прямо на деда Вараву налетел — чуть с ног не сбил. Он даже пошатнулся.

— Тю на тебя! — буркнул сердито. — Ишь разогнался — как заяц с чужого поля.

— Извините!.. Здравствуйте, диду!  
— Здоров. Куда это тебя несёт? Людей с ног сбиваешь.  
— Да я на речку, на рыбалку с ребятами уговорился.  
— Проспал? — уже сочувственно и вместе с тем укоризненно спросил дед.

— Ага!.. Так я побегу! Извините! — А сам думаю: «Эх, не знаете вы, ничего не знаете, куда я спешу. Если бы знали, не то б запели».

## ГЛАВА XI

### НАСТОЯЩИЙ ПИРАТ

С волнением подплывал я к острову. И чем ближе подплывал, тем сильнее билось моё сердце: живой или неживой, живой или неживой...

И вдруг — ого-го-го-го-го!.. Я увидел Кукурузо. Живой и невредимый стоял он на берегу, высунув из кустов голову, и радостно улыбался мне. Только нос у него был облупившийся, и правую щёку наискось пересекала свежая царапина. Но что такое царапина на щеке такого геройского хлопца, как Кукурузо? Ничто! Когда я пристал к берегу, мне хотелось броситься и обнять его на радостях, но я сдержался. Я лишь толкнул его в плечо и спросил:

— Ну как? Как ты тут?

— Ничего,— шлёпнул он меня по животу и сразу добавил, взявшись рукой за щеку и покачивая головой: — Тут такое было-о-о...

— Что?! — спросил я как ни в чём не бывало, словно и не подозревал ничего.

— Да всё равно ты не поверишь, подумаешь, что я вру...

— Ну?

— Пираты на меня напали ночью. Вот тебе и ну! Дрался я. Так дрался, как никогда в жизни! Думал, что погибну. Вот видишь...— Он ткнул пальцем в царапину на щеке, потом задрал рубаху и показал синяк на боку.

— Ну? Ну? — с нетерпением спросил я.— Как же это было?

— погоди. Я всё по порядку...— И Кукурузо стал рассказывать мне то, что вы уже знаете.

Когда же он дошёл наконец до описания драки с незнакомцем —

как тот лягнул Кукурузо, как затем упал на него и начал царапаться, — у меня в животе вдруг что-то засмеялось, прощекотало в горле и вырвалось изо рта коротким хихиком.

Кукурузо обиженно хмыкнул:

— Ты что — дурной? Тебе, конечно, смешочки. Попробовал бы ты.

— А ну повтори ещё, как всё было — про эту драку, — попросил я.

Кукурузо повторил. Я покачал головой, вздохнул и сказал:

— Это я был.

Кукурузо уставился на меня как баран на новые ворота, потом молча сложил кукиш и поднёс к моему носу:

— На!

Я отвёл его кукиш и повторил:

— Это точно был я... Смотри. — Я отвернул штанину и показал на ноге под коленом здоровенную ссадину. — Твоя работа.

И я рассказал ему всё, что случилось со мной этой ночью. Кукурузо только глазами хлопал.

— Так выходит, что это... что это... мы с тобой дрались?.. А мне показалось, что был кто-то здоровенный такой...

— А мне, думаешь, нет. Прямо великан!

Мы глянули друг на друга и захохотали.

— Вот здорово!..

— Вот это да!

— И как я мог не узнать тебя?

— А я?

— Хоть бы слово сказал.

— А ты чего ж как воды в рот набрал?

— С перепугу.

— «С перепугу»!

— А незнакомец, значит, и не вылезал из лодки?

— Не вылезал.

— А куда же он делся потом?

— Исчез куда-то. Уехал. Я на дерево со страху махнул — всю ночь, как обезьяна, на ветке просидел, до рассвета. И глаз не сомкнул. Только как рассвело, вниз спустился да подремал немного.

— А чего он приезжал, как ты думаешь?

— А я знаю? Уж не в гости ко мне, во всяком случае.

- А ты слышал, как в воду бултыхнулось что-то?
- Слышал, конечно. У меня в животе даже тенькнуло.
- Может, это убийца какой-нибудь жертву свою утопил. Или вор клад прятал... А?
- Кто его знает. Пошли глянем, что там делается.
- А ты разве не смотрел ещё?
- Не успел. Только собрался — как ты приехал. Да и с берега плохо — там камыши густые очень. На лодке надо.

Мы сели в лодку и начали огигать остров, приближаясь к тому месту, где ночью был незнакомец. И хоть было утро и светило солнце, сердца наши бились тревожно — мы не знали, что нас ждёт там, за камышами. А что, если в самом деле что-то ужасное... Я грёб, а Кукурузо сидел на носу, всматриваясь вперёд. Лодка медленно огигала прибрежные камыши. Мне из-за камышей ещё ничего не было видно, когда Кукурузо вдруг воскликнул:

— О!.. Всё ясно!

Я нажал на весло и через секунду увидел сам: на тёмной воде гигантским пунктиром белели поплавки большой рыбацкой сети.

— Так вот оно что! Вот что шлёпнулось в воду! Ты прав, Кукурузо. Это был пират. Всамделишный пират. Браконьер.

О, мы знали, мы хорошо знали, что это такое — браконьер! Браконьер — это не охотник, это не рыбак, это злодей, убийца. Я помню, как однажды зимой дед Варава привёз домой на санях смертельно раненного лосёнка. Какой-то браконьер подстрелил его, но заметил охотников и сбежал. Лосёнок лежал неподвижно, и лишь губы у него вздрагивали, будто он хотел что-то сказать, и глаза глядели со смертельной тоской, казалось, вот-вот заплачут. Я и сейчас вижу эти глаза. Как ни старался дед Варава — спасти лосёнка было уже невозможно...

Мы ненавидели браконьеров. Ловить рыбу большой сетью было браконьерством. Это не была спортивная ловля. Это было хищническое, разбойничье истребление рыбы. Мы хорошо знали это.

- Ну что? Что ты скажешь? — спросил Кукурузо. — Кто это мог быть?
- Не знаю. Неужели кто-то из нашего села?
- Во всяком случае, браконьер. Это факт. Что же будем делать?
- Не знаю. Ехать в село сообщить? Не успеем. Он вот-вот приедет выбирать. Раз ночью ставил и на рассвете ещё не выбрал, значит,



с минуты на минуту приедет. Это точно. Может, он уже плывёт где-то тут, за камышами.

— И мы будем стоять и смотреть?

— А что же ты ему сделаешь? Не позволишь? Да он нас тут утопит, как котят. Никто и знать не будет. И не услышит и не увидит...

— Заяц ты пугливый!

— Ты очень храбрый! Всю ночь на ветке просидел, как курица на насесте.

— Конечно, если ты будешь тары-бары разводить, так он приедет, и мы ничего не успеем.

— А что ты хочешь успеть?

— «Что, что»!.. Давай хоть рыбу выберем и выпустим, чтоб ему не досталась...

— А если он нагрянет?

— Ну ты как Карафолька! «Если, если»! Если только языком болтать, так, конечно, нагрянет и... А ну тебя! — Кукурузо перевесился через борт, схватил конец сети и потянул в лодку. И сразу забился, засверкал на солнце большой, круглый, как тарелка, карась. — Ну же, помогай!

Я бросился помогать... Сроду не видал я столько рыбы, и такой крупной. Мы выбирали её и отбрасывали в воду подальше от лодки, чтобы она снова не попала в сети. Мы спешили, всё время озирались, боясь, что вот-вот появится хозяин сетей. Мы до крови искололи себе руки об острые плавники ершей, порезали пальцы о жабры шук. Но некогда было обращать на это внимание. А одна шука... Ох же щучище! Мы еле перетянули её через борт. Ну как телёнок прямо! Больше метра длиною. Целую минуту мы не могли оторвать от неё восторженных глаз. Всё-таки мы были рыбаки. Сроду нам не приходилось держать в руках такой шуки. И, может, и не придётся никогда. Мы разом вздохнули и, крича от натуги, бултыхнули её в воду. На прощание она так ударила хвостом, что едва не перевернулась лодка.

Выпутывать рыбу из сетей становилось всё труднее — мы устали. А выбрали только половину.

— Знаешь что, — сказал я, решительно шмыгнув носом, — режь сеть ножом! Чтoб она пропала, эта браконьeрская сеть! Чeгo её жалеть?

— Правильно, — сказал Кукурузо, вытащил из кармана мой бывший острый, как бритва, нож, и дело пошло веселей...

Наконец последняя рыбина была выпущена на волю. Мы бросили сети обратно в воду, и Кукурузо сказал:

— Ну всё, теперь айда!..

Нам здорово повезло, просто здорово. Только мы вытащили на берег лодку, только замаскировали её в кустах, как за камышами, там где мы только что были, раздались голоса. Сперва мы не слышали, о чём говорят. Различали только, что один голос мужской, другой женский. Потом мы осторожно подобралась к самому камышу, даже в воду залезли,— прислушались.

— Что за чёрт... нет ничего,— бубнил мужской голос.

— Потому что ты, наверное, ставил так! Растяпа! — раздражённо скрипел женский.

— Да так же, как всегда, ставил! И в том же месте. Всегда столько рыбы было, а тут...

— О, смотри, и сеть порванная!

— Ох ты! В самом деле! И тут... и тут... Что же это такое?

— А то такое, что ты порвал её, негодяй! Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты осторожненько! Такие деньги отдали за эту сеть! А теперь! Плакали мои денежки. Ой, горе ж моё, горе с таким мужем! Ну смотри, ну смотри, что стало с сетью! О господи!

— Да не виноватый я, ей-богу, не виноватый. Не рвал я сети. Целёхонькие вчера были. Чтоб я бога не видел!

Мы притихли, замерли за камышами.

— Кныши! — еле слышно шепчет Кукурузо.

Я молча киваю головой. Я давно уже узнал голоса, а это: «Чтоб я бога не видел!» — развеяло последние сомнения.

## ГЛАВА XII

### НЕОЖИДАННЫЕ ГОСТИ. ИГОРЬ, ВАЛЬКА И ОСТАЛЬНЫЕ

Я не знаю точно, что ощущают пограничники, когда лежат в засаде и слышат разговор шпионов, но мне кажется, что мы чувствовали что-то очень похожее. Мы забыли обо всём на свете. Мы думали только, чтобы не пропустить ни слова и чтобы не выдать себя.

Кнышиха говорила раздражённо и сердито:

— Ну! Ну что я теперь людям скажу?! Завтра же вечером приедут. Близкий тебе свет — из Киева мотоцикл гонять. Да и деньги пропадут... Всю ночь сегодня будешь сидеть, пока сети не починишь. Чтоб завтра мне вечером поставил! А я уж их как-нибудь уговорю переночевать. Придётся за пол-литрой сбегать... Ох, горе моё! Ну, подожди! Я тебе этой пол-литры не прощу! Это слёз моих пол-литра! Дорого тебе обойдётся эта пол-литра, изувер!

Кныш только вздохнул.

— Ну давай, давай поехали уже. Ковыряешься, как неживой!

Это были последние слова, которые мы слышали. Из-за камышей нам не было видно Кнышей, и потому мы ещё несколько минут напряжённо прислушивались, пока не убедились, что их уже нет.

— Так! Теперь всё ясно, — сказал наконец Кукурузо.

— А ты думал — шпион.

— А что? Может и шпион. Суслик, а не человек. Долгоносик.

— Да, теперь понятно — и та торговля в парке, и те верзлы на мотоцикле, и всё остальное. Вот гадюка! Так он всю рыбу уничтожит.

— Что же будем делать? Завтра он снова поставит сети и если...

Кукурузо не договорил. Вдруг с плёса донеслась звонкая песня:

Пусть всегда будет солнце,  
Пусть всегда будет небо,  
Пусть всегда будет мама,  
Пусть всегда буду я!

Голоса были мальчишечьи и девчоночьи — бодрые голоса. Казалось, что прямо по воде и болоту шагает сквозь камыши весёлый пионерский отряд. Мы удивлённо переглянулись. Что такое? Потом схватились и побежали на берег — туда, откуда виден был плёс. Но ничего не увидели — мешали камыши.

— А ну айда на дерево! — крикнул Кукурузо.

Мы быстро вскарабкались на старую иву, под которой стоял шалаш, — это было самое высокое дерево на острове. И тогда увидели: из стружки на плёс выплывали, будто лебеди, шлюпки. В шлюпках сидели пионеры в белых майках, в белых панамках. В первой шлюпке стоял во весь рост стройный высокий парень в белых брюках, без майки.

Это был, наверное, вожатый. Под бронзовой кожей его выделялись могучие мускулы. Казалось, этот парень сошёл прямо с физкультурного плаката: «Готовься к сдаче на значок ГТО!»

Но вот песня кончилась, и вожатый громко сказал:

— Друзья, предлагаю на этом острове сделать остановку. Как вы считаете, товарищ штурман? — склонился он к маленькому скуластому пареньку с нахмуренными бровями, который сидел на корме.

— Только так! — очень серьёзно ответил тот.

Все почему-то засмеялись.

— Тогда держите курс на остров, штурман! — в тон ему сказал вожатый.

— Только так! — повторил паренёк.

И снова все засмеялись. Но на штурмана это не произвело никакого впечатления. Он даже бровью своей нахмуренной не повёл.

Одна за другой шлюпки пристали к берегу. И остров вмиг превратился в пионерский лагерь: смех, крики, беготня. Кто-то играл в мяч, кто-то уже плескался в воде, кто-то ловил сачком бабочек.

Мы сидели на дереве, не зная, что нам делать — показываться или нет. Впрочем, долго колебаться нам не пришлось. Какая-то высокая голенастая девочка наткнулась на шалаш и воскликнула:

— О! Смотрите! Здесь кто-то живёт!

Все сбежались. Подошёл и вожатый... Смуглый ловкий мальчишка с фотоаппаратом через плечо юркнул в шалаш и сразу же выскочил, держа в руках электрический фонарик, который я привёз Кукурузо из Киева.

— Фонарик, — пояснил он, — механический. С магнето. Даёт ток только тогда, когда нажимаешь на эту ручку.

И начал жикать, показывая. Кукурузо беспокойно заёрзал на ветке.

Голенастая девчонка тоже юркнула в шалаш и вытащила оттуда ружьё.

— Смотрите, настоящее, охотничье...

— Ой, осторожно: может, оно заряжено. Ещё выстрелит случайно! — взвизгнул кто-то из девочек.

Кукурузо не выдержал:

— А ну не трогайте!

Все сразу подняли головы. Прятаться больше не было смысла. Мы слезли с дерева. И сразу нас обступили пионеры.

- А кто вы такие?
- Что вы тут делаете?
- Это ваш шалаш?
- И ружьё ваше?
- Вы охотники?
- Вы тут живёте?

Я растерянно посмотрел на Кукурузо.

Он нахмурился и молчал.

— Да, они, наверно, просто рыбачат тут...

— Или из дому сбежали.

— Или в индейцев играют. Как «Маленькие дикари» Сетона-Томпсона. Помните?

— Или в робинзонов... Правда ж?

Я совсем растерянно взглянул на Кукурузо. Мой друг густо-густо покраснел. И вдруг сказал:

— Ни во что мы не играем... У нас ответственное задание. Мы браконьера ловим.

— Ну-у?

— Вот это здорово!

— А кто же вам поручил?

— Почему это нам кто-то должен поручать? — пренебрежительно хмыкнул Кукурузо. — Мы его сами выследили и сами ловим.

Заметив, с каким серьёзным интересом смотрят на него пионеры, Кукурузо совсем осмелел:

— А ну положь ружьё. И фонарик отдай.

Фонарик и ружьё немедленно были положены на место.

— А всё-таки, как вы выследили браконьера? И как вы его будете ловить? — спросил смуглый паренёк с фотоаппаратом.

— И ружьё у вас тоже для этого? Чтоб ловить? — спросила голенастая девчонка.

Я решил, что надо перевести разговор на что-то другое.

— А у вас что — поход? — поспешно спросил я. — Или просто так — прогулка? И откуда вы вообще прибыли?

— Мы из Киева. Юные следопыты. У нас поход по местам партизанских боёв, — охотно объяснил парень с фотоаппаратом.

— Только так! — подтвердил штурман.

— Мы уже домой возвращаемся. Три недели в походе — прибавила голенастая девчонка.

— Не преувеличивай, Валька! Не три недели, а девятнадцать дней. Сегодня двадцатый, — вмешалась в разговор остроносенькая девчонка в очках.

— А вы не боитесь заблудиться в наших плавнях? Они ж знаете какие!

— Да у нас же и карта и компас. Чего же бояться!

— Послушай, Игорь! — обратился к пареньку с фотоаппаратом вожатый. — Надо вот что выяснить. Если ребята в самом деле ловят браконьера, может, мы им тут помешаем. Нас много, мы шумим — ещё спугнём его. Вы не стесняйтесь, скажите — если так, мы можем переехать в другое место. Нам же всё равно.

Мы с Кукурузо переглянулись.

— Да чего там, оставайтесь, — сказал Кукурузо. — Он приедет только ночью, да и то не сегодня, а завтра. Так что до завтрашнего вечера вы нам не мешаете.

— Ну смотрите, — сказал вожатый и обратился к пионерам: — Раз так, вынимайте продукты, разжигайте костёр — будем завтрак готовить.

— Только так! — авторитетно подтвердил маленький скуластый штурман.

Пионеры сразу опять загалдели и побежали к шлюпкам.

— Ты, Игорь, займись костром, — сказал вожатый. — Ты у нас мастер.

— Пойдём, я покажу, где хворост, — по-хозяйски предложил Кукурузо.

И мы втроём пошли в глубь острова. Шли и, как всегда бывает в начале знакомства, смущённо молчали — не знали, о чём говорить.

И вдруг Игорь, не раскрывая рта (мы это хорошо видели), громко не то рявкнул, не то гавкнул. И сразу где-то в середине у него заиграла музыка. Настоящая музыка. Джаз. Такое, знаете: бз-вз, дудль-будль, бум-бем, бу-га-га... Мы остановились и вытаращили глаза на Игоря: что за чертовщина!

Он засмеялся и передвинул из-за спины вперёд то, что мы считали фотоаппаратом.

— Приёмник. Портативный. На транзисторах... на полупроводниках.

Это я только в футляре от фотоаппарата его собрал. Потому что другого корпуса не было. Да и удобно. Через плечо носить можно.

Вот оно что! Так это переносный маленький радиоприёмник. Как мы сразу не догадались! О том, что такие есть на свете, мы знали. Я в Киеве видел, да и у нас в сельмаге продавались когда-то, «Турист» называются.

— Хорошая штука,— опомнившись, снисходительно сказал Кукурузо.— Сколько дал?

— Что — дал?

— Ну заплатил сколько?

— Нисколько. Сам сделал.

— Что-что? — Кукурузо скривился и приставил ладонь к уху, будто недослышал.

Я хихикнул.

— Сам, говорю, сделал,— серьёзно повторил Игорь.

Я ещё раз хихикнул.

— Ага,— криво усмехнулся Кукурузо.— Ну да. Я же и спрашиваю: сколько дал? У нас в сельмаге «Турист» продавался. Тридцать пять рублей. Красивый, под перламутр. Ну, а этот сколько?

— Вот чудак, не верит... Ну, как хочешь...

Из кустов вышел вожатый:

— О чём это вы, ребята, спорите?

— Да ничего, просто так...— махнул было рукой Кукурузо, но потом, глянув снизу на вожатого, неожиданно ехидно спросил: — Скажите, а у вас все пионеры такие вот... или только этот?

— А что такое?

— Да ничего... Просто он говорит, что этот приёмничек сам сделал... Может, вон та девочка настоящий автомобиль сама сделала, а тот штурман — «только так» в космос летал?

— Насчёт космоса и автомобиля не скажу, а вот приёмник он действительно сам сделал. Это точно. Он у нас молодец! В радиокружке уже третий год. Академиком будет.

Вожатый говорил серьёзно, без всяких шуток. Не верить ему было невозможно. Кукурузо сразу скис и сморщился, как футбольный мяч, из которого выпустили воздух. Насмешливые огоньки в глазах погасли, концы губ опустились. Я тоже был удивлён. Мне почему-то всегда

казалось, что все эти умненькие образцово-показательные ученички, которые мастерят действующие модели кораблей и самолётов, выпиливают из фанеры лобзиком разные кружевные полочки и сотворяют прочие выставочные штуки, от которых ахают учителя и родители,— все эти «гении» обязательно должны быть хилые, длинноносые и в очках. И обязательно «с приветом». Так я всегда думал. А тут перед нами стоял нормальный курносый хлопец — мускулистый, загорелый, по всему видно, физкультурник. Его скорее можно было представить на спортплощадке, среди шумной ватаги спортсменов, чем в тихой лаборатории, углублённым в перепутанные внутренности какого-нибудь радиоприёмника.

Мы молчали растерянные и сбитые с толку.

Вожатый внимательно посмотрел на нас и деланно сердито сказал:

— Что же вы, братцы, разболтались тут, а хворосту не несёте. Люди же голодные. А ну давайте быстрее!

Это сразу вывело нас из оцепенения. Мы бросились поспешно (даже слишком поспешно) собирать сухие ветки.

И через минуту уже тащили на поляну большие охапки хвороста. Особенно старался Кукурузо. Он тащил такую огромную охапку, что я боялся, как бы он себе живот не надорвал.

Голенастая девочка Валька, увидев это, восторженно вскрикнула:

— Ого-го!

И я не знаю, отчего больше был такой красный Кукурузо: то ли от напряжения, то ли от этого «ого-го». Он вообще почему-то часто посматривал на ту Вальку. Нашёл на что смотреть!

Страшило какое-то! Тощее, пучеглазое, длинноногое! Хуже Гребенючки в сто раз!

Все стояли на поляне и смотрели, как ловко Игорь разжигал костёр. Ты смотри, городской, а умеет...

Вскоре посреди поляны большой костёр уже лизал небо огненными языками.

— Ну, а чья очередь сегодня кашеварить? — спросил вожатый.

— Сашка! — воскликнула Валька.

— Сашка, Сашка! Правильно! — закричали отовсюду, и все посмотрели на штурмана.

— Твоя? — спросил вожатый.

— Только так! — сказал тот.



— Значит, нам сегодня везёт,— улыбнулся вожатый.

— Везёт! Везёт! Уху! Сашок, обязательно уху!

— Ушицу! — слились в одно десятки голосов.

— Только так,— впервые за всё время улыбнувшись, закивал головой Сашко.

Теперь, когда все стояли вместе около костра, было особенно заметно, что Сашко очень маленького роста, ниже всех. Может быть, потому он и держался так серьёзно и нахмуренно, чтоб казаться солиднее. А ещё было видно, что все его любят и если подтрунивают над этим его «только так», то совсем не обидно, а скорее ласково.

Сашко принялся готовить завтрак. Девочки, в том числе и Валька, помогали ему, чистили картошку и рыбу, которую достали из сетки, что была привязана к корме одной из шлюпок и опущена в воду. Остальные пионеры разбрелись по острову кто куда. Как-то так само собой вышло, что мы очутились рядом с Игорем. Игорь сидел на пеньке и строгал ножом палочку — видно, что-то собирался мастерить. Мы с Кукурузо сидели возле пенька на корточках, уткнувшись подбородками в колени, и задумчиво ковырялись в земле. Потом Кукурузо кашлянул и, насупившись (чтоб скрыть смущение), сказал хрипло:

— Дай посмотреть... приёмник... Можно?

Игорь сразу отложил ножик и палочку:

— А чего же... Конечно. Пожалуйста.

Он открыл футляр:

— Вот настройка, это диапазоны, это громкость,— показал, где что крутить.

Кукурузо склонился над приёмником. Я тоже пригнул голову. Кукурузо оттолкнул меня локтем:

— Не дыши туда. Запотеет и испортится.

Игорь улыбнулся:

— Да ничего. От этого не испортится.

Кукурузо долго крутил в руках приёмник, и мы молча слушали голоса далёких стран.

— Да-а... Ценная штука,— сказал наконец Кукурузо и добавил: — Ну, по физике у тебя, конечно, пятёрка?

— Пятёрка,— просто и без хвастовства ответил Игорь.

— А двойки ты хватал когда-нибудь? — с надеждой спросил Куку-

рузо.— Хотя бы по поведению, по пению, по рисованию, что ли? Или круглый отличник?

— Отличник,— словно извиняясь, сказал Игорь.— Все участники нашего похода — отличники. Такое было условие.

Кукурузо тихо вздохнул.

В это время из кустов выглянула Валька. Должно быть, девочки уже закончили свою работу. Я видел Вальку, а Игорь, который сидел к ней спиной, нет. Валька тихонько подкралась к нему, и я не успел даже открыть рот, как она столкнула его с пенька. Игорь ничего не подозревал и, конечно, вверх тормашками полетел в траву.

— Даме всегда надо уступать место,— сказала Валька, садясь на пенёк.

Игорь поднялся и только улыбнулся в ответ.

Мы с Кукурузо удивлённо переглянулись.

Хорошее дело! Толкового парня — физкультурника, который сам смастерил приёмник, какое-то длинноногое страшило швыряет на землю, будто это не парень, а мешок с картошкой. А он только улыбается...

Попробовала бы мне сделать такое даже Гребенючка, я б ей так дал, так дал, что она десять раз перевернулась бы!

Постойте, а что это с Кукурузо?

— А ну дай мне! — нахально говорит Валька и протягивает руку к приёмнику.

И Кукурузо, телёнок, преспокойно отдаёт приёмник. Вот дурень. Что это — её приёмник, что ли? Чего это она распоряжается.

Впрочем, все эти бодрые возгласы звучат, конечно, только в моей душе. Я молчу. Это же не мой приёмник и не у меня его отбирают.

Валька начала настраивать приёмник, по-птичьи склонив голову к плечу и глядя в небо. Поймала какую-то тягучую мелодию и вдруг весело воскликнула:

— О! О!

Мы удивлённо посмотрели на неё — чего это она вопит?

Мечтательно глядя на плёс и слушая музыку, она тихо сказала:

— «Лебединое озеро»... Адажио...

Я скривился. Вот задавака! Говорит такое, что ничего понять нельзя.

А Кукурузо напустил на себя серьёзность и, нахмурив брови, говорит:

— Нет, это озеро скорее не лебединое, а утиное. Лебеди у нас не водятся. Зато уток — тьма-тьмущая!

Валька вдруг как захохочет:

— Ой, держите меня! Ой, не могу! Вот чудак! Я же не про это озеро, а про музыку к балету композитора Чайковского «Лебединое озеро». Как раз сейчас передают.

Кукурузо — будто кто лицо кипятком ошпарил. Вся кровь, какая только у него была, бросилась ему в лицо.

— Можно подумать, что я не знаю — сердито буркнул он. — Прекрасно знаю этот знаменитый балет. А про наше озеро я просто так сказал. Для интереса... Для смеха.

Я отвернулся. Не могу смотреть в глаза человеку, который нагло врёт. Ничего он, Кукурузо, не знал, никакого «Лебединого озера». Потому что слух у него был прегопанный. Петь он мог только со мной. Подтягивать. А у самого у него все песни получались на один мотив. Мне было досадно на Вальку, что она заставила моего друга так бессовестно врать. И вообще, чего она пристала к нам?..

И вдруг, словно подслушав мои мысли, Валька резким движением выключила приёмник и сказала:

— Вы на меня сердитесь, ребята, да? Что я пришла к вам и пристаю, да? Так я пойду... Вы не сердитесь. Просто мне хотелось познакомиться с вами...

И так она это просто сказала, что мне стало неудобно. И ни я, ни Кукурузо не нашли что ответить.

Валька встала, сунула Кукурузо в руки приёмник и побежала к костру.

— Чудная какая-то... правда? — пожав плечами, смущённо сказал Кукурузо.

— Она хороший хлопец, — неожиданно покраснев, сказал Игорь. — У нас с ней все дружат... А чего ты не включаешь приёмник? Ты включай, не стесняйся. Я недавно поменял батарейку.

Я внимательно посмотрел на него и понял, что он умышленно меняет тему разговора, что больше о Вальке говорить не стоит. Я его хорошо понимал. Мне тоже было бы неприятно, если бы кто-нибудь говорил о Гребенючке... Я не знаю, сколько мы ещё просидели на берегу возле пенька, но вот послышался голос водителя:

— Игорь, ребята, идите скорее! Уха готова!

— Пошли! — сказал Игорь.

Я как выпил тогда с утра стакан молока, так после этого маковой росинки во рту не было. И предложение Игоря мне, конечно, очень понравилось. Думаю, что и Кукурузо хотел есть не меньше.

Но неожиданно он сказал Игорю:

— Ты иди, а мы тут посидим. Мы как раз перед вашим приездом хорошенько позавтракали.

Я заморгал глазами и разинул рот, но, конечно, промолчал.

— Да не выдумывайте, ребята, пойдёте! Такой ухи вы сроду не ели, ручаюсь! — уговаривал Игорь.

Кукурузо упрямо отказывался. Я, глотая слюни, поддерживал его.

Наконец Игорь махнул рукой.

— Да ну вас! Подождите, я сейчас вожатого на вас напущу! — и побежал к костру.

Однако через минуту вместо вожатого прибежала длинноногая Валька. И сразу набросилась на нас:

— Это ещё что такое?! А ну марш есть уху! Если бы вы меня пригласили, что, я разве отказалась бы?! Я бы отказалась разве, если бы вы меня пригласили?! А ну быстрее!

И, к моей величайшей радости, Кукурузо, который так упрямо отказывался перед Игорем, тут вдруг моментально уступил и покорно полёлся за девчонкой. И снова мне почему-то вспомнилась Гребенючка...

Я не знаю: то ли я был просто очень голоден, то ли в самом деле уха была какая-то особенно вкусная, но мне показалось, что я действительно сроду не ел ничего подобного. А уж в ухе я разбирался. У нас, в нашем «рыбачьем» селе, умели её варить, и сам я варил не раз.

Но эта была на редкость вкусная. Все причмокивали от удовольствия и хвалили Сашка-штурмана. А он сидел возле котла с половником в руках, как всегда нахмуренный, и внимательно следил, кому дать добавки.

Теперь мне было понятно, почему все так обрадовались, что сегодня очередь Сашка готовить завтрак. Он был у них признанным кашеваром.

Вскоре все наелась и разлеглась на траве вокруг костра — отдохнуть. Кто-то первый тихо затянул песню, кто-то поддержал, и песня выросла, окрепла и взлетела над плёсом — даже пригнулись камыши...

Реве-с та сто-огне Дні-іпр широкий.  
Сердитий ві-ітер за-авива-а...

Как хорошо было вот так лежать на траве, смотреть в голубую бездну неба и хором петь песню. Казалось, вся земля, весь мир слышит её.

Вожатый тихонько встал, пошёл к лодкам и вернулся с аккордеоном. Песня зазвучала ещё сильнее, ещё слаженней...

Когда кончили «Реве та стогне...», вожатый сказал:

— А теперь нашу, пионерскую: «Взвейтесь кострами». Затягивай, Сашко.

— Только так,— откликнулся Сашко, прокашлялся, подождал, пока аккордеон проиграет вступление.

Я никогда бы не подумал, что у него такой чистый, звонкий и высокий голос. «Вот тебе и «только так»! Мало того что знаменитый кашевар, ещё и певец какой!»

Взвейтесь кострами,  
Синие ночи.  
Мы пионеры —  
Дети рабочих...  
Близится эра  
Светлых годов.  
Клич пионера:  
«Всегда будь готов!» —

рвалась в небо песня.

Пели мы часа полтора, а то и больше. Какие только песни мы не пели — и украинские народные, и революционные, и старые комсомольские, и современные, и песни из кинофильмов.

Потом Игорь сказал:

— А теперь, может, пусть Валька станцует...

«Сейчас начнёт кривляться, отнекиваться, а её будут уговаривать», — подумал я. Но она сказала без всякого:

— Пожалуйста. Могу станцевать.

Тут я заметил, что Кукурузо почему-то покраснел и беспокойно заёрзал на месте. Кстати, я ещё и раньше, когда пели, обратил внимание на то, что мой друг всё время смотрел на Вальку, а когда она случайно встречалась с ним глазами, он сразу отводил взгляд.

Украинский танец казачок! — объявил вожатый и заиграл на аккордеоне.

Валька начала танцевать. Над моим ухом часто-часто, словно запылавшись, точно это он сам танцует, дышал Кукурузо.

А когда Валька кончила танец и все захлопали, он не стал хлопать, а почему-то нахмурился и отвернулся.

Потом девочка в очках читала стихи Маяковского. Хорошо читала, только очень кричала — наверное, даже в селе было слышно.

В общем, получился неожиданный концерт художественной самодеятельности. А потом стали купаться. Игорь плавал кролем, Сашко-штурман — брассом, да и Валька ничего плавала (правда, по-девчачьему — задрав голову и отфыркиваясь). Но прыгать в воду с вербы никто не умел. И вот тут-то мой друг Кукурузо показал, что такое васюковские ребята. Вскрабкался на самую верхушку, раскачался, как обезьяна, на ветке и ка-ак прыгнет — почти минуту летел и почти на середину плёса залетел. Все только ахнули.

А вожатый сказал:

— Молодец! Из тебя может выйти хороший спортсмен. Тебе надо в секцию по прыжкам в воду. Молодец!

Меня разобрало, и я хотел доказать, что я тоже геройский парень. Я поплевал на руки и полез на вербу. Но меня постигла неудача. Ужасная неудача. Я зацепился за сучок и разодрал трусы — да как разодрал! — сверху по бедру до самого низа (даже резинка лопнула). Чуть не плача от стыда и горя, я бесславно спустился вниз. Однако никто не стал смеяться надо мной. Наоборот, все меня успокаивали:

— Ничего, бывает. С каждым может случиться!

Девочки наперебой предлагали зашить трусы. Я категорически отказался. Вы себе представляете — вы сидите без трусов, а девочки их в это время зашивают! Лучше утопиться! Я взял иголку и нитку и полез в шалаш. Там, в полутьме, я долго и неумело орудовал иглой, накалывая себе пальцы и глотая слёзы. Неожиданно взгляд мой упал на книжку, лежавшую в углу шалаша и прикрытую листьями. Я заинтересовался, потянул её. Это была грамматика. Я сперва удивился, но потом вспомнил, что Кукурузо же взял её, чтобы отвести глаза деду.

В грамматiku была заложена тетрадь. Я раскрыл тетрадь. (Да простит мой друг моё любопытство!) На первой странице начинался

«Дневник Робинзона Кукурузо». Что в нём, вы уже знаете: «приключения» и «неприятности» первого дня. «А что дальше?» — поинтересовался я. Перевернул страницу и... вытаращил глаза. Дальше шли упражнения. Почти полтетради было исписано упражнениями по грамматике — и на глагол, и на существительное, и на прилагательное, и даже на суффиксы (на тех дьявольских «детей за сажей», которые так подвели нас когда-то).

Упражнения были написаны карандашом — так же, как и дневник.

Сомнений не было — всё это писалось уже здесь, на острове.

Так вот оно что!

Робинзон Кукурузо, который собирался прожить на необитаемом острове двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней, готовился к осенней переэкзаменовке.

Ах ты хитрец! Ах ты обманщик! Твоя гордость, твоя дьявольская гордость заводишь и атамана не позволила тебе признаться, что ты старательно готовишься к переэкзаменовке, и ты удрал на остров и там зубришь грамматику. Теперь понятно, почему ты именно так назвал свой остров... Ну погоди! Ну смотри! Я тебе!..

А впрочем, что «погоди», что «смотри»? Разве я скажу ему что-нибудь? Разве я ему враг? Разве я хочу, чтобы он провалился, чтобы остался на второй год? Да нет же! Конечно, нет! И я ничего ему не скажу, ни слова, ни полслова! Пусть думает, что я ни о чём даже не догадываюсь! Пусть думает! Я быстренько положил тетрадь и грамматику на место и прикрыл листьями — вроде и не прикасался.

От моего открытия мне сразу стало легко и весело — будто после дождя солнце засияло. Про стыд и позор свой я и думать перестал. Бодро доштопал трусы и совсем другим человеком выскочил из шалаша. Все заметили перемену в моём настроении и теперь смело начали улыбаться.

А Кукурузо сказал:

— Великое дело трусы! Без трусов — нет человека, а в трусах — есть человек, и даже ещё улыбается, — и хихикнул, бросив взгляд на Вальку. Ему хотелось быть остроумным сегодня.

И хоть глупое было это его остроумие, я не обиделся. Я благородно ему простил.

— Ну, а теперь «Готовься в дорогу», «Готовься в дорогу», — пропел вожатый.

Пионеры засуетились.

Это было для нас так неожиданно, что мы с Кукурузо растерялись.

— Что, вы уже уезжаете? — вырвалось у меня.

— Уезжаем, — сказал вожатый, — Мы и так задержались. Ведь установка на вашем острове у нас непредвиденная. Мы ночевали на берегу, на лугу возле стогов. А утром туда стадо пригнали. Девчата у нас боевые, но с крупным рогатым скотом не очень дружат. Пришлось поспешно перебазироваться. Даже позавтракать там не успели... А нам сегодня ещё до Андрушовки добраться надо. Засветло доберёмся, как вы думаете?

— А чего... На таких лодках — конечно, — уверенно сказал я.

Кукурузо мрачно молчал.

К нам подошли Игорь, Валька, Сашко-штурман и другие пионеры:

— Прощайте!

— До свидания!

— Будьте здоровы!

Мы всем по очереди пожали руки. И тут Валька, протягивая руку Кукурузо, сказала:

— Ой, как жалко, что мы уже уезжаем... И не узнаем даже, как вы поймали своего браконьера. Это ж так интересно!..

Она сказала это с искренним сожалением, и я заметил, как снова покраснел Кукурузо.

— А знаете что! А вы напишите нам. Я вам оставлю адрес, а вы напишите — хорошо? — сказала Валька.

— Напишите!

— Конечно!

— Пусть напишут обязательно.

— Напишите! Напишите! — закричали отовсюду.

— Только так! — отрубил Сашко-штурман.

А Валька уже писала на листике из блокнота адрес.

— На, — сказала она, протягивая бумажку Кукурузо. — Только смотри не потеряй!

Кукурузо ничего не ответил — молча сунул адрес за пазуху.

Пионеры сели в шлюпки.

— Споём им на прощание песню! — крикнула Валька. — Запевай, Сашко!



И они запели.

Мы долго стояли на берегу. Их давно уже не было видно, а песня всё ещё летела над плавнями.

Песню дружбы запекает молодёжь,  
Молодёжь, молодёжь!  
Эту песню не задушишь, не убьёшь,  
Не убьёшь, не убьёшь!..

...А потом Кукурузо лежал в траве на поляне и молча смотрел в небо.

Я тоже лежал и смотрел. Небо — это такая штука, что смотреть на него можно часами. Смотреть и думать. Я не знаю, о чём думал Кукурузо, но я совсем не удивился, когда он вдруг вздохнул и сказал:

— Да, сейчас техника, оно вообще, конечно... будь здоров... Говорят, в пуговице — приёмник, в портсигаре — телевизор. А фотоаппарат — так тот вообще под ноготь спрятать можно.

— Что же ты хочешь — на транзисторах, на полупроводниках, — сказал я и покраснел.

Убейте меня, если я хоть понятие имею, что это такое: транзисторы, полупроводники. Да и Кукурузо, конечно, тоже. Ничего мы не знали. Ничегошеньки... А Игорь знал.

Конечно, знал, раз сам делал приёмники на этих самых транзисторах...

Кукурузо ещё раз вздохнул и вдруг проговорил:

— Эх, а здорово было бы сделать что-нибудь такое... на транзисторах. Что-нибудь особенное. Интересное и необыкновенное.. Например... Например, управление коровой на расстоянии. По радио. Между рогами натянута антенна. В ухо вставлен маленький приёмничек (на транзисторах, конечно)... Пасти такую корову — одно удовольствие. Сидишь себе на баштане у деда Саливона, ух и арбузы же там! Сидишь, ешь, значит, арбуз. Потом глянул на карманный телевизор, видишь — твоя Манька в колхозном просе. Вот зараза! Но ты не поднимаешь паники, не вскакиваешь и не бежишь туда сломя голову. Ты спокойно нажимаешь кнопку и в микрофон: «Манька-а! А ну назад, убойще! Га-ля-ля-ля!» И Манька, будто её кто кнутом вдоль спины, — назад. А ты продолжаешь сидеть и есть арбуз. Красотища! Скажи?

— Ещё бы! Если бы такое сделать, то вообще!..— говорю я, не находя слов от восторга.

Кукурузо сокрушённо вздыхает:

— Да разве на этом острове что-нибудь сделаешь... на транзисторах...

Я подхватил:

— Ну да! Конечно, ты прав! И кому нужен этот дурацкий остров. Поехали домой. А? Поехали, Кукурузо!

Кукурузо сразу нахмурился, взглянул на меня исподлобья:

— Думаешь, что я слабак?! Да? Купить хочешь? Не купишь!

— Ты же сам сказал, обиженно ответил я.

— Ничего я не сказал... Раз я решил жить на острове — всё! И не говори мне...

Воцарилось напряжённое молчание, которое бывает, когда друзья чувствуют, что между ними есть что-то неискреннее...

Наконец Кукурузо сказал:

— Ты бы лучше подумал, как мы будем Кныша задерживать.

Я удивлённо посмотрел на него.

Когда он говорил юным следопытам про задержание браконьера, всё было правильно: нельзя же было, в самом деле, рассказать им правду об острове Перезкзаменовки.

Но теперь... неужели он серьёзно?

— Ты что — действительно думаешь его задерживать?

А ты что — хочешь, чтобы этому злостному браконьеру всё так гладко сошло?

— Да ты что — сдурел? Он же нас потопит, как цуциков. Мы и пикнуть не успеем.

— Потопит? А ружьё зачем? Ты думаешь, что для этого дела обязательно нужен взвод солдат? Ружьё — это, брат, не шутка. Это, брат, оружие. Огнестрельное. Бац — и будь здоров, привет! Чуешь?

— Ты что, думаешь в него стрелять? — со страхом спросил я.

— Ну вот ещё — сразу стрелять! Не стрелять, но... если... да вообще ружья кто хочешь испугается. И будет как миленький...

— Конечно, конечно,— поспешно согласился я и тут же сказал: — Но, знаешь, мне сейчас домой надо. Видишь, солнце уже садится. Боюсь, как бы мать не заругала.

— А я что — удерживаю? Езжай, — недовольно сказал Кукурузо. — Только завтра же будет Кыш. И... я не знаю... ты как хочешь... я могу, конечно, и сам... раз ты боишься... Пожалуйста.

— Да нет, что ты, — спохватился я, — завтра я приеду. А как же!

— Было бы хорошо, если бы под вечер и переночевать чтобы смог, — уже примирительно сказал Кукурузо. — Он ведь завтра ночью будет ставить, а рано утречком выбирать придет.

— Трудно, конечно, с ночёвкой. Но я что-нибудь придумаю. Сбегу, в крайнем случае. Лишь бы не уснуть нечаянно.

— Полено под голову положи или репейников под рубашку.

— Не волнуйся, всё будет в порядке.

С этими бодрыми словами я сел в лодку.

Лицо у Кукурузо было мрачное и грустное. Видно, ему очень не хотелось снова оставаться на острове одному.

Он долго ходил по колену в воде вокруг лодки и ощупывал борта, приговаривая:

— Вот тут надо бы зашпаклевать, а тут подсмолить, а эту доску вообще заменить...

Ему хотелось ещё что-то сказать; он почесал за ухом, шмыгнул носом и наконец сказал:

— Ты знаешь... Ты бы привёз мне скрипача хоть одного... Захотелось, как перед смертью... А то всё рыба да рыба...

«Скрипачами» называли у нас пряники, которые продавались в сельмаге. Пересохшие и твёрдые, как дрова, они скрипели, когда ты вгрызался в них зубами. Один скрипач можно было есть целый день. Может, за это мы и любили их так.

— Ладно, привезу, а как же, — сказал я и оттолкнулся от берега.

## ГЛАВА XIII

### ВО СНЕ И НАЯВУ

— Где это ты весь день бегаешь не евши? — встретила меня мать укюризненными словами. — Смотри, одни кости остались.

— Да что вы, мама! Я ухи вот так наелся. Ох и вкусная! Там один Сашко таким мастаком оказался — лучше любого повара... — Это вырва-

лось у меня так неожиданно, что я едва успел прикрыть рот, чтоб вовсе не проговориться.

Мать заметила это и, подозрительно взглянув на меня, спросила:  
— Это ты про которого Сашка?

— Да про... про Юрчишина,— начал выпутываться я.— Тот, знаете, что возле мельницы живёт, дяди Михайла сын.

А сам думаю: «А что, если мать его сегодня днём в селе видела. Пропал тогда!..» Нет, пронесло! Мать ничего не сказала. Значит, не видела.

— Так что — хорошо клевало?.. — ласково улыбнувшись, спросила она.

— У-у! Со страшной силой! Вот такие ловились,— не краснея, врал я.— Хотел вам принести, да всю сварили. Вот жалко. Ну я ещё принесу... Мы завтра на ночь хотим поехать. На плёсы. Можно?

— Посмотрим, посмотрим. Иди-ка наколи дров, а то у меня все вышли.

И я, довольный, что всё так хорошо обошлось, побежал колоть дрова.

До самого вечера я волчком вертелся около матери — то воды принесу, то в хате подмету... Такой хороший, хоть к болячке прикладывай. А что ж сделаешь — надо же, чтоб завтра на ночь отпустили. Кукурузо ведь ждать будет...

Набегался я так, что когда вечером лёг, то сразу же уснул, словно в прорубь провалился.

И приснилось мне что-то невообразимое. Не сон, а кино прямо. Я его на всю жизнь запомнил.

Стою я на берегу острова Переэкзаменовки. Стою и вижу: выплывает на плёс корабль, огромный белый океанский корабль (я такие только в кино видел), трёхпалубный, с бассейнами, с ресторанами, с волейбольной площадкой. А труба величиной с нашу хату. Я смотрю и удивляюсь: как это он через узенькие стружки в камышах проплыл? Но не успел я как следует наудивляться, как с корабля спускают трап и по трапу сходит на берег... Гребенючка.

Подходит ко мне и говорит:

«Здравствуйте вам. На остров приехала немецкая делегация пионеров. Вы будете переводчиком».

Я обалдело смотрю на неё, и мне хочется сказать: «Чего это ты, дурья

голова, меня на «вы» называешь», — но вместо этого я почему-то вежливо отвечаю:

«С превеликим моим удовольствием. Однако хочу вам напомнить, что в школе я, как вам известно, изучаю английский язык и по-немецки поэтому говорю не очень свободно. По-немецки я знаю всего три слова: дер Тыш (то есть стол), дер Стуль (то есть стул) и дер Бляйштифт (то есть карандаш)».

«Ничего, — говорит Гребенючка, — этого вполне достаточно. Принимайте гостей. Вот они, пожалуйста».

Я смотрю и вижу, что по трапу спускаются Игорь, Сашко-штурман и Валька.

«Вот оно что! Так они, значит, немецкие пионеры, а не наши».

Мы идём по острову и подходим к шалашу. Возле шалаша стоит Кукурузо.

«Знакомьтесь. Губернатор острова Переэкзаменовки Робинзон Васильевич Кукурузо, — говорю я, как мне кажется, на чистейшем немецком языке, а сам думаю: «Чего это я его губернатором окрестил? Что он, капиталист, что ли? Он же наш, советский Робинзон. Надо было, наверное, сказать: «Председатель сельсовета». Но какой же тут сельсовет, если это необитаемый остров и Кукурузо здесь один!»

Между тем Кукурузо говорит:

«Пожалуйста!»

И мы входим в шалаш.

Входим в шалаш и оказываемся в большой светлой комнате, где всё белое, как в больнице. Посередине на белом столе стоит блестящая никелированная кастрюля.

«Кастрюля, — объясняет Кукурузо. — На транзисторах. Сама варит. Без огня».

Ты смотри. Вот чёртов Кукурузо. Всё-таки понавывдумывал это самое... На транзисторах. А говорил, что на острове нельзя ничего выдумать.

«Дер Стуль?» — спрашивает вдруг Валька.

«Дер Бляйштифт», — отвечаю я и сам удивляюсь, как складно выходит. Ведь она спросила: «Слушайте, а вы браконьера своего поймали?» — а я ответил: «Конечно, поймали. Всё в порядке. Не волнуйтесь».

Какой хороший немецкий язык: одно слово скажешь — и всё понятно. Надо будет на следующий год попроситься в школе в немецкую группу.

Обязательно. Отличником в ней стать — раз плюнуть. Теперь я понимаю почему все они — и Валька, и Игорь, и Сашко — отличники.

Тут вдруг ко мне подходит Гребенючка и говорит:

«Даме всегда надо уступать место!» — и изо всей силы толкает меня в грудь.

«Только так!» — слышится голос Сашка-штурмана.

И я лечу, лечу, лечу — куда-то в пропасть. Хоп — и просыпаюсь. Лежу на полу. Болит плечо. Это я во сне свалился с кровати.

Вот ведь какая ерунда приснилась.

Было уже поздно. Мама и папа ушли на работу. На столе, прикрытый салфеткой, стоял завтрак и лежала записка, в которой мать наказывала сделать то-то и то-то по хозяйству. Очевидно, по моему вчерашнему поведению она заключила, что это доставляет мне большое удовольствие. Я поморщился. Не очень-то легко быть хорошим.

Провозился я до полудня. Потом полез на великую китайскую на наблюдательный пункт — посмотреть, что там делается у браконьеров.

Во дворе у Кнышей было тихо. Кнышиха, наверное, на базаре, а Кныш... Кныш лежал под грушей и спал. Вероятно, всю ночь чинил сети и теперь отсыпался.

Он лежал на спине, прикрыв лицо от солнца рукой. И когда я взглянул на его волосатую руку с растопыренными пальцами, мне даже показалось, что на этих пальцах когти. Как это мы будем задерживать его — такого длинного, волосатого и страшного, — у меня не укладывалось в голове. Слез я и пошёл на улицу, прогуляться. По дороге я заглянул во двор к Реням. Дед Варава сидел на завалинке и точил косу.

«Эх, ничего вы, диду, не знаете, где сейчас ваш дорогой внучек, — подумал я. — Если бы знали, не сидели бы так спокойно. А ночью сегодня вообще неизвестно, что его ждёт! Настоящая военная операция. Может, и стрелять придётся!»

Но дед Варава даже головы не поднял. Крадучись, чтобы он меня не заметил (а то, чего доброго, ещё спрашивать что-нибудь начнёт), я проскользнул мимо открытой калитки и пошёл дальше. На душе у меня было беспокойно. Всё-таки задерживать браконьера — это не шутки. Это не какая-нибудь там мальчишеская выдумка, а настоящее серьёзное дело. Может, лучше было бы всё-таки рассказать взрослым и уже с ними... Но это значит — раскрыть тайну острова, предать Кукурузо.

Это — измена, предательство. А на предательство я не пойду. Ни за что! Нет! Всё, что угодно, любая опасность, но не предательство.

— Чего это ты нос снова повесил? Опять что-то натворил и мать ремня дала? — услышал я вдруг. Поднял голову. У колодца с ведрами и коромыслом стояла Гребенючка и смотрела на меня с улыбкой. — И чего это ты один? А где же твой переэкзаменовщик? Поссорились, что ли?

Наверное, надо было ей сказать что-нибудь резкое и презрительное: «Не твоё свинячье дело», — но мне не хотелось так говорить, и я просто сказал:

— Он в Песках, у тётки.

— А ты, беденький, ходишь и плачешь.

И опять я удержался от обязательного в таких случаях: «Сама ты плачешь. Вытри у себя под носом», — а честно признался:

— Не плачу, но скучаю.

Мои непривычно смиренные ответы, должно быть, удивили и тронули Гребенючку. Она посмотрела на меня с сочувствием и сказала:

— Так чего же ты к школе не приходишь, на площадку? Мы там всегда в волейбол играем.

— Да-а... — неопределённо протянул я.

И вдруг мне очень захотелось рассказать ей и про остров, и про браконьера Кныша, и про юных следопытов, и даже про сон, который приснился мне сегодня. Я еле сдержался. Если бы это была только моя тайна, я бы, наверное, рассказал. Но Кукурузо!.. Он бы никогда не простил мне этого. Как трудно порой быть верным другом!

И ещё я подумал: «А умеет ли Гребенючка танцевать казачок?» И почему-то решил, что, наверное, умеет...

Пока мы говорили, она опустила ведро в колодец и теперь начала вытаскивать, крутя обеими руками ручку ворота. Я сперва смотрел, потом махнул рукой: «А! Кукурузо не видит!» — и сказал:

— Давай помогу!

Она ничего не ответила, я взялся за ручку, и мы стали крутить вдвоём. Мы крутили так энергично, что ведро ударялось о стенки сруба и слышался непрерывный плеск. Когда мы вытащили, воды было всего полведра. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Давай ещё.

Мне было очень весело вот так, вдвоём, крутить ворот. Мы толкали

друг друга, а один раз даже стукнулись лбами. И всё время смеялись. Стало жаль, когда вёдра были уже полными.

Она нацепила их на коромысло, взяла на плечо и пошла, покачиваясь. Где-то в глубине у меня шевельнулась мысль: надо бы помочь ей, донести хоть до ворот... Но на это у меня уже не хватило порохи. Я только молча смотрел ей вслед. И думал, что на необитаемом острове я бы не жил ни за что на свете. Даже если бы мне подарили велосипед «Орлёнок»...

«Ой! — вспомнил я вдруг. — Кукурузо же просил скрипачей привезти. А сельмаг скоро закроется».

И тут, как палкой по голове, стукнула меня мысль: «Батюшки! Да у меня же денег ни копейки! А скрипачи — девять копеек сто граммов. Что делать? Пока мать или отец придут, сельмаг будет уже закрыт».

Гребенючка входила уже в свою калитку.

— Гр... Ганя! — крикнул я, чуть ли не впервые в жизни называя её по имени.

Она качнулась и пролила воду от неожиданности.

— Ганя,— подбежал я к ней,— погоди!.. Знаешь что, одолжи мне девять копеек. Мать с фермы придёт, я сразу отдам.

— Зачем? — лукаво взглянула она на меня. — На папиросы?

— Да какие там папиросы! Очень нужно... Я на рыбалку на ночь еду. Крючков купить, а то сельмаг закроется. Чес-слово отдам. Одолжи.

— Только у меня девяти нету, у меня целых пятьдесят. Монеткой. Мать на книжку дала. Хорошая книжка продаётся: «Путешествие на «Кон-Тики». Про то, как на плоту океан переплывали...

— Я сдачу принесу. Я быстро.

— Подожди, я вынесу.

Короче говоря, скрипачей я купил, Гребенючке сдачу отнёс, а когда мать пришла, и долг вернул. Всё вышло хорошо. Даже не пришлось долго просить у матери девять копеек. Сразу дала. И на ночь отпустила. Вот что значит быть хорошим и выполнять всё, что тебе наказывает мать! Ещё и харчей напаковала полную торбу — будто я на месяц путешествовать еду.

И когда зашло солнце, я отправился в плавни. По дороге в сенах захватил ещё длинную толстую верёвку, которой мать когда-то телёнка привязывала. «Кто его знает, может, придётся связывать...» — подумал я, ощущая при этом неприятный холодок в животе.



## ГЛАВА XIV

«РУКИ ВВЕРХ!»

Кукурузо с удочкой в руках торчал по пояс в воде у берега. Торчал, должно быть, давно, потому что уже посинел и лязгал зубами.

— Я думал, что ты вовсе не приедешь,— сердито пробормотал Кукурузо, но я видел, что он прячет радостную улыбку. Видимо, он и вправду боялся, что я не приеду.

Кукурузо вышел из воды и стал приседать и в обнимку хлопать себя руками по спине, как извозчик на морозе,— согревался. Потом спросил:

— Ну как там?.. Что нового?.. Как мой дед? Ещё в милицию не заявил?

— Да что ты! Сидит себе спокойненько и косу точит. Про тебя и не думает.

Кукурузо нахмурился, и я понял, что ему неприятно это слышать. Ему, наверное, казалось, что он уже давно-давно на этом острове, а, оказывается, никто даже не заметил его отсутствия.

— Ну и правильно. Хорошо. Скоро вообще все забудут, что был такой я... И всё будет в порядке,— бодро говорил он, но в голосе слышалась грусть и тоска. Кому же хочется, чтоб его все забыли!

Я вынул из кармана кулёк со скрипачами и протянул ему.

— О, привёз! Вот спасибо! Ох, я соскучился! — И он тут же со скрипом впился зубами в пряник.

— Ну, а ты что же делал? Вчера и сегодня весь день? — спросил я.

— Да что — рыбу удил и просто так...

— Ну, а дневник свой ты хоть пишешь?

— Не-а, не пишу,— лёгкомысленно произнёс он, грызя скрипач.— Бросил. Это же всё равно что уроки готовить. Для того, что ли, я на необитаемый остров уплыл.

Я ничего не ответил: я ведь знал, что там, в дневнике.

— Слушай, давай в цурки-палки сыграем. Я так давно не играл! — предложил вдруг Кукурузо.

— А что — можно,— согласился я.

И старые селезни-крыжаки, и пучеглазые жабы, и шустрые

камышовки, и другие обитатели плавней впервые, наверное, в своей жизни слышали отчаянное и протяжное:

— Цурки-палки-накувалки накую-у-у-у...

Дотемна играли мы с Кукурузо. Перестали только тогда, когда уже не только цурки, но и палки не стало видно.

Ещё во время игры чем больше темнело, тем сильнее беспокойство охватывало меня. Я, конечно, старался не показывать этого Кукурузо, но с каждой минутой что-то всё противнее щемило у меня внутри. А когда совсем стемнело, я уже был, что называется, готов: едва сдерживался, чтоб не стучать зубами...

— Ну, теперь тихо, теперь — ни звука. Скоро он придет, поставит сети, и тогда... — прошептал Кукурузо. Именно это «тогда» больше всего меня и страшило...

Ночь, как назло, опять была облачная, беззвёздная.

— Значит, план такой, — шептал Кукурузо, — Задерживаем с лодки. Я сижу на корме с ружьём, ты на носу с фонариком. Я говорю: «Р-руки вверх!» — ты в это время светишь фонариком и кричишь: «Товарищ Валигура, заходите справа, Николай Павлович, заходите слева». Чтoб он думал, что нас много. Так даже настоящие пограничники делают, когда задерживают шпиона...

— А... а что мы потом будем делать, когда задержим его? — спросил я.

— Как — что?.. Передадим в милицию. Товарищу Валигуре передадим.

— Так, значит, ты свой остров бросишь и не будешь больше Робинзоном? Рассекретится же всё...

Ох и зачем я это сказал!

— Нет, ни в коем случае! — категорически прошептал Кукурузо. — Я останусь на острове. А ты повезёшь его в милицию.

Мне стало совсем плохо.

— Да что... да как... да ну... — залепетал я.

— Подумаешь! Отведёшь к милиционеру товарищу Валигуре, и всё.

— Да Валигура же ещё спать будет, — чуть не заплакал я. — Что же я с этим бандюгой сам ночью буду делать? Он же меня задушит.

— Не бойся. Я дам тебе ружьё. Потом привезёшь.

— Н-не надо! Н-не давай! — теперь уже категорически прошептал

я.— Я б-боюсь. Я ружья боюсь ещё больше, чем Кныша. Стрельну нечаянно, убью его, и меня расстреляют...

Я уже окончательно понял, что у Кукурузо никакого плана не было. Он всё продумал только до того момента, когда скажет: «Руки вверх!» — и Кныш станет, шатаясь, в лодке с поднятыми руками. А дальше, выходит, всё должен делать я. Дудки!

— Не! Так не будет! Я сам Кныша не повезу, как хочешь...

— Да ладно уж! Чего сюни распустил! До села вдвоём довезём, а потом я вернусь. Не знал я, что ты такой трус!

Мне стало стыдно. Кукурузо был намного храбрее меня. Ишь как уверенно держится! Я решил взять себя в руки.

Несколько минут мы молчали. И вдруг услышали тихий шелест. Потом — плюх!.. А затем — ляп-ляп-ляп!.. Мы замерли. Сомнений не оставалось — Кныш забрасывал сети.

Мы напряжённо ждали. Наконец воцарилась абсолютная тишина. Кныш уехал. Мы подождали ещё немного. Тишина. Ни звука. Кныша нет.

— Ну, теперь на лодку и в засаду,— шепнул Кукурузо.

Он зарядил ружьё, дал мне фонарик, мы сели в лодку и тихо поплыли под берегом.

— О! Есть! — шепнул я. Я сидел на носу и первый увидел поплавки рыбачьей сети, которые белели на воде.

Мы загнали лодку в камыши как раз против поплавок. Замаскировались. Теперь нам осталось одно — ждать, долго ждать, может быть, даже всю ночь, до самого рассвета, пока не приедет Кныш выбирать рыбу.

— Спать нельзя. Ни минуты. А то начнём клевать носом, разморит — будем как мокрые курицы, и ничего не выйдет,— сказал Кукурузо.

— Ты прав,— вздохнул я. И мне тут же захотелось спать.

Я широко раскрыл глаза, всматриваясь в темноту, в которой еле-еле можно было различить на фоне неба очертания камышей, но глаза сами собой слипались, и приходилось время от времени окунать руку в воду и протирать их.

Наверное, нет ничего труднее, чем не спать, когда хочется спать. И, наверное, нет более длинных минут, чем те томительные минуты полусонного ожидания в темноте...

— Не спи, потому что прозеваем,— шипит с кормы невидимый Кукурузо.

Если бы он знал, как мне хочется именно прозевать! Да разве с ним прозеваешь, с таким упрямым! Неужели он в самом деле не боится?

Фантазия рисует мне страшные картины: Кныш, хищно оскалившись, бьёт меня веслом по голове, я падаю с лодки, глотаю воду, задыхаюсь, водоросли опутывают меня и... Мне даже вправду становится тяжело дышать. И зачем мы влезли в это дело! Действительно, кто знает, что может быть! А что, если случится то, о чём я только что думал... Это ещё хорошо, если найдут наши тела. Тогда будут торжественные похороны, с музыкой, с речами и выступлениями. Хоронить будет вся школа, всё село. И все будут плакать. И Гребенючка, размазывая по щекам слёзы, будет говорить: «А я же видела его накануне. Он был такой хороший, такой вежливый — помогал мне вытаскивать ведро из колодца. И Ганей называл. Я ещё ему девять копеек одалживала. Знала бы — и пятьдесят отдала ему насовсем. Какой был хлопец!»

Мне становится так жалко себя, так жалко, и я сам кажусь себе таким несчастным, что начинает щемить в горле.

Но Кукурузо ничего этого не понимает. Он опять шипит с кормы: — Не спи!

И я трагическим шёпотом отвечаю:

— Да не сплю я, не сплю, чего ты!

Время идёт.

То ли глаза привыкли к темноте, то ли становится светлее, но уже лучше видны камыши, и вода блестит, и клубятся в небе облака. А может, это уже светает?.. У меня такое впечатление, что мы сидим целую вечность.

И вдруг — словно кто пырнул меня чем-то острым в грудь. Из темноты вынырнула лодка. Она плыла прямо на нас. Ближе, ближе, ближе. В лодке грозная фигура гребёт веслом. Кныш!

Сердце повисло у меня на тоненькой ниточке — вот-вот оборвётся. Я обхватил руками нос лодки, не шевелюсь.

И тут на корме звонко щёлкнул курком Кукурузо и срывающимся басовитым голосом из всех сил крикнул:

— Р-руки вверх!

Я забыл про фонарик, забыл, что мне надо кричать, и панически взвизгнул:

— Дядя милиционер, сюда!.. Дядя милиционер, туда!

И замер испугавшись собственного голоса.

— Руки вверх! Руки вверх! — скороговоркой и уже не так басовито повторил Кукурузо и тоже растерянно умолк.

Какое-то мгновение было тихо, потом...

— Га? — будто недослышав, спросила «грозная фигура».

И... что-то глухо ударилось о дно нашей лодки — это выпало из Кукурузовых рук ружьё. А я на всё небо разинул от неожиданности рот. И, только сейчас вспомнив о фонарике, нажал на рычаг, выдавливая из него свет.

Перед нами был... дед Варава.

— Диду, это вы? — плаксивым растерянным голосом спросил наконец Кукурузо.

— Да я же, я, — сказал дед, подплывая к нам. — Не узнали?.. Так как же это вас понимать? В разбойники, внучек, пошли, значит? Ружьё на людей наставляешь? С наукой ничего не вышло, так в разбойники подались?..

— Да что вы, диду? — взвизгнул Кукурузо. — Такое скажете! Какие там разбойники! Вот гляньте только! А ну присвети, Павлуша.

Я зажигал фонариком. Я готов был всю ночь жикать, так я был рад, что это дед Варава. Я просто готов был его целовать. Страх мой — как корова языком слизнула. Раз это дед Варава, я уже не боялся ничего на свете. Я направил свет фонарика на поплавки.

— Ага, — сказал дед, — вижу. Сети. Значит, не разбойники, а браконьеры вы... Обрадовал, называется... Те же самые штаны, только застёжка сзади.

— Да что вы, диду! Это же не мы, это же не наши. Это Кныш. Мы выследили его и хотим задержать.

— Вот оно что? Кныш? А вы не ошибаетесь?

— Да мы своими глазами видели! — теперь уже не удержался я. — И как ставил, и как выбирать один раз приезжал... Вдвоём с Кнышихой.

— Ну, тогда другое дело. Тогда вы молодцы. Только рано вы его ждёте. Он приедет под утро, часа в три-четыре. А сейчас ещё двенадцати нет.

— Да ну! — удивился я.

— А вы думали, что уже и ночь прошла? Давно ждёте?

— С самых сумерек.

— Вот бедняги. И не заснули. Ну так ложитесь, а я подежурю, раз так. А потом разбужу.

— Да что вы — мне вовсе не хочется спать, — хорохорился Кукурузо.

— И мне, — вынужден был сказать и я.

— Ну смотрите, — равнодушно сказал дед и осторожно стал загонять свой челнок в камыши рядом с нашим.

Мы молчали. Кукурузо, видно, ждал и боялся дедовых расспросов. Но дед молча маскировал свой челнок камышами. В таких случаях всегда лучше самому что-то спрашивать. И Кукурузо наконец несмело спросил:

— Диду, а вы как здесь очутились?

— Топиться ехал. С горя. Что у меня внук такой непутёвый.

— Да не шутите, диду.

— Вот, интересно мне с тобою шутить!

— Ну, скажите, диду, — канючил Кукурузо.

— Ты же мне соврал, чего же я должен правду тебе говорить.

— Да я... — запнулся Кукурузо. Что же тут скажешь?

— Эх-хе-хе, — печально вздохнул дед. — Куда же я мог ехать!.. Тебя, дурачка, искал... Взялся это я сегодня днём ружьё своё чистить. В воскресенье же открытие охоты. Решил и твоё почистить. Думаю, хоть и двоечник ты, а жалко — всё равно надо же из тебя охотника сделать. Гляжу — нет твоего ружья. Туда-сюда, всю хату перерыл — нету. Неужели, думаю, украл кто-то? Потом глядь — патронов почти половины нет (они же у меня, дурачок, на счету). Стал догадываться. Тем более, вижу, и стёганки нет, в которой ты со мной на охоту ходил... Но всё-таки решил проверить. И потащился аж в Пески к тётке Ганне... Вот так ты мои старые ноги жалеешь! Туда семь километров, назад семь. Там тебя, ясное дело, не нашёл... Ганне не стал ничего говорить, чтоб не волновалась. Ну, думаю, не иначе, как в плавни хлопец махнул, чёртова душа. Я и сам туда пацаном когда-то удирал... Пришёл из Песков — уже вечерело. Надо бы на утро поиски отложить, да на душе беспокойно. Всё-таки плавни — это не шутка. Не один фашист могилу тут себе нашёл. Чем дома сидеть, дай, думаю, поеду поищу. И поехал. Вот так-то...

Мы всего могли ожидать — и того, что дед будет сильно ругаться,

и даже уши надерёт, как бывало. Но что дед будет говорить так просто и откровенно, мы, конечно, не думали.

Мы притихли и молчали.

— Эх, неужели я помру и не увижу, выйдет из тебя человек или нет? — с болью сказал дед.

— Не говорите так, диду, не помрёте вы, — испуганно пискнул Кукурузо.

— А ты что думал — дед вечный?.. На девяносто уже повернуло! Ещё немного — и бултых в могилу вниз головой. Недолго ждать уже...

— Я, может, ещё даже раньше вас помру. Помните, как у меня чиряк на ноге был и температура сорок... Так что не говорите.

— Э, сынок, закон есть: молодые могут умереть, старые должны умереть... Так уж заведено. И не нужно в этом соревноваться. Лучше в другом чём-нибудь.

Воцарилось молчание. Видно, слова деда сильно расстроили и взволновали моего друга. Да и меня тоже. Никогда я не видел деда таким. Всегда он бурчал, ругался, даже подзатыльники давал, а тут... Эх, лучше бы он нам уши надрал...

— Диду, — жалобно сказал Кукурузо, — вы не говорите матери. Я вас прошу. А, диду?

— Да что там говорить. Нечем радовать.

— Я учу грамматику, учу, честное слово. И переекзаменовку сдам.

— Увидим... Ложитесь-ка поспите немного. Потому что в самый нужный момент будете как червяки в обмороке. Ещё долго ждать.

— А вы? Может, вы поспите, а мы подежурим.

— Давай-давай! — буркнул дед... Это уже было привычное дедово «давай-давай», и от него стало легче.

Кукурузо больше не спорил и послушно стал укладываться. Я, конечно, тоже.

Сон поборол меня сразу, как только я положил голову.

И показалось мне, что не проспал я и минуты, как кто-то тронул меня за плечо. Я раскрыл глаза и в то же время почувствовал на своих губах прикосновение заскорузлого дедова пальца. И сразу сообразил, что нужно молчать.

Уже светало, и в серой предрассветной мгле я увидел, что Кукурузо

сидит на корме и мигает заспанными глазами. Я осторожно приподнялся и посмотрел на плёс. Кныш сидел в лодке и выбирал из сетей рыбу. Кнышихи не было. Большие щуки, лещи и караси мокро шлёпались на дно лодки. Улов был богатейший!

— Ну, пошли, хлопцы,— шепнул дед и громко кашлянул: «Кха-кха!»

Кныш вздрогнул, съёжился, втянул голову в плечи.

Дед осторожно, не спеша выводил свой челнок из камышей. Мы — за дедом.

— Бог в помощь, человеку добрый,— спокойно сказал дед, подплывая к Кнышу.

— Гы-гы... Зд-здравствуйте,— придурковато оскалился Кныш.— Ну и напугали вы меня, диду. Я уже бог знает что подумал. Гы-гы.

— Рыбку ловишь? — так же спокойно спросил дед.

— Ага, ага...— завертелся на месте Кныш.— Смотрите, сколько! Вот улов! Даже сам не ожидал... И вот тут будет. Я как раз про вас думал. Непременно, думаю, завезу деду самых лучшеньких. Вот хорошо, что вы встретились. Берите, пожалуйста, какие на вас смотрят. Вот эту щучку, и карасиков этих, и лещика... Куда вам положить?

Кныш взял самую большую щуку и уже наклонился, чтобы бросить деду в челнок, но дед резким движением оттолкнул его руку, и щука шлёпнулась в воду — только брызги полетели.

— Собирайся. Поедем,— строго сказал дед.

— Куда? Что? Вот шутят... Гы-гы,— опять осклабился Кныш.

— Собирайся, говорю! — повторил дед.

— Да что вы? Ну зачем? Это вы серьёзно? Да подождите... Хотите, я вам половину рыбы отдам. И чарку поставлю. И конфет хлопцам куплю.

— Эх, зря ты, человеку, живёшь на свете. Только воздух отравляешь и продукты портишь... Собирайся.

Мы сидели в своей лодке притихшие и только смотрели. И как это дед не боится?! Без ружья, без ничего! Кныш же во-он какой здоровый! Толкнёт раз, и — пропал дед, как пузырь на воде. Но Кныш был как собака побитая. Даже казалось, что у него есть хвост и он его поджал. И глазами смотрел совсем собачьими. Поспешно он выбирал сети и молча поглядывал на деда, как школивый шенок.





Но дед был неумолим. И когда Кныш кончил выбирать, сурово приказал:

— Погоняй вперёд!

И Кныш послушно поплыл вперёд, за ним дед, а за дедом уже мы. Только мы отъехали от острова, как Кныш заскулил:

— Отпустите, диду! Отпустите, пожалуйста!

И голос у него стал такой плаксивый. Даже не верилось, что это говорит здоровенный дядька, который может выпить одним духом пол-литра денатурчика. Я с удивлением смотрел на него. Вот тебе и бандит, вот тебе и хищник! А я ещё его боялся — чуть не помер от страха.

Кныш ныл всю дорогу:

— Диду, неужели вам больше всех надо? Отпустите... Что я — у вас разве что украл? Так чего же вы... Отпустите... Я вас очень прошу... Пожалейте... Отпустите.

Дед молчал, будто и не слышал.

Так мы доехали до самого села.

— Теперь складывай рыбу в сети — на плечо, и пошли! — приказал дед.

И Кныш подчинился. Я только диву давался, что всё вышло так просто — без выстрелов, без драки. И связывать не пришлось. Была на дедовой стороне какая-то сила, которой не мог ослушаться Кныш.

Дальше было ещё проще. Мы пришли к милиционеру товарищу Валигуре, разбудили его. Он вышел заспанный, в шлёпанцах на босу ногу, но в кителе, в галифе и даже в фуражке.

Посмотрел и сказал:

— Ага, понятно. Зайдите в хату.

Мы зашли. Товарищ Валигура сел за стол и стал писать протокол. Писал он долго, часто останавливался и, склонив голову набок и поглядывая искоса на написанное, перечитывал. Наконец сказал:

— Свидетели, распишитесь, пожалуйста. Вот тут, — и ткнул пальцем, глядя на нас.

Мы с Кукурузо покраснели. Нам никогда в жизни не приходилось расписываться.

— Давай-давай, — сказал дед, расписался и передал ручку мне.

Я кривыми буквами нацарапал свою фамилию и передал ручку

Кукурузо. Он лихо расписался, даже ловкий хвостик в конце поставил — совсем как взрослый. Я сразу же пожалел, что сам этого не сделал, — мне стало стыдно за свою детскую подпись.

Товарищ Валигура улыбнулся и похлопал Кукурузо по плечу:

— Молодец. Хорошо расписываешься...

Потом сказал:

— Спасибо вам, товарищи.

И по очереди пожал руки деду и нам.

И мы ушли.

А Кныш остался...

Я шёл и думал:

«Ну вот всё и кончилось. Какие же мы всё-таки герои! Задержали настоящего браконьера. Ну, не совсем, может, сами, но без нас ничего бы не было. Это точно. Вот теперь исполнилось то, о чём мы так долго мечтали. Мы можем стать героями на всё село, а то и район, а может, даже на всю область. И в газете о нас могут рассказать, и по радио. А по телевизору что — нет? И Гребенючка будет смотреть на меня сияющими глазами, счастливая тем, что знакома со мной. А Карафолька будет плакать от зависти в углу, давясь своими пятёрками... И люди только и будут говорить друг другу шёпотом: «Вон пошли хлопцы... Те самые... Герои!»

Но... ничего этого, к сожалению, не будет. Потому что Кукурузо не хочет, чтобы кто-то знал про остров, про то, как он был Робинзоном, и всё остальное. И потому нельзя ничего рассказывать. Он и деда просил, и товарища Валигуру, чтоб всё это осталось тайной.

Таким образом, снова надо пропадать в неизвестности.

Эх-хе-хе!

В тот же самый день вечером Робинзон Кукурузо окончательно перебирался с необитаемого острова имени Переэкзаменовки на «Большую землю».

Оркестры не играли, журналисты не щёлкали фотоаппаратами, тысячи людей не толпились с букетами цветов на берегу, встречая героя.

Было тихо.

Только изредка лаяли в селе собаки да квакали в камышах лягушки.

## ГЛАВА

### ПОСЛЕДНЯЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Прошло лето, пролетели беззаботные каникулы, и вот опять парта, опять каждые сорок пять минут звонок, опять: «Кто не приготовил домашнего задания, поднимите руку!», «Иди к доске!», «Выйди из класса!..». Будничная школьная жизнь прежнего пятого, нынешнего шестого «Б».

Я сижу на своём обычном месте у окна, смотрю, как гоняет по двору школьный пёс Собакевич, и вспоминаю все события прошедшего лета: остров, Кныша, юных следопытов...

И уже не впервые думаю я: «Неужели всё-таки случайно попал Кукурузо именно на тот остров, возле которого браконьерствовал Кныш? Что-то очень странное и счастливое стечение обстоятельств».

Я уже спрашивал его об этом. Но он не признаётся, только посмеивается. Но я почему-то уверен, что не случайно. Скорее всего, в то время, когда я был в Киеве, он выследил Кныша и уже тогда придумал «бежать» на остров. Вот Кукурузо! Вот хитрюга!

Неожиданно мысли мои прерывает голос Галины Сидоровны:

— Рень, к доске!

И я чувствую, как мой правый локоть подпрыгивает вверх, — это встаёт, подымая крышку парты, мой сосед. Мой сосед и друг Кукурузо. Да-да, он выдержал переэкзаменовку (а что же вы думаете!) и тоже перешёл в шестой класс.

О, то были очень напряжённые дни, после возвращения с острова.

Вначале я только ходил под окнами у Реней и на всех цыкал. На Полкана «Цыц!» — не гавкай. На корову Контрибуцию «Цыц!» — не мукай. На свинью Манюню «Цыц!» — не хрюкай. Следил, чтобы никто не мешал готовиться моему другу.

А потом я убедил его, что лучше готовиться вдвоём, что мне это тоже необходимо, потому что я ничего не знаю.

Сначала он отнекивался: «Не надо мне твоих жертв!» Но я сказал: «Так ты что — хочешь быть лучше меня? Хочешь всё знать, а я, значит, оставайся дураком неграмотным? Это нечестно, это не по-товарищески!» И он вынужден был согласиться.

Весь август мы готовились вдвоём. Не скажу, чтоб это было очень интересно, интереснее, чем, например, играть в футбол, в цурки-палки или ловить рыбу... Но кто сказал, что для друга надо делать только то, что интересно!

На переэкзаменовку я пошёл тоже вместе с Кукурузо. И диктант мы писали вдвоём. Галина Сидоровна сразу поняла, почему я пришёл, и сказала: «Садись тоже пиши, тебе это полезно». И, вы знаете, я написал хуже, чем Кукурузо. Он сделал две ошибки, а я три. Недаром всё-таки он брал с собой грамматику на необитаемый остров. Да и пока я был в Киеве, он тоже не только свёклу и картошку чистил...

И вот теперь он стоит у доски и уверенно пишет трудные слова. И ни разу не ошибся.

Кстати, я знаю, что в книге «Робинзон Крузо» лежит у него бумажка с одним адресом.

Вряд ли кто-то стал бы беречь адрес просто так, не думая им воспользоваться.

Так что грамматика моему другу, можно сказать, ещё и лично необходима. Отличнице безграмотное письмо не напишешь. Лучше сразу в колодец вниз головой...

— Молодец, Рень, садись! — говорит Галина Сидоровна.

И мой друг гордо, не спеша идёт на место.

Сев на парту, Кукурузо несколько минут молчит, пока не улеглись чувства, вызванные похвалой учительницы.

Потом склоняется ко мне и шепчет:

— Так что — испробуем?

— Давай, — говорю я.

Мы наклоняемся и прячемся под парту. Кукурузо вынимает из-за пазухи плоскую жестяную коробочку от конфет, из которой торчат разные винтики, шпунтики и проволочки. Это изобретённое нами механическое приспособление для растёгивания пуговиц.

Официального названия оно ещё не имеет и называется пока условно «штукакенция» (не «штука» и не «штукенция», а именно «штукакенция», потому что каждое новое изобретение обязательно должно иметь своё название). Действует «штукакенция» очень просто: прикладываешь к пуговице, нажимаешь кнопку — и готово. Только сперва надо завести пружину. И вот Кукурузо берёт и начинает заводить.

Конечно, это вам ещё не на транзисторах, не на полупроводниках, но...

Крраакк! — вдруг звонко на весь класс ударяет пружина и, выскочив из коробочки, бьёт снизу Карафольку, который сидит впереди нас.

— Ввой! — диким голосом вскрикивает Карафолька.

— У-у, растяпа! — шепчу я своему другу.

Но — поздно. Как гром с неба, слышится над нами сердитый голос Галины Сидоровны:

— Завгородний и Рень, выйдите из класса!

Красные как раки мы вылезаем из-под парты и покорно направляемся к двери.

Учебный год начался...



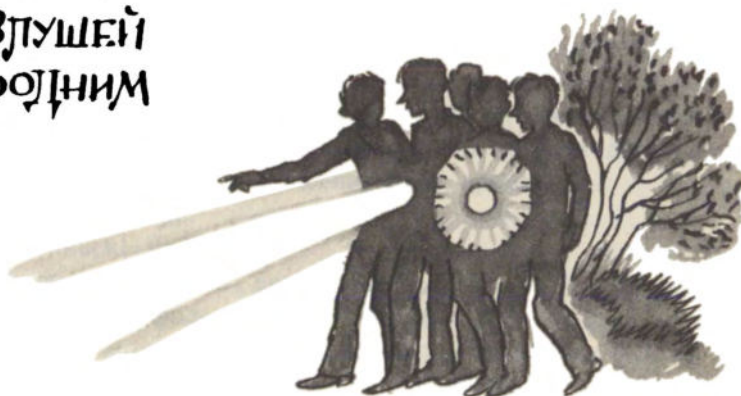




**НЕЗНАКОМЕЦ  
из тринадцатой  
квартиры  
похитителей или  
ищут потерпевшего**



Приключенческая повесть,  
написанная  
Явой Ренем  
и Павлушей  
Заворожним





## Глава I

«Э!» — СКАЗАЛИ МЫ С ЯВОЙ

**Я** поправляю бакенбарды, встаю на цыпочки и заглядываю в дырку в занавесе. И сердце мое бьется и замирает.

Не я первый смотрю в дырку. До меня в такую же дырочку заглядывали, наверно, и Щепкин, и Станиславский, и Тарапунька, и Штепсель — тысячи артистов всех времен и народов. И так же спокойно и весело рассаживались зрители в зале. И так же уходила душа в пятки у тех, кто был на сцене. Особенно если премьера.

А у нас сегодня премьера.

— Ну-ка подвинься! Дай мне!

Чья-то разгоряченная щека решительно отпихивает мою голову от дырки. Это Степа Карафолька. В другой раз я, пожалуй, не стерпел бы такого нахальства, может, и по шее бы дал... Но сейчас у меня нет на это энергии. Вся моя энергия уходит на волнение.



В обычном состоянии человек сначала вдыхает, а потом выдыхает. Но когда человек волнуется, он, по-моему, только выдыхает. И откуда берется воздух у него в груди, не знаю.

Я хожу по сцене и выдыхаю. Может, вы думаете, что я один хожу и выдыхаю? Как бы не так! Вон, слышите? «Х-ху... Х-ха... Х-хи...» Все артисты ходят и выдыхают. И кажется, что от этого и ветер гуляет по сцене, качает декорации, шевелит занавес и пыль поднимает с пола. Если бы наш сельский клуб был не кирпичный, а резиновый, он бы раздулся, как праздничный шар, и давно бы лопнул. А мы все полетели бы в космос — вместе с декорациями, с баянистом Мироном Штепой, который играет сейчас последнюю перед началом польку-кокетку, вместе с мороженщицей Дорой Семеновной, со всеми зрителями.

Зрители!.. Ох уж эти зрители! Разрази их гром! Еще совсем недавно это были такие милые, добрые люди, которые всегда могли помочь, поддержать, посочувствовать. Николай Павлович, дед Варава, дед Саливон, завклубом Андрей Кекало, тетка Ганна, бабушка Маруся, папа, мама. Они за тебя в огонь и в воду — куда хочешь!

А теперь? Теперь даже мама родная — не мама, а зритель.

И нет ни одной живой души по эту сторону занавеса, кто бы не волновался. От учительницы литературы Галины Сидоровны, нашего художественного руководителя, до гундосого третьеклассника Пети Пашко, который раздвигал и задергивал занавес. Все волновались. Но больше всех, конечно, мы: я и Ява. Нам было с чего волноваться. Ведь это мы заварили кашу — придумали этот театр.

Мы с Явой — как Станиславский и Немирович-Данченко в нашем сельском МХАТе (то бишь ВХАТе).

— А что? А что?! — размахивая руками, горячился прошлой осенью Ява. — Знаешь, какой театр можно отгрохать! На весь район!.. Настоящий МХАТ будет! Только тот Московский, а наш — Васюковский. Васюковский Художественный академический театр — ВХАТ. А что? На гастроли ездить будем... Вон МХАТ вернулся же недавно из Америки. Чем плохо?!

Да меня не нужно было убеждать. Я же был Немирович-Данченко... Убеждать нужно было Галину Сидоровну и другое школьное начальство. Но, между прочим, и Галину Сидоровну убеждать не пришлось. Она сразу нас поддержала:

— Молодцы, ребята! Правильно! Я давно хотела организовать драмкружок, да как-то все руки не доходят. Вот вы, как инициаторы, и составьте список всех желающих. Парни вы энергичные — будете старостами кружка.

Мы страшно важничали в тот день. Мы даже ни разу не хихикнули и не пнули никого ногой. Серьезные и солидные, мы ходили по классам и составляли список — длинный-предлинный, на два с половиной метра. Сперва записалась чуть ли не вся школа. (Хорошо, что потом, как это часто бывает, девяносто процентов отсеялось.) Мы так запарились с этим списком, что под конец даже не всех хотели записывать. Коле Кагарлицкому Ява сказал:

— Больно уж ты... тихий какой-то! Нигде тебя не слышно. Тебя и со сцены не услышат.

И только увидя, как побагровел Кагарлицкий, Ява смиловился:

— Ну разве что статистом... толпу играть... — и записал.

На первом заседании кружка выбирали пьесу. Выбирали долго. Десятки пьес перебрали. От трагедии Шекспира «Отелло» до драмы Корнейчука «Платон Кречет». Все они были про любовь, а это, как сказала Галина Сидоровна, нам еще рановато. Мы начали уже отчаиваться, стали думать, что все пьесы про любовь. И как тут быть? Не целоваться же при всех на сцене с какой-нибудь Ганькой Гребенючкой!.. Я лучше с козой поцелуюсь!..

Наконец Галина Сидоровна сказала:

— Поставим «Ревизора». Во-первых, это не про любовь. А во-вторых, мы скоро будем проходить Гоголя по программе, так что это вам будет очень полезно. В-третьих, «Ревизор» — просто очень веселая и хорошая вещь. И ролей много, как раз всем хватит.

Мы тут же прочитали «Ревизора». Вот это комедия! Если хорошо поставить — животы надорвешь!

Начали распределять роли. И тут сразу вышла заминка. Мы с Явой, как основатели ВХАТа, вполне законно хотели играть главные роли. Но главная роль была одна — Хлестаков. Я считал, что она как раз для меня. Сам Гоголь пишет: Хлестаков — «тоненький, худенький... без царя в голове... не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли...» Ну, да что говорить!

Но Ява сказал:

— Тю... Хорошенько посмотри на себя в зеркало и увидишь сам, что похож на Хлестакова, как свинья на коня. Только и сходства — две руки, две ноги и голова. Хлестаков — ведь это огонь! Это, знаешь... во!

И он стал в позу, задрал нос и оттопырил губу.

— Ха! — сказал я. — Смотрите на него! Ой, не могу!.. Хлестаков! Чучело какое-то, а не Хлестаков! Крокодил какой-то!.. А ну пусти! Пусти, говорят, рубашку! А то как дам!..

Роль Хлестакова Галина Сидоровна дала Коле Кагарлицкому.

Трудно было и с другими ролями. И городничий Сквозник-Дмухановский один, и судья Ляпкин-Тяпкин один, и попечитель Земляника один, и... И все-таки «Ревизор» — гениальная пьеса. А Гоголь — гениальный писатель. Он как будто знал, что мы с Явой будем играть в «Ревизоре», и написал две роли — Добчинского и Бобчинского. Совершенно одинаковые. Специально для нас. Чтобы мы не ссорились. Роли, конечно, не совсем главные. Но вы не думайте — без Бобчинского и Добчинского вся пьеса пошла бы вверх дном. Ее вообще бы не было. И не играл бы Кагарлицкий Хлестакова. Потому что Бобчинский и Добчинский выдумали, что Хлестаков — ревизор. Вот ведь что!

Как только мы с Явой это поняли, тут же и помирились.

Начались репетиции...

Э-хе-хе!..

Почему-то мы с Явой ничуть не сомневались в нашем артистическом таланте. Уж что-что, а всякие выкрутасы, разные штуки-трюки делать мы умели. Еще бы!.. На все село были знамениты.

— Вот артисты! — так прямо и сказал про нас дед Саливон.

А он в этом деле понимает. Когда-то давно, когда еще служил в армии, дед Саливон играл в оркестре. На самой большой трубе, которая называется бас-геликон. Она и сейчас лежит у него на чердаке, похожая на огромную улитку. На праздник, если дед Саливон хватит «по третьей», он иногда дает «концерт» — бухает в свою трубу. «Как трубный глас архангела», — говорят старушки и крестятся. Но больше всех дедова игра нравится нашим собакам. После каждого «концерта» они восторженно тявкают до самой ночи. Да, уж раз дед Саливон сказал, что мы артисты, сомнений быть не могло.

Но на репетициях с нами что-то стряслось. Мы сами себя не узнавали.

Это были не мы, а два каких-то слизняка, две мокрицы, два мешка с трухой. И тут мы поняли, что одно дело — говорить, что тебе самому пришло в голову, шутить и валять дурачка (как скажет мой отец), и совсем другое — произносить слова не свои, а написанные кем-то другим, то есть играть роль.

Мы не говорили. Мы как будто жевали резину. И нам было гадко. Было горько во рту и холодно в животе.

— Ничего,— бодрился Ява.— На премьере мы себя покажем. Там уж мы дадим! Ух дадим!

— Ну как же, дашь фигу с маком,— безнадежно бубнил я.

— Паникер несчастный! На репетициях даже у великих артистов не получалось... Ты же знаешь... Что Максим Валерьянович рассказывал? Держись!

Я держался из последних сил. Еще спасибо Гоголю, что он не дал нам — Бобчинскому и Добчинскому — больше слов. Мы с тем-то, что есть, не могли управиться.

Это было хуже любых уроков. Ведь нам учить стихи по литературе — и то мучение. Так в стихах хоть за рифму цепляешься, чтобы запомнить... А тут — проза. Не за что зацепиться. Пока смотришь в бумажку, где роль записана, слова еще как-то держатся кучей. А только спрячешь бумажку — все они сразу разбегаются, как тараканы по печке. Но с бумажкой играть на сцене нельзя. Если артисты будут выступать с бумажками, как ораторы на трибуне, получится не спектакль, а конференция. А мы не конференцию разыгрывать собирались...

— Ява,— вздыхал я,— давай все-таки учить роли. Смотри, как Карафолька зубрит! А Гребенючка даже кино два раза пропустила.

— Чтоб я зубрил? Да ни-ко-гда!.. Зубрежка — для дураков. А мы с тобой ребята хваткие. Давай-ка лучше над эмблемой подумаем. Во МХАТе чайка на занавесе, а мы можем утку, или гуску, или петуха с такими яркими перьями... Как ты думаешь?

— Не знаю.

— Ну, мы об этом еще подумаем, время есть... А сейчас айда на берег, я там лисью нору нашел. Может, выгоним рыжую!

Я молча поплелся за Явой.

...Прошел день, другой...

— Ява,— сказал я через неделю,— давай-ка, брат, учить слова! Я ничегошеньки из своей роли не знаю.

— А-а! — махнул рукой Ява.— В крайнем случае, суфлер поможет. Он ведь у нас будь здоров!

Это верно. Суфлер у нас и вправду знаменитый. Кузьма Барило. Чемпион школы по подсказкам. С последней парты подсказывает, как в самое ухо шепчет.

Премьеры нашей все село ждало с таким нетерпением, как если бы мы были лучшим столичным театром. Особенно после того, как на репетициях побывал дед Саливон. Он случайно попал на репетицию (чинил в клубе стулья, а тут и мы пришли). Сперва дед Саливон на нас внимания не обращал, стучал себе молотком. Но вот, слышим, стук прекратился — прислушивается дед. А мы как раз раздраковали первое действие. Городничий — Карафолька стоял на сцене, выпятив сделанный из подушек живот, и хриплым басом (откуда он у него только взялся!) говорил полицейскому (Васе Деркачу):

— «...Квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную вежу, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город: только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник, или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!..»

Тут в пьесе написано «вздыхает». Карафолька по всем правилам вздохнул и сделал паузу. Этой паузой немедленно воспользовался дед Саливон, которому, видно, давно уже не терпелось высказаться.

— Вот шучий сын! — на весь зал гаркнул дед.— Вот ведь специалист! (Специалист почему-то было у деда самым ругательным словом.) Очковтиратель чертов! Ну точненько наш бывший председатель Припахтый! Тот тоже такие штуки отмачивал, как только начальство из области приезжало... Правильная пьеса! Молодец автор! Знает жизнь...

В тот же день все село заговорило про будущую постановку. «Бу-бу-бу... Ревизор!.. Гу-гу-гу... Хлестаков!.. Ру-ру-ру... Пьеса!» — только

и слышалось по всем углам. Даже самые древние бабуся, которые сроду такого слова и во рту не держали, и то: «Ревизор», «Ревизор»... Смех, да и только! А глуховатая бабка Гарбузиха распустила среди своих престарелых подружек слух, что автор пьесы никакой не Гоголь, а корреспондент районной газеты товарищ Курочка, который приезжал когда-то в наше село; и написано все это про нашего бывшего председателя Припихатого. А из-за того, что Припихатый сейчас на ответственном посту инспектора в областном управлении культуры, то Курочка и написал все так завуалированно и подписался не своим именем, а псевдонимом — «Гоголь». Нынешний председатель колхоза Иван Иванович Шапка ужасно смеялся над этими слухами и в веселом настроении выдал нам порядочные деньги на декорации и костюмы. Это была настоящая удача. Готовить декорации помогал нам учитель рисования Анатолий Дмитриевич, а костюмы шила целая бригада девчат. Всю зиму, до самой весны готовили мы постановку. И вот...

Если бы этим вечером какой-нибудь вор забрел в наше село, он мог бы спокойно, не прячась, выносить из хат все, что ему хочется, и не торопясь грузить на телегу. Дома не осталось ни души. Даже собаки сбежались к клубу на свои собачьи вечорки.

Да что говорить! Даже стосемилетняя Триндичка, прапрабабушка нашего зоотехника Ивана Свиридовича, про которую дед Саливон сказал, что она «уже второй вираж начала», что у нее скоро снова прорежутся зубы и к которой даже из Киева приезжали выяснять, почему она так долго живет<sup>1</sup>, — та самая Триндичка, которая уже тридцать лет не выходила со двора, никогда не была в кино и не то что в клуб — в церковь-то уже не ходила, и даже она приковыляла на наше представление.

— Ну вот! Я же говорил! — на весь зал радостно гаркнул дед Саливон. — Уже ходить учится. Скоро и плясать начнет...

За это бабка Триндичка под общий хохот молча стукнула деда клюкой по шее.

Но постойте, постойте...

---

<sup>1</sup> А мы с Явой точно знали: потому что она полынь — божье дерево — ест, мы сами видели. Мы тоже пробовали эту полынь есть, но на второй день бросили — горько; вот, может, когда состаримся, тогда... А то и совсем не нужно нам такого горького, невкусного долголетия. (Примеч. автора.)

Дзынь! Дзынь! Дзынь-нь-нь!.. — резанул по сердцу третий звонок.

В зале гаснет свет.

— А ну, а ну!.. — шикает на нас (на тех, кто не должен быть на сцене в первом явлении) Галина Сидоровна.

Занавес со скрежетом раздвигается (он у нас, как пес, на железных кольцах, по ржавой проволоке бегаёт).

Всё!

Начали!

Теперь деваться некуда.

— «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы...» — раздаётся уже голос городничего — Степы Карафольки.

Пошло дело...

Я стою за кулисами зажмурившись и, сжимая на груди кулаки, шепчу: «Все будет хорошо! Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Как заклинание.

Эх и дуралей же я — не знаю ни одной молитвы! А меня ведь бабушка учила! Хотя я пионер... и не верю, конечно, а как бы теперь пригодилось! Вот такое же было со мной, когда я впервые отважился прыгнуть в речку с самой верхушки ивы. Я стоял на сучке и смотрел вниз, и мне казалось, что сердце мое уже вырвалось из груди и летит в воду, а я все еще стоял, вцепившись в иву, и не мог оторваться. Голова кружилась, и в животе тенькало... И все же это были детские игрушки по сравнению с тем, что меня ожидало. Я с радостью прыгнул бы сейчас не то что с ивы — с телевизионной башни прыгнул бы, только бы все обошлось...

— Ха-ха-ха-ха! — грохнул хохотом зал. Вот бисов Карафолька! У него уже и на релетициях смешно получалось...

«Ну ничего, спокойно, спокойно! Все будет хорошо! Все будет хорошо! Вот сейчас зрители опять должны засмеяться...»

— Х-ха-ха-ха!

«Ну вот, а я, дурак, боюсь!»

Наш выход все ближе и ближе... Вот уж сейчас, сейчас... Как только Карафолька скажет... Во!!!

— «Так и ждешь, что вот отворится дверь — и шашть...»

Внутри у меня что-то ёкнуло, я рванулся всем телом и вместе с Явой выскочил на сцену.

- «Чрезвычайное происшествие!» — отчаянно гаркает Ява.  
— «Неожиданное известие!» — точно так же гаркаю я.  
— «Что? что такое?» — всполошились все, кто был на сцене.

Вышло очень здорово. Зал замер.

- «Непредвиденное дело,— снова кричу я,— приходим в гостиницу...»

— «Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...» — перебивает меня Ява.

Зал молчит.

«Ай да молодцы! Ну и молодцы же мы!» — мелькает у меня в голове. Взглядом победителя обвожу зал, вижу десятки глаз, устремленных на меня и...

— Э! — говорю, перебивая Яву. Я хорошо знал, что должен в этот момент сказать «э». Но дальше... Словно кто-то в ухо мне вдруг — фф-фу! И все из моей головы через другое ухо — фф-фиты! — и пусто. Как в дырке. И ни одного слова нет. Не то что там из роли Добчинского, а вообще ни единого — будто я теленок и не знаю человеческого языка. Только вот это «э» в голове и осталось и гулко перекачивается там, стучаясь о череп.

- Э! — повторяю я и смотрю на Яву.

А он смотрит на меня. И я догадываюсь, что у него тоже... все из головы — фюты! — и пусто. Я экаю в третий раз.

- Э! — отвечает Ява, только чтоб не молчать.

И смотрим друг на друга.

- Э! — кричу я.

- Э! — отвечает Ява.

И снова тарашим глаза... В зале прыскают со смеху. Видно, думают, что так и нужно.

Вон и бабка Триндичка растянула в улыбке свой беззубый рот. Подбородок ее трясется, и лицо стало сплюснутым от смеха (сколько уж лет она не смеялась!).

- Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!.. — гудит зал.

Кузьма высунул голову из суфлерской будки и, широко разевая рот, подсказывает по складам, что нам говорить. Кажется, и глухой его понял бы. Уже и городничий — Карафолька подсказывает, и почтмейстер — Сашка Гузь. Уже и в первых рядах поняли, и даже кто-то из публики, расслышав Кузьму, сам начал подсказывать.



Я слышу отдельные слова, но они разбегаются, как непослушные овцы. А я, как недотепа-пастух, не могу собрать их вместе. Если бы меня в тот момент спросили: «Как твоя фамилия?» — я и то, наверно, не смог бы ответить.

А в задних рядах всё еще хохочут, думая, что так и нужно по пьесе. И сквозь хохот слышится чей-то возглас: «Вот молодцы! Ну и молодцы!» Это уж слишком!

Больше выдержать я не могу.

Я срываюсь с места, сбиваю по пути какую-то декорацию и вылетаю вон со сцены...

Я бежал по безлюдному селу наугад, не разбирая дороги, и ветер свистел в моих бакенбардах.

И только когда очутился за селом, в лозняке над речкой, я упал на траву, и катался, и стонал, и землю грыз от позора, от стыда, от горя. А когда через несколько минут первый приступ отчаяния прошел, я увидел, что рядом со мной катается, стонет и землю грызет мой друг Ява — Бобчинский.

Мы не сказали ни слова. Мы только посмотрели друг другу в глаза. Что же мы наделали?! Ведь мы не только провалились сами, опозорились на все село, мы подвели и всех остальных. Такую пьесу провалили!.. Ведь, как вы уже знаете, хоть и не главные герои Бобчинский и Добчинский, а так уж написана эта гениальная пьеса, что без них — ни тпру ни ну. Вот мы сейчас убежали, а там все сорвалось. Скандал... Паника... Ведь не могут же без нас узнать городничий — Карафолька и все другие чиновники, что в гостинице живет Хлестаков — Кагарлицкий, которого нужно принимать за ревизора. Сказать это должны были мы, Бобчинский и Добчинский. Кроме нас, никто этого сделать не может. Никто! Растерянно стоит на сцене талантливый Карафолька, не зная, что делать. И все другие актеры стоят, как пришибленные. А за сценой, так и носа на нее не высунув, страдает самый талантливый из нас Коля Кагарлицкий. Ах, какой же он был Хлестаков на репетициях! И откуда у него все это бралось!.. А ведь раньше такой тихий был и незаметный... Мы его и за хлопца не считали. Ни с дерева в воду нырнуть, ни окно из рогатки выбить... Уткнет нос в книгу и сидит себе под грушей молчком. А на сцене такое выделывал, что только ах!.. И теперь никто этого не увидит.

И знаменитый предок зоотехника бабка Триндичка, которая за сто лет, может, в первый раз собралась культурно развлечься, поплелась домой сверчков на печи слушать. Недовольная и хмурая расходится публика по хатам. Ругает во все тяжкие этот прихотливый и ненадежный театр, который так сильно зависит даже от самых что ни на есть паршивеньких актеров.

А эти самые актеры лежат в это время на траве, смотрят в небо, где насмешливо подмигивают им звезды, и страдают. На весь космос, на всю Вселенную страдают.

Ну как же теперь показаться людям?! Как смотреть в глаза им?! Как вообще жить на свете после этого?! Ох, что же мы наделали!..

Вот беда!..

И зачем мы только придумали этот ВХАТ на свою голову!

Ведь жили мы беззаботно и весело.

И что нам нужно было?!

В Америку захотелось? На гастроли? Венков лавровых? Аплодисментов? Шибздики несчастные! Оплеухи вам вместо аплодисментов!..

А все началось с Киева. Это Киев виноват. И киевская милиция. И то злосчастное корыто. И Валька. И Максим Валерьянович. И часы «Салют». И... утопленник. Утопленник виноват в первую очередь. Но подождите, давайте всё по порядку.

## Глава II

### СЛУЧАЙ В МЕТРО. «КОСМОНАВТ». КОНФЛИКТ С КИЕВСКОЙ МИЛИЦИЕЙ

Прошлым летом мы приехали в Киев. На целый месяц. В гости к моим родным — дяде и тете. Вот было здорово! Мы весь год мечтали об этом. Не то чтоб мы никогда не бывали в Киеве — бывали. Ява один раз, а я так даже два. Но тогда, в первый раз, мы были всем классом на экскурсии. И то только два дня. А во второй раз я был один, без Явы. Но это ведь не то, совсем не то. Вы же сами знаете, что радость, которую нельзя разделить со своим лучшим другом, — не полная радость. И даже не половинка. А какая-нибудь четвертинка.

Если вы только что приехали в Киев, с чего вы начнете? Правильно,

с Крещатика! Так уж заведено... Прямо с поезда вы заносите свои чемоданы на квартиру, и ноги сами собой несут вас на Крещатик. Тетя едва успевает крикнуть вам в догонку: «Смотрите не потеряйтесь и на обед не опоз...» — дальше вы уже не слышите.

Через двадцать минут после того, как приехали, мы уже шли по Крещатику...

Что я сказал — шли? Мы парили, плыли, вышагивали гордо и торжественно как на параде. По Крещатику нельзя просто так идти. Такая уж это необычная улица. Тот, кто попал на Крещатик, становится словно другим человеком. Все на Крещатике кажется какими-то радостными и праздничными. И на удивление вежливыми, приветливыми. И все улыбаются. И хотя люди идут по Крещатику тесной толпой, но я не видел, чтобы кто-то кого-то двинул локтем или обругал. Если кто и толкнет нечаянно — «Простите!» — улыбнется и идет себе дальше. Хорошие люди на Крещатике! Нужно, чтоб на всех улицах такие были.

Плывем мы, парим, вышагиваем...

Широк, как Днепр, Крещатик (по радио на праздниках всегда так говорят). По берегам — на тротуарах — люди, посередине, на мостовой, — машины. И так же как на тротуарах не увидишь ни одной машины, так и на мостовой — ни одного человека. Каждому — свое. И чтобы одно другому не мешало, переходы под землю спрятали. Такой на Крещатике порядок — любо-дорого. «Легче у нас под телегу попасть, чем тут под машину», — подумал я. Да только успел я это подумать, как вдруг с тротуара прямо под машины как с привязи сорвался какой-то человек. Лысый, в темных очках, с фотоаппаратом через плечо и как будто без брюк — в одних трусах. Только по луговицам мы и догадались, что это такие штаны, но короткие, как трусы. Из этих штанов торчали некрасивые толстые ноги, покрытые густыми волосами. По всему было видно, что это не из наших, а какой-нибудь интурист.

Мы с Явой замерли: неужели перебежит?!

Но тут враз — цуррр! — будто из земли вырос молоденький, стройный милиционер с заливчатски закрученными усиками. И голоногий интурист, не добежав даже и до середины, так и присел, смешно растопырив руки. Потом повернулся и рысцой потрусил назад. Милиционер только улыбнулся и погрозил пальцем, как учитель недисциплинированному ученику (хотя интурист был вдвое старше милиционера).

— Во! Видел? — гордо сказал Ява. — Думает, наверно, раз приехал из какого-нибудь там Лондона или Рио-де-Жанейро, так можно тут шляться где хочешь! Дудки! Лезь, голубчик, под землю, как все люди. Невелика шишка!.. — Ява восторженно глянул на молодцеватого, симпатичного милиционера и сказал: — Знаешь, Павлуша, все-таки нет ничего лучше, чем быть милиционером. Во-первых, благородно! Борешься со всякими ворами, бандитами и хулиганами. Во-вторых, все тебя уважают, а если нужно, и боятся. Я, наверно, все-таки стану милиционером. А ты?

— А я — летчиком. Ты же знаешь.

— Как хочешь, — сказал Ява и вздохнул.

Ява менял профессии, как цыган коней. Сегодня он капитан дальнего плавания. Завтра — геолог. Послезавтра — директор кондитерской фабрики. («По три кило «Тузика» в день есть можно!») Потом футболист киевского «Динамо». Потом художник. Потом зверолов, который ловит для дрессировки тигров, барсов и ягуаров. А теперь, смотрите, — милиционер!

А я так нет. Вот как решил еще в первом классе, что буду летчиком, так и держусь твердо.

Даже дед Саливон сказал недавно: «Ты смотри, какой упрямый!.. Знать, все-таки будет летчиком этот слюнявка, чтоб его муха брыкнула!»

Только иногда я не выдерживаю и присоединяюсь к Яве за компанию. Да и то только так, чтобы оставаться летчиком. Я уже был и морским летчиком, и летчиком-футболистом, и летчиком-художником, и летчиком-звероловом, и летчиком-геологом, и даже летчиком на кондитерской фабрике, который перевозит самолетом конфеты «Тузик».

Но на этот раз я воздержался, так как не представлял себе летчика-милиционера. Кого же он будет задерживать в воздухе? Разве что аистов?

Нет, пусть уж на этот раз я останусь просто летчиком.

Плывем мы, парим, вышагиваем по Крещатику...

Справа роскошно облицованные дома, похожие на гигантские изразцовые печи, один к одному громоздятся, в гору на Печерск взбираясь.

Слева универмаг стеклом на солнце блестит. Дальше огромный десятиэтажный горсовет. «Сколько же в нем людей советуется, в такой громадине!»

Где-то за горсоветом башня телевизионная небо до самого космоса

проткнула. Вот это высота! Ничего не видал выше. Вот где от матери после двойки прятаться! Не то что на нашей груше. Не только не стацишь, не докричишься никогда!

После горсовета, за улицей Свердлова, Крешатник сворачивает вправо и на площади Калинина раздвигает дома от себя подальше, словно собирается крикнуть: «Пустите меня, я хочу нырнуть в Днепр!» Но на площади Ленинского Комсомола утыкается в филармонию. И из-за этой филармонии в Днепр так и не прыгает...

После улицы Свердлова мы по Крешатику дальше не пошли — справа увидели станцию метро. А хотел бы я посмотреть на того, кто приехал из Васюковки в Киев и равнодушно прошел бы мимо метро!

Не сговариваясь, как по команде, мы повернули к станции.

На нас сразу дохнуло свежестью и каким-то особым, одному только метро свойственным запахом.

Хотя контролера здесь не было и проходы между специальными тумбочками были гостеприимно открыты, проходить «зайцами» мы и не думали. Пусть кто поглупее это делает, а мы уже один раз пробовали... Как бы скоро ты ни бежал, еще быстрее из тумбочек, где горят приветливые слова «Опустите пять копеек», выскакивают наперехват специальные держакки, и ты ударяешься в них животом. Вот так!

Мы, как порядочные люди, наменяли в кассе пятаков, кинули и прошли...

«Какие мы все-таки культурные и благородные», — с гордостью подумал я. Знать бы мне, дураку, что в этот миг случится...

— Смотри! Смотри! Старшина Паляничко! — внезапно воскликнул Ява. — Давай догоним!

И только я успел разинуть рот: «Га? Где?» — как он уже помчался вниз по эскалатору.

Впереди на эскалаторе стоял какой-то толстяк с корзинами и мешками наперевес и с новым цинковым корытом в руках. Видно, продал на базаре яйца или еще что-нибудь, накупил товару и ехал домой.

На несколько метров ниже толстяка стояла стройная девушка с высоченной, похожей на копну сена, прической, — ну прямо кинозвезда. А еще ниже ехал милиционер, со спины и вправду очень похожий на старшину Паляничко, с которым мы познакомились в прошлом году при довольно интересных обстоятельствах. Конечно, здорово было бы с ним

снова встретиться и поговорить. Особенно Яве, который с сегодняшнего дня готовит себя в милиционеры.

Я, не раздумывая, загрохотал по ступенькам следом за Явой. Яве удалось проскользнуть мимо толстяка, который загородил покупками чуть не весь проход. А я сунулся за ним да и зацепил нечаянно цинковое корыто, которое толстяк поставил рядом с собой и придерживал только двумя пальцами. Корыто грохнулось на эскалатор и полетело вниз.

Бум-бум-бум!.. Раз! — и оно ударило по ногам «кинозвезду». Та не устояла и шлепнулась в корыто. И оно, теперь уже с пассажиром, загремело дальше.

Мы оторопели.

Ослепительно красивая, как кукла накрашенная, «кинозвезда» сидела в корыте и, держась за него обеими руками, мчала вниз по эскалатору.

Молча, без крика, без единого слова. То ли она была уж такая мужественная, то ли, наоборот, онемела от испуга и неожиданности — ей ведь и сообразить-то было некогда, в чем дело.

Еще миг — и милиционер, который еще не успел обернуться и заметить опасность, сбитый с ног, рухнул на эскалатор. А «звезда», не меняя позы, пронеслась мимо.

Толстяк тут же рванулся за своим корытом, даже не взглянув на нас с Явой. Он грузно топал по эскалатору со всей своей поклажей, то и дело озабоченно покрикивая: «Поберегись! По-берегись!», как извозчик на базаре, которому не дают проехать — только что кнутом не хлопал.

«Звезда», сбив с ног еще несколько человек, вылетела с эскалатора, прокатилась через весь зал и остановилась.

Какой-то интеллигентный дедуня, прямо под ноги которому она подъехала, с удивлением глянул на нее и сказал сурово:

— Что это вы, мадам, развлекаетесь, как ребенок?!

Толстяк все еще грузно топал по эскалатору, хрипло и как-то не очень встревоженно бормоча:

— Мое корыто!.. Мое корыто!..

Сбитый милиционер (теперь мы уже видели, что это никакой не Паляничко) спешил за толстяком, на ходу отряхивая китель, и, неизвестно к кому обращаясь, кричал:

— Минуточку! Стойте! Минуточку!..

Мы продолжали бежать за милиционером. Другого выхода у нас не было. Ведь эскалаторы в метро сделаны так, что по ним можно ехать только в одну сторону,— это тебе не обычная лестница!

На наше счастье, милиционер еще не понял, кто настоящий виновник этого скандального происшествия. Он преследовал толстяка и на нас не обращал внимания. Но скоро он дознается. Еще несколько секунд... Он догонит толстяка, и тот ему... У меня слабеют ноги... Но вот мы уже внизу.

«Кинозвезда», которая только теперь, наверно, пришла в себя, улыбается и, все еще сидя в корыте, бодрым голосом говорит:

— Полет прошел нормально. Чувствую себя хорошо. Невесомость и перегрузки перенесла удовлетворительно.

Вокруг смеются.

Как встречали «звезду-космонавта» милиционер и остальные пассажиры метро, которые веселой гурьбой окружили ее, мы уже не видели. Опрометью вскочили мы в вагон. Двери за нами захлопнулись, и поезд тронулся.

На следующей станции — «Арсенальской» — мы выскочили и дали стрекача вверх по эскалатору. Мы так спешили, что сердце из груди едва не выскакивало. А там ведь два эскалатора, и такие длинные...

Когда, выбежав из метро, мы свернули во двор большого серого дома и повалились на землю в кустах, весь дух из нас, как говорится, вышел вон... В глазах темно, ни рукой, ни ногой не двинешь. Не то что говорить — мы дышать-то не могли. Ртом только хватали воздух, как рыба без воды. Трехлетняя девчушка и та могла бы с нами справиться — брать за пятки, кидать в торбу и нести на базар продавать по две копейки за штуку. Такая нам была тогда цена.

И только минут через десять...

— Ух! — еле выдохнул Ява.

— Ага,— поддакнул я.

— Фу,— сказал Ява.

— Тьфу,— отозвался я.

И это весь разговор, на какой мы были способны.

И только минут через двадцать мы наконец пришли в себя и смогли обсудить то, что случилось.

— Да...— вздохнул Ява.— Можно сказать, испортил ты мне все дело. А что?! Кто ж меня теперь в милиционеры возьмет?..

— Да иди ты! При чем тут я? — пробовал я оправдаться.— Никто же не видел. И главное, все обошлось... Чего ты?

— Ну да, не видел! И дядька видел, и милиционер. Когда мы за ним бежали, он искоса глянул в нашу сторону... А у милиционера память будь здоров! Профессиональная.

— А-а! — махнул я рукой.

— Вот тебе и «а-а»! Может, нас по словесному портрету уже разыскивают. Словесный портрет — это, брат, такая штука...— Ява поднял над головой кулак, что могло означать, какая сильная штука словесный портрет. Про словесный портрет Ява был наслышан, еще когда готовил себя в контрразведчики.

— Да что мы такого сделали?! Ничего ведь страшного! — не столько Яву, сколько самого себя успокаивал я.— Нечаянно зацепили корыто... Ведь не нарочно же...

— Поди докажи, что не нарочно. Дядька первый скажет, что умышленно. Чтоб себя оправдать. И вообще такого, может, за всю историю метро не было. А ты говоришь...

— Не везет нам с метро,— вздохнул я.— И в прошлый раз, помнишь, скандал был, и теперь...

— Закон парности,— вздохнул Ява.

А может, он и в самом деле существует, этот «закон парности», про который не то всерьез, не то шутя говорил мой отец и который будто бы состоит в том, что разные неприятности всегда ходят в паре — как одна случится, жди другой. Недаром же в народе говорят: «И так горе, и так вдвое».

— Это такой проклятый закон... Смотри, чтоб с нами сегодня еще какой-нибудь пакости не приключилось,— сказал Ява и неожиданно улыбнулся.— А все-таки здорово шпарила она в корыте...

— А что! Как в ракете — фить! — и будь здоров! Я бы и сам не отказался, а?! — затараторил я, обрадованный, что Ява уже не запугивает меня милицией.

Ява поднялся с земли:

— Ну, так куда теперь пойдем?

Я пожал плечами:



— А куда хочешь! Хоть в веселый городок, хоть в кино, хоть в зоопарк.

— Это можно, вот только...— И Ява смолк.

— Что?

— Да если бы...— И снова смолк.

— Ну что?

— Да одним идти как-то... Вот если б разыскать этих... киевских... Игоря, Сашку-штурмана... Они ведь такие ребята классные...— и в небо смотрит, чтоб глаза от меня спрятать.

Гляжу я на него и про себя улыбаюсь. Ну и Ява! Вот уж лисхитрюга... Ребята, видишь ли, ему понадобились! Ну как же! Да я тебя насквозь вижу. Ты ведь для меня как стеклышко! Я не киевский охотник, которого за нос водить можно. Ведь что было! Охотники из Киева, которые приезжали к нам в Васюковку на охоту и рыбалку, часто просили нас кузнечиков для наживки наловить. Спичечная коробка кузнечиков — пятачок. Так вот я себе ловлю и ловлю в поте лица: нанялся — как продался. А Ява сена в коробок наложит, сверху несколько кузнечиков сунет и уже бежит менять на пятак. А поймают его на этом деле, он только глазами невинно хлопает: «Ведь нужно же было им корма подбросить...»

Но я-то тебе не киевский охотник!

— Оно бы, конечно, здорово, — говорю, — только где же их найдешь? Адресов ведь мы не знаем... Правда, давала тебе Валька свой адрес. Но ведь ты его, конечно, не сберег... Да оно и смешно было бы — беречь адрес какой-то Вальки.

Ух ты! У Явы щеки так и вспыхнули, как от пощечин.

И что же это такое бывает иногда с людьми? Смотришь — геройский хлопец становится бог знает чем, ботвой свекольной... И из-за кого? Из-за какой-то цапли в юбке... Тьфу!

В тот раз, когда были у нас приключения с Кнышем и Кнышихой и когда Ява был Робинзоном Кукурузо и бежал в речные плавни на необитаемый остров имени Перезкзаменовки, познакомились мы случайно с киевскими пионерами-юннатами. И была среди них одна такая Валька, худая, длинноногая и, по-моему, совсем некрасивая. (Ганя Гребенючка из нашего класса в тысячу раз лучше!) Но это я так считал. А Ява... Ява в присутствии Вальки через две минуты стал не Ява, а свекольная

ботва. Когда юннаты возвращались в Киев, Валька оставила Яве свой адрес, чтобы мы написали, чем кончится наша история с Кнышем и Кнышихой — ее видишь ли, это страшно заинтересовало.

История с Кнышем и Кнышихой закончилась нашей победой. Мы ходили героями, и Ява несколько раз полушутя, полусерьезно закидывал удочку — написать Вальке письмо. «Да ты что, спятил? — сказал я ему. — Я вот, когда в лагере, домой-то пишу редко, а ты хочешь...» Один Ява написать не отваживался. Боялся ошибок наделать. Переэкзаменовка-то у него была как раз по языку. Так с письмом ничего и не вышло. Но адрес Ява сберег. Он прятал его на чердаке, и я однажды видел — он перечитывал его как какое-нибудь письмо. Только я ему ничего не сказал...

А когда мы ехали в Киев, я знал, что рано или поздно Ява заведет разговор про Вальку. Но я не думал, что так скоро. И если бы не моя провинность в приключении с корытом, я бы, наверно, так быстро не сдался. Но теперь я обрадовался, что Ява забыл про словесный портрет и милицию, и решил уступить.

— Чего скис? — говорю. — Смотри веселей! Конечно, интересно было бы встретиться и с Игорем и с Сашкой-штурманом, и с Валькой. Они бы нам Киев знаешь как показали! Какой там у Вальки адрес? Я раньше помнил... Улица какого-то восстания?..

— Январского... — буркнул Ява.

— Да это ж она и есть! Тут возле метро начинается и тянется туда, где Лавра. Айда!

Ява криво улыбнулся.

### Глава III

#### ЯВА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ. УХО

Через несколько минут мы уже были в Валькином доме. Стали искать квартиру — нету! Все здание обошли... На самом верхнем этаже последняя квартира — восемнадцатая, а нам нужна двадцать пятая. Что такое?! Неужели обманула Валька, подшутила, выдуманный адрес дала?.. На Яву было больно смотреть — такой у него был вид. Наконец я

решился спросить у какой-то бабуся. Оказалось, есть двадцать пятая, только во дворе, в так называемом флигеле.

— Выдумали какой-то флигель-мигель. Только с панталыку сбивают,— притворно сердясь, бурчал повеселевший Ява.

И в самом деле, во дворе стоял точно такой же, как и с улицы, большой шестизэтажный дом. И что его флигелем называли?!

Когда мы входили в парадное, я заметил, как Ява, проходя мимо старинных стеклянных дверей, на миг задержался, глянул на свое отражение в стекле и пригладил рукой чуб. Я сделал вид, что не вижу.

На третьем этаже мы легко отыскали двадцать пятую квартиру. На дверях несколько кнопок от электрических звонков — наверно, в квартире много соседей. На лестнице полутемно, и мы встаем на цыпочки, чтобы прочесть надписи под кнопками... Вот... «Малиновским звонить один раз!» Это и есть. Валькина фамилия Малиновская. Точно.

— Звони,— шепчет Ява.

— Ты звони,— шепчу я и неизвестно отчего чувствую холодок в животе.

— Да позвони! Ну ты же выше, тебе удобней,— хитрит Ява.

— Тебе адрес давали — ты и звони! — не сдаюсь я.

— А ну тебя! — сердито шепчет Ява и решительно нажимает на кнопку. За дверями дребезжит звонок.

Ява отскакивает и прячется за мою спину. А мне очень надо! Я тоже отскакиваю в сторону и стараюсь выпихнуть Яву вперед.

И тут случилось что-то невероятное. Из-за выступа стены, как призрак, вынырнул кто-то огромный и здоровенной ручищей схватил Яву за ухо. В то же мгновение хриплый голос так загремел на всю лестницу, что эхо вприпрыжку поскакало вниз по ступенькам.

— Ага! Попался! Попался наконец!

Не говорю уж про Яву, которого трепали за ухо, я и сам-то от неожиданности прирос к месту и не мог шевельнуться.

А грозный голос продолжал греметь:

— Так вот кто хулиганит! Вот кто звонит и убегает!.. А бедная бабушка должна бить старые ноги, попусту выходить открывать?! Вот мы сейчас с вами поговорим!

И тут же из-за дверей послышался звонкий Валькин голос:

— Кто там?

Ой-ой-ой! Я бросил на Яву панический взгляд. Ява собрал все силы и так отчаянно рванулся, что даже если бы ему пришлось оставить ухо в дядькиной руке, он все равно бы вырвался. Да что ухо! В тот момент Ява готов был отдать полголовы, даже полтуловища, только бы вырваться, убежать хоть с тем, что останется, подальше от Валькиных глаз.

Да вы сами подумайте, в первую минуту свидания, которого вы так ждали, ваша Валечка видит (боже ты мой!), что какой-то здоровенный громила держит вас за ухо, как паршивого щенка. А вы, склонивши голову, жалко висите на своем ухе, даже не касаясь земли. Вы, который столько мечтал о той торжественной, волнующей минуте, когда откроется дверь... Она станет на пороге, и вздрогнут от радостного удивления густые ресницы, и засияют очи, и вспыхнут румянцем щеки. И она скажет: «Ой!», а потом «Ах!», а потом: «Здравствуй, здравствуй! Это ты? Как я рада!» И все будет так прекрасно...

А вместо этого...

Как выстреленные из пушки, мы прогрохотали по лестнице вниз, выскочили во двор, потом на улицу и целый квартал бежали что есть духу, не оглядываясь. И только когда убедились, что за нами никто не гонится, отдуваясь, перешли на шаг.

Мы шли не разбирая дороги, шли и молчали.

Из Явиных глаз бежали слезы. Он морщился и отворачивал от меня лицо. Но я все понимал. Это просто механически... Просто ухо каким-то образом связано с тем органом, который вырабатывает слезы. И если ухо сильно покрутить, то слезы потекут сами собой. И это не означает, что человек плачет. Ява никогда не плакал!

Ухо у Явы вспухло, увеличилось вдвое и пылало, как мак.

Конечно, с таким ухом снова пробиваться на свидание нечего было и думать.

Мы хорошо понимали, что случилось. Произошло ужасное недоразумение: видно, какой-то шалопай развлекался тем, что звонил в квартиры и убегал. А мужчина, случайно подойдя и заметив нашу мельтешню возле дверей после того, как мы позвонили, решил, что мы хулиганим. Мы понимали, что произошла ошибка, но нам от этого легче не было. Особенно Яве. И не столько из-за уха, сколько оттого, что с Валькой не встретился и теперь, кто знает, встретится ли вообще.

Я боялся, что он во всем будет обвинять меня: ведь если б я сразу

позвонил, как он просил, и если б не стал его выпихивать вперед, может, ничего бы и не было. Но Ява проявил благородство, он ни о чем не говорил, только иногда смахивал слезы.

Мне хотелось его развеселить, но я долго не мог придумать, как это сделать. Наконец я сказал:

— Эх, подловить бы этого скота, из-за которого нам попало, и зазвонить бы ему в ухо так, чтоб у него отпала охота звонить куда не надо, чтоб у него три дня в башке звенело! Тогда бы знал, как шкодить. Эх, я бы ему дал!..

Но мое отважное настроение на Яву не подействовало. Я сокрушенно вздохнул.

Мы прошли парками над кручей, перешли через мостик и вышли к кинотеатру «Днипро».

— Во! — радостно воскликнул я, как мореплаватель, который увидел землю. — Давай в кино сходим! Тетя же нам специально денег на это дала. Айда!

Но Ява, отвернувшись, угрюмо буркнул:

— Не хочу!

— Ну и зря, — сказал я. — Чем красоваться с таким ухом на людях, лучше часа полтора посидеть в темноте в кино. А за это время ухо станет нормальным.

Все так же не глядя на меня, Ява буркнул:

— Идем!

Я мигом бросился в кассу за билетами...

Смотрели мы «Семеро смелых» — героический фильм про полярников. В картине все время безумствовал буран, и герои, обвешанные с головы до ног ледяными сосульками, мужественно кряхтя, карабкались на ледяные горы, проваливались в снег и тащили друг друга на плечах. Это немного ободрило Яву. Когда мы вышли из кино, у него в глазах уже не было такой безнадежной грусти и отчаяния, как раньше, хотя ухо еще имело не очень хороший вид.

Я чувствовал в животе неприятную сосущую пустоту — хотелось есть, и я надеялся, что мы сейчас поедем домой. Но Ява и слышать об этом не хотел — боялся, что тетя начнет допытываться. Чудило! Легко ведь можно что-нибудь придумать: упал и ушибся, или в переполненном автобусе дверями прищемило, или еще что-нибудь. Разве мало несчастных

случаев может произойти с человеком в таком большом городе, как Киев? Но переубедить Яву я не мог. Мы спустились вниз к Крещатику. У Владимирской горки, там, где павильон «Мороженое», Ява остановился. Осторожно взявшись рукой за ухо, он страдальчески глянул на меня и сказал:

— Если холодное приложить, может, и полегчало бы... А? Как думаешь?

Я потрогал у себя на груди и пожал плечами. Я знал, на что он намекает. Тёткины деньги мы уже истратили на кино. Но у нас еще были деньги. У меня на груди в потайном кармане в подкладке лежала трешка. Мы копили ее целых полгода и возлагали на нее большие надежды. Договорились тратить ее только на что-нибудь уж очень интересное или на запретные удовольствия, на которые денег тетя не даст, — на полет над Киевом на вертолете или на фильм, на который дети до 16 лет не допускаются... А из-за того, что характер у Явы не такой серьезный, как у меня, и он может ухнуть эту трешку за полчаса, мы решили, что храниться она будет у меня и тратить ее будем только с общего согласия.

И вот Ява намекает, чтобы взять из трешки на мороженое. Мороженого и мне хочется, но мы ведь не на мороженое ее берегли... А Ява сегодня пострадал, вон как за ухо держится! И глаза у него, как у щенка, которому прищемили хвост. Я вздыхаю и решительно направляюсь к павильону. Ява за мной. Садимся за столик и заказываем по сто граммов самого дешевого — сливочного. Подумаешь, тринадцать копеек порция! Не пообедаем...

Мы едим сосредоточенно, причмокивая и облизывая ложечки. Время от времени Ява прикладывает холодную ложечку к уху. Но что такое сто граммов! Через три минуты мы уже сидим перед начисто вылизанными чашечками, в которых, как в зеркале, отражаются наши поникшие носы. Ява печально щупает свое ухо. Ухо требует жертв. Я облизываю сладкие губы и с отчаянной решимостью (как с моста в воду) заказываю две порции пломбира.

Ох и вкусное же мороженое в Киеве, ох и вкусное!!!

Вы думаете, на пломбире Явино ухо успокоилось? Ничего подобного. После пломбира было шоколадное, потом фруктово-ягодное, потом ореховое. И к каждой порции прибавьте еще по стакану газировки с

сиропом. Дорого обошлось нам Явино ухо! Разошлась вся наша трешка. Остались жалкие копейки. Я чуть не плакал, когда расплачивался.

Мы вышли из павильона пошатываясь.

Потом целых полчаса сидели на лавочке у павильона и молчали. Блаженствовали. Вот если бы каждый день обедать мороженым! И завтракать мороженым, и ужинать!

Вдруг Ява посмотрел налево и сказал:

— Ты думаешь, что там такое?

— «Чертово колесо», — говорю.

— Так чего же мы сидим?

— Идем.

— А деньги у нас есть?

— Да на это еще найдется.

Уж на что, на что, а на «чертово колесо» я и последнего не пожалею! Это же мне просто необходимо. Ведь я же собираюсь в летчики...

Мы как раз вовремя подоспели. Последняя кабина была свободна. Только мы сели, колесо тронулось. И-их ты! Ух и здорово! Поднимаемся-поднимаемся-поднимаемся... И все у тебя внутри уходит вниз. А потом опускаемся-опускаемся-опускаемся... И все у тебя внутри уходит вверх. Ну прямо как на самолете! Вверх — как высоту набираешь. Вниз — как на посадку идешь. (Я же все-таки летал — что вы думали! — на «кукурузнике» сельхозавиации, который наши поля опрыскивал.)

Да еще стоит колесо на высокой круче над Днепром. И видно с него далеко-далеко, как с самолета. Внизу Подол, и Днепр, и ширь Левобережья, которое до самого горизонта простерлось. А вон Труханов остров... пляж. Ну и людей же там! Песка даже не видно. И ступить-то, наверно, некуда. Как они там не раздавят друг друга! Ого! А это что такое, между деревьев?.. Держите меня! Да это... парашютная вышка! Ну точно! Она!

Вот бы мне с этой вышки прыгнуть! Мне просто нельзя не прыгнуть. Летчику с парашютом прыгать — все равно что моряку плавать.

— Явочка! — говорю. — Видишь вон ту вышку? Давай с нее прыгнем!

— Давай! А что? — сразу соглашается Ява. Он хоть и не собирается в летчики, но с чего-нибудь прыгнуть, куда-нибудь кинуться или выкинуть какую-нибудь штуку он всегда «за»!

## Глава IV

### ПЛЯЖ. КАРУСЕЛИ. УТОПЛЕННИК. НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ

И вот мы бежим по лестнице из «Городка развлечений» вниз к набережной. Хорошая лестница. Только слишком длинная. Хоть и вниз бежишь, а все равно запыхиваешься.

— Чего бежать? Не успеем, что ли? — говорю, а сам думаю: «Нужно силы для прыжка беречь. Кто знает, как оно там будет? Все-таки первый раз!»

Сбавили мы скорость. Пошли шагом.

Внизу не то ворота, не то беседка — не разберешь. И на ней огромная колонна с какой-то штуковиной на верхушке.

— Постой,— говорит Ява.— Тут что-то написано.

Ява любит читать всякие исторические и мемориальные надписи. Подходим. К стене прикреплена мраморная досочка:

#### ПАМЯТНИК В ЗНАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КИЕВУ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА

Сооружен в 1802 году

Архитектор  
А. И. МЕЛЕНСКИЙ.

Вот никогда бы не подумал, что это памятник! Ведь памятник — это или конный или пеший, но всегда какой-нибудь герой... полководец или гений. А тут какое-то «Магдебургское право»! Ну и ну!..

Надпись на мемориальной доске была не единственной. Кроме нее, еще было много надписей. Но уже от руки и значительно более позднего происхождения. Все «Магдебургское право» было густо исписано довольно-таки однотипными формулами: «Коля + Оля = любовь», «Вася + Тася = любовь», «Юра + Нюра = любовь» и т. д.

А один какой-то намалевал во-о-от такими буквищами свою формулу, аж метра на три от земли: «Жека + Лёха = любовь». Наверно, ему пришлось принести для этого из дому стремянку. Ведь не могло же у него быть



такое длинное тело! По-человечески его, должно быть, звали Алеша, а ее Женя; писал он по-русски и не знал, дурачок, что по-украински «леха» — «свинья». И вышло, что он сам себя обозвал свиньей.

То, что никто из них не имел пятерки по чистописанию, было сразу видно — таких кривулей они навыводили. И еще было ясно, что друг друга они, может, и любили, но больше не любили никого, потому что так испоганили памятник — смотреть тошно.

— И зачем только их грамоте учили! — с чувством сказал Ява.

«Смотри ты, какой правильный! А не ты ли, дорогой Явочка, писал мелом на сарае за школой разные лозунги против завуча Саввы Кононовича?» — подумал я. Но сказать не сказал. Ведь и сам я был грешен: писал на заборе всякие глупости. А ведь это вон как нехорошо. Больше не буду!

Исполненные благородных чувств, мы направились к пешеходному мосту, что ведет на Труханов остров. По мосту непрерывным потоком шли люди. Куда ж это они? Там ведь и так ни стать, ни сесть... Ох, не иначе, как раздавят там кого-нибудь сегодня. Ох, не обойдется сегодня без жертв!

Жертвы... Чем ближе мы подходим к парашютной вышке, тем сильнее шевелится в моей груди что-то паршивое-препаршивое, скользкое и холодное. Высока все-таки, холера!.. Это тебе не ива, с которой мы в речку ныряем. Если не раскроется парашют, то только — ляп! — и квакнешь...

Интересно, бывает так, что не раскрывается парашют на парашютной вышке?.. Бывают ли там несчастные случаи? И жертвы...

Мы перешли мост, свернули влево, к вышке. Интересно, о чем сейчас думает Ява? Как-то очень уж бодро он идет, чересчур уж бодро. Так серьезные люди не ходят в первый раз с парашютом прыгать.

Приглядываюсь я к парашютной вышке. Что-то не видно, чтобы кто-то с нее прыгал. Может, уже сегодня была какая-то жертва... А мы, два дурака, идем...

Умные люди вон в пинг-понг играют, в настольный теннис — совсем безопасная игра, полностью гарантирует жизнь. Стоит двадцать столов, и белые пластмассовые шарики так и скачут по ним, как пузыри во время дождя...

А вот и парашютная вышка. Ты смотри — нет ничего. И парашюта

не видно. А канат, на котором он должен висеть, заброшен куда-то вверх.

Недалеко от вышки сидел под деревом какой-то полуголый пожилой дяденька в парусиновых брюках. Уже то, что он был не в трусах, а в брюках, заставило меня подумать, что это кто-то из администрации.

Я подошел и спросил:

— Скажите, пожалуйста, а вышка разве не работает?

Дяденька взглянул на меня и хмыкнул:

— Чего ж не работает? Работает. Только видишь — нет парашюта. Кто-то украл, говорят. А без парашюта с нее прыгать опасно. А впрочем, попробуйте, хлопцы. Я вижу, вы такие герои, что вам и парашют не нужен.

Мы поняли, что дяденька шутит. Ну конечно же, не работает вышка, не работает... Ур-ра!

— Вот жалость,— сказал я.

Рядом с вышкой была карусель. Я сначала подумал — карусель как карусель, обычная. А потом присмотрелся — э, нет, не совсем обычная. На высоком железном столбе огромное колесо, а к тому колесу на длинных цепях сиденья подвешены. Крутится колесо, и сиденья крутятся, в сторону отклоняясь,— вроде того, как консервную банку на проволоке над головой раскручивать.

Глянул я на Яву:

— Давай?

— Давай.

Выскребли мы последние копейки. Заплатили. Сели. Поехали! Сперва потихоньку-потихоньку. Потом все быстрее, быстрее...

— Ого-го-го-го-о!..— кричу я.

Ну и лихая карусель! Совсем ты как птица летишь по воздуху, как будто и не держит тебя ничто... Ух-ух-ух!..

— Др-р-р-р!..— Это опять я. Рокот мотора изображаю. Будто лечу на сверхзвуковом истребителе.— Та-та-та-та-та-та-та!..— из пулемета стреляю по Яве.

Ява оборачивается и тоже:

— Та-та-та-та-та!..

— Иду на таран! — кричу, подлетаю к Яве — шарах его сзади! — и он отлетает от меня. А потом подлетает — шарах меня! -- и я отлетаю...

И-их!.. Вот карусель! Ну и карусели! И никаких тебе несчастных случаев! Никаких жертв! Цепь такая, что вола выдержит.

Вот так бы летал и летал... Целый день бы летал...

А тут вдруг тише... И еще тише... И совсем — стоп!

— Приехали! Вылезайте!

— Тю! Так мало?

— Если хотите еще, пожалуйста — платите деньги и карусельтесь сколько вам влезет.

Де-е-ньги! Где же нам взять эти деньги, если они вот тут, в животе! И зачем мы столько мороженого слопали! Могли бы ведь и меньше на две-три порции! Как раз бы на карусель. А теперь из-за этого паршивого мороженого приходится отказаться от такого для меня необходимого, такого летческого развлечения.

Эх, дурак я, дурак! Ну, у Явы ухо, ему нужно! А я чего? Чего я-то? Вот бы мне и сэкономить. Пусть бы Ява один ел. Мороженого и в Васюковке сколько хочешь. А такую карусель когда еще поставят? Я уж к тому времени и вырасту...

Ява, видя мое настроение, сочувственно вздыхает и говорит:

— Идем хоть искупаемся...

— А! — машу я рукой. — Что мне купаться! Что я, в Киев купаться приехал? Я дома во-о как накупаться могу... Да и где тут. Среди людей, как в лесу, заблудишься. До воды не доберешься. Да у берега уж и воды не осталось — одни люди...

Но это я только так сказал, чтобы досаду на чем-то сорвать. Быть на киевском пляже и не искупаться мог только какой-нибудь хворый или ненормальный. Особенно в такую жару. И вот стали мы пробиваться к воде.

Я не могу себе точно представить, что такое миллион человек. Но уж если представлять, то, пожалуй, нужно вспомнить киевский пляж. По моему, там было не меньше! Кто не верит, пусть проверит.

Это было похоже на какой-то гигантский базар. Только что все голые и не торгуют. Никогда я не видел столько голых людей сразу. Ну, приходилось видеть одного, двух, трех... Ну, два-три десятка — в бане. А тут миллион голых! Даже не верится, что такое бывает.

Древние люди, которые адское пекло выдумали, были просто без всякой фантазии. Разве ж у них пекло?! Вот киевский пляж в жаркий

выходной день — вот это пекло! Уж тут и вправду пекутся и жарятся на солнце. Половина людей лежит нагишом молча, без движения, закрыв глаза, как мертвые. Лишь по тому, как колышутся их животы, можно понять, что они еще живы, еще дышат. Другая половина непрерывно что-то ест — жует, глотает, чавкает, пьет молоко из треугольных пакетов, пиво и лимонад из бутылок.

Кажется, что эта половина пришла на пляж специально, чтобы поесть. И только небольшая частица людей барахтается в воде. Но и этой небольшой частицы достаточно, чтобы вытеснить телами половину воды из Днепра. Еще одна незначительная частица все время куда-то идет. Идет, переступая через тела, наступая на чьи-то ноги, руки, головы и другие места. Но и этой незначительной частицы достаточно, чтобы создать впечатление вокзальной толкучки. А вон — хоп! хоп! хоп! — под деревьями волейбол. Стоят в кружок и лупят по мячу. И ведь нет, чтобы нормально играть, а всё стараются так, чтобы кому-нибудь в голову угодить. Разноцветные мячи не столько в воздухе летают, сколько по песку катаются, через людей перескакивая. Такой уж это пляжный волейбол.

А вон «геркулесы» ходят, важничая, то и дело напряжинивая мышцы и грудь колесом выставляя. И у каждого на руке номерок на резинке от гардероба, будто все «геркулесы» кем-то пронумерованы.

— Здорово, Гарик!

— Привет, Шурик!

— Чао, Марик!

Эти «геркулесы» друг с другом здороваются, не останавливаясь и не поворачивая головы, чтобы не утратить стройность фигуры. И все эти пронумерованные марики, гарики и шурики, похожие своей важностью на индюков, отличались от остальных людей тем, что были разрисованы татуировками. Татуировки были у них где хочешь — на руках, на груди, на ногах и даже на спине. И что только не было выколото! И корабли, и орлы, и звери, и женщины, и кинжалы, и разные мудрые изречения, например: «Смерть за измену» или что-нибудь в этом роде. Это во-первых. А во-вторых, у всех что-нибудь висело на шее. Какая-нибудь цепочка, а на ней или подковка, или бляха, или какая-нибудь женская брошка, или ключ, или даже... крестик. И чудно было видеть этот крестик на груди, где выколот пиратский корабль, кинжал

да еще и «Смерть за измену». Ясно, что этот крестик ничего общего с богом не имел, что это просто мода.

«Чего доброго, у них еще и поповская ряса в моду войдет,— подумал я.— И будут ходить тогда киевские гарики в поповских рясах по Крещатику...»

А вон какой дядька чудной. Там, где у людей волосы (на голове, например), у него лысина, а там, где у всех гладко (на спине, например), у него густая рыжая шерсть, как у медведя. А он лежит, загорает. Вот чудак! Ну как же ему загореть? Солнце ведь к телу сквозь этот мех не пробьется!

А вон старикан какой! Из воды выскочил и ну гимнастику делать: и приседает, и на руках от земли отжимается, и подпрыгивает, как хлопчик. Сам худуший, сверху лысина, а по бокам головы длинные волосы до самых плеч. И улыбается во весь рот, подмаргивая кому-то. Ну и дед!.. Ух! Вы гляньте только, что там делается! Старая бабуса, седая и сморщенная, в теннис, или, как его, в бадминтон ракеткой вымахивает. Так вымахивает, аж в глазах рябит. Ого-го! Интересно было бы посмотреть на нашу бабушку Триндичку с такой ракеткой. Все село бы сбжалось. А тут никто и внимания не обращает.

Интересные старики и старушки в Киеве. Какие-то ребячливые. Будто старые дети. А молодые парни наоборот. Вон идут двое. Ну, лет по двадцать, не больше. И оба с бородами. Чудеса!

А вон какая-то тетя спит под деревом. Завернулась с головой в одеяло и храпит. И чего она на пляж пришла, непонятно. Дома под одеялом лучше выспаться можно.

А сколько детей! Сколько детей на пляже! Только и слышишь:

— Сема, выйди из воды! Выйди из воды, Сема!

— Галочка, не заплывай! Плыви назад!

— Саша, где твои тапочки? Где твои тапочки, я спрашиваю!

— Алик, сними мокрые трусы.

— Толя, отдай ему мяч. Толя! Это ж не твой мяч, это его мяч.

— Яша, за такую вредность ты больше купаться не будешь. Не будешь... за вредность.

— Фаня, ты опять насыпала песку в мои туфли? А ну-ка высыпь сейчас же!

— Деточка, ну съешь яичко! Одно только яичко! — говорит толстая

тетя в полосатом купальнике, протягивая облупленное яйцо щекастому здоровяку лет двенадцати.

Тот воротит нос и морщится — не хочет.

— Деточка, ну съешь, прошу тебя! — умоляет тетя.

А из воды восторженно верещит худенький, как воробей, мальчишка лет шести:

— Мамо, вода! Мамо, Днепр! Мамо, я купаюсь! Мамо, вода! — как будто он никогда в жизни воды не видел и не купался никогда.

Мы подошли к самой воде и начали выбирать место, где можно положить вещи. Между прочим, глядя на Днепр, который кишел людьми, я подумал: «Вот если б кто-нибудь тонул, а мы бы его спасли! Лучше бы, конечно, чтобы какой-нибудь ребенок — легче спасать...»

Это была наша постоянная, пока еще не осуществленная мечта — кого-нибудь спасти и вообще стать героями. Особенно хорошо бы вот так, при всех, чтоб видели... Чего бы вон тому шустрому пискуну не забулькать, например... Мы бы его в миг — раз! — и будь здоров. И в «Вечернем Киеве» на следующий день заголовок: «Юные герои из Васюковки».

— Из «Вечернего Киева» как раз интересовались вчера... — услышал я вдруг веселый голос. И вздрогнул: уж не подслушал ли кто-нибудь мои мысли?

Нет, это просто разговаривали двое мужчин. Один, невысокий, круглолицый, стоял по колено в воде. Другой, широкоплечий, с крючковатым носом, стоял на песке у самой воды. Он был уже одет (возможно, шел домой), но еще не обулся — ботинки держал в руке.

— Все расспрашивали про роль царя, — продолжал круглолицый. — Нет, отвечаю, нечего еще говорить. Как будет готово, тогда и приходите.

— Правильно, — поддержал горбоносый. — Никогда не нужно рассказывать заранее. Я терпеть не могу, когда вот так делятся творческими планами, обещают, берут обязательства, а потом... пшик! — и ничего нет. Ну, ни пуха ни пера! Я побегу, а то уж и так на радио запаздываю... Бывай! Привет Галинке. Я забегу на днях... Дом я помню... А квартира, если не ошибаюсь, тринадцатая? Так?

— Так-так! Тринадцатая! Заходи обязательно! Бывай! — радостно улыбаясь, крикнул круглолицый, а когда горбоносый отошел, негромко, но так, что мы слышали, буркнул: — К черту!

Мы с Явой переглянулись и заулыбались. Мы знали, что когда

говорят «ни пуха ни пера», нужно посылать к черту, но чтобы это делал взрослый, в первый раз слышали.

Круглолицый артист сделал торопливо несколько шагов, собираясь нырнуть, и вдруг остановился, вскинув руки:

— Ух ты! Часы забыл снять! — Обернулся, увидел нас: — Хлопчики, будьте добры, положите вон там, на серые брюки, чтобы мне не возвращаться, — и протянул часы.

Я стоял ближе к нему, я и взял. А артист сразу — бух в воду! И поплыл кролем, вспенивая воду ногами, как моторная лодка. Здорово плавает... Несколько секунд мы смотрели, как он плывет. И вдруг где-то слева раздался вопль:

— Утонул! Утонул!.. Утопленника вытащили!

— Где? Где? — так и подскочили мы.

И кинулись туда, куда уже бежали люди.

А что? Если бы при вас закричали «утонул», вы бы разве стояли на месте? Тем более, если вы только что мечтали кого-нибудь спасти! Да и к тому же еще учтите, что вы никогда не видали настоящего живого утопленника.... То есть не живого, конечно... а вообще... ну, одним словом, утопленника.

— Где? Где? Где? — шныряли мы среди людей, стараясь что-нибудь увидеть.

Но люди стояли плотно, и никакого утопленника не было видно.

Тогда мы бросились на четвереньки — и между ногами, между ногами, как щенята... Наконец увидели. На песке лежал навзничь кто-то огромный и длинный, а на нем верхом сидел худенький и остроносый, уже немолодой человек с кустиком седоватых волос на груди. И делал искусственное дыхание. Раз! Два! Раз! Два! Методом Силивестрова.

— Теперь дайте мне, — сказал загорелый крепыш-спасатель, который только что подплыл на своей лодке. Видно, ему было очень неловко из-за того, что не он вытаскивал утопленника, а самый обыкновенный человек, да еще и такой неказистый...

Мы пригляделись к утопленнику. Это наверняка был один из тех самых гариков-мариков, потому что на шее у него висела на цепочке подкова, а на руке было выколото сердце, пробитое стрелой, и под ним изречение: «С юных лет счастья нет».

Дважды сменялись остроносый со спасателем, а утопленник все не оживал. В толпе гомонили:

— Такой молодой...

— Вот беда!

— Да как же это случилось?!

— Говорят, заплыл за буюк, а там его то ли судорога схватила, то ли еще что...

— Ох уж этот Днепр, сколько он жизней уносит!

И вдруг утопленник открыл глаза. В толпе возбужденно загудели.

Утопленник поднял голову, обвел людей мутным взглядом и оперся на локти. Остроносый, который как раз делал ему искусственное дыхание и сидел на нем, втянул носом воздух, поморщился и воскликнул:

— Так он же пьяный!

Спасатель тоже наклонился к утопленнику:

— Ну точно! Разит, как из бочки!

— Ах ты черт!

— Ну и сукин сын!

— Нализался — и в воду...

— В такую жару пить — гробовое дело!

— Вот тебе и судорога...

— Такой молодой! — слышалось вокруг.

Остроносый, все еще сидя на воскресшем пьяном «утопленнике», смотрел-смотрел на него, а потом поднял руку и — хлоп! хлоп! — ему по морде, аж зазвенело.

— Правильно!

— Так его!

— Чтоб знал, как пить! Как людей нервировать!

— Думали, несчастная жертва, а он...

— Еще ему! Еще!

— Добавить!

Настроение у толпы сразу изменилось, напряжение спало.

Остроносый резко поднялся, перешагнул через «утопленника» и пошел прочь. Толпа расступилась перед ним, давая дорогу.

— Ничего, мы его в вытрезвитель отвезем, там с ним поговорят, — бодро сказал спасатель, беря «утопленника» под мышки и ведя к лодке. — Ты бы хоть спасибо сказал человеку, который тебя вытащил!



— Хоть бы фамилию узнал!

— Думаешь, легко было ему такого бугая из воды тащить! — кричали вслед «утопленнику». Но тот только глуповато таращил глаза — видно, еще не очухался. Лодка отчалила, все стали расходиться.

— Ой! Нужно ведь часы положить! — спохватился я, только теперь обнаружив, что все еще держу их в руке. Кинулись мы с Явой назад. Туда-сюда... А где же серые брюки? Нет их. Может, не тут, может, левее?.. И там нет... Что такое? Дядя, где вы? Мелькают перед глазами сотни лиц — и всё незнакомые. Кажется, не тут... Дальше... Ой, нет!.. По-моему, назад... Нет, нет, вперед... Нет, я тебе говорю — назад... А может, правда, вперед? Бегаем мы взад и вперед, не можем найти ни места того, ни артиста, ни серых его брюк... Да и как же его найдешь, если всюду и песок одинаковый, и люди одинаково голые, никаких особых примет!

Ох, и зачем нам нужен был этот пьяный «утопленник»?! Что теперь будет?!

— А ну, Ява, давай в воду! Может, тот артист еще плавает.

Разделся Ява — бултых в реку.

А я на берегу. Далеко отбегать не решаюсь, чтоб хоть Яву не потерять. Но все время ищу — людям в лица заглядываю...

Через полчаса вылезает Ява из воды. Отдувается устало:

— Нету...

— Может, он... утонул? — растерянно говорю я.

— А брюки? Брюк же нет... А поплыл он без брюк... — уверяет меня Ява. — Да и плавает он так, что море тебе переплывет и не утонет.

— Что же делать?

— А я знаю?

Такая досада меня взяла — хоть плачь. Хороший, симпатичный человек дал мне часы. «Будь, говорит, другом, положи на мои брюки, чтоб мне не вылезать». А я... друг называется! Забрал часы и — фить! — ищи ветра в поле.

— Ява, ведь получается, что я стянул эти часы, — сказал я, скривившись.

Ява пожал плечами.

Никогда в жизни я не был так себе противен, как сейчас. Конечно, бывало с нами всякое... Трясли мы иногда дикую грушу у соседки бабы

Настя, у Кнышихи. Так там этих груш бывало столько, что они все равно гнили в траве необранными. Да и баба Настя такая скряга, такая вредина была, что от нее вся наша улица стонала. И потому трясли мы эту грушу не столько из-за паршивеньких дичков, сколько в знак протеста против жадности ее хозяйки.

А то еще, когда был маленьким, сташил у тети пирожок с маком. Так ведь это же у родной тети, и какой-то там пирожок... А то у чужого человека, и не пирожок, а часы, дорогую вещь...

А мы-то собирались воров ловить! Как же ловить, если сами... воры!

Мне хотелось встать и со слезами в голосе крикнуть на весь пляж: «Товарищи милиционеры! Берите меня за шкурку и ведите в отделение. Я вор! Я украл часы у хорошего человека, который поверил в мою честность. Арестуйте меня, товарищи милиционеры!»

Но я не встал и не крикнул. Потому что не было, на мое счастье, поблизости ни одного милиционера. А может, и был, да только голый. А разве узнаешь милиционера, если он голый! Да и вообще, голый милиционер — это не милиционер. Никакого трепета перед голым милиционером не испытываешь. Вот, скажем, товарищ Валигура, милиционер, который живет у нас в селе. Его, например, местный пьяница Бурмило признает только тогда, когда тот одет по всей форме. А когда, бывает, возится милиционер у себя в огороде без фуражки и без кителя, в одних галифе, и в это время позовут его люди утихомирить Бурмилу, и Валигура придет в чем был, то Бурмило на него и смотреть не хочет, только злится:

«Кто еще такой? Тыфу! Не знаю тебя! Уходи отсюда! Пшел! Тыфу!»

Но стоит только Валигуре надеть милицейский китель и фуражку, как Бурмило сразу становится смирным, как овца, и говорит: «Извините, гражданин начальник», и идет домой спать.

Нет, голый милиционер — это не милиционер...

— Знаешь что? — сказал Ява. — Так мы артиста все равно не найдем.

— Так что — в милицию? — перебил я его, чувствуя холодок под сердцем.

— Угу! — хмыкнул Ява. — Нас там как раз дожидаются. Иди! Будь добр! И передай привет подбитому милиционеру.

— Так что же теперь? — спросил я, чуть не плача.

— Мы как сюда пришли? По мосту. А назад люди идут? Тоже по

мосту. Другой дороги нет. Так вот, сядем у моста и будем ждать. Или мы его увидим, или он нас. А с пляжа он еще не ушел. Точно! Куда он без часов пойдет?

«Ну что ж,— подумал я.— Может, и правду говорит Ява. Лучше, наверно, возле моста сидеть, чем, высунув язык, бегать по пляжу». Сели мы возле перил: Ява — с правой стороны, я — с левой. Сидим. Уж солнце на закат повернуло. Потянулись люди с пляжа домой. Плотной стеной, почти впритирку друг к другу идут и идут... Аж глазам больно... И голова кругом идет. Разве заметишь кого-нибудь в такой толпе? Одна надежда, что нас заметят.

И такой у меня несчастный вид был, что какая-то женщина внезапно нагнулась ко мне, проговорив: «Бедный ребенок», и неожиданно сунула в руку три копейки. Меня всего так и передернуло — она решила, что я собираюсь. Опомился я — женщины уж и след простыл. Так и остался я с тремя копейками... До чего я дошел, просто беда!.. Хорошо, хоть Ява не знает: из-за людей нам друг друга не видно. Вскочил тут же и теперь уже стоя смотрел, а руки за спину спрятал, чтоб снова, не дай бог, не пожертвовали.

Стемнело уже. Людей все меньше и меньше становится. А артиста нет.

Урчит у меня в животе от голода. Мы ведь, кроме мороженого, ничего не ели. Подошел ко мне Ява:

— Ну и олухи мы с тобой! Что мы тут стоим? Он артист? Артист. Так пойдем завтра по театрам и найдем его. Тем более, мы знаем, что он царя играет.

Вот! И как я сам до этого не додумался? Ну Ява! Ну и молодец! Варит у него котелок все-таки! Башковитый хлопец! Ну конечно, пойдем завтра по театрам (в Киеве каких-нибудь пять-шесть театров) и найдем нашего артиста, и отдадим ему часы, и расскажем все, как было, про утопленника и про все остальное.

Как хорошо становится жить на свете, когда найден выход из безвыходного положения!

— Ну давай хоть рассмотрим хорошенько, что за часы,— сказал Ява.

Стали мы под фонарем (уже и фонари зажгли!), давай разглядывать.

Хорошенькие часики! Круглые и плоские, как пяточок. На черном циферблате вместо цифр черточки золотые. И стрелки золотые. И этих стрелок не две, а целых три. Третья, длинная и тонкая, как волос, по

всему циферблату бегают — секунды отмеряет. Красивые часики. Мы таких еще и не видели.

— А ну,— говорит Ява,— примерь.

— Не хочу.

— Чего там! Раз ты все равно как вроде бы украл их, то хоть примерь, хоть поноси немного. Завтра уж не придется.

— Не хочу я чужие часы носить.

— Ишь какой гордый — без хлеба на воде и от хлеба отказывается... Ну, раз ты такой гордый, давай я поношу.

И он взял у меня часы, и надел на руку, и сразу стал на пять лет старше. Даже лицо у него стало строже и серьезнее. Он шел и гордо нес руку с часами, отставив ее в сторону, прямую и негнушущуюся, как палка, и все искоса поглядывал на нее. Иногда он сгибал ее в локте и подносил к глазам — смотрел, который час. А меня не замечал и не говорил ни слова, будто меня и на свете не было.

И стало мне горько и досадно, что сам я не надел часы. Часы ведь, можно сказать, «мои», я муки душевные за них принял... А носит их Ява, да еще и бахвалится!

Когда мы прошли всю набережную и очутились у моста имени Патона, я наконец не выдержал и сказал:

— Хватит! Снимай! А то еще... испортишь, а мне отвечать.

Вздохнувши, Ява неохотно снял часы и снова стал на пять лет моложе и такой же несолидный, как и был.

Я спрятал часы в карман и только тогда успокоился. Потом вспомнил:

— Я же забыл тебе сказать... на мосту мне какая-то тетка три копейки дала.

— Да? — встрепнулся Ява.— Так чего же мы пешком идем! Надо было на трамвае ехать. А то я уже еле ноги тащу.

— Так это же милостыня, балда! Кто же на милостыню в трамвае ездит!.. Тетка мне милостыню подала, понимаешь, думала, что я нищий.

— Вот как! Интересно! — взял наконец в толк Ява.— И что же ты с ними делать будешь?

— Так вот я и не знаю...

Действительно, положение было дурацким. Взять себе? Ни за что!.. Выкинуть? Деньгами только господа капиталисты швыряются. Думали

мы с Явой, думали и, наконец, придумали — отдать настоящему нищему, как только встретим...<sup>1</sup>

— А с часами-то как интересно вышло! — с жаром сказал Ява, и в глазах у него вспыхнул охотничий блеск. — Ведь здорово! Прямо как преступника искать! Между прочим, очень важно, что мы знаем, где он живет. В тринадцатой квартире...

— Ужасно важно! — хмыкнул я. — Ты знаешь, сколько в Киеве тринадцатых квартир? Чтоб обойти их все, нам жизни не хватит.

— И все равно интересно... — не сдавался Ява. — И похоже как ловить воров. Только тут наоборот... Наоборот, понимаешь... Воры ловят потерпевшего, чтобы отдать ему то, что украли. Кино! Скажи?

— Будет теперь нам кино, увидишь, что нам тетка скажет. Она, наверно, уж голову потеряла от волнения...

...Тетка нам ничего не сказала. Она лежала молча на тахте с компрессом на голове. Нам сказал дядя... Он сказал:

— Если бы вы, шалопуты, были мои сыновья, я бы сейчас вам по одному месту так надавал, что вы в штаны бы завтра не влезли. А поскольку я не имею права этого делать, то прямо скажу: еще хоть раз такое повторится, я немедленно покупаю вам билеты и в тот же день отправляю в Васюковку. Из-за вас вдовцом оставаться не хочу. Тетка чуть не умерла от волнения. Вон видите, лежит с головной болью...

Мы стояли опустив голову и что-то лепетали про то, как были в кино, а потом катались на «чертовом колесе», а потом... были в гостях у одной знакомой девочки (Валька Малиновская, честное слово, вот и адрес... можете проверить!) и как нас там хорошо принимали, и угощали, и усадили смотреть телевизор, и не хотели отпускать, и... мы больше не будем!

Потом мы выпили одного чаю («В гостях же во-о ка-ак наелись!») и голодные легли спать.

...Мы лежим и не можем заснуть.

На меня находит приступ запоздалого раскаяния. Совесть точит меня, как червь дерево.

— Ведь как все паршиво выходит! — с горечью шепчу я. — Хотим

---

<sup>1</sup> Эти три копейки до сих пор лежат у меня дома, — все никак настоящего нищего не встречу... (Примеч. автора.)

стать героями, а только и делаем, что врем да обманываем. И только за один день! Артиста обманули и, можно сказать, обокрали, милицию с ног сбили, трешку прокутили, тете наврали, дяде наврали, даже... милостыню получили. Неужели для того, чтобы стать героем, нужно так много врать и столько нечестных поступков совершить? Если так, то весь этот героизм ничего не стоит! Какой-то брехуновский героизм. А настоящие герои — это прежде всего честные люди. Кармелюк, Довбуш, граф Монте-Кристо, капитан Немо, Катигорошко, Покрышкин... Никогда они не врали. А мы брехуны и жулики...

Ява вздыхает в знак согласия.

— Конечно,— говорит он.— Что-то мы совсем заврались и... вообще... давай больше не будем.

— Конечно, давай,— говорю,— только нужно что-то придумать, что нас бы сдерживало. Давай дадим клятву (может, даже кровью), что больше не будем врать. И условимся: если не можешь или не хочешь сказать правду, молчи; как бы ни пытались, как бы ни домогались — молчи, и все.

— Хорошо,— кивает Ява.— Только кровью мы уже клялись — это не помогает. Давай так: если все-таки соврал, не удержался, тогда... тогда другой дает ему три щелчка в лоб. Причем немедленно и где бы ни случилось: на улице, в школе, на уроке или даже в президиуме собрания. И не имеешь права увертываться или отбиваться. Ни в коем случае. Святой закон! За первое вранье — три щелчка, за второе — шесть, за третье — двенадцать, и так далее. Сила! И волю будем закалять... А это для героизма знаешь как нужно!

Ява обязательно должен придумать что-нибудь интересное. И на этот раз я подозревал, что не так ему щелчками от вранья вылечиться захотелось, как чтобы интересно было. Но я не стал спорить — лишь бы результат был хороший.

На этом и порешили.

И, чувствуя себя уже почти на сто процентов честными, мы спокойно заснули.

## Глава V

### ИЩЕМ ЦАРЯ-НЕЗНАКОМЦА ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ. ВСТРЕЧА В ТЕАТРЕ. ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЯВЫ РЕНЯ

Утро началось с неожиданности. Когда я проснулся, Ява был уже одет. Одеваюсь и вижу — он мне подмаргивает и головой кивает: идем, мол, есть кой-какой секрет. Пошел я за ним в ванную.

Прищурился на меня Ява подозрительно и шепчет:

— Ты чего утаил, что твой дядя в контрразведке работает? — и уже палец для щелчка сгибает.

Я вытаращил на него глаза:

— В какой контрразведке?

— В той самой, — говорит, — которая шпионов ловит.

— Ну-ну. Ты уже совсем свихнулся на этих шпионах.

— Ничего не свихнулся, — говорит. — Думаешь, я дурак? Оружие выдают только милиционерам (раз!), пограничникам (два!) и контрразведчикам (три!). Это я точно знаю. А раз твой дядя не милиционер и не пограничник, значит, контрразведчик.

— Какое оружие? — не понял я.

— Пистолет! — отчеканил Ява.

— Да где ты видел?

— В ящике письменного стола — вон выдвинут немного.

— Да? А ну идем! — И теперь уже я палец для щелчка сгибаю — смотри же, если соврал!

Вышли мы из ванной, прошлись (как будто просто так) по комнатам. А потом к письменному столу. И взглядом в выдвинутый ящик — раз! Эге! Не соврал Ява! Пистолет! Настоящий! Тускло поблескивает вороненая сталь.

Аж сердце зашло у меня в груди. Метнул я взгляд на дядю, который стоял на балконе — зарядку делал. И чуть погодя:

— Дядя Гриша! А что это у вас?

— Где? — Дядя шагнул в комнату и подошел ко мне.

— А вот в ящике.

— А-а... Пистолет.

— А зачем?

— Как — зачем? Стартовый пистолет. Спортивный. Не видел разве никогда?

Фу ты! Вот тебе и контрразведка! Дядя же мой, кроме того, что мастер на заводе «Большевик», еще и мастер спорта (легкой атлетикой когда-то увлекался, а теперь судья республиканской категории). И как я сразу не догадался, что это за пистолет! А в общем, честно говоря, я и стартовых пистолетов близко никогда не видел и в руках не держал. И Ява, конечно, тоже. Вижу, краснеет Ява: стыдно ему, что он так сплеховал. И, чтобы скрыть смущение, спрашивает:

— А как же он стреляет?

— Очень просто.— Дядя вынул пистолет из ящика.— Дается команда... «На старт!» Потом... «Внимание!» А затем...— Дядя поднял пистолет над головой.

Ба-бах!.. Аж в ушах зазвенело! И в тот же миг:

«Ой!..» Трах-тарарах!..— что-то шлепнулось и загремело в кухне. Мы кинулись туда. Посреди кухни сидела на полу тетя, а возле нее валялась разбитая макитра, в которой она терла мак на пирог. Услышав выстрел, тетя с перепугу рухнула на пол.

Вид у нее был такой комичный, что мы рассмеялись.

— Гри-ша! — укоризненно склонив голову набок, жалобно сказала тетя.— Ну как ребенок! Разве так можно! Я чуть не умерла...

— Кто ж виноват, что ты пуглива, как заяц под кустом,— смеясь, сказал дядя.

— А он все же бахает будь здоров, кто хочешь испугается,— сказал я. Жалко мне стало тетю.

— С ним и шпионов ловить можно,— сказал Ява.— Бьет, как боевой!..

— Дядя Гриша, а можно стрельнуть? — осмелился я.

— Ну что ж... только...— Дядя показал глазами на тетю, которая уже поднялась и собирала черепки.

— А мы в спальне! — рванулся Ява.

— Ну давайте...

Но даже в спальне, перед тем как выстрелить, я громко крикнул:

— Тетя, на старт! Внимание!

И только потом нажал пальцами обеих рук на спусковой крючок



(одной рукой не справишься — такой тугой!). Ох и бабахнуло! По-моему, еще сильнее, чем у дяди.

По два раза стрельнули мы с Явой — больше дядя не разрешил («Еще соседи сбегутся!»).

Вся эта история с пистолетом немного меня развлекла. Но когда я вспомнил про часы, сердце мое опять защемило. Оно заскулило, как щенок в темной камере. Как-то все будет? Найдём ли мы артиста? И что он нам скажет теперь?

За завтраком я сидел молчаливый и хмурый. Ява поглядывал на меня и все подмаргивал — пытался поддержать.

Вяло пережевывая яичницу с салом, я думал. Думал о том, что нужно как-то, никого не обманывая (ни в коем случае!), выскользнуть из дому, чтобы идти искать артиста.

А зачем врать? Поход в Театр юного зрителя у нас и так намечен. Только мы пойдем не через несколько дней, как собирались, а сегодня. И по дороге к Юному зрителю в другие театры заглянем и поищем нашего артиста. Спектакль начнется в двенадцать, а сейчас еще десяти нет, успеем.

Дядя не стал возражать, когда я сказал про театр, только немного подумал и сказал:

— А может, и мне с вами? Как вы думаете?

Мы думали, что это совсем не нужно, что это испортит нам все дело. И я поспешил сказать:

— Да разве вам интересно? Там же все детское! Если бы я был взрослым...

Угадал дядя мои мысли или нет, я не знаю, но он почему-то улыбнулся:

— И то правда. Ступайте одни. Я пошутил. Но если снова где-нибудь потеряетесь, завтра же домой!

Дядя дал нам денег, мы надели новенькие, хрустящие рубашки, отглаженные штаны, блестящие, еще ни разу не надеванные ботинки и пошли.

Не знаю, как вы, но я, когда на мне все новое, чувствую себя, будто голый. Кажется, что все на тебя смотрят, и стыдно как-то, неловко, и хочется спрятаться от глаз людских. Кончается всегда тем, что я или потрусь рукавом о стенку, чтоб он не был таким новым, или пятно на штаны посажу, или ботинок носком в землю ткну, чтоб не так блестел.

Тогда мне легче. Вот и сейчас, выйдя на лестницу, я сразу проехался локтем по перилам и сделал на рубашке грязную полосу. И только после этого мы вышли на улицу. Но все равно в новом было неудобно и неловко: ноги в ботинках, как в колодках, воротничок шею трет, что твой хомут,— чтобы повернуть голову, нужно всем телом поворачиваться. И почему это в театр нельзя ходить в обычной одежде? Туда ведь идут пьесы смотреть, а не для того, чтоб на тебя смотрели! Если б я стал большим начальником, то издал бы даже постановление, чтобы в новом в театр не пускали. Но не волнуйтесь, я начальником никогда не буду. Я буду летчиком...

Мы сели в троллейбус и поехали в Театр музкомедии на Красноармейскую улицу. Начали мы с него, так как мне почему-то казалось, что этот симпатичный круглолицый артист должен работать как раз в комедии (где же еще ему царя играть?!),

Зашли мы в вестибюль. Пусто. Тихо. Справа касса. Прямо во всю стену огромные двери. Поднялись мы по лестнице к этим дверям. Толкнули — не заперты. Заглянули — и там никого.

— Может,— говорю,— еще рано, еще не пришли?

— Хорошенькое рано! Десять часов! — говорит Ява.— Артисты, как и все люди, должны с утра на работу приходить. А как же! Ведь это служба...

— А почему же никого нет?

— А ты что, хочешь, чтоб они тебе тут у дверей толкались? Нет — значит, на сцене. Репетируют. Пошли!

Но только мы повернулись от дверей, как тут же нам навстречу молодая женщина в синем, похожем на милицкий кителе.

— Вам что, ребята?

Стали мы, растерялись. Как же его спрашивать? А женщина снова:

— Что такое, ребята?

И тут Ява возьми да и ляпни:

— Нам царя нужно.

— Какого царя? — удивленно подняла брови женщина.

— Такого круглолицего, с лысиной.— Это уж я добавил.

Женщина засмеялась:

— Вы немного опоздали, хлопчики. Царей уж шестьдесят лет не существует. Надо было раньше.

Ява осмелел:

— Ну что вы, тетя! Разве нам настоящего? Нам настоящие цари ни к чему. Нам артиста нужно, который царя играет. Разве не ясно?

— Он в тринадцатой квартире живет! — выпалил я.

— Теперь понятно, — сказала женщина. — Только нет у нас такого, который бы царя играл. В нашем репертуаре про царей сейчас ни одного спектакля нст. А почему вы именно у нас ищите этого артиста? Он сказал вам, что в нашем театре работает? Как его фамилия?

Мы с Явой переглянулись.

— Фамилию мы не знаем, — сказал я, — но знаем, что он играет царя.

— А где ж он этого царя играет? В каком театре?

— Не знаем...

— Вот тебе и раз! Приснился вам, что ли, этот артист? А откуда вы узнали, что он царя играет?

— Он сам сказал.

— Так вы с ним знакомы?

— Да немного... — неуверенно сказал я и взглянул на Яву: что ж это он молчит? То во всех разговорах всегда вперед лезет, а тут замолк, как в рот воды набрал.

— Да как же это вы знакомы, что ни фамилии не знаете, ни в каком театре работает, — допытывалась женщина.

— Да вот так... не успели расспросить.

— А зачем вы его теперь ищите?

— Да нужно... Об одном деле поговорить...

— О творческом? — усмехнулась женщина.

— Угу...

И только я успел это сказать, как вдруг — бац! бац!.. Из глаз моих аж искры посыпались. Даже в затылке защемило. И будто не по голове, а по арбузу — такой звук гулкий.

Женщина от неожиданности так руками и всплеснула:

— Ты что его бьешь?! Это что за хулиганство! Ни с того ни с сего...

Что она еще там выкрикивала, я не слышал — мы были уже на улице. Голова моя гудела, на глазах закипали слезы.

Так вот почему Ява молчал — боялся соврать сам и ждал, пока я не совру. Но разве я всерьез врал? Я ведь только сказал «угу» на ее шутливый вопрос. Это можно было понять тоже как шутку. Уж

и пошутить нельзя! Если так придирается, то до самой старости шишки на лбу носить будешь.

— Ты что, обиделся? — услышал я за собой голос Явы. — Ведь мы же договорились, — продолжал он невинным тоном. — Никто не виноват...

Я молчал.

— Ты не имеешь права обижаться. Это не честно. Зачем тогда было договариваться?

Он еще мне и выговаривал! Конечно, обижаться глупо, раз договорились, но когда вас при всем честном народе бьют по лбу, а вы не имеете права даже сдачи дать, то вряд ли вы будете хохотать после этого. Вряд ли запоете от удовольствия.

— Ну что ты... — не унимался Ява. — А если я совру, ты дашь мне в лоб, я и глазом не моргну, вот увидишь.

Все это было так, но до самого Оперного театра я молчал. И только на площади у театра, потирая лоб, сказал:

— Нужно как-то иначе узнавать. Похитрее. Сперва этот самый... репертуар смотреть. А то сразу — ляп! — дайте нам царя. А люди ничего такого не ставят.

— Конечно, конечно, — охотно согласился Ява, обрадованный, что я нарушил молчание. Договорились рассказывать все, как есть: что нам нужно возвратить артисту одну вещь, которую он случайно, когда купался на Днепре, оставил нам (а какую, можно не говорить: мол, секрет; ведь про часы говорить страшно).

В опере с царями было намного лучше, чем в Музкомедии. И в «Борисе Годунове» царь, и в «Сказке о царе Салтане», и в «Декабристах», и в «Снегурочке». Я очень обрадовался, когда узнал об этом, и уж был уверен, что среди этих-то царей мы обязательно найдем своего круглолицего, с лысиной. Но как дошло до дела, то все цари оказались неподходящими. Не те цари! Ни одного с лысиной... Все с волосами и даже с кудрями. Все высокие, рослые. Это нам билетерша сказала. И даже показала их всех. Там в фойе висят их портреты. «Нашего» среди них не оказалось. Невеселыми вышли мы из театра.

— Ничего, — с напускной бодростью сказал Ява. — Я был уверен, что в опере нет. Оперные артисты голос берегут, боятся застудить. Ни один певец не станет тебе купаться в реке.купаются только драматические артисты.

Мы спустились по улице Ленина к Театру русской драмы имени Леси Украинки. Но и там (а после этого и в Театре имени Франко) нас ожидало полное разочарование — ни одного спектакля про царя.

Оставался последний киевский театр, Театр юного зрителя.

Мы поднимались от Театра имени Франко по лестнице мимо необычного дома на улице Орджоникидзе. Он сплошь облеплен странными фигурами: тут и слоны, и змеи, и дикие птицы, и какие-то совсем непонятные твари и чудища... В другой раз я бы разинув рот глазел на этот дом, ведь другого такого нет нигде в мире. А теперь я равнодушно проходил мимо и даже не смотрел! Ничто меня не радовало. И в душе моей было так мрачно и мерзко, что все эти страшилища, если бы вдруг ожили и заглянули туда, сами бы перепугались.

— Не горюй,— утешал меня Ява.— Ну конечно же, он из Юного зрителя. Вот увидишь! Играет царя в какой-нибудь сказке для малышей. Он, наверно, комик. По-моему, мы его даже видели как-то по телевизору. Тот самый, помнишь, который споткнулся на пороге и — бряк! Гы-гы-ы...

Ява пытался развеселить меня. Всю дорогу до Театра юного зрителя он старался что-нибудь выдумать. Но я не поддавался.

Мы вошли в театр и будто в школу на большую перемену попали: шум, суета, беготня. И все почему-то малыши — даже без пионерских галстуков еще. Подошли мы к кассе. Оказывается, пойдет спектакль для младших школьников. Пьеса-сказка.

— Про царя? — тут же спросил я.

— Нет, про Красную Шапочку,— ответила кассирша.

Скривились мы, да что поделаешь, не идти же домой, тем более что нужно в фойе артистов посмотреть.

— Что ж, придется идти на «Красную Шапочку»,— сказал Ява.

Взяли мы билеты. Пошли. Расталкивая малышей, ходим по фойе, разглядываем портреты. И к каждому я подхожу с трепетом, со страхом. Последний ведь театр, последние надежды.

Пересмотрели мы все портреты, и упало, покатилося мое сердце... Нет нашего артиста. Нет, да и только. Что ж теперь делать? Где его искать? Значит, не артист он... Но ведь он же сам сказал, что артист. И про царя говорил... Как же так?!

— погоди, не горюй,— подбадривает меня Ява.— Может, просто его портрет не поместили. Помнишь, как Гриша Гонобобель на школьную

доску Почета не попал, потому что, когда фотографировали, его как раз пчела укусила, и мордяка стала, как тыква. Может, и у этого что-нибудь такое...

— Ну да! — машу я рукой, а самому так хочется, чтоб это было правдой, так хочется...

— Ой, хлопцы, здравствуйте! — слышим вдруг. Оборачиваемся на голос и видим — в белом платье, с большим бантом-бабочкой стоит... Валька и держит за руку первоклассника в синей форме. — Я вас сразу узнала! — радостно стрекочет Валька. — Вы давно в Киеве? С экскурсией или так? Со всем классом приехали или одни?

Я молчу... Это его знакомая, пусть он и говорит. Но Ява тоже молчит. Вы бы посмотрели на Яву! Он сперва побледнел, потом покраснел, потом опять побледнел, потом начал покрываться какими-то пятнами. Такого вида у него не было даже тогда, когда в прошлом году он провалился в старый колодец.

А Валька не унималась:

— Вы надолго приехали? А браконьеров своих вы поймали тогда? Обещали ведь написать... Может, адрес потеряли? А? Да что ж вы молчите? Не хотите со мной разговаривать?

Наконец Ява овладел собой и открыл рот. И оттуда вылетели слова:

— А чего... Мы ничего... Мы наоборот...

Не скажу, чтоб это было очень красноречиво, но я не стал вмешиваться в их беседу. Пускай балакают!

Да и поздно было вмешиваться — уже прозвенел третий звонок, и все поспешили в зал. Представление началось. Мы сидели в седьмом ряду, а Валька в девятом. И Ява, вместо того чтоб на сцену смотреть, все время сиденье штанами полирует и голову назад поворачивает — на Вальку взгляды бросает.

— Голову свернешь, придется задом наперед ходить, — ехидно говорю ему.

А он даже и ухом не ведет.

А на сцене в это время коварный сухоребрый Волк с длинным носом пробивался в дверь к Бабусе, чтобы съесть ее. Шустрая Бабуся спасалась как могла — возводила баррикады из мебели, бегала по всей сцене, швыряла в Волка кувшинчики, кастрюли и другие предметы домашнего обихода.

К тыну возле избушки была привязана настоящая живая курица — единственная Бабусина худоба. И вот во время действия курица запуталась в веревке, которой была привязана, и начала биться. Увлеченные борьбой, Волк и Бабуся ничего не замечали. А все зрители с волнением смотрели на бедную курицу, которая, обессилев, уже едва дышала. Но что поделаешь? Не кричать же, не срывать спектакль...

Вижу, Ява крутится, крутится на месте, будто ему горячих углей в штаны насыпали, потом вдруг поднялся и пошел. Прямо по проходу к сцене. Я затаил дыхание. И весь зал затаил дыхание, и все головы на Яву поворачиваются, как на параде на генерала, который обходит войска. А Ява идет себе... Идет, идет, поднимается на сцену, подходит к курице и начинает ее распутывать. А артисты себе играют, даже не замечают Яву, будто его и на сцене нет. Ява распутал курицу и спокойно пошел назад, на свое место. Только когда он сел, я услышал, как тяжело он дышит и как тукает у него в груди сердце. А через несколько минут Волк все-таки съел Бабусю, и первое действие кончилось. Занавес опустился, и в зале вспыхнул свет. Все захлопали в ладоши, причем большинство зрителей повернули голову в сторону Явы. И было непонятно, кому они аплодируют — артистам или Яве... К нам тут же побежала Валька.

— Вот здорово! Ну и молодец! И как ты решился? Я бы ни за что не смогла. Ой, молодец! — Она говорила громко, даже, по-моему, слишком громко. Ей, видно, хотелось показать всем, что она знакома с Явой. Она гордилась этим. Со всех сторон на Яву были устремлены восторженные взгляды. И когда мы вышли в фойе, так все время то здесь, то там слышались приглушенные голоса: «Вон тот! Вон тот! В белой рубашке!»

По-моему, это было как раз то, о чем только и мог мечтать Ява. Он был счастлив. Сказать, что он сиял, — это, пожалуй, ничего не сказать. Он ходил по фойе, как на ходулях, как будто он выше всех на свете. Глаза его излучали что-то такое, что не способны излучать глаза обычных людей. И так он был далеко-далеко от меня, как никогда в жизни. Я и мои переживания из-за часов для него сейчас просто не существовали. Конечно, он стал героем, это ясно, но мне было неприятно смотреть на него.

— А это мой братишка Микола,— сказала Валька, так как Ява

удивленно поглядывал на первоклассника в синей форме, который все время крутился возле нас.

И братишка Микола покраснел, как будто его знакомили не с курносым Явой, а с космонавтом Поповичем, киноартистом Рыбниковым или еще с какой-нибудь знаменитостью.

— Я вообще-то сюда из-за него пришла, мама одного еще не пускает, — будто оправдываясь, объясняла Валька.

Ява смерил братишку Миколу откровенно пренебрежительным взглядом. Тот еще больше покраснел.

— Так вы их поймали все-таки или нет? — спросила Валька.

— Конечно, — небрежно бросил Ява.

— И не написали?! Тоже мне! Или, может, адрес потеряли?

— Нет, не потеряли... Но... — Ява пожал плечами, и этот жест можно было понять: дескать, чего бы это я стал писать, очень нужно...

Валька вспыхнула. Преодолевая неловкость, она сказала:

— Ну, вы, конечно, не одни их ловили, вам взрослые помогали. Или, наоборот, вы — взрослым...

— Да чего там взрослые, — хмыкнул Ява. — Мы сами...

Он метнул на меня взгляд и... прикусил губу. Да было уже поздно.

Я вздохнул, поднял руку и вlepил ему в лоб три звонких щелчка — аж эхо раздалось. Валька вскрикнула. Братишка Микола захихикал. Кто-то еще засмеялся поблизости. Ходули сломались, и Ява очутился на земле — оторопелый, красный, как помидор, с вытаращенными глазами. Мне даже жалко его стало. Да разве я виноват? Не нужно было ставить таких условий...

Видя, что Ява не собирается давать сдачи, Валька (добрая душа) накинулась на меня:

— Ты что? Сдурел? Что за шутки?!

Вокруг нас начали собираться дети. Глаза у Явы забегали, как у загнанного зверя, и он выдавил из себя улыбку, жалкую деланную улыбку (так улыбаются, сидя на чужой груше, когда застанет хозяин). И сказал:

— Ничего... Все правильно... Теперь мы квиты... — И, обернувшись к толпе: — Чего смотрите? Кина не будет!

Дети, посмеиваясь, стали расходиться, тем более что прозвенел звонок, антракт окончился.



— Да что, что все-таки случилось? Вы что, поссорились? — не могла успокоиться Валька.

— И совсем не поссорились! Просто у нас уговор один есть.— Яве не хотелось объяснять. Мы уже вошли в зал и пробирались к своим местам.

— Да какой такой уговор? — не сдавалась Валька (ох уж это девчачье любопытство!).

— Да потом, после...

— Ну хорошо, только вы не убегайте.

— Ладно.

## Глава VI

### БУДКА. УХО ЗА УХО!

Представление окончилось, и мы вышли из театра. Ява уже совсем оправился от щелчков. По-петушиному вытянув шею (вот-вот закукарекает!), он заглядывал через головы детей. Это он высматривал Вальку.

— Может, пойдем? Зачем она нам сдалась? Только трещит, как сорока,— сказал я угрюмо.

Настроение у меня было... сами понимаете: часы на совести, как на сердце камень. И казалось, не было никакой надежды, что они попадут к своему хозяину. Хоть выходи на улицу и кричи. Да разве докричишься, не зная ни фамилии, ни адреса в городе, где полтора миллиона жителей да еще полмиллиона приезжих! Безвыходное положение! Хоть плачь!

Но Ява совсем на другую волну настроен, совсем не о том думает.

— Как это пойдем? Ты что! — говорит он.— Мы же обещали подождать. Выходит, снова на брехню меня толкаешь? Смотри, так и щелчков заработать недолго!

«Мы обещали»! Как это у него здорово получается! Он один обещал, а говорит «мы». Тоже мне коллективист!

Но я не успел ничего сказать — из толпы выпорхнула Валька с братишкой Миколой и подбежала к нам.

— А я в фойе вас смотрела — думала, вы там ждете. Ну, идите!

Мы шли по улице к парку Ватутина. Валька все время что-то говорила, но я не слушал. Мне было неинтересно. И вдруг я услышал свое имя:

— Что это Павлик кислый такой? И смотрит сердито... Он, случайно, не болен? Или, может, что-нибудь случилось?

«Сама ты больная», — с досадой подумал я. Что ей от меня нужно? И не люблю, когда меня Павликом называют! Павлик-равлик!..<sup>1</sup>

Ява пронзительно посмотрел на меня, и в глазах у него было: «Ну, друже, врать я не могу. Ты уж извини».

— Да так... случилось, — вздохнул он. — Неприятность одна...

И Ява начал рассказывать все, как было: и про часы, и про то, как мы сегодня ходили по театрам.

Сперва я хотел вмешаться и не дать ему говорить, но потом махнул рукой — пусть рассказывает, что это может уже изменить?

Слушая Явин рассказ, Валька все время ойкала и всплескивала руками. А когда Ява закончил, взволнованно заговорила:

— Ну ты скажи!.. Вот это да!.. Надо же, как вышло! Конечно, надо обязательно найти того артиста... — И вдруг глаза ее заблестели. — А знаете что? Кажется, один человек может вам помочь. Недалеко от нас живет старый артист, Максим Валерьянович. Он уже на пенсии, не выступает, но знает всех артистов. Он еще до революции играл на сцене. Вы ему опишите вашего «царя», и он наверняка узнает, кто это. Хотите, я вас познакомлю?

Мы переглянулись. Ява смотрел на меня победителем. Да еще неизвестно, сможет ли помочь этот Максим Валерьянович! Но почему не попробовать. Не в таком я положении, чтоб отказываться.

— А он дома сейчас? — спросил я, давая понять, что согласен.

— Да, скорей всего дома. Он часто хворает и вообще больше дома сидит. Идемте.

Уже знакомый нам двор на улице Январского восстания встретил нас веселой громкой музыкой — какие-то молодые люди на балконе второго этажа крутили магнитофон. Я подумал, что это хорошая примета — в кино, например, когда благополучно завершается какое-нибудь дело, всегда играет веселая музыка. Мы с Явой бодро зашагали под музыку к флигелю, уверенные, что Максим Валерьянович живет в одном с Валькой доме. Но Валька сказала: «Нет, не сюда», и свернула в темную подворотню. Мы с Явой покраснели — ведь Валька могла догадаться, что

---

<sup>1</sup> Р а в л и к — по-украински улитка.

мы уже были тут. Хорошо, что в подворотне было темно, и она ничего не заметила. Из подворотни мы вышли на задний двор, к старым, скособоченным сараям. Сараев было много. Одни двухэтажные, с деревянными лестницами и узкими мостиками вдоль второго этажа — как на пароходе; другие — низкие, приземистые. Между сараями в темных проемах зеленым пламенем светились кошачьи глаза.

Мы прошли мимо сараев и начали спускаться по тропинке, что змеилась в зарослях дерезы. Слева начиналась Лавра — то выныривала, то снова пряталась в зелени деревьев, кустов и разного бурьяна каменная крепостная стена с бойницами. Под стеной в чаще была таинственная темнота, оттуда пахло сыростью, холодом, прелью...

— Вот где в казаки-разбойники играть! — с завистью шепнул мне Ява. Да-а... в казаки-разбойники тут здорово!

Впереди ослепительно вспыхнул золотом купол какой-то колокольни. А справа от купола... Ха! Знакомая штука! Мачты высоковольтной линии. Эти гигантские железные аисты мимо нашего села тоже шагают через все поле, пока не скроются за горизонтом.

Мы спустились к колокольне. Массивные чугунные ворота были открыты, и сводчатый вход вел во внутренний двор Лавры.

Валька уже хотела пройти мимо этих ворот, как вдруг Ява сказал:

— Может, зайдём, хоть на минутку, взглянуть?

— Вот ещё! — с досадой поморщился я. Мне не терпелось как-нибудь поскорее утрясти дело с часами.

Но глаза у Явы вспыхнули почти таким же зеленым огнем, как и у тех котов, что прятались между сараями. И я понял: вот эта крепостная стена, эти бойницы — вся эта древняя Лавра уже населялась в его воображении таинственными незнакомцами, сыщиками и шпионами. И уже слышатся Яве отзвуки выстрелов, и «Руки вверх!», и звуки погони, и... все, что случается в приключенческих фильмах.

Спорить с ним теперь пустое дело.

— Мы только посмотрим, и всё, — умоляюще глянул он на меня.

— Ах, вы ведь тут, наверно, никогда не были... Так идемте, идемте! — затарахтела Валька.

Пришлось зайти.

— Тут Лавра кончается... — поясняла Валька. — Это — «Звонница над Дальними пещерами». А это — храм Рождества Богородицы.



Но она могла и не пояснять. Все это можно было прочитать на специальных досках. Что Ява и сделал по своей излюбленной привычке.

— «Храм Рождества Богородицы, сооружен в 1696 году в стиле барокко...» — громко прочитал он.

— Аварийное барокко,— сказал я.— Капремонта требует...

Действительно, рядом с подновленной златоглавой звонницей церковь Рождества Богородицы имела жалкий, заброшенный вид: купола облупились, почернели, стены потрескались, стекла в окнах выбиты. Около церкви стояли заржавленные, скособоченные леса из водопроводных труб. Казалось, что и леса эти такие же стародавние, как и сам храм. Вход в него был замурован кирпичами.

Небольшой дворик возле церкви был обнесен крепостной стеной, в которой были проделаны квадратные оконца и узкие бойницы. Тут в зеленом тихом уголке между деревьями были старые могилы — виднелись кресты, железные ограды, мраморные памятники.

Мы обошли церковь, и, когда уже уходили, Ява прочитал на одном из памятников:

ГЕРОЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812г.  
АДЪЮТАНТУ КУТУЗОВА  
ГЕНЕРАЛУ ОТ ИНФАНТЕРИИ  
П. С. КАЙСАРОВУ  
ОТ БЛАГОДАРНОГО ПОТОМСТВА  
1951 г.

И на другом:

ГЕРОЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г.  
СПОДВИЖНИКУ М. И. КУТУЗОВА  
ГЕНЕРАЛУ ОТ ИНФАНТЕРИИ  
А. И. КРАСОВСКОМУ  
ОТ БЛАГОДАРНОГО ПОТОМСТВА  
1951 г.

— Вот видишь,— сказал Ява.— Такие исторические генералы похоронены, а ты не хотел идти.

— У нас тут много исторических,— сказала Валька.— В Лавре — Кочубей, Искра, в Выдубецком монастыре — Ушинский, а в церкви Спаса на Берестове — Юрий Долгорукий, который Москву основал.

Ява опять смерил меня гордым взглядом, как будто все это не Валька говорила, а он сам.

— Нужно будет посмотреть,— вздохнув, сказал я.— Но сейчас идемте к этому Валерьяновичу.

— Идемте, идемте,— подхватила Валька.

Мы вышли из ворот и вдоль крепостных стен спустились еще ниже.

Эх и местечко же выбрали монахи для своей Лавры! Среди буйной зелени, на высокой круче над Днепром, откуда трудно окинуть взглядом все, что открывается вокруг в синей безбрежной дали.

Извилистой тропкой спустились мы к асфальтовой дорожке, и эта дорожка вывела нас на узенькую кривую улочку, где в зелени палисадников стояло несколько старых, вросших в землю и покосившихся халуп-мазанок. И только по тому, что почти над каждой из них торчала телевизионная антенна, можно было определить, что это жилища наших дней, а не времен Шевченко.

Возле одной из хатенок, чуть ли не у самой ветхой, Валька остановилась. На маленьком, или, как теперь говорят, малогабаритном, дворике рылись, нервно дергая головами, белые грязные куры и важно, подиректорски прохаживался пестрый петух с залихватски сбитым набекрень гребешком. Ни грядок с овощами, ни ягодных кустов, как у других хозяев на этой улице, тут не было. Только цветы: розы, пионы, петушки, мальвы, флоксы.

И маленькая хатенка, как игрушечная, стояла в этом цветнике. Стены ее были по сельскому обычаю чистенько выбелены, завалинка покрашена синькой, а на стене под крышей висели пучочки каких-то сушеных трав.

Мы вошли следом за Валькой во двор, ступили на скрипучее дощатое крылечко, которое было почти вровень с землей. Валька постучала. Никто не ответил. Валька пожала плечами, потом подошла к окну и, приложив ладонь козырьком к глазам, припала к стеклу...

— Нет... Вы знаете,— преодолевая неловкость, сказала Валька,— должно быть, он поехал на Куреневку к племяннику. Он иногда в воскресенье туда ездит, когда хорошо себя чувствует. Но он скоро вернется, не волнуйтесь. Он всегда уходит с утра, а к обеду возвращается.

А вокруг все было таким привычным, близким, что я как-то сразу поверил — человек, который здесь живет, должен обязательно нам помочь. И я готов был ждать хоть до вечера.

Валька сказала:

— Идите к нам. Я вам свои книжки покажу. И фотографии. У меня целых два альбома фотографий. Он скоро придет, не волнуйтесь.

Она говорила таким тоном, как будто была виновата, что Максим Валерьянович хорошо себя почувствовал и отправился к племяннику на Куреневку.

Мы шли назад.

Удивительное впечатление осталось от всего, что мы видели.

Только что была шумная городская улица с троллейбусами, потом сразу — церкви, тишина, кресты, старые могилы, «Генерал от инфантерии Красовский», потемневшая крепостная стена, потом — гоп! — воткнулись в небо мачты высоковольтной линии, потом неожиданно кривенькая сельская улица, халупка Максима Валерьяновича — куры квохчут, мальва под окном, подсолнухи. А внизу — набережная: трамваи, машины, автобусы, мотоциклы. Справа гигантский мост имени Патона. Слева другой красавец мост, по которому метро прямо из-под земли через Днепр пролегло.

И как все это, старое и новое, перемешалось — просто удивительно.

Мы дошли до сараев. На одном из этих двухэтажных «кораблей», на перилах мостика, что тянулся вдоль второго этажа, сидел головастый, широколицый хлопец в клетчатой рубашке и синих брезентовых штанах, которые сразу привлекли мое внимание. Я таких штанов еще не видел. На них было бесчисленное множество металлических заклепок. Как будто не из материи были эти штаны, а из железа, и не шиты, а клепаны.

Увидев этого хлопца в «железных» штанах, Валька закричала:

— Эй, Будка! Ты опять вчера звонил к нам? Если не перестанешь звонить, ох тебе за это и будет!

— Отвали, — сказал Будка и сплюнул сквозь зубы.

— Вот увидишь, увидишь! — не унималась Валька.

— Закрой свой гроб и не греми костями! — презрительно скривился Будка.

— В чем дело? — ледяным тоном спросил Ява.

Я увидел, как он побагровел. Нам все было ясно и без Валькиных объяснений, но мы все-таки подождали, пока она не сказала:

— Вот взял моду — звонит и убегает. Развлекается!

Ява кинул на меня взгляд-молнию, от которого стало жарко внутри:

— Павлуша, идем!

Мы бросились к деревянной лесенке, которая вела на второй этаж сарая.

— Да куда вы, хлопцы? Бросьте! Будете еще с хулиганом связываться! — закричала Валька (она думала, что нас влекут лишь благородство и рыцарские чувства).

Но мы, не слушая ее, торопливо взбирались по ступенькам, топая, как моряки во время аврала. Бежать Будке было некуда, да он и не собирался бежать. Он только слез с перил и стоял, прислонившись к ним спиной и сложив на груди руки. Он был приблизительно одного возраста с нами, но крепче и шире в плечах. Но мы у себя на выгоне привыкли и не к таким противникам.

— Звонишь, значит! Тикаешь, значит! — шипел Ява, подступая к Будке.

Будка даже позы не изменил, так и стоял со скрещенными на груди руками. Только процедил сквозь зубы:

— Не тяни шупальца, а то копыта протянешь! Я занимаюсь самбо и знаю такие приемчики, что вы у меня тут же послетаете вниз, как груши.

— П-посмотрим! — прошипел Ява и неожиданно схватил Будку за ухо, да не двумя пальцами, а всей пятерней.

Будка дернулся и хотел ударить Яву в живот. Но тот свободной рукой схватил его за руку, я — за вторую... И одновременно мы наступили ему на ноги: Ява — на левую, а я — на правую, чтоб не мог отбиваться ногами. Такое «самбо» мы знали с малолетства. Будка выкручивался, рвался, но мы зажали его, как в тисках. Ява мямл ему ухо и приговаривал:

— Скажи еще спасибо, что по портрету не бьем. Мы просто... передаем то, что тебе причитается. Нас один человек просил передать.

Сперва Будка все цедил сквозь зубы:

— Кончай! Кончай!

Потом вырывался молча и только сопел. Потом на глазах у него появились слезы, и он стал просить:

— Пустите! Ну! Пустите! Ну! Пус...



— А будешь еще звонить? Будешь?

— Н-не буду...— глотая слезы, проблеял Будка.

Мы подвели его к лесенке и пустили. Я не удержался и поддал ему коленом. И он загремел своими «клепаными» штанами до самого низа.

Вскочил, отбежал, обернулся и, размазывая по широкой физиономии слезы, прокричал:

— Ну погодите, погодите! Вы еще мне попадетесь!..

Погрозил кулаком и исчез.

Валька и братишка Микола встречали нас внизу, как героев-космонавтов. Словно мы не с сарая спускались, а сходили по трапу из самолета «Ту-134» на Внуковском аэродроме. Не было только цветов и духового оркестра.

Братишка Микола так и прыгал от восторга:

— Вот здорово! Вот здорово! У нас Будку все ребята боятся, а вы... Вот здорово! Всем расскажу...

Мы сделали вид, что это для нас пустяк, ничего особенного.

— А почему его Будкой зовут? Разве имя такое? — спросил я.

— Да это его прозвали... Видели, какая у него морда? Настоящая будка. А так его Толиком звать. Противный он, вредный...— Микола сказал это с обидой: должно быть, ему частенько перепадало от Будки.

Вдруг Валька воскликнула:

— Ой, Максим Валерьянович!..

Из ворот, опираясь на палку, медленно шел высокий человек.

## Глава VII

### МАКСИМ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ

Если бы не эта тяжелая поступь, пожалуй, трудно было бы сказать, старый он или молодой — такие веселые чёртики прыгали в его искрящихся, цвета чистой лазури глазах. На лысину и намек не было — пепельные от легкой седины волосы густым молодецким чубом закрывали лоб почти до половины. Лицо, как яблоко, румяно лоснилось.

Все это придавало ему какой-то «недедовский» вид.

И снова, как на пляже, я подумал: сколько же в Киеве таких вот молодцеватых дедов!

— Здравствуйте, Максим Валерьянович, а мы как раз к вам ходили! — кинулась ему навстречу Валька.

— Привет, привет! Что случилось? — белозубо, во все вставленные челюсти улыбнулся нам Максим Валерьянович.

— Ой, такое дело серьезное, такое дело... — затараторила Валька. — Вы нам должны помочь.

— Даже так? Ну что ж, я к вашим услугам, милые друзья! Все, что смогут сделать для вас мои семьдесят шесть лет, они сделают, будьте уверены, — сказал старый артист.

Валька уже раскрыла рот, чтоб рассказать, но Максим Валерьянович вдруг поднял руку:

— О нет, дочь моя! Умоляю! Сомкни уста свои! Ни слова! Раз дело серьезное, его нельзя решать вот так, на ходу... Идемте в мой чертог! И там найдем в беседе наслаждение.

Этот шутливо-возвышенный тон как-то сразу вызвал симпатию к старому артисту. Лица наши сами собой расплылись в веселых улыбках. И так стало легко и хорошо с ним, как будто мы давно-давно знакомы.

— Наверно, удивляетесь, что я живу в такой халупе? — усмехнулся он, когда мы подошли к его хате. — Меня уже столько раз пробовали переселять, да я все отбрыкиваюсь. Не могу я без этих цветов, без всего этого. Прошу!..

В хатке было две маленькие комнатухи и совсем маленькая кухня. Потолок низкий — хозяин мог легко достать его рукой. Из-за этого, а также из-за того, что окна закрывали со двора кусты и деревья, в доме, несмотря на солнечный день, были зеленые сумерки. Да и как-то трудно было представить эти маленькие комнаты светлыми и солнечными. Им больше шли как раз сумерки. Обе комнаты и кухня были заставлены цветочными горшками и горшочками. Горшки стояли на подоконниках, на табуретках, на специальных полках и прямо на полу. В горшках были всевозможные комнатные цветы: лилии, фикусы, примулы. Но больше всего кактусов. Я никогда раньше не думал, что бывает столько разных кактусов: и маленькие, круглые — будто зеленые ежики, и большие, разлапистые, похожие на каких-то доисторических ящеров, и покрытые густыми колючками, и почти совсем без колючек. Разнообразной формы и разных цветов. Тут были и взрослые, солидные кактусы,

и совсем еще маленькие, пушистые кактусята. Прямо какое-то сказочное кактусиное царство!

Кроме кактусов, в доме господствовали еще фотографии. Стены комнат были сплошь увешаны фотографиями в рамках. И на большинстве фотографий сам Максим Валерьянович. Бесчисленное множество Максимов Валерьяновичей смотрело на нас отовсюду. И все разные.

Максим Валерьянович в цилиндре. Максим Валерьянович в смушковой шапке. Максим Валерьянович в тубетейке. Максим Валерьянович с усами и без усов. Максим Валерьянович моряк. Максим Валерьянович казак. Максим Валерьянович босяк (в лохмотьях). Максим Валерьянович в шубе. Максим Валерьянович в халате. Максим Валерьянович... голый.

Ну, правда, не совсем голый, а в набедренной повязке. Наверно, в роли какого-нибудь дикаря, потому что и кольцо в носу. Голова кругом идет, если смотреть на всех Максимов Валерьяновичей.

А в углу, там, где у богомольных людей иконы, висит что-то. Сперва я так и думал, что икона: и рушники вышитые по бокам, и рама золотом поблескивает. Присмотрелся хорошенько, а там какой-то дяденька улыбающийся в пенсне и с папироской. Нет, не икона. Ведь господь бог, как бабушки рассказывают, не курил и очков не носил. Да и не улыбался никогда. Во всяком случае, не видел я ни одной иконы, где был бы нарисован бог с папироской, в очках или просто с улыбкой. Всегда серьезный и недовольный. И как в него только верят, в такого невеселого!

Так этот дяденька с папироской, как потом нам Валька сказала, был портрет знаменитого артиста Станиславского, который организовал в Москве МХАТ. А для актеров он был действительно настоящим богом — добрым, улыбающимся, радостным... Он создал очень хорошую систему. Что это за система, Валька, к сожалению, толком не могла объяснить, потому что сама не знала, но сказала, что системой Станиславского пользуются и сейчас во всем мире.

Но это было потом. А пока мы с Явой разглядывали, Валька очень толково и живо, как будто это с ней самой произошло, рассказывала про наши приключения и про историю с часами. Раз Максим Валерьянович был ее знакомый и она чувствовала себя с ним свободно, мы целиком доверили ей рассказывать и только иногда вставляли отдельные слова.

Максим Валерьянович слушал очень внимательно и серьезно.

А когда Валька кончила, заулыбался.

— Так-с, господа-товарищи,— весело сказал он.— Сюжет ясен. Без вины виноватые... Злодеи поневоле... Бывает, бывает. Но впадать в уныние не следует. Если он и вправду артист и если он в Киеве, мы его из-под земли откопаем, а найдем. То, что вы его по фотографиям в фойе не отыскиали, еще ничего не значит. Он может быть и приедем. У нас же сейчас на гастролях и Московский драматический имени Пушкина, и Львовский имени Заньковецкой, и Запорожский имени Щорса. Искать есть где. Но, друзья мои дорогие, придется отложить это до завтра... Вот эти две лани,— он показал на свои ноги,— очень у меня капризные. Отказываются много ходить, хоть ты их режь! Особенно вот эта — Лева Максимовна. С Правой Максимовной еще можно как-то договориться. А эта как упрется — с места ее не сдвинешь! Я уж им в подмогу третью даю,— он кивнул на толстую суковатую палку с вырезанной собачьей головой на набалдашнике,— все равно упрямятся. Раньше чем завтра с утра я их никак не уговорю двинуться в дорогу. Да и сегодня уж поздно — скоро начало вечерних спектаклей, а перед спектаклем для актера, кроме сцены, ничего не существует. Беспокоить его нельзя... Значит, план такой: завтра утром мы с вами идем на... киностудию. Именно на киностудию. У меня там небольшая съемка. Я только и могу теперь играть в неподвижных эпизодах в кино. Так вот на киностудии мы создаем штаб оперативной группы по розыску вашего «царя». И, с одной стороны используя молодые творческие силы (то есть быстроногих молодых актеров), а с другой чудо двадцатого века — телефон, мы разворачиваем боевые действия и... часы находят своего хозяина.

Он сказал это так просто и уверенно, что у меня сразу же не осталось никаких сомнений — все будет хорошо. И я невольно улыбнулся. И Ява улыбнулся. И улыбнулась Валька. И братишка Микола улыбнулся тоже.

И мне захотелось сказать Максиму Валерьяновичу что-то приятное, хорошее. Я посмотрел на фотографии и сказал:

— Это вы столько ролей сыграли?! Вот здорово!

Максим Валерьянович как-то лукаво улыбнулся, будто понял мое желание.

— Да, малость сыграл, господа хорошие... Что сыграл, то сыграл.— Он окинул взглядом стены, завешанные фотографиями, задержавшись на

большой фотографии Киевского оперного театра.— А вот это, друзья, самое священное для меня место. Тут я впервые в жизни был в театре, впервые увидел сцену, актеров. Тут впервые передо мной поднялся театральный занавес.

Максим Валерьянович на миг задумался:

— Давно это было, да-авненько! И как это ни странно, но можете мне поверить: был я тогда совсем маленьким мальчиком, намного меньше вас. Мы только приехали тогда в Киев с Тернопольщины, и мать моя поступила уборщицей в этот театр. И вот однажды взяла она меня на представление. Давали тогда «Травиату», оперу Верди. Знаете?

— А как же. По радио слышали,— гордо сказал Ява и, чтоб не было сомнений, пропел петушиным голосом: — «По-окинем кра-а-й мы, где та-ак страдали...»

— Во, во,— улыбнулся Максим Валерьянович.— Она, «Травиата». Сидел я в осветительной ложе у самой сцены (мать упростила осветителя, чтоб он меня пустил туда). Видно было все и слышно чудесно. Я сидел и не верил, что это не сон, не сказка — все то, что я вижу собственными глазами. В последнем действии, когда Виолетта умирает, я настолько увлекся, так поверил, что она и вправду умирает, что вдруг возмущился недостойным, как мне казалось, поведением Альфреда и Жермона. Женщина, можно сказать, кончается, а они, мерзавцы, поют во весь голос. Не в силах сдержаться, я закричал: «Цыте! Не пойте! Она ж умирает. Разве можно!» Осветитель, который сидел возле меня, даже со стула съехал от неожиданности. Хорошо, что оркестр в это время звучал особенно мощно, а Жермон с Альфредом что есть силы тянули свои арии, и никто не услышал моего щенячьего визга. Обошлось только тем, что осветитель закатил мне хороший подзатыльник и выставил в коридор. Так я «Травиаты» до конца тогда и не увидел. Но заболел театром на всю жизнь.

И как ни билась потом мать, как ни старалась сделать из меня человека (а человек, по ее понятиям, это, значит, чиновник), ничего из этого не вышло. Не прослужив и двух лет, я оставил «присутственные места», забросил на самый высокий тополь Бибиковского бульвара свой чиновничий картуз с гербом и нанялся в труппу Кручинина статистом, то есть артистом, который играет без слов, в толпе, в массовках, и даже имени его в афишах не бывает... Было это в театре Бергонье на Фундуклеев-

ской улице. Теперь эта улица Ленина, а театр — имени Леси Украинки.

Максим Валерьянович разволновался, глаза его блеснули, щеки горели маковым цветом. Я всегда люблю слушать воспоминания старых людей о прошедшем. И чем это объяснить, что рассказы даже про незначительные события выходят у них интересно?.. Если бы это происходило сейчас, наверное, было бы совсем не интересно.

— Эх, публика моя дорогая, то было, как первая любовь, эти первые мои годы в театре. Может быть, никто так серьезно не относился к своей работе, как я. Никто так тщательно и столько времени не гримировался, как я. Никто так не волновался перед выходом на сцену, как я. Хотя выходил я с толпой всего на минуту, и ни одного слова не говорил, и зрители меня даже не замечали. Но мне казалось, что все смотрят на меня. Потом дали мне сыграть небольшую роль. Роль была малю-сенькая, с воробыный нос. Я выходил и отвечал: «Графиня нездорова и принять вас не может». Поворачивался и уходил. И все. Но я был убежден, что в моих словах главная идея пьесы. И я произносил их таким тоном, как будто возвещал о конце света. Впервые весь зал смотрел на меня и слушал меня. Передать это чувство невозможно. Тем более, что моими словами заканчивалось первое действие. Занавес опускался, и в зале раздавались рукоплескания. Казалось, что аплодируют мне и только мне.

Долго еще рассказывал нам Максим Валерьянович о театре, о своей жизни...

Возвращаясь домой, мы с Явой всю дорогу молчали. Думали. Мы впервые познакомились с настоящим артистом. С артистом, который играл на сцене и снимался в кино.

## Глава VIII

«ТОВАРИЩ ЦАРЬ, ВЫ АРЕСТОВАНЫ!»

«У-У, РАЗНЕСУ!..»

Вечер. Мы лежим на тахте около открытого окна. Этот день принес нам столько впечатлений, что нужно быть дубовой чуркой, чтобы сразу заснуть.

Ява все время вертится, как будто его кто-то кусает. Я хорошо знаю

своего друга. Я знаю, кто его кусает. Его мысль какая-то кусает, не дает покоя.

— Ну, что такое? — спрашиваю.

Ява вздыхает, но молчит.

— Ну, говори же, что еще такое? — повторяю я.

Ява еще раз вздыхает и говорит:

— Ты знаешь, Павлуша, я решил: когда вырасту, я, наверно, в артисты пойду.

— А кто ж милиционером будет? Кто будет преступников ловить? — усмехнулся я. — Ведь если все милиционеры в артисты пойдут... И Тарапунька, и ты... Разведется тогда всяких преступников, как муравьев, прохода от них не будет. Ты об этом подумал?

— Ничего, — серьезно говорит Ява, — и без меня найдется, кому ловить.

— А ты вспомни, что вчера говорил! Даже не два дня тому назад, а вчера!

— Так то ведь было вчера, а это сегодня. Жизнь идет вперед.

— Между прочим, — говорю, — чтобы стать артистом, слышал я, нужно иметь для этого талант... Во!

— Ну про это ты и не говори! Что-что, а талант у нас с тобой как раз есть. Это точно. Думаешь, ты плохим бы артистом был? Еще бы каким!.. Все бы зрители плакали!

— Ну точно, плакали бы, — хихикнул я. — Денег за билеты жалко было бы...

— Дурной! Ты думаешь, нас даром в селе «артистами» называют? Дед Саливон все же время повторяет: «Вот артисты! Ну и артисты».

Когда вам в глаза говорят, что вы талант, и убеждают в этом, очень трудно спорить. Я пробормотал что-то невнятное и замолк.

Ява теперь говорил без помех:

— Артистам все-таки лучше всего... Самая лучшая жизнь у артистов. Музыка, песни, аплодисменты. Не жизнь, а Первое мая! И слава! Какая у артистов слава! Самых великих академиков так не знают, как артистов. Вот скажи, ты какого-нибудь академика знаешь в лицо?.. Вот видишь! А Кадочникова знаешь, Рыбникова знаешь, Баталова знаешь, Смоктуновского знаешь, Филиппова знаешь. Да что там говорить! Киноартиста, который на экране всего один раз только и мелькнул, знают все. Он идет

по улице, и все пальцами на него — тык! тык! тык! А ты говоришь... Я вынужден был согласиться.

Поговорили мы еще немного о том, как хорошо быть знаменитым артистом, и заснули. И приснился мне сон...

Между прочим, сны мне почему-то часто снятся какие-то путанные, с приключениями и фантастикой. И я люблю их рассказывать. Ява всегда говорит: «А расскажи-ка, что тебе снилось?» И я охотно рассказываю... Ява завидует моим снам и говорит, что я во сне живу интересней, чем наяву, и было б для меня, наверно, лучше, если бы я все время спал и не просыпался...

Так вот приснилось мне... Будто сижу я посреди сцены на царском троне в какой-то огромной царской шубе. И она почему-то воняет, как кобеняк деда Саливона. На голове у меня золотая корона, в руках увесистая дубинка с кругляшкой на конце — «скипетр» называется.

Из темного зала отовсюду (из партера и с ярусов) таращатся на меня коровьи и бараньи морды. Тут и там, на местах зрителей, всюду сидят коровы, овцы, бараны и прочий рогатый скот. И меня это нисколько не удивляет. Как будто так и нужно. В первом ряду сидит наша однорогая корова Манька, Явина пятнистая Контрибуция, козел Жора и колхозный бык Петька. И я то и дело незаметно (чтоб не видно было другим зрителям) моргаю им, как подмаргивает артист своим родичам, которые пришли на спектакль.

А в основном я произношу какой-то длинный монолог — без слов, но очень умный и красивый... Наконец я кончил и склонил голову, ожидая аплодисментов. А в зале гнетущая тишина. И вдруг я спохватываюсь: какие тут могут быть аплодисменты, если у них, у моих зрителей, не руки, а копыта! А где вы слышали, чтобы кто-то аплодировал копытами? Чего я, дурной, волнуюсь? Мои же зрители просто не могут аплодировать. Они могут только мекать, бекать, мукать. Но из уважения ко мне они этого не делают. Они молчат, выражая тем самым восхищение моей игрой. Манька и Контрибуция растроганно вздыхают. Козел Жора вытирает кончиком бороды глаза. А колхозный бык Петька, известный хам и грубиян, плачет, как ребенок. Вздвонцованный, я встаю, но, вместо того чтобы раскланяться, вдруг хлопаю на весь зал кнутом (у меня в руках уже не скипетр, а кнут!). И зрители мои с гвалтом срываются с мест. Миг — и в зале пусто. Никогошеньки. Одни стулья.



И тут вдруг из-за кулис на сцену выходит... Ява. В форме милиционера.

Грохоча сапогами, направляется ко мне и говорит:

«Чего нарушаешь? Не нарушать! А то сейчас заберу в отделение».

Я гневно смотрю на него:

«Кто дал тебе право так со мной разговаривать? Я — царь!»

«Какой же ты, к бесу, царь. Ты — вор! Ты украл часы у настоящего царя, и вот у меня ордер на твой арест. Гражданин царь, вы арестованы!» — И Ява показывает мне какую-то бумажку.

Меня охватывает страх.

«Ява,— говорю я,— ну зачем ты так... Ведь ты же знаешь, как все было. Это же случайно».

А он сердито:

«Кто дал тебе, вору, право называть меня, представителя власти, на «ты»? Опять нарушаешь?!»

«Извините,— прошу я, совсем сбитый с толку,— но я думал, что мы с вами друзья».

«Индюк думал»,— сурово говорит Ява и вдруг накидывает мне на голову какую-то дерюгу. И вот я связан, ничего не вижу, не могу шевельнуть ни рукой ни ногой. Какая-то ниточка от дерюги щекочет мне лицо, а я не могу ее отстранить. И это так нестерпимо, что хочется крикнуть, но крик застревает у меня в горле, и... я просыпаюсь.

Оказывается, по мне ползала муха. Когда я открыл глаза, она сидела на кончике моего носа и потирала от удовольствия передние лапки. Я сделал губами — пфуй! — муха слетела, прожужжала где-то под толком и села мне на лоб... О сне нечего было и думать.

Я сел на тахте и глянул на «милиционера» Яву. Он мирно спал, подложив под щеку ладонь и причмокивая губами, как младенец.

— «Не нарушай»!.. У-у, змеюка! Предатель! — пробормотал я и пырнул его пальцем в бок.

Он сразу проснулся, вскочил и сел, хлопая заспанными глазами:

— Га? Что?!

— Вставай, а то я уже проснулся, и мне скучно,— спокойно сказал я.

— Тю!.. Дурной! — И он шлепнулся на подушку и закрыл глаза.

— Не нарушай! — милиционерским тоном сказал я.

— Отцепись! Я спать хочу.

— А ну тебя, соня! — сказал я, соскочил с тахты и вышел на балкон подышать свежим утренним воздухом.

А утро какое! Лучистое, звонкое, ясное, как новая копеечка. И веселое, голосистое, певучее... Ох, какое же певучее!..

«Аве-е, Мари-ия, а-аве, Ма-ария-а...» — печально выводит в растворенном окне высокий и чистый мальчишеский голос.

И в ту же минуту:

«Джама-йа-а-ай-ка! Джамай-ка!..» — бодро и весело звенит все тот же голос уже из второго окна.

«Са-анта Лю-учи-ия! Санта Лючия!..» — волнами льется он из третьего. И одновременно из четвертого — его же задушевное, грустное и совсем уж детское: «Мамма, Мамма...»

Аж мурашки по коже!

В то лето киевляне увлекались песнями итальянского мальчика Робертино Лоретти, и почти в каждой квартире были его пластинки. С раннего утра несло над городом пение голосистого Робертино.

«Вот бы нам с Явой такие соловьиные голоса, — подумал я. — Не ломали бы мы голову, как прославиться. Стояли бы себе на сцене возле рояля, выпятив грудь, и только рот разевали...» Ан дудки! Нашими голосами только «Пожар!» или «Караул!» кричать. А если уж в артисты, то только в драматические. Или в кино! Вот это да! Вот это мы можем! Кино!.. От радости у меня щекочет в животе. Мы же сегодня будем на киностудии! На настоящей киностудии, где снимают фильмы... И увидим известных киноактеров. И как фильмы снимают, посмотрим!.. И все такое интересное увидим!.. Ух! Даже не верится!

Ява уже встал. Мы быстренько завтракаем — и айда!

...Как прекрасны люди утром! Будто росой умытые! Бодрые, свежие и как будто даже хрустящие, как молодые огурчики. А глаза у них какие! Чистые и ясные, как цветы, что только распустились.

Мы едем в автобусе, и я вокруг все рассматриваю. И такое у меня настроение расчудесное. И так я всех люблю! И так мне хорошо!

Бодрым шагом заходим мы во двор, где живет Валька. Нам нужно зайти сначала к ней, а потом уже к Максиму Валерьяновичу. Вдруг мы видим большую ватагу хлопцев (человек двадцать, не меньше) и среди них Будку. Они толкутся как раз у Валькиного подъезда, во что-то играют — не пройдешь никак. Мы в нерешительности остановились.

И тут Будка заметил нас. Я увидел, как загорелись у него глаза. Он что-то сказал хлопцам, и те кинулись к нам. Момент — и мы окружены со всех сторон.

«Ну, пропали! Пропали ни за грош!» — мелькнуло в голове.

— Павлуша! За спину! — кричит Ява.

Я мигом подскакиваю к нему и прислоняюсь спиной к его спине. И так, занявши «круговую оборону», мы стоим, выставив вперед кулаки. А кольцо все сжимается и сжимается. И уже Будка, размахивая руками перед Явиным носом, орет:

— Разнесу! У-у, разнесу сейчас!

И я уже отталкиваю в грудь долговязого слюнязого детину, который лезет на меня. И вот кто-то больно двинул меня по ноге. Еще миг — и начнется драка. Да нет, какая там драка! Избиение, свалка, конец наш... Я уже, как говорится, кожей чувствую, как меня сейчас бить будут.

И тут вдруг Ява говорит звонким таким голосом, с насмешечкой:

— Ого, как вас много! И все на двоих! Вот здорово!

«Что он говорит? Пришибут же на месте!» — с ужасом думаю я. А Будка со злобой цедит сквозь зубы:

— Ты, гад, поговори! Сейчас ка-ак врежу! — и уже замахивается.

И вдруг:

— Законно он говорит. Всем кодом — не дело! Ты, Будка, с кем-нибудь с одним из них стукнись. Вот это будет правильно. И честно, и поквиताешься... А мы посудим. Чтоб всё по правилам было.

Это говорит вихрастый малый лет четырнадцати, который стоит где-то сзади, но голова его возвышается над головами передних. И Будка опускает руку. Видно, такое решение ему не нравится, но делать нечего... Он измеряет взглядом Яву, потом меня и недовольно бурчит:

— Ладно. Тогда я вот с этим стукнусь, — и тычет мне пальцем в плечо. — По-моему, этот крепче.

Он брешет: Ява на вид сильнее меня, — но никто не спорит.

— Идем к яру, — говорит вихрастый.

И все гурьбой, подталкивая нас, идут к яру. А у меня внутри с каждым шагом что-то с болью рвется и опускается все ниже и ниже.

«И почему же я?!» — пищит в моей душе тоненький овечий голосок. Но я молчу. Я должен молчать. Ведь я же мужчина!

Ява тоже молчит. Я знаю, что он сейчас чувствует. Он чувствует

себя виноватым передо мной (ведь он-то как раз и намял Будке ухо, а я только держал). И Ява ужасно переживает, что вынужден драться я, а не он. Да разве он может теперь что-нибудь сделать? Разве он может просить, чтобы дрался он, а не я? Это же, значит, при всех признать меня слабаком, это все равно, что плюнуть в лицо. Нет, он не может этого сделать! Я понимаю. И я умру, но не дам себя опозорить.

Мы спускаемся к яру, продираясь сквозь колючую, покрытую сизой пылью дерезу.

— Вот тут,— говорит вихрастый, и мы останавливаемся.

Небольшая поляна. С трех сторон дереза, с одной — крутой склон. Хлопцы расходятся, встают полукругом у кустов дерезы. И вот я лицом к лицу со своим противником. Несколько мгновений стоим, подавшись вперед и покачиваясь,— примеряемся.

Будка выше меня, шире и, конечно, плотней. Да разве я мог выбирать? Во всяком случае, лучше драться с одним, хоть и более сильным Будкой, чем с десятью.

Вы, наверное, сами знаете, что обычно боишься, пока не начнется драка. А потом уж страх проходит. Вместо него злость, боль и боевой азарт.

Будка размахнулся и, хотя я присел, он все же засхал мне по голове кулаком. И тут меня такая ярость взяла, что я вам передать не могу. Ах ты будка! Ах ты будка деревянная! Собрал целую свору и храбрость свою показывает! А когда был один, сопли по щекам размазывал?! Ах ты клоп несчастный! И я, не помня себя от злости, ринулся в бой. Волчком вертелся я вокруг Будки, тыча кулаками и отскакивая. А он только беспорядочно махал своими «граблями» и топтался на месте.

Хлопцы загалдели:

— Да что ты, Будка?!

— Да бей же его!

— Под дых! Под дых!

— По сопатке!

Но Будка только сопел и размахивал руками, как мельница. Наконец он поймал меня за рубашку, обхватил, и мы покатались по земле.

— Навались на него! Дави! Дави! На лопатки! — подзадоривали Будку.

Но Будка был уже готов. И не он, а я положил его на лопатки,

придавил к земле и крепко держал. Наши лица почти касались, мы тяжело отдувались... И скоро побежденный Будка уже не трепыхался. Все! Моя взяла!

— Э, нет! Это не честно! Не по правилам! Недозволенный прием! — слышу я вдруг и чувствую, как меня за штаны сволакивают с Будки.

Поднимаю голову и вижу — тянет долговязый, которого я тогда толкал в грудь. Я хорошо знаю, что я дрался честно и никакого недозволенного приема не было, но я запыхался, и мне не хватает воздуха что-нибудь сказать. Я только с надеждой смотрю на вихрастого. Но он молчит, не вмешивается. И мне сразу становится ясно: положение мое безвыходное. Они — Будкины друзья и, конечно, хотят, чтобы победил Будка. Конечно. Иначе не стоило им затевать этот поединок. Иначе они могли бы просто отлупцевать нас. Моя победа — это позор для них для всех. И они этого не допустят. Хорошо драться можно только тогда, когда есть надежда на победу, а когда этой надежды нет... Я уже на земле, и воскресший Будка уже навалился на меня и со всей злостью за свое поражение тычет меня головой в траву. Что-то кричит, протестуя, Ява, да что он может!..

Бум, бум, бум! Как колокол звенит моя голова. И в глазах темнеет, и мысли путаются...

Как вдруг:

— Ах вы бессовестные! Ах вы бессовестные! Пустите сейчас же! Пустите! Пустите! Ну! Пустите! — пронзительный Валькин голос.

И звон в голове моей сразу прекращается. И Будка слетает с меня на землю. И я вижу над собой чистую голубизну неба, в котором летают белые голуби. И мне становится ясно, что откуда-то здесь взялась Валька, что она столкнула с меня Будку и стоит надо мной, воинственно размахивая руками, и кричит:

— Бессовестные! Бессовестные! Пионеры, называется! Школьники, называется! Бандиты! Вот я все расскажу! Все расскажу в школе! Вот увидите! И родителям вашим расскажу. И твоим, Алик, и твоим, Вовка, и твоим, Эдик. А на тебя, Будка, вообще в милицию заявлю. И тебя в колонию заберут. Вот увидишь! Хлопцы приехали из села в гости к нам в город, а вы их — бить! Да еще всем гуртом! Нечего сказать — гостеприимные хозяева! Бессовестные!..

Вот так крича, она помогла мне подняться и, взяв за руку, повела.

А по пути и Яву прихватила. Наши враги расступились и пропустили нас. Никто даже не пытался нас задержать. Все молчали. И только когда мы прошли, кто-то пронзительно свистнул, и вся ватага, как горох из мешка, сыпанула вниз, в яр. Может, они бы и по-другому поступили, да, наверно, все-таки решили, что Будка со мной вполне расквитался.

Я шел пошатываясь и рукавом вытирая пот со лба.

— Молодец, Павлуша! Ух ты ему дал! Ну и дал же!.. Он только дергался! — восторженно говорил Ява, обнимая меня за плечи. — Ты им всем показал, что такое васюковцы. Молодец!

Мне было приятно это слышать, но брала досада, что Валька этого не видела, что она застала меня уже битым и что она-то вроде бы и спасла меня... Я ей был, конечно, благодарен — кто знает, сколько бы еще этот Будка стучал об землю моей бедной головой? Но в то же время я чувствовал какую-то неловкость и стыд, что меня спасла девчонка. Такую неловкость, как будто она видела меня голого. И все-таки я был доволен. По-честному я все же победил Будку, здорового хлопца, который был крупней меня. И который выбрал меня, считая, что я слабак.

На тропке нас ожидал братишка Микола. Оказалось, это он позвал Вальку. Видел, как нас повели к яру, смекнул, что наши дела дрянь, и побежал за Валькой.

— Ты тоже молодчина, Валька! — сказал Ява. — Одна и не побоялась! Они ж могли и тебя отлупить за компанию...

— Пусть бы только попробовали! Я бы им такой крик подняла — весь город сбежался бы! И думаешь, я царапаться не умею? Пусть бы кто только тронул, его бы мать родная не узнала!

Ява поглядел на нее с восхищением и толкнул меня локтем в бок: смотри, мол, какая дивчина, вот это дивчина! Я кивнул в ответ: да, дескать, молодец дивчина, бог с ней...

Отряхнули меня Валька с Явой, почистили, как могли, но все равно вид у меня был, как будто корова жевала. А делать нечего, Максим Валерьянович давно уже ждет, нужно идти.

Максим Валерьянович шутливо поздоровался с нами («Здравствуйте, милостивые государи!»), потом внимательно посмотрел на меня и неожиданно сделал предостерегающий жест рукой, хоть я и не собирался ничего говорить:

— Ни слова! Все понимаю. Была вооруженная стычка с противником.

Пограничный конфликт. Причин не выясняю, но думаю, нечто чрезвычайно важное — дело чести... Требование сатисфакции. Дуэль. Несмотря на трудности, вы вышли победителем. Так?

Я улыбнулся и кивнул. Какой он все-таки! С ним как-то сразу становится легко.

Больше Максим Валерьянович ни о чем не стал расспрашивать. Он только сказал:

— Через десять минут должна быть машина. И мы поедem на студию. Вы как раз вовремя пришли.

Однако нам и десяти минут не пришлось ждать. Через каких-нибудь две-три минуты мы услышали, как возле хатки Максима Валерьяновича остановилась машина, хлопнула дверца, и тут же чей-то молодой голос раздался во дворе:

— Максим Валерьянович, я уже тут! За вами...

## Глава IX

### НА СТУДИИ. НЕОЖИДАННОСТЬ ПЕРВАЯ. НЕОЖИДАННОСТЬ ВТОРАЯ

И вот — ворота. Ворота, что отделяют обычный будничный мир от сказочного, волшебного, фантастического мира кино. И как-то обидно, что они на вид такие простенькие и неказистые. И такие низенькие — не то что перелезть, перепрыгнуть можно. Я разве такие бы сделал для киностудии! Ну хотя бы как те... перед Зимним дворцом, через которые в фильме «Ленин в Октябре» матросы перелезают. А то бы и еще выше. Киностудия ведь, а не что-нибудь!

Ну, а пока что отворяются вот эти низенькие воротца, и мы въезжаем на территорию студии.

Смотрю влево — ух ты, фруктовый сад, да не какой-нибудь маленький, а такой, что конца не видно! Будто мы и не на студию попали, а в совхоз...

— Может, это для артистов... Производственная практика... После съемок работают... — шепчет Ява.

— Наверно, — соглашаюсь я.

Посмотрели мы вправо — стоят друг за другом красочные щиты

(вроде тех, какие бывают на шоссе). На одном из щитов Ява прочел: «Искусство принадлежит народу». «...Из всех искусств для нас важнейшее — кино (В. И. Ленин)».

А на другом щите были такие слова:

«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (А. П. Чехов)».

Я вздохнул: лицо у меня — как будто на нем гвозди забивали; одежда вся измятая, грязная; на душе, как про часы вспомнишь, кошки скребут... Лишь в мыслях своих я был великолепен и совершал поступки прекрасные и благородные. Да ведь мысли-то никому не видны...

Мы вышли из машины и следом за Максимом Валерьяновичем направились к дверям киностудии. Вот это двери! До чего же интересные! Крутятся! Как винт парохода или колесо водяной мельницы. Толкнешь одну дверь, а другая уж тебя догоняет и по спине лупит. Ну и двери!

Протолкнули нас двери внутрь. Ява только потянул носом воздух и тут же сморщился. И я тоже. Больницей пахло. Там, слева, было что-то вроде амбулатории. Да, подумал я, видно, не такое уж это безопасное дело — кино снимать, раз медицина наготове.

Мы поднялись по ступенькам чуть вверх и пошли длинным-предлинным коридором. Мы с Явой не раз читали про киностудию в книжках (и у Кассиля, и у других), что когда попадаешь туда, то чудеса начинаются сразу же в коридоре: Петр I ходит там, обнявшись с Чапаевым, какой-нибудь римский гладиатор прикуривает у Героя Советского Союза, а гордая морская царица рассказывает простой колхознице о том, какую чудесную кофточку купила она вчера в универмаге.

И нам не терпелось увидеть все это. Мы то и дело озирались по сторонам. А по коридору почему-то ходили самые обыкновенные люди в самых обыкновенных костюмах (некоторые в спецовках, как на фабрике!), и никаких тебе гладиаторов, и никаких царей... Наверно, мы попали в такой день, когда интересных съемок на студии не было. Не повезло нам! И вдруг...

— Во! Во! — толкнул меня в бок Ява.

По коридору навстречу нам шел человек в зеленой военной фуражке, в гимнастерке с портупеей. Высокий, стройный, с суровым лицом...

— По-моему, Кадочников...В роли партизана...— шепнул Ява.



Увидев Максима Валерьяновича, военный приветливо улыбнулся и козырнул. Максим Валерьянович тоже улыбнулся и поздоровался с ним. Когда мы разминулись, я набрался смелости и спросил Максима Валерьяновича:

— А... кто это? Как его фамилия?

— Петренко, — немного удивленно взглянул на меня Максим Валерьянович. — Прекрасный человек... Пожарник... Отвечает на студии за пожарную охрану.

Тю!..

— Какие-то пожарники пошли... неинтересные, даже касок не носят, — отводя глаза, буркнул Ява.

Долго мы шли узким, полутемным коридором. И почти все, кто нам встречался (а люди в коридоре толпились, как на Крещатике), здоровались с Максимом Валерьяновичем. Ну просто, как в селе — «здрасьте» на каждом шагу.

Наконец Максим Валерьянович остановился у двери, на которой висела табличка: «Съемочная группа «Поцелуйте меня, друзья!». За дверью стоял страшный гвалт. Казалось, что там полно людей, которые кричат и ссорятся между собой. Но когда Максим Валерьянович отворил дверь и мы вошли, оказалось, что в комнате всего один человек. Он был уже немолодой (лет за пятьдесят), но еще бодрый и крепкий, с огромной копной черных волос на голове... Сидя на столе, он ругался по телефону, не смолкая ни на миг и перебивая сам себя:

— Вы, понимаете, съемку срываете... Что вы мне вчера обещали? Вы обещали солнечную погоду, понимаете... Без осадков! А дали что? Что вы мне дали, понимаете... Поглядите в окно! — Он ткнул рукой в сторону окна. — У вас есть окно? Полюбуйтесь, понимаете! Осадки, чтоб им пусто было! Полное небо осадков! Осадки, и никакого, понимаете, просвета...

И в самом деле, небо затянуло тучами, и стал накрапывать дождь.

— Безобразие, понимаете... — ругнулся он в последний раз, соскочил со стола и порывисто обнял и поцеловал Максима Валерьяновича: — Здрасьте, дорогой! Вот ругался с этими... как их... с вещунами погоды...

— Синоптики? — усмехнулся Максим Валерьянович.

— Во-во!.. Синоптиками... Оракулы чертовы, понимаете... — Он угрозил пальцем телефону. — Не можете, так хоть голову не морочьте! У меня, понимаете, Юлю послезавтра «Ленфильм» забирает. Уж билет

на самолет есть, а я еще натуру не снял из-за них... из-за этих вот, понимаете, осадков... Придется сегодня снова снимать в павильоне... Все уже там... Бежим... Быстренько...

— Да вот тут у хлопцев одно дело...— начал было Максим Валерьянович, но «Поцелуйте меня, друзья!» очень вежливо перебил его:

— Простите, дорогой... потом... потом! — Он умоляюще приложил руку к груди и склонил голову.— После съемки... Все дела после съемки... Самое неотложное дело сейчас — съемка... Быстренько на площадку... На площадку! И вы тоже... Я вас приглашаю, дорогие мои,— повернулся он к нам.— Только, конечно, чтоб тихо, понимаете, чтоб... не то, понимаете...

Максим Валерьянович весело глянул на нас:

— А что? Идемте... Вы же на съемках, наверно, еще не бывали? Так вам будет интересно... Хотите?

Конечно, мы сразу согласились. А Валька не сдержалась и даже подскочила, хлопнув в ладоши: «Ой, как здорово!» Ява гордо посмотрел на нас: как-никак, а это благодаря нам она попала на киностудию, да еще и на съемки, а то, хоть и живет в Киеве, съемок сроду не видала.

И снова пошли мы длинным коридором.

Я шел и думал: «И что это за синоптики, которые не могут самый обычный дождь угадать! У нас на селе каждая бабуля за три дня вперед вам дождь предскажет. Примет же верных сколько хочешь. И по тому, как ветер крутит — на порог или с порога. И как куры себя ведут. И как солнце садится... А иногда деревья подсказывают... Завели бы себе на метеостанции кур — и хлопот бы не знали! Не срывали бы тогда киносъемок!»

Тут мы спустились вниз и очутились будто в гигантском цехе какого-то завода. Потолок вверху почти не видно... И мы все сразу какие-то маленькие-маленькие стали... Идем, идем, идем — и конца нет.

Навстречу нам семенил, цокая по цементному полу, какой-то худенький лысый человечек. Еще издали он замахал руками и закричал:

— Привет, Витя!

— Здравствуй, Женя! — воскликнул «Поцелуйте меня».

А когда мы приблизились, престарелый Витя обнял престарелого Женю, и они расцеловались. Потом он поцеловал Максима Валерьяновича. Я уже боялся, что он и нас начнет целовать, но тот лишь помахал нам рукой и сказал:

— Привет, старики!

Мы невольно усмехнулись: пожилой человек, который уже наверняка имеет внуков, у него — Витя, а мы — старики... Все наоборот!

Сам Женя был, должно быть, еще старше Вити, и не только потому, что вокруг его лысины, как камыш вокруг озера, торчали вихры седых волос (у Вити ни одной седой волосинки!). Все лицо Жени было в больших морщинах — как печеное яблоко. Но это были какие-то очень интересные морщины. Они все будто лучились от глаз. И потому лицо его все время сияло и смеялось. А черные с искоркой глаза бегали, как мышата.

Короче говоря, он был очень симпатичным.

Я заметил, что он, когда еще бежал нам навстречу, взглядом нацелился почему-то на нас с Явой. И когда целовался с Витей и Максимом Валерьяновичем, тоже не сводил взгляда с нас. А как только поздоровался, сразу же накинулся на Витю, кивая в нашу сторону:

— Кто это? Чьи они?

Витя пожал плечами и посмотрел на Максима Валерьяновича.

— Мои, — заулыбался Максим Валерьянович.

— Они у тебя снимаются? — снова накинулся Женя на Витю.

Тот отрицательно покачал головой.

— Так чего же ты молчишь! — выпалил Женя. — Они же мне вот так, — он провел себе ладонью по шее, — нужны! Это ж такой типаж! У меня же завтра массовка. Я мечтал о таких хлопцах! Старики, я вас очень прошу! — Он приложил руку к груди. — Я вас просто умоляю! Я пришлю за вами машину! Завтра... в двенадцать часов... на съемку... сюда в студию... Я договорюсь с вашими отцами... Всего на один день... Где вы живете? — Он уже вынул из кармана блокнот. — Если сможете, приводите еще одного-двух мальчиков... — говорил он, записывая адрес. — В половине двенадцатого за вами придет мой ассистент... Договорились... Прекрасно, прекрасно... Привет! До завтра.

И только когда он отбежал, я наконец взял в толк, что нас — меня и Яву — пригласили сниматься в фильме, что завтра, буквально завтра, мы станем киноартистами и наши физиономии увидит весь Советский Союз, а может, даже и весь мир, что, короче говоря, как в сказке сбывается то, о чем мы могли только мечтать... Ой! Бугуль-бугуль-бугуль! Что-то радостно забулькало, загудело и засвистело у меня внутри — так гудит и свистит самовар, закипая... Еще немного —

и у меня из носа пойдет пар от бурлящей радости... Я глядел на Яву — такого радостно-глуповатого лица я еще не видел ни разу...

— Ну вот! Я вас поздравляю! — весело сказал Максим Валерьянович. — Оказывается, режиссеру Евгению Михайловичу вы были до зарезу нужны. И завтра уже будете сниматься... Кино, братцы, великая вещь!

— Важнейшее из искусств! — с гордостью сказал Ява.

— Я так рада за вас!.. — тонким, дрожащим голосом сказала Валька. Она завидовала, она безумно завидовала нам. Никогда, должно быть, она не жалела так, как сегодня, что она — не мальчишка.

— Ничего, в другой раз будут нужны девчата... Вот увидишь! — сказал я тоном, каким говорят с маленькими детьми или с больными. Я был великодушен. В душе моей порхали бабочки...

Мы свернули влево в маленькую дверь и очутились в огромном темном зале. Мы долго петляли почти наугад среди каких-то перегородок и сооружений, спотыкаясь о толстые резиновые кабели. Наконец вышли на ярко освещенную площадку... Ух ты! На площадке стоял самолет!.. То есть не весь самолет, а часть самолета. Передний салон разрезанного вдоль «ТУ-104»... Но все, как в настоящем самолете: и кресла, и иллюминаторы, и все-все (я ведь летал, знаю). Съемка еще не началась, и пассажиры, и стюардесса, и пилоты спокойно прохаживались вдоль площадки. Возле огромных прожекторов на подставках суетились люди в спецовках. А по рельсам, что тянулись вдоль самолета, парень в клетчатой рубашке медленно двигал тележку, на которой стоял киноаппарат. К аппарату припал мужчина в черном халате.

— Выключить четвертый! — крикнул он, как раз когда мы подходили.

Что-то щелкнуло, и один из прожекторов, что стоял наверху на каком-то мостике, погас...

Ох как тут интересно! Да еще и самолет! (Как будто на студии знали, что я будущий летчик.) И меня охватила волна бурной радости... Все здесь было таким необычным и праздничным, что чувствовали мы себя прямо как на собственных именинах, когда гости уже собрались и садятся за стол. Я не мог устоять на месте от мысли, что сейчас начнется самое интересное — киносъемка.

— Где Вася? — сквозь зубы процедил «Поцелуйте меня, друзья!». — Снова опаздывает? Ну что ж, сядем и будем его дожидаться.—

Он резко опустился на стул, уперся руками в колени и замер с каменным лицом.

Но не прошло и минуты, как на площадку выбежал из темноты запыхавшийся молодой человек в форме летчика:

— Виктор Васильевич, извините! Извините! Часы... стали... Я не виноват... Забыл завести...

«А мои? — вдруг подумал я. — Я ведь тоже не заводил. А надо регулярно заводить... Отец вон каждый день заводит. А то еще сломаются... Нужно завести...»

Я сунул руку в карман...

Мне показалось, что огромный прожектор падает на меня... Я пошатнулся...

Часов в кармане не было!..

## Глава X

### ГДЕ ЧАСЫ? МЫ ИДЕМ В ЛОГОВО ВРАГА

— Сейчас начнется! Сейчас начнется! — взволнованно говорит Ява. — А тот длинный, в фуражке, — вылитый Филиппов... Скажи!

— Ява... — говорю я мертвым и каким-то далеким-далеким, будто с другой планеты, голосом.

— А может, это настоящий Филиппов... Вот было бы здорово познакомиться!.. Подойти и сказать: «Здрасте, а мы завтра тоже снимаемся... хотим посоветоваться».

— Ява!

— Хлопцы от зависти так и лопнут! — захлебывается Ява. — Вот выпало счастье-то! Вот выпало...

— Ява!

— Я ж тебе говорил, что мы будем артистами... А ты — «летчиком, летчиком»... Как попугай...

Я хватаю его за руку и силой тащу в темноту за перегородку.

— Что такое? — пытается вырваться он.

— Часы...

— А?

— Нету...

— Что?

— Часов нету...

— А где...

— Да были в... кармане. И... и... нету.— Я вывернул карман, хотя в темноте он все равно бы ничего не увидел.

Ява молчит, пораженный.

— А сейчас после съемок найдут хозяина и...— в отчаянии говорю я.

— Это во время драки! Точно! Когда вы по земле катались, они и выпали!.. Идем! Мы еще успеем, пока съемки будут... Я только позову Вальку.

Ява проскользнул между людьми к Вальке, зашептал ей на ухо. Она рот бубликом: «Ох!» — и вмиг они оба уже были возле меня. Мы начали осторожно, чтоб не привлекать внимания, пробираться к выходу. На съемочной площадке царила такая суматоха, что было не до нас. Только какая-то дородная женщина в белом халате заметила наши маневры. Но она поняла их по-своему. Наклонившись к нам, она тихо сказала:

— Вторая дверь налево — женская... Третья — мужская.

Мы смутились, но объяснять ничего не стали.

...Никогда в жизни я так не спешил. Казалось, что я раздвоился: первое «Я» рвалось вперед, а второе «Я» никак не могло угнаться за первым.

В метро по эскалатору вниз мы катились горохом, несмотря на громкое предостережение радиотети: «Бежать по эскалатору запрещается!» А потом на «Арсенальной» — вверх, аж сердце из груди выскакивало.

И на двадцатом троллейбусе хотелось выпрыгнуть и опередить его: так он, казалось, медленно идет...

А по горе мимо церкви Рождества Богородицы бежали так, что пятки касались затылка.

Наконец... Вот оно... Вот это проклятое место!.. Все трое мы кинулись на колени и начали ползать на четвереньках. Колючая дереза царапала щеки, лезла в глаза, запутывалась в волосах... Часов не было... Вы можете смеяться, но я даже водил над землей ухом, надеясь услышать тиканье (так саперы водят миноискателем). Тиканья не было. Мне только показалось, что я слышу, как тяжело бьется подо мной гигантское сердце земли. Это глухо билось у меня в груди мое собственное сердце.

— Вот тут ты ему дал подножку...— бормотал, ползая, Ява.— Вот тут вы катились... Здесь ты сидел на нем... Вот тут тебя с него стащили...

Я вдруг сел на землю, почувствовав, как все тело мое стало бес-  
сильным и вялым.

— Ява,— тихо сказал я,— они вытащили их из кармана. Когда тя-  
нули меня за штаны... Точно... Я даже почувствовал тогда чью-  
то руку в кармане. Но я ничего такого тогда не подумал...

Ява и Валька тоже сели на землю. Мы сидели и молча перегляды-  
вались... Час от часу не легче! Если до сегодняшнего дня я был, как  
говорится, условным вором (так как часов все-таки не крал, хотел  
вернуть и, главное, мог вернуть), то теперь все было намного сложнее —  
я не мог вернуть часы. Вот ведь: крал не крал, а из-за меня часов  
не стало, и по всем законам я за них отвечаю! По всем законам я —  
вор!

— Идем к Будке! — вскочила с земли Валька.

Я безнадежно вздохнул и с горьким сожалением посмотрел на нее:  
и что она говорит? Ну мы пойдем, ну мы скажем: «Отдай!», а он только  
хмыкнет насмешливо: «Знать ничего не знаю!» Поди докажи, что они  
взяли! Она хочет, чтобы мой заклятый враг, с которым я сегодня так  
дрался и которого я, по совести сказать, победил, был ко мне добрым  
и отзывчивым. Вот чудная!

— Идем к Будке! — твердо повторила Валька.— Если не хотите,  
я одна пойду!

— Да чего одна...— буркнул Ява, поднимаясь и бросив взгляд в мою  
сторону: — Идем...

— А-а...— безнадежно махнул я рукой, но тоже поднялся (еще, чего  
доброе, подумают, что я боюсь!).

Мы шли по тропке гуськом: впереди Валька (она больше всех верила  
в успех дела), потом Ява (он старался верить — ради Вальки), а за ним  
уже я (который совсем не верил).

Мы шли в логово врага...

Я чувствовал себя разведчиком, которого забрасывают в немецко-  
фашистский тыл. Я не боялся, нет, просто не очень хотелось зря получать  
оплеухи.

— А где он сейчас? Ты знаешь? — спросил Ява у Вальки.

— Наверно, за сараями — там у них штаб... Или на площадке — в футбол играют... Или дома. Я знаю, где он живет, — уверенно сказала Валька.

В «штабе» за сараями ни одного «воина» не было... На площадке тоже.

— Пошли домой к нему! Скажем матери, что мы в милицию заявим, и вообще... За это и в колонию отправить могут! — с жаром сказала Валька.

— Вон он! — воскликнул вдруг Ява.

Из парадного, где жила Валька, вышел Будка. Мы кинулись к нему. А тот и не думал бежать. Мне даже показалось, что, когда он нас увидел, глаза его радостно вспыхнули.

— Где часы? — подскочила к нему Валька.

— Во-первых, где ваше «здрасте»? — с ехидной усмешечкой сказал Будка. — Какие вы невежливые, невоспитанные... Неужели вас мама не учила, как нужно себя вести?

— Ты нам зубы не заговаривай! Где часы? — выставив нижнюю челюсть, грозно сказал Ява.

— Ой, как страшно! Я начну заикаться! Не нужно меня пугать! — издевался Будка.

— Где часы?! — зло повторил Ява.

— Да о каких часах, простите, идет речь? — невинно захлопал глазами Будка.

— О тех самых, которые вы вытащили у него из кармана! — крикнула Валька, ткнув пальцем в мою сторону.

— Позолоченные? С черным циферблатом? Марки «Салют»?

— Да! Да! Да! — воскликнул я радостно.

— Не видал, — вздохнул Будка и сокрушенно покачал головой.

— Ах ты... гад! — крикнула Валька.

— Не кричите на меня... я нервный. На меня даже мама в детстве не кричала.

«Так я и знал! Ну что с него возьмешь?»

— Отдай часы, а то... — Я запнулся, так как сам не знал, что же теперь делать.

— Ах, вы хотите, чтобы вам их принесли на блюдечке с голубой каемкой? А ключ от квартиры вам не нужен? Где деньги лежат...



Он, должно быть, начитался «Золотого тельца» Ильфа и Петрова и корчил из себя Остапа Бендера.

— Ну ничего! — прошипела Валька. — Не хочешь по-хорошему, мы пойдем к твоей матери... В милицию пойдем... Всюду!.. Раз ты вор... крадешь... пусть тебя в колонию возьмут! Идем! — кивнула она нам.

— Ах какая ты быстрая! Вор... милиция... колония... Ха! Докажи, что мы у вас что-то брали! Докажи!

— Докажу!

— Ничего ты не докажешь... А вот если б вы не кидались на людей, я, может, вам и помог бы... Ведь может оказаться, что я кое-что знаю...

— Что? Что? Что ты знаешь? — спросили мы, запинаясь.

— Во-первых, я точно знаю, что взял не я. Потому что у меня руки... хе-хе-хе... были заняты... Скажешь, нет? — усмехнулся он, глядя на меня.

— Ну? — сказал я, краснея (я вспомнил, как он тюкал меня головой об землю, — руки, вишь, у него были заняты!).

— Но я знаю, кто взял. Один малый... Он не из наших. Случайно тогда был. Это, знаете, чувак правильный... срок уже имел... в тюрьме сидел... Так что...

Я не знал, что такое «чувак» и что такое «срок», но я понял: дела плохи; если Будка не брешет, часы попали в руки настоящего вора.

— Ну? — с нетерпением спросил я, ощущая в груди противный холодок.

— Что ты нукаешь? Это такой чувак, что твои часики передавали тебе привет! Но наши хлопцы уважают уголовный кодекс... Кусошников мы сами не любим. И раз уж это случилось на нашей территории, мы решили вмешаться... Но это дело не простое: чувак уже куда-то утащил твои бока (часы то есть)... И нужно серьезно поговорить... Короче, я вас даже искал... и вот только что был у нее. — Он кивнул на Вальку.

— Ну? (Что же я еще мог сказать?)

— Все наши сегодня будут на стадионе. Сегодня же матч с «Торпедо». Так вот, мы будем ждать вас за полчаса до начала на перекрестке Красноармейской и Жилианской, возле Музкомедии... Два лишних билета для вас есть. А сейчас я тороплюсь... Чао! — И он побежал к воротам.

Мы переглянулись. Все это было неожиданно и странно. Мы ожидали всего, чего угодно, но только не этого... Будка и его компания в роли благородных рыцарей, борцов за справедливость?! Все это было очень

похоже на обман. Но для чего им нас обманывать? Ведь в самом деле, доказать, что они взяли часы, мы не могли. И они имели полную возможность их присвоить. Теперь же мы можем свободно заявить в милицию, раз они сами сказали... Значит, Будка правда хочет нам помочь?

На срочном совещании, которое мы провели во дворе, было решено, что я и Ява идем на встречу с врагами к Музкомедии, а Валька бежит на студию и объясняет все Максиму Валерьяновичу, — ведь он даже не знает, куда мы подевались. После этого мы с Явой поехали домой — до матча оставалось еще много времени и можно было пообедать.

Дядя встретил нас веселым возгласом:

— Хлопцы, держитесь, сейчас я вам скажу одну вещь! — Он сиял. — Как вы думаете, куда мы сегодня идем? Не знаете? Так я вам скажу — на фут-бол! «Динамо» (Киев) — «Торпедо» (Москва). Важнейший матч сезона! Решается судьба первенства страны! Я вижу, вы растерялись... Еще бы! В своей Васюковке вы никогда такого в жизни не увидите... Или, может быть, вы недовольны? А? Может, не хотите идти на стадион? А?

— Это для тебя, болельщика, событие! А они нормальные люди, — подала голос из кухни тетя. — Верно я говорю?

— Нормальный человек не может не любить футбол! — отрезал дядя.

— Конечно, мы с удовольствием... Футбол! Ну да! А как же! — наконец проговорил я, опомнившись.

— Сектор «А»! Лучшие места! — сказал с гордостью дядя, вынимая из кармана билеты.

— Ого! — радостно сказал я.

...И до обеда, и во время обеда, и после обеда я ломал голову, как сделать, чтоб билеты на футбол у нас были, а дяди не было. Насколько билеты нам были нужны (чтоб не зависеть от врагов), настолько дядя был нам не нужен — он мог все только испортить.

Я долго крутился около дяди, как муха вокруг меда. Наконец решился:

— Дядя, вы, пожалуйста, дайте нам билеты, мы раньше пойдем...

— А почему не вместе? — удивился дядя.

— Да... нас ждут... — И я замялся, уставившись глазами в пол.

Дядя окинул нас лукавым взглядом, усмехнулся и подморгнул:

— Та-ак... Ясно. А не рано вы, хлопцы, начали... А?

Мы дипломатично промолчали.

— Что ж... прекрасно. Нате билеты... Только смотрите... там такое творится...

## Глава XI

### «ДИНАМО» (КИЕВ) — «ТОРПЕДО» (МОСКВА)

Троллейбус уже трогался. И только мы вскочили, как двери за нами хлопнули и он поехал. Людей было полным-полно. Мы стояли на нижней ступеньке, уткнувшись носами в чьи-то брезентовые брюки. Чтобы от-вернуть свои носы, мы притиснулись спинами к дверям. Но тут где-то вверху послышалось сказанное в микрофон: «Улица Ивана Кудри». Троллейбус остановился. Двери открылись, и мы уже думали, что сейчас выпадем. Ан нет! Снаружи так поднажали, что мы были подняты и втиснуты в глубь троллейбуса. Зажатые людьми, мы висели, не касаясь ногами пола. Ой-ой-ой!.. Ай-ай-ай!.. Лучше пешком ходить, чем так ездить!

Веселая кондукторша, примостившаяся где-то под потолком троллейбуса, все время выкрикивала:

— Кто забыл взять билетки? Я к вашим услугам! Я вот тут. Будьте добреньки, обратите на меня внимание. Молодой человек в берете, не отворачивайтесь! Я буду обижаться! А вы, мужчина, уступили бы старушке местечко... Кто еще забыл взять билетки? Будьте добреньки! Сегодня билеты стоят ох как дешево! Всего четыре копейки... Будьте добреньки!..

Мы старались не смотреть на кондукторшу. Нам совсем не хотелось ехать без билетов, но для этого нам нужно было взять деньги в зубы еще до посадки. А сейчас лезть за ними в карман и думать было нечего. Куда там! И рукой ворохнуть не сможешь. Так и ехали мы «зайцами» поневоле...

Несмотря на тесноту, настроение у людей было радостное. Они все время весело переговаривались с кондукторшей и между собой. По отдельным возгласам, таким, как: «Ух и накидаем мы сегодня торпедовцам!», «Смотри, чтоб нам не накидали», «А я вам говорю: Базилевич не меньше трех штук забьет!» — мы поняли, что большинство пассажиров ехало на футбол.

На предпоследней остановке у Октябрьской больницы нас вынесли

из троллейбуса, и мы очутились в бурном людском потоке, который тек мимо Дворца спорта к Центральному стадиону.

Неожиданно человек, который шел перед нами, метнулся в сторону к воротам, где толпилась какая-то группа людей. Толкая друг друга, они склонились над кем-то. Сперва показалось, что кого-то бьют. Но когда мы пробились туда, то увидели, что в центре стоит бабуся и торгует семечками. Она очень спешила, насыпала неполные стаканы и все время воровато оглядывалась. Потом вдруг подхватила свою кошелку и засеменила по улице. А все, кто был вокруг нее, как пчелиный рой, не распадаясь, перекатились за ней следом в другую подворотню. Мы переглянулись: что за диковина?! (Только потом уж дядя объяснил, в чем дело. Оказалось, что без семечек киевляне футбола себе не представляют, хотя в обычные дни семечек почти не лузгают. А в день футбольного матча за два часа болельщики вылузгивают целые вагоны подсолнухов. И очень засоряют стадион. Поэтому милиция не разрешает продавать семечки у стадиона. А торговки со всех киевских базаров собираются к стадиону нелегально и в подъездах и подворотнях торгуют своим недозволенным товаром. Они хорошо изучили календарь игр и не пропускают ни одной. А некоторые бабуся даже заделались болельщицами. Распродав семечки, они идут с порожними корзинами на стадион и там хриплыми, базарными голосами кричат на футболистов.)

Пробираясь к Музкомедии, мы не переставали удивляться, чего это люди устроили такую кучу малу так рано — еще целых сорок минут до начала. А все бегут и толкаются, как будто уже началось!

Мы думали, что нам придется ждать Будку и его братию. Мы немного перестарались и пришли на десять минут раньше. Но вдруг я услышал над самым ухом пронзительный свист и голос Будки:

— Они уже тут!

И в тот же миг нас окружила знакомая ватага хлопцев. Но теперь на их лицах не было угрозы, а только любопытство.

— Так, — озабоченно проговорил Будка, роясь в кармане. — Вот вам билеты... Нет, нет, денег не надо, мы угощаем. — И он предостерегающе выставил вперед руку, хотя мы совсем не собирались давать ему денег. Наверно, эти слова были заранее обдуманы и рассчитаны, как жест благородства.

— Спасибо,— с подчеркнутой вежливостью сказал я,— но билеты у нас есть,— и вытащил из кармана билеты.

В компании кто-то хихикнул. Будка съехался, но, видно, решил не сдаваться.

— А ну покажь! Может, какие-нибудь входные... Гм... Сектор «А»! Ну, тогда конечно... Нам еще лучше, мы их сейчас загоним в момент! — И он неожиданно громко крикнул: — Кому билеты?!

Миг — и Будка исчез из наших глаз: десятки жаждущих навалились на него. Это были те несчастные, с расстроенными лицами, которых мы встречали на каждом шагу на пути к стадиону. Все они жалобно спрашивали, как побирušки:

— Нет лишнего билетика?

— Нет лишнего?

— У кого лишний билет?

Те, кто имел билеты, гордо и независимо проходили мимо них, толкая и наступая им на ноги.

...Через полминуты мы наконец снова увидели Будку — он был такой встрепанный, как будто его били.

— Продавать билеты на футбол — все равно что под трамвай кидаться,— криво усмехаясь, сказал он и махнул рукой.— Идем на стадион! А то еще и на свои места не попадем.

— А когда же... о том деле поговорить? — спросил я.

— Потом, потом! После матча. Встретимся на этом месте...

Спорить было бесполезно.

Наверно, легче перейти границу какой-нибудь маленькой страны, чем без билета попасть на стадион в Киеве. Раз пять проверяли у нас билеты, пока мы добрались до нашего сектора «А»...

Когда мы сели, на поле футболисты уже стукали мячи. Но мы знали, что это еще не игра, а только разминка. Мячей было много, на каждого футболиста не меньше чем по одному, и бедные вратари суетились в воротах, как мыши, загнанные в угол, то и дело пропуская «штуки».

Пришел дядя (сразу стало тесно), хитро глянул на нас и хитро подмигнул. Мы для порядка опустили глаза — пусть думает что хочет.

Разминка кончилась, поле опустело. Прошло еще несколько минут, и на поле вышли трое: один в середине с мячом и двое по бокам с флажками — судьи.

Поставил главный судья мяч на середину поля, засвистел. Из-под центральной трибуны выбежали команды. Выстроились, поприветствовали друг друга. Потом из публики вдруг выбежали на поле какие-то люди с букетами цветов — вручать футболистам. А те побросали букеты фотокорреспондентам, которые сидели на скамейке (и зачем тогда было вручать?). Но вот судья еще раз свистнул — игра началась.

— У-у-у-у-у!

— А-а-а-а-а!

— Канева давай, Канева!..

— А-а-а-а!

— Серебро давай! Давай Серебро!..

— О-о-о-о-о!

— Базилю передай! Передай Базилю-у-у!

— У-у-у-у-у-у!

— Дай Бибе! Бибе дай!

— А-а-а-а-ай!

Огромное корыто стадиона бушует, как кипящий котел... И кажется, что пар вздымается ввысь и собирается там в тучки.

...Возле нас сидел не то профессор университета, не то артист цирка. С одной стороны, он был очень похож на профессора — интеллигентное лицо, очки, бородка, портфель под мышкой. А с другой стороны... ну абсолютный циркач! Все время подсакивал, блял, свистал, ржал, как жеребец. А когда киевляне забили гол, он подкинул свой портфель чуть не под облака, а потом поймал его одной рукой. Да так и не каждый циркач сможет! И не смолкал профессор-циркач ни на миг. Когда какой-нибудь футболист с мячом прорывался вперед, он подгонял его пронзительным:

— Пошел-пошел-пошел-пошел! — и верещал таким страшным голосом, каким даже «караул» кричать стыдно.

Верещал до тех пор, пока у футболиста не отбирали мяч. Тогда он с досадой махал рукой и кричал:

— Так и знал! Передавать надо! Базилевичу надо было передать!.. — И тут же переносил внимание на другого футболиста: — Ну ты смотри! Ну просто пасется!.. Бегать надо, бегать! Ты же футболист, а не корова!

Как будто бедному запыхавшемуся, задерганному футболисту и секунду передохнуть нельзя! Такой бессердечный болельщик!

Рядом с ним сидела женщина — наверно, его жена, — толстая, в самодельной шляпе из газеты. Она переживала молча, но так тяжело и шумно дышала, что свежего воздуха над стадионом, казалось, становится все меньше и меньше. Профессор-циркач то и дело успокаивал ее:

— Рыбонька, не волнуйся! Не волнуйся, рыбонька! Все будет хорошо. Наши выиграют.

Ява подмигнул мне и тихонько сказал:

— Если б эту «рыбоньку» в воду бросить, вот бы звук был, вот плеску было бы!

Я представил себе это и улыбнулся:

— Да-а...

Но и профессор-циркач и «рыбонька» недолго привлекали наше внимание. На поле было так интересно, что мы забыли про все на свете. Мы уже не были Павлушей и Явой, у которых свои характеры, вкусы, интересы. Мы были какой-то маленькой частицей огромного существа, которое называлось «стадион» и которое трясло как в лихорадке.

И когда судья несправедливо, как счел стадион, не присудил одиннадцатиметровый в ворота торпедовцев (а «рука» точно была!), мы вместе со всеми завyli, загорlанили, надрывая животы:

— Судью на мыло! Судью на мыло!..

Ну прямо как живодеры... И не существовало в ту минуту на свете ничего, кроме одиннадцатиметрового удара.

Великая вещь — футбол! По-моему, он мог бы даже быть лечебным средством. Например, для лечения нервнобольных. Да и от всяких неприятностей и плохого настроения футбол очень помогает. Во всяком случае, я на время матча про все свои неприятности забыл. И вспомнил только тогда, когда матч закончился. Нужно было снова отделаться от дяди.

— Ну, дядя, вы идите домой, а у нас тут еще дела... — сказал я, как будто мы были взрослые, а он ребенок.

— Ой, смотрите мне с этими делами! — сказал дядя. — Рано вы начали жениться. Глядите, чтоб бабки ваших Дульциней уши вам не нарвали.

Но из-за того, что киевляне выиграли у торпедовцев (3:2), дядя был в чудном настроении и отпустил нас.

На этот раз нам пришлось ждать. Минут десять, а то и больше. Причем это было совсем не так легко, как вы думаете, потому что мы не просто ждали, а... боролись. Все время боролись с неудержимым людским потоком, который старался смыть нас и выплеснуть куда-нибудь на Бессарабку или даже на площадь Калинина. И это требовало страшных усилий. Наконец показались ребята.

— Идем! — скомандовал Будка.

И мы, с облегчением вздохнув, поплыли по течению.

— Ну? — нетерпеливо спросил я, подруливая к Будке.

— Потом! Тут не место...

Вот уж тянет резину!

Мы выплыли на Бессарабку и нырнули в какой-то проходной двор, который вел на Печерск. И тут, в темной подворотне, Будка остановился.

— Значит, так, — сказал он тихим, конспиративным голосом, озираясь по сторонам. — У нас был разговор с этим чуваком. Мы едва уговорили его. Вот хлопцы скажут...

— Да, ага, ага! — вразнобой, но твердо поддакнули хлопцы.

— Он согласился отдать часы, — продолжал Будка. — Но... только ночью. Причем сегодня. Завтра будет поздно. Потому что утром он чешет из Киева — его ищет милиция...

— Ну? — У меня сжалось сердце.

— Железо! Часы у него в тайнике... в пещере... возле Лавры. Днем туда нельзя — прогонят... Так вот, договорились встретиться в полночь у церкви Рождества Богородицы, а точнее, возле могилы Кайсарова. Знаете?

Мы с Явой переглянулись. Одурачить, что ли, хотят? Неужели одурачить? Но зачем?! А хоть бы просто так... Что же делать? А что тут сделаешь!

— Бойтесь? — презрительно сощурился Будка. — Ну, если бойтесь, как хотите. Часы ваши, а не наши... Одни мы, конечно, не пойдем, нам-то что...

— Ладно, — сказал я. — Мы придем.

Если б это были мои собственные часы, я бы еще подумал, идти или нет. Но вы же сами знаете, что это за часы!

— До встречи, — весело сказал Будка. — Только не проспите!



## Глава XII

### КАЗАЦКОМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ. КОШЕВОЙ КАРАФОЛЬКА. ПИСЬМО ЗАПОРОЖЦЕВ. НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ (ВОСПОМИНАНИЯ)

Вечер. Одиннадцатый час. Мы лежим на широченной, как Крещатик, тахте у открытой двери балкона.

Лежим тихо, не шевелясь — делаем вид, что спим. Дожидаемся, когда заснут дядя и тетя, чтоб можно было потихоньку улизнуть.

Нет, должно быть, более тягостного ожидания, чем вот такое, когда лежишь без сна, неподвижно и ждешь. Да еще ждешь, не зная, что тебя ждет. Когда тебе нужно в полночь идти куда-то в жуткую темень к могилам...

В голову надоедливо лезут всякие страхи и воспоминания.

Воспоминания! Я, конечно, не Вольф Мессинг, я не могу читать чужие мысли на расстоянии, но, даже не глядя на Яву, который лежит рядом со мной, я готов поклясться, что он вспоминает сейчас то же самое, что и я... Уверен на все сто процентов! Он просто не может сейчас вспоминать что-нибудь другое... То было тоже ночью, и тоже среди могил... И точно так же пересыхало в горле, и сжималось сердце, и немели ноги.

...Это было в прошлом году, в сентябре, как раз после «робинзонской» истории. Неожиданно к нам в село приехали археологи. Целая экспедиция из нескольких человек. Вернее, не совсем неожиданно... Двоих из этой экспедиции мы хорошо знали. Это были охотники из Киева, которые каждый год приезжали к нам на охоту да на рыбалку, им-то мы и ловили кузнечиков. С ними мы всегда держались немножко свысока и насмешливо, как со всеми городскими, кто так неприспособленно чувствует себя на селе. Мы посмеивались, когда они с трудом поднимались на заре на охоту, когда опрокидывались на наших лодках в плавнях, когда неумело, раня до крови руки, они чистили рыбу. И мы не могли себе представить, что они так много интересного знают.

Вот ведь как бывает... Ездили они к нам на охоту и не думали ни о каких раскопках, ни о какой своей археологии, просто отдыхали,

и все. Но вот как-то вечером, сидя у костра за кулешом, разговорились с нашими охотниками — дедом Варавой и дедом Саливоном — об археологии. И сразу забыли и про кулеш, и про охоту, и про все на свете... На следующий же день поехали в Киев (хоть оба были в отпуске и собирались охотиться целый месяц). И вот нагрянули к нам с экспедицией...

Оказалось, что край наш исторический и село тоже самое что ни на есть историческое и ужасно древнее. Что оно древнее, мы и так знали, но что историческое, как-то не задумывались. А оказывается, Васюковка наша лежала не только на знаменитом пути «из варяг в греки», за который мы получали двойки в школе, но еще и находилась на самом перекрестке походов славных запорожцев.

И под старым дубом, под тем самым, что за околицей Васюковки, останавливались передохнуть в холодке и Владимир Мономах, и царица Ольга, и Богдан Хмельницкий...

Разинув рты, слушали мы рассказы археологов про Запорожскую Сечь, про легендарного вожака казацкого Ивана Сирко, которого пятнадцать раз выбирали кошевым атаманом, чего не заслужил никто в истории Запорожской Сечи, и которого враги боялись «больше огня, больше бури, больше светопредставления»; о последнем кошем Запорожской Сечи Петре Калнишевском, которого царица Екатерина II сослала в Соловецкий монастырь, где он просидел в сырой, холодной яме целых двадцать пять лет, но не покорился, не отрекся от казачества и, несмотря на нечеловеческие муки, прожил на свете сто двенадцать лет — такой был богатырь.

Мы ловили каждое слово... Вот это да! Вот какие были наши предки!

В тот же день экспедиция начала раскапывать казацкий курган в степи, километра за два от села. И конечно же, мы, мальчишки, до темноты пропадали там, на раскопках. И когда археологи откопали казацкое оружие (саблю, пистолеты), да еще и граненую бутылку изпод оковитой<sup>1</sup> (хоть и пустую), да еще деревянную люльку, на которой жемчугом было выложено изречение: «Казацкая люлька — добрая думка...» — мы чуть не попадали в яму. Это было незабываемое зрелище! Археологи сперва осторожно копали заступами, потом разгребали землю

---

<sup>1</sup> Оковитая — водка.

руками, а затем, нащупав что-нибудь, уж совсем не дыша, расчищали специальными щеточками... Мы смотрели как зачарованные. Из земли появлялись вещи, которые пролежали в ней больше трехсот лет.

Археологи сказали, что в кургане был похоронен какой-то славный запорожец из войска Ивана Сирко, так как именно тут разбивал свой лагерь Сирко, когда возвращался из Крыма, разгромив крымского хана у Сиваша. И, видно, как раз тут умер от ран один из его товарищей. Тут его и похоронили. А по обычаям запорожским клали в могилу казака оружие его, люльку и обязательно бутылку горилки, чтоб и на том свете было ему весело.

Мы долго разглядывали эти вещи, особенно пистолеты и саблю, ножны которой были отделаны серебром, а рукоятка из слоновой кости.

Ява вздохнул и прошептал мне на ухо:

— Вот если б знать... Мы бы сами могли откопать!

Кроме кургана, экспедиция вела еще раскопки у дуба. Правда, выкопали только один ржавый кухоль<sup>1</sup> с крышкой, но сказали, что это кухоль чуть ли не самого Ивана Сирко.

Потом археологи ходили по селу, подолгу разговаривали с самыми старыми нашими дедами и бабками — интересовались легендами, преданиями, а также потомками казаков-запорожцев. Особенно долгой была беседа со стосемилетней бабушкой Триндичкой.

— Скажите, бабуся, будьте добреньки, кем были ваши отец и дед? — ласково спрашивал ее низкорослый толстяк археолог Сидоренко (тот самый, что однажды утопил в плавнях ружье).

— Ага... были, сынку, были... — радостно кивала Триндичка.

— Кем же они, бабуся, были?

— Ага, — кивала Триндичка.

— Или, может, просто мужичками, гречкосеями?

— Ага, — кивала Триндичка.

— Гречкосеями? — разочарованно переспрашивал Сидоренко.

— Сеяли гречку, сеяли... — радостно кивала Триндичка. — И просо, и овес... А под окошком хаты мак...

Так ничего от бабки и не добились.

Очень интересовалась экспедиция также самыми старыми на селе

---

<sup>1</sup> К у х о л ь — кружка.

хатами — теми, что под соломенной крышей, что в самую землю вросли и мохом взялись. Их было уже немного, и археологи каждую из них облазили сверху донизу, во все закоулки заглянули. И тут случилась неприятность, для нас неожиданная. Осматривая хату, где живет Карафолька, Сидоренко вдруг поднял такой радостный гвалт, будто нашел золото. На потолочной балке, под слоем побелки, он обнаружил надпись: «Сию хату поставил в 1748 году 10 апреля казак Титаровского куреня Гаврила Карафолька».

— Смотрите, смотрите! — восторженно кричал Сидоренко. — Это же история! Это ж архитектурный памятник... Берегите, люди добрые, берегите эту хату... С сегодняшнего дня мы берем ее на учет... Это ж такая редкость...

Вся семья Карафольки была приятно удивлена — они сами не знали, в какой знаменитой хате живут. В тот же день выяснилось, что и дед Саливон — праправнук запорожского сотника, и председатель колхоза Иван Иванович Шапка — потомок запорожцев, и учительница Галина Сидоровна казацкого роду.

У нас всегда уважали стариков, но такого успеха они не имели никогда. Целыми днями старики не закрывали рта — вспоминали. Дедов и прадедов, бабушек и прабабушек... И если послушать, так все эти бабуси, как правило, были необыкновенные красавицы, а деды такие силачи, что ой-ой-ой (один быка когда-то поборол, другой подводу с картошкой поднял, третий дуб из земли выворотил). Плюгавых, квелых, кривых, горбатых предков не было ни у кого. Разница только в том, что одни красавцы и силачи были казацкого роду, другие — мужицкого. И тут ничего не поделаешь. Предков не выбирают и не заказывают. Кузьма Барило был казацкого роду, Вася Дергач — казацкого, Гребенючка — казацкого. А мы... Особенно мы не могли пережить, что Степа Карафолька, староста класса, отличник и вообще положительный тип, которого нам ежедневно ставили в пример и которого мы из-за этого терпеть не могли, — Степа Карафолька, в ком не было ни на грош ничего казацкого, был прямой и непосредственный потомок славного запорожца. А мы... У меня еще хоть был где-то далеко по материнской линии какой-то казак-бродяга, а у Явы — никогошеньки, одни только... гречкосеи!

— Диду, неужели у нас в роду так и не было ни одного запорожца? — с надеждой допытывался Ява у своего деда Варавы.

— Не... что-то не припомню.

— Ну вот! — сердито отворачивался Ява (как будто дед был виноват).

— Дурень ты, — спокойно говорил дед. — Да что там твои казаки без гречкосеев стояли бы... Кто б их кормил? С голоду поумирали б... А когда земля наша бывала в беде, то не только казаки, но и гречкосеи шли ее защищать. Брали косы, брали вилы и не хуже казаков били врага.

Но на Яву дедова агитация не действовала. Бормоча: «Да-а... не могли уж на бабушке из казацкого рода жениться...» — хмурый Ява уходил прочь.

— И все им новую, новую нужно! Не могли еще немного в старой хате пожить, — сквозь зубы цедил Ява, с ненавистью глядя на новехонький дом свой под железной крышей. — Может, и у нас на потолке что-нибудь было написано... Дед же старый: много знает, а еще больше забыл...

Ява не мог примириться. Ява страдал. Тем более, что Карафолька ходил задравши нос и только плевал сквозь зубы в нашу сторону (словами задеть боялся, потому как знал, что мы, несмотря на предка, показали бы ему где раки зимуют).

И все же его задранный нос и цирканье сквозь зубы еще можно было бы пережить. Но он допек нас другим. Он устроил на выгоне «Запорожскую Сечь»... Войско было набрано только из «потомков». И кошевым единогласно выбрали Карафольку.

В вышитой сорочке, в широченных красных шароварах, в которых его брат танцевал когда-то в самодеятельности, нахлобучив дедовскую папаху, которая валялась до того в курятнике и была такой старой, что даже куры неслись в ней без особого удовольствия, гарцевал Карафолька перед своим войском. Водил его в походы, устраивал гульбища и казацкие удалые забавы.

Мы сидели в кустах и слушали, как раздавался над выгоном лихой запорожский напев:

Ой паян иль пропал — двум смертям не бывать,

Гей вы, хлопцы, на коней! В жарком деле побывать, славу добывать!

Мы скрежетали зубами. Мы никогда не чувствовали себя такими одинокими, оскорбленными и несчастными. Мы, как раз мы-то, по своей удали и должны были быть кошевыми атаманами... Мы, а не примерный Карафолька. Эх, залимонить бы ему сейчас в нос его задранный!..

И что бы такое ему подстроить, чем бы подковырнуть?

— Слушай, Ява,— пронзило меня вдруг.— Ты помнишь «Письмо запорожцев турецкому султану»?

— А? Ну и что?

— Напишем им такое же письмо.

— Как? Они же сами запорожцы.

— Какие они к черту запорожцы! Разве они настоящие? Как бы не так! Самозванцы. Подумаешь, предки!.. Так и напишем: предки ваши молодцы, а вы черт те кто... Само письмо запорожцев у меня дома есть, в книжке «Украина смеется». Переделаем, и будет — во!

— Идем!

Мы взяли у меня книжку и пошли к Яве. У него над столом как раз висела картина Репина «Запорожцы». Усевшись под картиной и глядя на то, как весело запорожцы писали письмо султану, мы начали свое. Это была каторжная работа.

И вот наконец после долгих мук родилось на свет «Письмо настоящих запорожцев самозванцу лжекошевому, плюгавому отличнику Карафольке и его задрипанному войску»:

*Ты — шайтан дурацкий, проклятого черта брат и товарищ и самого Люцифера секретарь! Какой ты к черту рыцарь? Какой ты запорожец, да еще и кошевой? Слюнявый ты шепелявый! Дырка от бублика! Репей с хвоста собачьего! Латка на дранных штанах, шматок отличника недогрызенный! Твоего шелудивого войска мы не боимся, землю и водою будем биться с тобою! Не казаком тебе называться, а в куклы с бесштанками играть! Не стоишь ты доброго слова, пусть съест тебя рыжая корова! И в голове у тебя не мозги, а мякина, пугало ты огородное! Вот как мы тебе выдаем, плюгавый! И за это поцелуй нас в грязные, потрескавшиеся пятки, ведь братья твои — поросятки!*

Мы написали все это большими буквами на полуметровом куске обоев, что остались после строительства новой хаты. К обоям на толстой веревке вместо печати прицепили сухую коровью лепеху. Вышло, на наш взгляд, очень здорово.

Выделявая губами: «Трум-тум-ту-ру-рум-тум-тум-тум!» — отправились на выгон и торжественно вручили Карафольке «пергамент».

Мы были уверены, что после нашего письма авторитет Карафольки падет и загрохнет, как пустое ведро.

Но в тот же день мы получили очень сдержанное и вежливое письмо-ответ:

*Дорогие друзья! Вы ругаетесь очень забористо, но это только потому, что вы не казацкого роду и вам обидно. Мы прекрасно это понимаем. Мы с удовольствием прочитали ваше письмо и даже согласны принять вас в свое запорожское войско писарями, хоть у вас и двойки по языку.*

*Между прочим, «недогрызенный» пишется с двумя «н», а «драный», наоборот, с одним (см. правило в учебнике грамматики, стр. 24, § 23).*

*С приветом.*

*По поручению славного войска запорожского кошевой*

*Степа Карафолька.*

Это было хуже, чем если бы он каждого из нас при всех положил на лопатки.

Мы не смотрели друг другу в глаза. Такого тяжелого поражения мы еще не переживали. Никогда мы еще не выглядели так жалко перед товариществом васюковских хлопцев. Нужно было что-то делать. Ведь еще немного — и даже сопливые первьяки будут вытирать руки об наши головы.

— Вот если б нам настоящую казацкую саблю... — вздохнул я, — или пистолет, как те, что археологи выкопали... Полетел бы Карафолька из кошевых тут же!

— Точно! — встрепенулся Ява. — Саблю... или пистолет! Вот было бы... Сила! С настоящим казацким оружием кого хочешь кошевым выберут...

— Где ж его взять? — безнадежно спросил я.

— Выкопать! — сощурился вдруг Ява.

— Где? Так оно тебе и лежит под землей... Один казацкий курган возле села был, да и тот уже — фить!

— А на кладбище?

— Ты что?! Бррр...

— Голова! Разве я говорю — свежие могилы раскапывать? Тоже мне! Знаешь старые могилы с краю, у дороги? Без крестов, едва заметные в траве. Сколько им лет? Двести, а то и больше... Мне еще дед Саливон как-то говорил, что там его прадед похоронен... А он кто такой был? Казак, запорожец. А как запорожцев хоронили? С оружием. Вот и усекай...

— Так-то оно так... А все-таки кладбище... Мертвецы...

— Да какие там мертвецы?! Череп, несколько косточек — вот и все. Ты ж видел, когда археологи копали. Что там может быть, если он двести лет в земле пролежал... Посмотришь, что от тебя останется через двести лет...

— Все-таки... Даже череп... Как-то оно...

— Да мы этот череп и трогать не будем, — раздраженно прервал меня Ява. — Саблю и пистолет аккуратненько выкопаем и снова зароем могилу. Никто и не заметит.

— Да, может, хоть деда Саливона спросить?

— А разве это его собственность? Это ж не картошку на его огороде копать... Да и как ты спросишь: «Разрешите вашего прадеда выкопать?» Так, что ли?

— А когда ж копать? Днем?

— Ну, днем, если увидят, сразу по шеям надают.

— А когда ж?

— Ночью.

— Да?

— Ты что, боишься?

— Да нет, но...

— А ты что, хочешь и настоящее казацкое оружие иметь, и чтоб все было, как в магазине? Больно хитрый!

— Ну ладно, — вздохнул я. — Попробуем.

...Вы бывали когда-нибудь ночью на кладбище? Если не бывали, то и не ходите. Страшно... Так страшно, что сердце останавливается.

Это я теперь говорю, а тогда... Разве я мог показать Яве, что я боюсь, когда он, чертяка конопатый, вел себя так, будто не на кладбище ночью идет, а в клуб на кинокомедию.

— Это трусы, заячи души выдумали, что на кладбище ночью страшно, — весело сказал он. — А на самом деле, чего бояться? Живых нужно бояться, а не мертвых. Мертвые тебе уж ничего не сделают. Помнишь, Том Сойер и Гек Финн тоже ходили ночью на кладбище... И ничего.

— Ну уж... ничего... — криво усмехнулся я. — Только у них на глазах индеец Джо убил доктора...

— Ну и что? Подумаешь. Ведь не их же... — Ява, видно, забыл про индейца. — Скажи лучше, что ты просто боишься.



— Чего это мне бояться? — проговорил я, едва сдерживая дрожь в голосе. И зачем я вспомнил про индейца, про убийство?

...Мы прошли мимо крайней хаты и направились к кладбищу. На фоне туманного неба вырисовывались кресты. Луна проглядывала сквозь тучи, с трудом освещая дорогу. Позади в темной тишине спало село, даже собак не было слышно. За кладбищем, слева, чернел лесок, а справа голая степь тянулась до самого горизонта. И нигде ни души. Казалось, что в мире только мы и это кладбище. Пригнувшись, мы стали пробираться через кладбище, стараясь не глазеть по сторонам и не присматриваться к могилам. У каждого в руках лопата. Кроме того, у меня была еще сапожная щетка (вместо специальной археологической — где ж нам было взять ее?), а у Явы фонарик, тот самый, механический с динамкой, что я ему когда-то подарил.

Тихо перешептывалась под ветром в вышине листва деревьев. Где-то поскрипывала сухая ветка, будто кто-то ходил во тьме по кладбищу и скрипел деревянной ногой.

Вспомнил я вдруг, как хоронили недавно, летом, старенькую прабабушку Пети Пашко. У нас на селе умирали не часто, и, конечно, все мы были на похоронах. Я хорошо запомнил ее лицо, морщинистое и будто с усмешкой.

И представилось мне, как лежит она сейчас вот тут, совсем рядом, под землей в гробу. Открывает глаза, шевелится, хочет подняться. Я где-то читал, что иногда ошибочно хоронят тех, кто в летаргическом сне, а в могиле «мертвецы» просыпаются и... Волосы зашевелились у меня на голове, встали дыбом, перехватило дыхание... И тут — вжик, вжик! — словно заскрипели кости.

Это Ява фонариком.

— Вот тут... — шепчет, освещая едва заметный в высокой траве холмик могилы.

— Н-не... н-не вж-жикай... л-лучше уж в темноте копать...

Ява и сам понял, что этот фонарик не для кладбища, — больше не вжикал. Несколько секунд мы молча стояли, прислушиваясь. Потом взялись за лопаты. Одновременно воткнули их в землю, нажали ногой.

И вдруг... Мы так и застыли... Из-за могилы из темноты на нас смотрели большие зеленые глаза. Над ними торчали... Рожки! А потом (даже теперь я не могу спокойно это вспоминать) оттуда донесся

нечеловеческий, душераздирающий крик... Такого крика я не слышал никогда в жизни.

В следующее мгновение...

— А-а-а!

Я не припомню, кто из нас первый закричал, но то, что кричали мы оба, это уж точно.

Мы не бежали, мы летели, почти не касаясь ногами земли... Такой скорости, должно быть, не знала наша Васюковка за всю свою многовековую историю. Мы влетели во двор к Яве (он был ближе) и, заперев калитку, подперли ее поленом.

Можете смеяться, но той ночью мы спали в собачьей будке. Спали, прижавшись с обеих сторон к здоровенной овчарке Рябке. Это была такая злющая псина, что могла самого черта загрызть. И как ни убеждали мы себя утром, что мы олухи, что это был самый обыкновенный кот, что как раз коты иногда и кричат так истошно, о новом ночном походе не могло быть и речи. Мы тайком позабирали с кладбища свои лопаты и никому ни слова не сказали о нашем приключении.

Скоро начались дожди, потом зима, и «Запорожская Сечь» на выгоне распалась сама собой. Мы с Явой смастерили из старого трехколесного велосипеда ледовый самокат, и утраченный авторитет вернулся к нам снова.

Но после той ночи я сказал себе: «Павлуша, ты никогда больше не пойдешь ночью на кладбище. Ты должен стать летчиком, и тебе совсем ни к чему, чтоб ты начал дергаться и заикаться от страха. Пусть враги твои туда ходят. Пусть они дергаются и заикаются».

А видите, не прошло и года, как я снова собираюсь ночью на кладбище.

И хотя, как всегда, только при одном воспоминании о той ночи у меня уже полно за пазухой мокрого, скользкого, холодного страха, я говорю себе: «Нужно идти, Павлуша. Если б это нужно было тебе самому, ты бы ни за что не пошел. Но тут дело, ты знаешь, сложное. И ты пойдешь. Потому что должен вернуть часы хозяину любой ценой».

Я слышу, как рядом со мной вздыхает Ява. Я знаю — он думает о том же самом.

Мы лежим и ждем, пока заснут дядя с тетей. И хоть двери в их комнату закрыты, мы точно знаем, что они еще не спят. Потому что тихо. А когда они заснут, мы сразу услышим. Да и не только мы: в соседнем

доме услышат, ведь окна открыты. Вы не думайте, я очень уважаю дядю и тетю. Они хорошие, добрые и сердечные люди. Дядя передовик производства (на доске Почета висит) и, кроме того, мастер спорта. А тетя такие коржики печет — умереть можно от удовольствия! Но что поделаешь, если они... Ш-ш! Стойте! Начинается! Вот послушайте!

— Хррр-у-у-у... Аур-ур-уррр... Хррррау... Ав-ав-ав... Сь-сь-сью-у-у... Хррря-а-а... Хр-хр-хр-пфу-у-у...

Заснули!

Казалось, будто мы попали в пасть к ревущему льву или тигру. Вот уж храпят дядя с тетей, ну и храпят! Если бы кто устроил соревнования в этом деле, они наверняка бы стали чемпионами мира!

Мы встаем и одеваемся. Теперь хоть из пушки пали — они не услышат...

## Глава XIII

### НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ВЫСТРЕЛ В ПЕЩЕРЕ

Мы выходим на балкон. Достаем из-под ящика еще днем спрятанную веревку, привязываем к перилам. Только не думайте, что это мы для какой-то романтики. Боже сохрани! Просто мы вынуждены спуститься с балкона по веревке, потому что в двери выйти невозможно — некому за нами запереть.

Да и тетка на ночь ключ к себе в комнату забирает.

Второй этаж — совсем не высоко. А лазим мы, как обезьяны. Еще и узлов на веревке понавязали, чтоб легче было.

Везде темно, лишь на пятом этаже светятся два окна, как будто глаза самого дома. Там мелькают фигуры и слышится музыка — наверно, справляют новоселье (прошла только неделя, как дядя с тетей переехали в этот новый дом у Печерского моста). И оттого, что где-то рядом люди не спят, а веселятся, ночное наше путешествие кажется мне уже не таким страшным и необычным.

Придает мне духу еще и то, что в кармане я крепко сжимаю пистолет — стартовый пистолет дяди. После долгих раздумий и колебаний мы решили его все-таки взять на всякий случай. Но раз уж мы твердо решили быть всегда честными, то написали дяде письмо и положили его вместо пистолета. Вот это письмо:

*Дорогой дядя Гриша! Простите и не сердитесь, что мы взяли ваш стартовый. Он нам до зарезу нужен! Мы идем на серьезную операцию. Может, и не вернемся. Тогда ищите наши тела в подземельях Лавры. Иначе мы не могли. Дело идет о нашей чести. Мы обязательно должны вернуть одному человеку его вещь. Мы не хотим, чтоб нас считали ворами.*

*На всякий случай прощайте.*

*Павлуша. Ява.*

*А костюм мой новый перешлите тогда маме.*

*Ява.*

*А мой велосипед пусть отдадут двоюродному брату Володе.*

*Павлуша.*

Что ни говорите, а ночью в Лавру, к могилам, где всякие мертвецы, страшно идти. И так не хочется отдаляться от этих окон освещенных, от музыки их веселой. Но нужно спешить!

Мы сели в какой-то пустой трамвай, который со скоростью, по моему, вдвое большей, чем днем, помчал по улицам, все время тренькая на ходу, как будто со страху. Сошли мы на площади Славы — там, где вечный огонь и могила Неизвестного солдата. И пешком направились к Лавре. Пересекли знакомый Валькин двор. (Знала бы она, что мы сейчас тут! Храпит себе, десятый сон видит!)

Прошли за флигель и тропкой, что вилась среди цепкой колючей дерезы, начали спускаться к церкви Рождества Богородицы. В груди стучало все сильнее и сильнее. И что это за свойство такое у темноты — каждый кустик населять ужасными, странными существами, которые шевелятся там, готовые вот-вот кинуться на вас. Даже места, днем веселые и светлые, кажутся ночью страшными и зловещими. А что уж говорить о кладбищах, церквях, подземельях, куда и днем-то не очень весело заходить.

Внезапно, словно извещая кого-то о нашем приходе, покотился с неба звон. Раз... Другой... Третий... Мы остановились, вглядываясь в зловещую темноту. Было такое чувство, что колокол забивает нам в сердце какие-то ледяные гвозди. Бомм!.. Бомм!.. Бомм!..

— Ча... часы на Лавре... двенадцать бьют! — прошептал Ява.

Мы пошли дальше. Мы не сговаривались, но оба старались ступать как можно тише, почти беззвучно — будто хотели, чтобы не услышал тот,

кто подстерегал нас за каждым кустом. По спине и затылку бежали мурашки, словно чьи-то руки тянулись к нам из темноты и щекотали сзади. Я старался не оглядываться, чтобы вдруг не увидеть зеленые глаза.

Когда мы были уже у самых ворот, в кустах что-то зашуршало, там кто-то метнулся и вскрикнул. Мы присели, затаились, втянули головы в плечи. И я так стиснул пистолет, что он чуть не выстрелил. Хорошо, что спусковой механизм у этого стартового рассчитан на спортсменов и очень тугой, а то я наверняка бабахнул бы с перепугу у себя в кармане. Пропали бы тогда мои новые шевиотовые брюки.

Прошла минута. Никто не нападал. «Это, наверно, кто-то из Будкиных друзей», — решили мы, подняли головы и расправили плечи.

«Нельзя, чтоб они решили, что мы боимся, — подумал я, — нужно идти, печатая шаг, и смеяться...» Но мои ноги не слушались, и на плоских камнях сводчатого подворья «Звонницы на Дальних пещерах» пошли опять по-кошачьи — тихо и беззвучно. А смех так глубоко застрял у меня внутри, что даже сам я его не услышал. Зато я услышал другое. Из-за надгробия на могиле генерала Кайсарова вдруг донесся приглушенный голос:

— Да перестань... Раз уж так, заведем — и все... Никто уже не придет... Просто не смогли выйти из дому. Точно...

Голос был знакомый, но не Будкин.

— Ошибаетесь! Мы пришли! — неожиданно громко сказал Ява.

Я даже вздрогнул.

— Га! — будто испуганно гакнули за надгробием. И на фоне неба над каменной глыбой появились три головы.

— А... это вы, — послышался голос Будки, в котором звучало, как мне показалось, не то разочарование, не то недовольство — будто он ждал кого-то другого.

Они вышли из-за памятника. Будка, за ним небольшой хлопчик, которого мы заметили еще во время драки, и высокий, худощавый малый в черной маске — должно быть, «чувак».

Я невольно вздрогнул: что ни говорите, а черная маска ночью, да еще в таком месте, производит нехорошее впечатление. «Да, приходится вздрагивать чуть не каждую минуту. Если дальше так пойдет, то я буду непрерывно дергаться и дрожать, как в лихорадке. Нужно взять себя

в руки»,— подумал я. Но брать себя в руки было не так-то просто — не давался я себе в руки!

— Фонарики у вас есть? — спросил Будка.

— Нету.

— Это плохо.

Конечно, плохо, мы и сами знали. Но что поделаешь!.. Как назло, тот «динамический», что я когда-то подарил Яве, сломался, а «батареечного» мы как-то по глупости не достали и у дяди дома не было (вот если бы знать, что у нас будут такие ночные приключения!). На всякий случай взяли мы коробку спичек. Да разве сравнишь спички с фонариком!

— Ну ничего, у нас есть, как-нибудь обойдемся.

Мне показалось, что Будка был даже рад тому, что у нас нет фонариков.

— Идем! — не давая нам опомниться, сказал Будка.

Мы вышли со двора Лавры за крепостную стену. От самого подножия стены сбегала вниз деревянная узенькая лесенка с перильцами.

Над лесенкой нависли ветви деревьев, темно было, хоть глаз выколи, и казалось, что мы спускаемся в самую преисподнюю.

Откровенно признаться, мне было страшно и очень хотелось как-то дать понять этим крокодилам, что у меня есть пистолет, и если они что-нибудь, то я... Но как это сделать, я не знал.

Будка и «чувак» освещали дорогу карманными фонариками, но от этих двух дрожащих пятен света, что прыгали по ступенькам, было, по-моему, еще страшнее. Спустившись вниз, мы почему-то снова начали подниматься вверх (и опять-таки вдоль стены Лавры). Поднявшись немного, свернули направо и пошли по асфальтированной дорожке, которая извивалась между ветвистых деревьев. Шли молча. Наконец я отважился и шепотом спросил у Будки, который шел рядом со мной:

— А почему этот... в маске?

— Для конспирации,— таинственно прошептал Будка.— Я же вам говорил — его милиция ищет...

«Ха,— подумал я,— по-моему, в наши дни черная маска не только не маскирует, а наоборот. Если ты идешь, как все, то еще можно как-нибудь проскользнуть, чтобы тебя милиционер не заметил, а если ты в черной маске, милиционер тебя тут же — цап! — и в отделение».

И вдруг меня стукнуло, что теперь-то самое время сказать.

— Ничего,— говорю,— милиция нам до лампочки! У нас кое-что есть! Вот посвети.

Будка направил свет фонарика на мой карман, и я наполовину высунул стартовый пистолет.

— Что?!

— Да ведь мой дядя... (Тут я чуть было не сделал промашку, чуть было не сказал «в милиции работает», но вовремя спохватился — только ведь было «милиция до лампочки».) Ведь мой дядя пограничник,— говорю.— Так вот мы и прихватили у него на время «Макарова»... Как раз на случай милиции...

— А... а это... это здорово... это хорошо... — промямлил Будка. Такого он никак не ожидал.

Ява пристально посмотрел на меня — он стоял совсем близко, и при свете фонарика я хорошо видел его взгляд. Он означал: «А как же наш уговор насчет вранья и щелчков?» Я в ответ кивнул: «Не бойся, мол, все правильно; если врагу говорят неправду, то это никакая не брехня, а тактика...»

«Чувак» и второй малый шли впереди, нашего разговора не расслышали и ничего не поняли. И когда мы двинулись дальше, Будка как бы ненароком оторвался от нас и приблизился к «чуваку».

— Что там такое? — тихо спросил «чувак».

— У них пушка,— совсем тихо сказал Будка, думая, что мы не услышим.

Но у меня такой слух...

— Настоящая? — встревоженно прошептал «чувак».

— Системы Макарова... У него батька пограничник.

— Да?.. Она, наверно, без патронов.

Больше перешептываться они не смогли, так как мы их нагнали. Мы сделали вид, что ничего не слышали. То, что они пришли в замешательство, было ясно. И это хорошо! Пусть знают, что с нами шутки плохи. Если они задумают что-нибудь, мы им...

Мы свернули с асфальтированной дорожки и пошли по склону вниз, продираясь сквозь заросли. Потом остановились... При тусклом свете карманных фонариков мы увидели выложенный старым замшелым кирпичом вход в какой-то подземный коридор. Выбегая оттуда, журчал у нас под ногами ручеек...

— Вот она... пещера Лихтвейтеса,— торжественно сказал Будка.

— Лейхтвейса,— не без ехидства поправил Ява. (Конан-Дойля мы знали не хуже их!)

Из пещеры «Лихтвейтеса» пахнуло сыростью и холодом. И мне показалось, что оттуда тянет могилой. Бррр!..

— Так, может, мы тут подождем, а он вынесет? — кивнул я на «чувака».

— Ну, если вы боитесь, пожалуйста... — насмешливо сказал Будка.

Вот гад! Ну ладно!

— Идем! — скрипнув зубами, сказал я.

Что бы там ни было, я должен достать часы!..

— Идем! — сказал Будка.

Первым в пещеру, пригнувшись, вошел «чувак», вторым Будка, потом я, за мной Ява, последним должен был идти маленький. (Но как потом выяснилось, он в пещеру даже не заходил, а сразу пустился домой.)

Подземный коридор был невысокий и узкий, идти можно было только гуськом, пригнувшись. Мы шлепали босыми ногами по мокрой грязи, ноги сводило от холода. Я вдруг остро почувствовал, что я под землей, — вокруг меня сырость, потемки и страх. И земля будто давит на меня, душит сверху, со всех сторон. Ну точнехонько как в могиле.

«Чувак» и Будка, которые шли друг за другом впереди меня, освещали себе дорогу фонариками и сливались в один двуголовый, четверорукий и четвероногий силуэт. Мы повернули один раз, второй — вправо, влево... Мне уже казалось, что вот-вот (как это всегда бывает в приключенческих романах) мы выйдем в высокую, освещенную залу пещеры, где в большом сундуке с награбленными сокровищами лежат «наши» часы... И вдруг...

Вдруг мне словно накинули на голову одеяло. Двойной силуэт «чувака» и Будки исчез. Сплошная непроницаемая тьма окутала меня. Я невольно остановился. И сразу почувствовал, как Ява наткнулся на меня сзади.

— Что? — приглушенно спросил он.

— Эй! Где вы? — сдавлено крикнул я. И замер, напрягая слух.

В ответ ни слова. Только черная, холодная подземная тишина. Лишь



где-то в глубине этой тишины слышался шум воды — как будто из водосточной трубы.

— У-у, гады! — в отчаянии крикнул я. — Стой! Стрелять буду! — и, выхватив из кармана пистолет, что есть силы нажал на спуск.

Ба-бах! — полыхнув молнией, прогремел выстрел.

— Атаа! — испуганно закричал кто-то совсем близко.

И что-то захлюпало по мокроте, будто десятки жаб бросились врассыпную. Потом вдалеке что-то шлепнулось, кто-то вскрикнул — и звук потонул в бездонной тишине.

Ява зашуршал спичками, вынимая коробок из кармана. И вдруг — ой! — что-то упало в грязь.

— Уронил, — растерянно прошептал Ява.

Я слышал, как он шлепал рукой по слякоти, разыскивая. Но напрасно — спички наши уже никуда не годились. И тут я почувствовал весь ужас и безвыходность нашего положения.

Мы были без огня, одни в запутанном подземном лабиринте, в полнейшей темноте. Выбраться отсюда можно было только наугад. Но можно было и совсем заблудиться. А если учесть, что в таких пещерах часто живут ядовитые змеи, летучие мыши, гигантские крысы и другая погань, то...

— А ну бахни еще раз, я найду... — жалобно сказал снизу Ява.

Я судорожно нажал на спуск. Ба-бах!.. На какой-то миг при вспышке я увидел виновато опущенные плечи моего друга. «Как он теперь, должно быть, переживает, что уронил спички», — подумал я (в минуту беды всегда сочувствуешь другу).

Внезапно где-то рядом раздался дрожащий Валькин голос:

— М-мальчики, не стреляйте! Что вы делаете?!

Валька! Откуда она здесь?!

— Э-эй! Где ты? — радостно крикнул я.

— Т-тут... — И в нескольких шагах от нас, за Явиной спиной, неожиданно вспыхнул фонарик.

— Да ты с фонарем! Вот здорово! А то мы спички потеряли, — бодро заговорил Ява, приосаниваясь. И он — в который уж раз — гордо глянул на меня, снова его Валька нам пригодилась. Да еще в такую минуту! Это уж прямо как в кино...

— А ты-то как здесь очутилась? — спросил я.

— Да потом... Идемте отсюда... Тут так страшно...

Да и то правда, поговорить мы еще успеем. И мы торопливо зашлепали к выходу.

У-ух!.. Как же хорошо из подземного, промозглого холода попасть в теплые объятия звездного летнего неба! И какими симпатичными кажутся эти хмурые темные деревья! Насколько лучше все-таки на земле, чем под землей!..

— А что это вообще за пещера? — спросил я, озираясь на черную разинутую пасть подземелья.

— Да это же дренажная система. Для отвода подземных вод, — сказала Валька.

И от этих будничных слов «дренажная система» подземелье сразу потеряло свою страшную таинственность и стало понятным, чем-то вроде канализации (хотя я и в канализацию ночью б не полез).

— Так что ж, они вас завели и бросили? Да? — спросила Валька.

— Да кто их знает, — пожал я плечами. — Они попрятались и молчат. А когда я стрельнул, они: «Атас!» — и побежали. Кто-то из них даже шлепнулся по дороге! Аж загудело!.. Если бы у нас был фонарик...

— Ой, мальчики! — схватила Валька руками за щеки (даже фонариком себе по виску стукнула). — Там же колодцы! Может, он убился!..

— Что? Какие колодцы?

— Да дренажные! Вы слышали, вода шумит? Там идет коридор, а потом — раз! — колодец, а потом снова коридор. Там, где вы были, один ход на склоны выводит, а другой — к колодцу. А колодец глубокий, метра два, а то и больше. Ой, мальчики!

Мы с Явой переглянулись.

— Идем? — сказал Ява.

Я кивнул.

Это было все равно что утопленнику, которого только-только вытащили, снова лезть в воду.

— Дай фонарик, — сказал я Вальке.

Держа в одной руке фонарик, в другой пистолет, я сделал резкий выдох (как на старте) и первым нырнул в подземелье. Как-то уж так получилось, что во всей этой истории мне приходилось быть впереди. Из-за меня заварилась вся эта каша с часами, мне ее первому и расхлебывать!

Я шел и чувствовал себя разведчиком, идущим на смертельно опасное задание. Мне не было страшно ни капельки. Сзади сопел Ява, за ним прыгала носом Валька. И вообще... мы же идем по самой обычной дренажной системе. Подумаешь! Только чего это так тенькает под ложечкой? Вот еще эта «подложечка»!.. Тенькает, когда ее не просят... Ничего ведь страшного!.. Мы же идем вытаскивать Будку, который, может быть, убится, упав в колодец. Ой, чтоб тебе!.. Прямо из-под ног у меня скакнула в сторону здоровенная жабища. Тьфу!

А вот и то место, до которого мы было дошли. Конечно! Вон еще и спички наши размокшие лежат. О, тут коридор заворачивает и разветвляется! Теперь ясно: они погасили фонарики и бросились за угол. А потом, когда я стрельнул, кинулись наутек. Один побежал этим коридором. А может, они оба побежали сюда? Тогда никто ни в какой колодец не падал и не убивался, и мы только зря идем. Ну и прекрасно! Что ж, разве я хочу, чтоб кто-то убивался? Боже сохрани! Но все-таки нужно пойти туда, к колодцу. А что, если... Шум воды сильнее и сильнее. Какая там водосточная труба, это уж самый настоящий водопад! Луч фонарика упирается в кирпичную стенку колодца, который, пересекая коридор, тянется сверху вниз. Я осторожно подхожу. И почему-то сначала смотрю вверх. Метра на три надо мной светлеет круг звездного неба, перекрещенный толстыми железными прутьями решетки.

Я направляю фонарик вниз. Сперва я вижу светлое, выбитое водопадом кирпичное дно колодца — там никого. И я уже решаю, что все в порядке. Как вдруг... Тут я чуть сам не упал в колодец от страшной неожиданности. Прямо под ногами у себя я увидел мокрое лицо Будки. Вцепившись растопыренными пальцами в пазы между кирпичами, он едва держался на отвесной стене колодца сантиметров за двадцать от края, где я стоял. Он промок до нитки — водопад задевает его по левому плечу. Я еще не понимаю, что он делает, но мне ясно: еще миг — и он сорвется вниз. И я рывком ложусь прямо в воду, не успевая сказать ни слова, только сунув назад Яве фонарь и пистолет. Обими руками хватаю Будку за плечи. И только тогда хриплю:

- Ява, передай фонарик Вальке и помоги!

Еще мгновение, и Ява шлепается на живот рядом со мной. И уже вдвоем мы держим Будку за плечи. Теперь он не упадет, не сорвется... Но вытащить его наверх вот так, лежа, мы не можем: он слишком

тяжелый, а мы не геркулеса. Мы лежим и держим. Вода затекает нам в штанины, льется по всему телу и через ворот рубашки выливается в колодец. Что это такое, поймет лишь тот, кто испытает... Добавлю только, что вода ледяная.

— Мальчики! Ой! Что там? Ой! Ну скажите! — ойкала Валька, подпрыгивая сзади нас. Наши тела мешали ей подойти и самой заглянуть. И она, наверно, так и пошла бы по нашим телам (вы же знаете девчачье любопытство!), если бы не ухитрилась как-то поставить между нами свои ноги: сперва одну, потом другую, потом снова — уже прямо возле моего носа... И наконец заглянула.

— Ой, Будка! Ой, Будочка! Ой, держись! Да лезь же, лезь! Ну тут же мало осталось. Ну пожалуйста, Будочка... Ну еще немного... — надрывалась она.

Я уже хотел крикнуть ей, чтоб она замолчала (кудахчет, как наседка, тоже мне помощница!), и вдруг почувствовал, что Будка лезет...

Валькины причитания действовали на него больше чем наши усилия. А усилия наши были прямо-таки титанические. Я так тянул, что казалось, вот-вот у меня что-то лопнет в груди. Я только тут понял, какие же мы с Явой слабаки. А мы-то себя воображали Власовым и Жаботинским среди васюковских ребят. Ведь мы выжимали кусок рельса, в который звонят на обед в нашем селе, — Ява девять, а я семь раз... А «запорожец» Карафолька еле-еле три раза, а уж Коля Кагарлицкий так и совсем выжать не мог. И когда мы сжимали свои бицепсы, ведь они нам казались тверже, чем тот рельс. А теперь... В голове у меня почему-то все время крутятся слова: «Ох, нелегкая это работа из болота тащить бегемота...», «Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота...», «Ох, нелегкая это рабо...» Ну прямо как испорченная пластинка... Вот ведь бывает: прицепится какая-нибудь песня или слова — и крутятся, крутятся, крутятся в голове.

Будка уцепился руками за край колодца. Мы уже не лежим, мы стоим на коленях и тянем, тянем, тянем из последних сил. Валька тоже вцепилась одной рукой в Будкин ворот и тоже тянет. Вот уже Будка уперся руками, вот уже коленями встал на край... У-ух... С дрожью в ногах от усталости я поднимаюсь.

— Идемте, идемте быстрее отсюда... — затараторила Валька. Вы все такие мокрые! Вы же простудитесь...

— Постой! А ну посвети, посвети...— нагнулся Ява.— Пистолет... Я его где-то здесь бросил... где-то здесь... Вот!

Он поднял мокрый, в грязи пистолет. Будка взглянул:

— Стартовый? Я... с-сразу догадался,— сказал он, лязгая зубами и шмыгая носом.

«Чего же ты тогда драпанул так, что прямо в колодец угодил?» — подумал я. Но промолчал. Неудобно было...

— Идем, идем... Вы же заболаете... Там поговорим,— тянет нас Валька.

Да мы и не собираемся тут задерживаться — мокрая одежда липнет к телу, зуб на зуб не попадает. И вот снова теплый и такой легкий-легкий воздух охватывает меня со всех сторон.

— Мальчики, выжимайте! Немедленно выжимайте одежду! Я отвернусь... Я не буду на вас смотреть... Вы что, ненормальные?! Немедленно выжимайте! Я уже отошла и отвернулась... Ну!

Ну и упрямая она! И вот мы стоим и выжимаемся. Все остатки сил, что у нас еще были, мы вкладываем в то, чтобы выжать воду из своих брюк и рубашек. Вода журчит на землю. Мы кряхтим и сопим. А Валька стоит в отдалении спиной к нам и, не оборачиваясь, командует:

— Лучше, лучше выжимайте, не ленитесь...

— «Лучше»... Какая умная! — скриплю я.

— Сама бы попробовала... Когда оно не выжимается,— бурчит Ява.

— Говорить легко...— подает голос Будка.

И то, что мы все трое одинаково голые, и то, что все лязгаем зубами и ворчим на Вальку,— все это объединяет нас с Будкой. И я не чувствую почему-то той злости и ненависти к нему, что раньше, хотя он заставил нас пережить это страшное подземное приключение. И с часами еще ведь неизвестно что...

И вот что удивительно: если ты сделаешь человеку что-нибудь хорошее, он тебе становится приятным. И наоборот: тот, кому ты сделал что-то плохое, неприятен тебе.

— Где час-ы-ы? — не столько спросил, сколько пролязгал я зубами, выкручивая штаны.

— Есть, не волнуйся... С-сейч-а-ас получишь...— залязгал в ответ Будка, выжимая рубашку.— А-а, да это такой «чувак»! Б-барахло,

а не «чувак»! Смылся... И вообще я про «чувака»... все выдумал. Это Вовка Иванов... Она его знает...

— Как?! А часы?

— Да есть... У него. Они из кармана выпали, когда Вовка тебя с меня стаскивал... Сперва мы хотели сразу отдать, а потом... я придумал вот это самое, с «чуваком», чтоб было интересней... И чтоб вас попугать...

— Ха! — сказал я (мол, кого хотели испугать?!).

— Мы думали завести вас, а когда вы струхнете как следует, вывести. Но мы договаривались все вместе это сделать. А пришли только я и Вовка с младшим братом. Ну и...

— Ты думаешь, так легко ночью уйти из дома! — подала голос Валька. — Я целый час в туалете просидела... пока все обо мне забыли и заснули. И тогда — через черный ход. Тебе хорошо, у тебя дома никого, мать в ночной смене. И Вовка с братом на веранде спят, я знаю...

— А ты... ты как тут очутилась? — спросил я, судорожно натягивая штаны (Ява и Будка были уже одеты). Я знал: раз она начала говорить, сейчас обернется. Где вы видели, чтоб девчонка долго говорила, стоя к вам спиной.

— А мне Юрка Скрипниченко ска... Ой! Я не смотрю, я не смотрю! Юрка Скрипниченко сказал. Я только из студии от Максима Валерьяновича приехала (рассказала ему все, что случилось с часами)... Иду — Юрка Скрипниченко. Говорит: «А мы сегодня ночью твоих дружков в пещере давить будем!» Что?! «Как?» — говорю. «А так», — говорит. И рассказал... Ух я разозлилась! «Вы все бандиты! — говорю. — А ты еще и предатель, своих выдаешь...» Он меня за косу... А я его трах по спине...

— Ничего... Мы с ним еще поговорим... А сейчас идем Вовку искать, — сказал Будка. — Он совсем убежать не мог... Он где-то здесь.

И Будка повел нас по кустам, через цепкий чертополох и жгучую крапиву в яр.

Так вот оно что! Напугать нас хотели... Выдумали все — и про «чувака», и про милицию, и про тайник в пещере. А мы поверили! Как дураки. Как малолетки. Тут и слепому было бы видно, что все это брехня. Подземелье. Двенадцатый час ночи... черная маска... Даже в книжках теперь уже так не пишут. Позор! Ну же. Пусть только отдаст часы! Это все только из-за часов. Если бы не часы или если бы это были мои часы,

я б вообще... Пусть только отдаст часы!.. А что мы ему сделаем? Налупцуем? Как-то нет настроения...

— А вы молодцы! — вдруг сказал Будка. — Не побоялись. И часы-то ведь не ваши. Могли бы просто плюнуть, и все. С вами в разведку можно идти.

Ну вот видишь! Как же ты его налупцуешь после этих слов! Медом разлились по нашим сердцам эти слова. Похвала, услышанная от врага, — высшая похвала. Постой, а откуда он знает, что это не наши часы? И только я раскрыл рот, чтобы спросить, как из темных кустов, совсем близко, послышался тихий свист. Будка свистнул в ответ. Зашуршали ветки, и из кустов вышел «чувак» — Вовка. Он был все еще в маске.

— Давай сюда часы! Барахольщик! — приказал Будка.

— А ты-то кто? Тоже мне! Подумаешь! — Вовка снял маску. Это был тот самый долговязый хлопец, который двинул меня тогда по ноге.

— Ты давай, давай, а не трепись! — раздраженно повторил Будка.

— На! Очень они мне нужны... — Вовка вытащил из кармана часы.

У меня радостно забилося сердце. Наконец-то! До последней минуты я боялся, что случится что-нибудь и часов я не увижу.

Будка взял у Вовки часы и протянул мне (видно, он собственноручно хотел их отдать):

— Бери.

— Спасибо! — как-то само собой вырвалось у меня.

— Пожалуйста, — испытывая неловкость, буркнул Будка.

Я не положил часы в карман. Я не доверял больше карманам. Я зажал их в руке и решил не выпускать, пока не приду домой и не положу под подушку. Никакая сила не смогла бы теперь отобрать у меня часы.

Мы пошли назад той же дорогой. Снова возле крепостной стены по узенькой деревянной лестнице, почти в полной темноте, лишь едва разбавленной светом двух фонариков (только теперь один из них был Валькин — Будка свой разбил в колоде).

— Откуда ты знаешь, что часы не наши? — наконец спросил я.

— Мы все знаем... — таинственно сказал Будка.

— Да нет, серьезно.

— Да это ее брат, — он кивнул на Вальку, — сказал его брату, — он кивнул на Вовку, — вот и все. Они дружат.

— А-а...

— Слушай, Будка,— сказала вдруг Валька,— а чего ты полез вверх по колодцу? Ты же мог через нижний туннель выйти на склон.

— А! — махнул рукой Будка.

— Что «а»! Серьезно.

— А что, если бы они пошли не в ту сторону? И заблудились бы? Отвечай потом, так ведь? У них же ни фонарика, ничего.

— И пистолета не побоялся?

— А я бы кричал...

Ты смотри! Да этот Будка почти герой — лез нас спасать! Вот тут и разберись в людях. Вроде бы отрицательный тип, и вдруг Нет, не так оно просто сказать, что человек — отрицательный тип.

— Слушайте,— сказала Валька,— а как же вы доберетесь домой? Трамваи-то уж не ходят.

— А что там добираться! — сказал Будка.— Спустятся к бульвару Дружбы, а там по автостраде — и до Печерского моста. Я их проведу... до клумбы... Чао!

— Чао! — сказал Вовка.

— Пока! — сказала Валька.

— Бывайте! — сказал Ява.

— Спокойной ночи! — сказал я.

Мы разошлись. Валька пошла в свой флигель (через черный ход). Вовка пошел в Лавру (он жил на территории Лавры). А мы с Будкой прошли через одну большую кирпичную арку, через другую, потом спустились по узкой, мощенной булыжником улочке. И все это молча, без единого слова. При Вовке и Вальке Будка был разговорчивым, а как остался с нами, замолк. Видно, он чувствовал себя очень неловко перед нами. Да и нам хотелось поскорей расстаться с ним. Когда мы дошли наконец до автострады, Будка сказал:

— Идите вот так прямо — выйдете как раз к Печерскому мосту!.. Чао! — и помахал нам рукой.

Страх не люблю, когда слово, сказанное тебе, ты не понимаешь. Эх, что б ему такое ответить? Раздумывать было некогда.

— Цоб! — сказал я.

— Цобе! — подхватил Ява.

Мне казалось, что горожанин Будка примет наш «цоб-цобе» за какое-



то жаргонное словечко. И действительно, он самым серьезным образом помахал нам рукой и пошел назад. А мы поплелись по автостраде. Но если вы думаете, что на этом наши ночные приключения закончились, вы зря так думаете.

Мы подошли к дому под теткин балкон. Веревка наша была на месте. Дом спал, даже окна, где справляли новоселье, уже не светились.

Ява по своей привычке хотел было лезть первым. Но я решительно оттолкнул его: забыл, что ли? Я же сегодня предводительствую, вот еще! Дурень я, дурень... Если б я знал! Но я ничего не знал.

Я полез вверх.

Дали все же себя знать силовые упражнения по вытягиванию Будки. Тяжело было лезть, ох как тяжело! Я и не думал, что так будет. Все мускулы мои ныли и болели. Руки сводило, плечи будто кто ножом резал, ноги все время теряли веревку, и я беспорядочно сучил ими, как распеленатый младенец. Каких-то три метра — и такая пытка! Хорошо хоть, что дом малогабаритный: высота потолков два семьдесят пять. Подлезая к балкону, я уже пыхтел, как насос. Еще, еще немного, и я схвачусь за железные прутья балконных перил. И вдруг надо мной раздался вопль: «Воры!» — и я увидел что-то белое в черном провале окна (то была комната, где спали дядя и тетя).

...Все произошло так молниеносно, что я не успел опомниться. На балконе возникла, как привидение, тетя в белой ночной рубашке. В руках у нее было что-то черное. Она перегнулась через перила и с восклицанием: «Так вот же тебе!» — опрокинула это черное прямо на меня. Что-то шлепнулось мне на голову и полилось в глаза, за уши, за шиворот, в штаны и до самых пяток. Я почувствовал на губах знакомый сладкий вкус и понял: тетя выплеснула на меня из кастрюли свой любимый вишневый компот, что стоял на балконе. Ошеломленный, едва держась за веревку, я отфыркивался и отплевывался, страхиая с головы вишни.

Но тетя считала, что это еще не всё. Я вовремя заметил, как в руке у нее блеснул нож. И догадался: сейчас она резанет по веревке, и я шмякнусь на землю.

— Тетя, не режьте!.. — не своим голосом закричал я.

Нож выпал у нее из рук и больно ударил меня рукояткой по макушке. Я не удержался и съехал по веревке вниз. На земле не устоял на ногах

и сел прямо в компот, который лужей растекался как раз подо мной. Только тогда тетка наконец закричала сверху:

— Ой, Павлуша, это ты?

— Нет, не я! — сказал я, сидя в компоте.

Ява не сдержался и отрывисто хохотнул, как будто его кто-то неожиданно защекотал под ребрами.

Тетя совсем опомнилась и запричитала:

— О господи, как же ты здесь очутился? Что тебя среди ночи под балкон потянуло?! И Ваня тут? Вы что, очумели? Что вы тут делаете?

— Да не кричите, тетя, людей разбудите! — сквозь зубы проговорил я, поднимаясь с земли и брезгливо обирая со штанов раздавленные вишни.

Тетя наконец смекнула, что она не в бальном платье, а в ночной рубашке и не стоит в таком виде знакомиться с новыми соседями. Сказавши нам: «Идите, я сейчас открою», она исчезла.

Поднимаясь по лестнице, мы хорошо представляли, как должны себя чувствовать бойцы, сдающиеся в плен. Больше всего беспокоило то, что же мы сейчас скажем тете, как объясним свое странное поведение. Говорить правду после всего пережитого просто не было сил — уж очень много пришлось бы рассказывать. Но тетя ведь не отстанет, сказать что-то придется.

— Ява, отменим до утра шелчки, прошу тебя, — слабым голосом сказал я. — Утром на все готов...

— Ладно, — сказал Ява.

Времени было в обрез. Нужно что-то выдумать немедленно. Головы наши работали, как счетные машины, — миллион операций в секунду! Но выдумали мы всего лишь примитивную брехню: будто мы поспорили, кто из нас быстрее заберется по веревке на балкон. А почему ночью? Так ведь днем никто не позволил бы.

И когда тетя, уже в халате, открыла нам дверь, мы очень правдиво выложили ей эту выдумку. Тетя была мужественная, решительная — в этом вы только что убедились, — но добрая женщина и очень меня любила (может, потому что своих детей у нее не было). И она поверила. Компот нам в этом даже помог: тетя не заметила, какой мокрой и жалкой была на нас одежда. Мы все свалили на компот. Для этого я посоветовал Яве обляпать компотом свои штаны и рубашку, как будто и на него

попало. Хотя его, чертяку, ни одной вишенкой не задело! Вся порция мне досталась.

Тетя чувствовала себя страшно виноватой перед нами и очень извинялась. А потом сказала:

— Такой компот был! На три дня варила. Я ж думала, что воры. Жалость-то какая...

И непонятно было, чего ей жалко: нас или компот.

— Тетя, вы дяде пока... не говорите,— попросил я, прислушиваясь к до-ре-ми-фа-солям в соседней комнате и боясь, как бы дядя не проснулся. Он был вспыльчивый и под горячую руку мог посадить нас на поезд и отправить «к чертовой матери домой».

— Хорошо... А компот? Ну ладно, скажу, что нечаянно опрокинула, когда ночью на балкон выходила свежим воздухом подышать. Только чтоб вы мне больше такие номера не откалывали! Ну, раздевайтесь — и в ванну. А я вашу одежду стираю и сушить повешу. Ну, быстро!

Мы живо разделись. Я ловко, чтоб тетка не заметила, снял с руки часы — их я надевал перед тем, как лезть,— и положил под подушку.

Вы когда-нибудь мыли посуду? Припоминаете запах? Точно так же запахло, когда мы с Явой залезли в ванну. Словно то не люди мылись, а две кастрюли из-под компота.

И вот мы уже в постели. И уже проваливаемся-проваливаемся в сон. У-ух... Наконец-то кончились наши ночные приключения. Наконец-то... Наконе... Хр... Хр... Хр-у-у-у...

## Глава XIV

«ВНИМАНИЕ!.. НАЧАЛИ!.. МОТОР!» ЧАСЫ  
НАХОДЯТ СВОЕГО ХОЗЯИНА. РОЖДЕНИЕ  
ЯВЫ СТАНИСЛАВСКОГО И ПАВЛУШИ  
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

Снилась мне какая-то страшная чертовщина. Какое-то мокрое могильное подземелье... Я ползу по нему. Совсем один в полной темноте. Но все вижу: на сводах висят летучие мыши, по стенам сбегает вода, а внизу, под ногами, текут какие-то грязные помои. Внизу вдоль стен сидят отвратительные пучеглазые жабы. И в голове у меня мысль: «Да

я, оказывается, умею видеть в темноте. Вот не знал! Оказывается, мне никакого фонарика не нужно... Видеть в темноте — это мне, как дураку с горы сбегать!..» И я ползу, и мне не страшно, а все потому, что я умею видеть в темноте... Вдруг я вижу — ниша в стене... И в этой нише сидит на здоровенном кресле-троне, на каких когда-то цари сидели, наша стосемилетняя бабушка Триндичка. И говорит она мне голосом учительницы Галины Сидоровны:

«Ты чего это часы наши царские до сих пор не отдаешь, поганец?»

Я удивленно смотрю на нее и отвечаю:

«Часы я отдам, не волнуйтесь. Но почему вы ругаетесь на меня? Нам в школе всегда замечания делали за грубость, а сами ругаетесь. Нехорошо».

«Да ты еще и огрызаться, шмаровоз?! Вот сейчас как дам!» — уже голосом моего друга Явы говорит бабушка Триндичка, хватает меня за шиворот и кидает в колодец. И вот я лечу, лечу, лечу... И вдруг чувствую, что кто-то меня держит за плечи. Стойте, да это же я сам. Лежу ничком над краем колодца и держу себя за плечи, себя, который висит в колодце... И то я... И это я... И мне не странно, что нас — двое. «Закон парности!» — думаю я спокойно.

И тут я слышу голос своего дяди:

— А что это за тела лежат? Чьи тела?

Я открываю глаза. И мне кажется, что сон еще продолжается. У тахты стоит дядя. В одной руке он держит стартовый пистолет, в другой... наше письмо, которое мы оставляли вместо пистолета (ой-ой-ой, мы же забыли про письмо!).

— Хватит спать, покойники! Уже одиннадцатый час... Так где были ваши тела сегодня ночью? Признавайтесь, — сурово говорит дядя и читает: — «Ищите наши тела в подземельях Лавры...» Приятное вы мне занятие готовили, что и говорить. Между прочим, это на ваши тела опрокинули кастрюлю с компотом? А? А то я этой женщине, — он кивнул на тетю, — не верю!

Тетя стояла рядом и расстроено смотрела на нас. «Я не виновата, голубчики! — говорил ее взгляд. — Но зачем же вы меня, старую, обманули?»

Мы с Явой переглянулись и глубоко-глубоко вздохнули. А потом я откинул одеяло, сел и сказал Яве, подставляя лоб:

— Бей! Не меньше шести!

Ява тоже сел и говорит:

— И ты мне... Вместе заработали... Поровну...

И мы одновременно вlepили друг другу по шести щелчков. Пока мы это делали, дядя молча переводил взгляд с Явы на меня и с меня на Яву, а потом сказал:

— Я не знаю, что это означает. Меня это мало интересует. Но делаете вы правильно. И я хочу поддержать вас и добавляю каждому от себя. Прошу!

И дядя так залепил по лбу сперва мне, а потом Яве, что мне показалось, будто голова моя треснула, как арбуз, на две половины и из обеих посыпались искры. Вы бы видели дядины пальцы — каждый, как сарделька.

— А теперь рассказывайте,— приказал дядя.

— Да подождите... Все из головы вылетело! Так бьют, да еще и рассказывай...— простонал я, хватаясь руками за голову и будто скрепляя две ее половинки.

Под моей рукой росла на лбу здоровенная гуля. Я глянул на Яву. На его лбу фиолетово наливалась точно такая же. Я смотрел на Яву, как в зеркало: одновременно и чувствовал и видел, как растет моя шишка, хотя то, что я видел, было не мое, а Явино. Позднее я узнал, что у кинематографистов это называется — синхронно.

— Ой, что же ты наделал?! — застонала тетка. — Так ведь детей и поубивать можно!

— Ничего, ничего,— спокойно сказал дядя. — Они хлопцы крепкие, выдержат.

— Да, вам ничего! А как мы теперь в кино сниматься будем? — трагическим голосом сказал я.

— Что? Какое кино? А ну рассказывайте!

— Да вы хоть холодное приложите. Нате вам ложки! — кинулась к буфету тетка.

Мы приложили ко лбам ложки. И вот так, держа их, начали рассказывать. Все. Честно. Исповедь наша, как пишут в газетах, неоднократно прерывалась аплодисментами и разными возгласами, так как тетка только и делала, что всплескивала руками и восклицала: «Ох господи!», «Ну ты смотри...», «Ай-яй-яй!»

Рассказали мы самое главное — про часы и показали их («О господи!»). Рассказали про Вальку и про Будку, про наши бои и ночные приключения («Ай-яй-яй!»). Рассказали про Максима Валерьяновича, про киностудию («Ну ты смотри...»). Кончили тем, что вот-вот приедет за нами ассистент... Что теперь будет?

— Ну, ребята, я же не знал... — сказал дядя. — Я же не знал, что вы — артисты... Ведь ваших фотографий на улицах еще не продают... Нескладно получилось. Неудобно высвечивать синяками на весь Советский Союз... Вам нужно было не обманывать, а сразу честно признаться... Что ж мы теперь ассистенту скажем?

И тут — буквально как в пьесе, — только дядя сказал эту реплику, в дверь постучали. Тетка побежала открывать, а мы с Явой в бешеном темпе (вот, знаете, как в кино ускоренная съемка) начали одеваться. Ассистент вошел как раз в тот момент, когда мы, надев уже штаны, одновременно сунули головы в рубашки (таким образом ни ассистент наших лиц, ни мы ассистента не видели).

— Здравствуйте, здрасте, а я за вашими героями, — весело сказал ассистент. — Ребята вам, наверно, уже говорили.

— А как же, — как-то виновато сказал дядя. — Только они сегодня, к сожалению, немного... так сказать... не фотогеничны.

В этот момент мы просунули головы в рубашки, и ассистент увидел наши гули.

— Гм, — сказал он. — Привет, молодцы... Что ж это вы... А впрочем... — он отошел, прищурился, посмотрел на нас как-то сбоку. — По-моему, ничего. Может, даже еще лучше будет... для типажа... для образа. Едем!

— Да пусть хоть позавтракают, — засуетилась тетя и побежала на кухню.

— А вы еще не завтракали? — удивился ассистент. — Уже ведь обед скоро.

— Мы не хотим! Не хотим! — отчаянно закричали мы с Явой, как будто нас резали. Чего доброго, ассистент передумает, пока мы будем завтракать!..

— Ой, тетя, не нужно ничего! — кинулся я в кухню и зашептал ей на ухо: — Я вам никогда не прощу! Никогда не прощу, если из-за вашего завтрака...

— Ну хоть возьмите с собой по бутербродику,— плаксиво сказала тетя.

— Давайте, только быстрее, а то он уйдет,— прошипел я.

Тетка забегала, закрутилась по маленькой кухне, как наседка. Разлила постное масло, разбила тарелку, но все же упаковала нам, наконец, два «бутербродика», которые весили, должно быть, килограмма полтора. Мы не стали спорить, чтоб не терять времени.

— Сейчас заедем к Максиму Валерьяновичу — и на студию,— сказал ассистент, подводя нас к «газику», который стоял у дома.

...Когда мы подъезжали к Лавре, я подумал про Вальку. Нужно было бы взять ее на студию... Она столько для нас сделала! Почему ей нельзя?.. Пусть стоит где-нибудь там, сзади. Раз есть в фильме мальчишки нашего возраста, может быть и девчонка... Тем более такая девчонка! Которая могла одна пойти против целой оравы... Которая не побоялась ночью спуститься в подземелье... Которая вообще ни черта не боится!

— Слушайте,— сказал я ассистенту,— а можно, чтоб с нами одна тут девчонка поехала?

— Девчонка? — усмехнулся ассистент. — А хорошая?

— Во какая! — поднял вверх большой палец Ява. — Просто хлопец, а не девчонка... Вы ее, должно быть, видели. Она вчера была с нами на студии.

— Правда, велено мальчишек, а впрочем...

— А ее можно загримировать под мальчишку. Никто и не заметит, честное слово! — с жаром сказал Ява.

— Ну что ж... Катайте за своей девчонкой. А я пока заберу Максима Валерьяновича. Ждите меня тут, возле таксомоторного парка.

Мы вылезли из «газика», и ассистент поехал.

У Валькиного подъезда Ява остановился, потоптался на месте, потом потрогал свою шишку и сказал:

— Может, кто-то один ее крикнет... Чего обоим бить ноги?

Вот крокодил! Он стыдится своего вида! Все равно же она заметит — рано или поздно!

И я сказал:

— Как хочешь, можешь идти один ты. Я не против. Она же больше твоя подруга, чем моя.

— Да нет уж, идем вместе... Просто я думал...

Что бы он там ни думал, а пошли мы все-таки вдвоем. Пошли, прикрывая ладонями свои лбы. Далеко идти нам не пришлось. Мы сразу встретили Вальку. Прямо у подъезда.

— О, здрасте! — радостно воскликнула она. — Ну, как у вас? Все хорошо? Дома не влетело? Чего это вы за головы держитесь?

— Здорово, здорово! — увернулись мы от ответа. — Мы за тобой... Едем на студию... Ассистент сказал...

— Неужели? Едем! А, да это у вас шишки на лбу!

Углядела-таки! Больше скрывать не было смысла. Мы опустили руки.

— А я знаю, а я знаю, отчего это! — простодушно сказала Валька. — Это вы, наверное, опять шелчки друг дружке давали... Точно?

Мы молча кивнули. И тут увидели Будку. Он шел по двору хмурый и насупленный и не замечал нас.

— Ой, а вы знаете, — зашептала Валька, — Будке так попало, так попало... Мать вернулась с работы раньше, чем обычно. Он пришел, а она дома. А вы же видели, какой у него был костюм... Такое было!.. Мне его жалко... И вообще он не такой уж плохой. Во всяком случае, не слабак, как некоторые... Хотя бы этот самый Юрка Скрипниченко...

Мы с Явой переглянулись. И, по-моему, одновременно подумали об одном и том же. Нужно взять его на киностудию!..

Ведь нам режиссер прямо сказал, чтоб мы прихватили одного-двух хороших хлопцев. И мы возьмем Будку. А что? Пусть сыграет в кино. Пусть прославится наш вчерашний враг, который завел нас в подземелье и думал напугать до смерти... Пусть! Нам хотелось быть сегодня добрыми и великодушными.

Будка не сразу понял, чего мы от него хотим...

— А? Что? — повторял он, хлопая глазами.

— Да на киностудию... В кино сниматься... Не хочешь? — втолковывали мы ему. — Ты что, спятил? От такого отказываться...

Словом, когда ассистент, как договорились, подъехал к таксомоторному парку, нас было четверо.

Ассистент был человек наблюдательный. Заметив, кроме Вальки, еще и Будку, он сказал:

— Ясно... Значит, в пропуске нужно поставить цифру четыре? Я не ошибся?

— Ага, — улыбнулся Ява.



Максим Валерьянович, который сидел в машине, встретил нас, как всегда шутиливо:

— Привет, господа хорошие! Ничего не спрашиваю. Вижу: все в порядке... Были серьезные бон, но победа на нашей стороне... Так?

Я молча кивнул и отвернул рукав левой руки, на которой были часы.

— Вот и хорошо... Вот и хорошо.— Максим Валерьянович как-то загадочно усмехнулся.

— А что, не нашли еще того... царя? — спросил я.

— Посмотрим, посмотрим...— И он снова усмехнулся.

Мне показалось, что он что-то знает, но почему-то не хочет сказать. И одновременно я чувствовал: то, что он знает, добрая весть.

— Ну скажите, ну пожалуйста...— нетерпеливо попросил я.

— Терпение, господа, терпение! Все выяснится на студии. Кино, дорогие товарищи, самое удивительное чудо двадцатого века...

Все эти загадочные слова еще больше распаляли. Меня взяло такое нетерпение, что я не мог усидеть на месте: все время крутился и заглядывал в окно — когда ж эта студия...

И вот снова низкие ворота. Снова щиты с крылатыми словами. Снова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...»

«Вот ты еще, ей-богу! Никогда, наверно, не быть мне человеком», — подумал я, трогая свою гулю.

Мы подъехали к тем самым дверям, что крутятся, и вылезли из машины.

— Придется нам сейчас разлучиться, господа, — сказал Максим Валерьянович. — Мне в павильон, а вам на озеро... Мы в разных картинах... Запомните этот день, воробы. Может, для кого-то из вас он будет историческим и знаменательным на всю жизнь. Как знать, может, кто-то из вас станет в будущем настоящим артистом. И будет вспоминать этот день, как творческое крещение. Ну, ни пуха ни пера. У меня эпизод маленький, как освобожусь, приду на вас посмотреть.

И Максим Валерьянович пошел к дверям, а мы направились по асфальтовой дороге. Мы чувствовали какую-то торжественность, как будто он только что посвятил нас в артисты. Пройдя немного, мы увидели слева белый бюст крутолобого мужественного человека. Нам показалось, что этот человек с крыльями и похож на какую-то гордую белую птицу.

То был Александр Довженко, писатель и режиссер, чье имя носит Киевская киностудия. Мы смотрели его фильмы «Земля», «Сумка дип-курьера», «Щорс» (их показывали позапрошлый год в нашем клубе). Вот это фильмы! Особенно «Щорс». Люблю такие фильмы — про героев. И «Поэму о море» мы видели, и «Повесть пламенных лет»... А «Зачарованную Десну» — и книжку читали, и кино видели. Очень интересная там прабабушка, которая ругается. Так даже наш Бурмила не умеет. Словом, Довженко мы знали очень хорошо.

И то, что сразу после «благословения» Максима Валерьяновича мы прошли мимо Довженко, придало словам старого артиста какой-то особенный вес и значительность и настроило нас еще более торжественно.

Асфальтовая дорога сворачивала влево, к большому серому зданию, а мы пошли прямо по тропке мимо каких-то длинных сараев. Возле них в беспорядке стояли возы, тачанки, сани, как на колхозном дворе. Причем некоторые старые-престарые — будто из музея взятые, а другие новенькие — только что сделаны. И совсем крепкие были, и поломанные. Стали попадаться остатки каких-то декораций: там часть стены с двумя колоннами и окном (наверно, от помещичьего дома); там поломанная лесенка с перилами — все, что осталось от какого-то капитанского мостика; а вон пушка стоит, низенькая, на колесах, со спицами, как у телеги, — прапрабабушка современной артиллерии. А в одном месте прямо кучей навалены какие-то обломки размалеванной фанеры, куски картона, черепки.

Неожиданно из-за кустов блеснула вода. Озеро. Мы подошли к нему. Обычное небольшое озеро. Настоящая мокрая вода, настоящие живые лилии, настоящая осока, настоящие ивы склонились над водой; и шаткий мостик-кладка, перекинутый с берега на берег, — тоже настоящий. И все-таки нет, не обычное озеро! Кинематографическое. Посередине плавал небольшой дощатый плот на железных бочках-понтах, и на том плоту растопырилась трехногая киносъёмочная камера, около которой возятся двое в спецовках. Тут же, рядом с кинокамерой, торчит на железной подставке головастый прожектор. А на том берегу стоят люди в таких же спецовках и держат большие деревянные щиты, обклеенные серебряной бумагой, той самой, в которую дорожные конфеты заворачивают. И этими щитами пускают здоровенных солнечных зайцев на

мостик, где стоит дореволюционный царский жандарм в мундире, с саблей. Рядом с ним мужчина в косоворотке. Оба курят и о чем-то мирно разговаривают.

На этом берегу — грузовик-фургон, похожий на те, что хлеб развозят, приглушенно ворчит, как собака, которая собирается гавкнуть. И не в моторе ворчит, а в самом фургоне. Как мы потом узнали, это был так называемый «тонваген», который записывает звук. А в траве извивались, переплетаясь друг с другом, как змеи, толстые резиновые кабели. Ух сколько этих кабелей! Одни к тонвагену тянутся, другие ныряют в озеро, прямо в воду, и у самого плота выныривают, чтоб в кинокамеру и в прожектор вползти... А еще по земле раскиданы обитые железом ящики, стоят лавки, стол какой-то. И посреди всего этого люди суетятся, кричат, ругаются. Среди них заметил я женщину в белом больничном халате. «Ну вот... Значит, и вправду небезопасное дело — киносъемка. Недаром у них в вестибюле аптекой пахнет... а тут врач...» — где-то в глубине сознания шевельнулась у меня мысль. Но дальше подумать я не успел... Уже знакомый нам лысый Женя (Евгений Михайлович), в охотничьих высоких сапогах, таких высоких, что выше некуда, топтавшийся возле кладки, вдруг увидел нас и закричал:

— Что ж вы опаздываете? Срываете мне съемку!..

И, взбаламутив воду, зашпешил на берег.

— Привет, старики!

Шлепая сапогами, он подошел к нам. Подошел, склонился, пристально взглядываясь в наши лица, потом выпрямился и сурово глянул на ассистента:

— Что это за инвалиды? Я их не знаю...

У меня замерло сердце.

— Что это такое, я спрашиваю! — уже на нас строго смотрел он. — Что вы все — с ума посходили?! Как сговорились! Тот заболел, а эти... Что это за гули? Разве я просил вас подготовить на сегодня шишки на лбу? Я шишки не заказывал!.. Такой был типаж... Я-то радовался! Испортили все дело!..

И вдруг — как будто только что и не он кричал, — тихо и дружелюбно проговорил, подморгнув нам:

— Ша, хлопцы, все в порядке... Гули, конечно, не нужны, но у нас есть для этого Людмила Васильевна... Людмила Васильевна! — позвал

она женщину в белом халате. (Та тут же подбежала.) — Людмила Васильевна, зашпаклюйте им, пожалуйста, эти... штуки. И вообще сделайте им лица.

Людмила Васильевна открыла свой чемоданчик. В нем были какие-то щеточки, кисточки, тюбики, баночки, краски, какая-то замазка, похожая на пластилин... Словом, разные причиндалы для гримирования.

«Эге,— мелькнуло у меня в голове,— я-то думал, что это врач на всякий несчастный случай, а это гример, вроде парикмахера...»

Людмила Васильевна сперва взялась за Яву, он был ближе к ней. Раз, раз, раз!.. Чем-то подмазала, подкрасила, припудрила — и шишку как корова языком слизала. Потом Людмила Васильевна взялась за меня. Было как-то непривычно и щекотно чувствовать нежные прикосновения гримера, который что-то тебе на лице мазал, растирал, да еще и пудрил (а я-то думал, что только женщины пудрятся!). Никогда ведь в жизни нас не гримировали. Это вот впервые... А когда Людмила Васильевна начала нам брови и глаза подводить, а потом еще и губы помадой губной мазнула, я не выдержал и захохотал. Вот если б мы так по селу прошли... «Тю! Тю!» — закричали бы со всех сторон, а может, и чем-нибудь нехорошим начали бы кидаться.

Будка с Валькой стояли в стороне унылые, как собаки под дождем. Они уже решили, что их не берут, что про них забыли, что они тут никому не нужны...

Скверное чувство!

Режиссер, прищурившись, наблюдал за работой Людмилы Васильевны, заходил то с той, то с другой стороны, разглядывая нас, как цыган коней на ярмарке.

Наконец сказал:

— Ну, порядок! А теперь вот этих... — и повернулся к Вальке с Будкой.

Те сразу засияли... Если б у них были хвосты, они б, наверно, завиляли хвостами.

Будка стоял во время гримировки подчеркнуто серьезно, насупив брови и поджав губы. Валька кокетничала, поглядывая украдкой в зеркало, вправленное в крышку чемоданчика. Но красивую кинозвезду из Вальки не сделали. Наоборот: по указанию режиссера Валькину современную прическу «конский хвост» ликвидировали, а волосы беспо-

рядочко взъерошили, и она сразу стала похожа на беспризорницу. Потом всех нас измазали сажей...

«Должно быть, босяков каких-нибудь будем играть», — подумал я.

— Где Клава? Где костюмы для детей? Что такое? — закричал вдруг режиссер.

— В костюмерную побежала... за платьем для девочки, — сказал кто-то.

— Не могли раньше?

— Так не знала же, что девочка будет...

— Нужно было знать... Как же так — мальчики, да чтоб не было девочек... Все вам объяснять нужно!

Валька даже засмушалась — столько шуму из-за нее.

— Я тут! Я тут! — подбегая, закричала стройная, ярко накрашенная девушка (вот это настоящая кинозвезда!). В руках она держала какую-то рвань.

— Идемте, ребята! — весело позвала она.

За тонвагеном на лавке висела наша киноодежда. Не одежда, а какое-то отрепье — в руках разлазилось, латка на латке. Я б такого сроду не надел. Но для искусства... Валька с Клавой отошли за угол тонвагена, и мы начали переодеваться... то есть перевоплощаться... А когда оделись, уже не могли удержаться и, хватаясь за животы и тыча друг на друга пальцами, стали помирать со смеху:

— Ты смотри, ты смотри на него — вот пугало-то!

— А ты, а ты! На себя посмотри! Как из тюрьмы сбежал!

— Ой, не могу! Ой, не могу! В таком дранье, и губы накрашены...

Из-за угла тонвагена вышла Валька. Она была в грязном, изорванном платье, которое едва держалось у нее на плечах. Мы разом вытянулись и склонились в поклоне:

— Здрасте, ваше благородие...

Валька взялась пальчиками за край своей «одежды» и присела, как балерины на сцене приседают. Мы захохотали все четверо.

— Хватит, хватит вам! За работу! — послышался крик режиссера.

Когда мы вышли из-за тонвагена, он повел нас по берегу озера к деревянному столу с двумя лавками, который, как это бывает в селе, стоял вкопанный в землю под развесистым деревом. Посадил на лавки, сел сам и начал:

— Значит так, старики! Картина, которую мы снимаем, рассказывает о революционных событиях на Украине в 1905 году... Вы приглашены принять участие в одном из эпизодов... Содержание эпизода такое. На мостике, над речкой, рабочего-революционера Артема догоняет жандарм, чтобы задержать. Артем бьет жандарма, жандарм летит в воду... Артем бежит... Вы — в лодке, недалеко от мостика. Рыбачите. Вы видите эту сцену, ужасно радуетесь, аж подпрыгиваете. И всё... Только радость должна быть на полную катушку. Для этого вы себе представьте, например, что вы не только вообще не любите жандармов (вы ведь дети рабочих), а что именно этот жандарм — ваш главный враг, что он вас всегда гоняет, и так далее. А ну, прорепетируем! Значит, я жандарм. Бегу за Артемом, хватаю его за руки. Артем вырывается, бьет меня в грудь. Я падаю — плюх! Ну!..

— Га-га! У-у-у! И-и-и! Го-о-о! — вскидываемся мы, размахивая руками, прыгая и горланя во все горло.

— Стоп! — поднимает руки режиссер. — Не то. Это уж слишком. Базар. Так никто из нормальных людей не радуется. Это из репертуара сумасшедших. Так вы только сами попадаете в воду, вот и все. Нужно, чтоб было естественно, убедительно.

Вот тебе и раз! Сам же велел «на полную катушку», и вдруг... слишком! Посмотрел бы он, что творится у нас в классе, когда вбегает Степа Карафолька с криком, что математичка захворала и урока не будет. Вот это катушка! Вот это радость!.. А это...

— А ну еще раз попробуем. Только серьезно, по-настоящему. Жандарм падает... Плюх! Ну!

— А!.. О!.. И!.. — слабо выкрикиваем мы, едва улыбаясь.

— Стоп! — снова поднимает руки режиссер. — Вы меня, старики, не так поняли. Это уже крайность. Так радуются только на похоронах. Неужели вы не можете нормально, по-настоящему, убедительно радоваться? Это же ваш враг! Самый заклятый! И его кидают в воду. Ведь как радостно видеть такое! Он же так измывался над вами! Стойте! Это же он вам вчера гули понабивал... Ну да, он! Что, вы забыли разве? Вчера вы читали прокламацию, наклеенную на заборе, а он стал разгонять вас, двинул раз-другой — вот вам и гули... Гад проклятый! Погань! Как я его ненавижу! — Режиссер говорил так, как будто это было на самом деле.

Слушая его, я на какое-то время поверил, что это не дядя, а и вправду жандарм набил мне шишку.

— И вот эта гадюка бежит по мостику, нагоняя Артема. А это же ваш хороший друг — Артем! — возбужденно продолжал режиссер. — Схватил Артема за руки... Артем разворачивается. Р-раз — жандарма. Тот — плюх в воду! Ну!

— Го!.. Ха! Ха!.. Иги! Ой!.. — вскинулись мы все разом в искреннем порыве.

— Во-во! Годится! Молодцы! Спасибо. Чтобы так было во время съемки. Договорились?.. Людмила Васильевна! Людмила Васильевна! (И снова подбежала женщина в халате с чемоданчиком.) Подновите им, пожалуйста, их гули. Да подрисуйте хорошенько, чтоб было видно. Придется в эпизоде на явочной квартире дать реплику про эти гули...

Пока Людмила Васильевна возилась с нами, Валька шепнула мне на ухо:

— Гордитесь! Ваши гули войдут в историю кино. Они помогают создать художественный образ.

— Да брось, — сказал я небрежно, но только для виду, чтобы скрыть гордую радость: а что ж, из-за нас даже реплику какую-то новую в фильме дают!

— Идемте, идемте! Будем начинать съемку! — сказал режиссер.

Он подвел нас к лодке.

— Грести умеете?

— А как же! — воскликнул Ява. — Мы ведь в плавнях выросли!

— Прекрасно! Значит, так. Девочка садится на носу. Ты, — показал он на Будку, — вот здесь... Ты, — взял меня за плечо, — с веслом вот тут... А ты, — обернулся к Яве, — с рулем на корме... На корме и на носу, как видите, веревки с камнями. Бросите их вместо якорей там, где скажут. И следите, чтобы лодку не снесло. И еще одно: ни в коем случае не смотрите в аппарат! Только на жандарма. А то испортите кадр.

Мы сели в лодку. Ява оттолкнулся веслом. Я гребнул раз, еще раз, стараясь это делать как можно красивее и ловчее, — пусть видят, как я умею!.. Но третий раз уже гребнуть не успел.

— Стоп! — скомандовал оператор, который по ту сторону мостика напелился на нас с плота кинокамерой. От неожиданности я дернулся,

чиркнул веслом по воде, задерживая его, и обрызгал Будку и Яву. Вот тебе и показал, как умею!

— Назад! — закричал оператор. — И немножко левее... А теперь правее... Вперед чуть-чуть... Не-нет, это много... Назад... Влево теперь... Еще немного... Хватит, хватит. Немного правее...

Минут пять, не меньше, мы вот так маневрировали под командой придирчивого оператора, пока он не крикнул:

— Сто-оп! Бросайте якоря! И сидите тихо, чтобы не сдвинуть лодку...

Ява на корме, а Валька на носу сбросили в воду камни, и лодка стала. Мы замерли, дожидаясь съемки.

— Внимание, внимание! Приготовиться! Начинаем... — слышался неожиданно зычный голос режиссера. Он уже, оказывается, стоял рядом с оператором на плоту, приставив ко рту блестящий металлический рупор. Как он очутился на плоту, мы так и не заметили — будто пришел прямо по воде, как Христос.

Жандарм и Артем побросали папироски. С берега по мостику подбежал к ним молодой человек в берете. В руках у него дощечка, сверху выкрашена полосато, как шлагбаум, а внизу черная, как классная доска и на ней мелом написано:

«А Р Т Е М»

297-1

— Внимание!.. Начали!.. Мотор! — крикнул режиссер.

Парень растопырил свой «шлагбаум» из дощечек, поднес к самому носу жандарма — шелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль первый... — крикнул молодой человек, дощечки под мышку и, пригнувшись, скорее на берег.

А жандарм с Артемом уже сцепились. Возьматься на мостике. Вот Артем резко вырвал руки, размахнулся... Бац жандарма в грудь. Жандарм — шлеп! Бултых! Ого-го! Брызги взлетели аж до неба, не то что от моего весла! Мгновение — и уже из воды торчат только сапоги жандарма. А Артема и след простыл. Забурлила вода... Глядь — вынырнула голова жандарма. Без фуражки, волосами глаза залепило, из носу течет, отовсюду течет, усы как у моржа, изо рта вода фонтаном, на полтора метра. Ух ты! Здорово играет!

— Да радуйтесь же, радуйтесь! — слышался сразу с плота отчаянный крик режиссера.



Мы вздрогнули, переглянулись растерянно, привстали... У меня не было зеркала, и я не видел своего лица, но у Вальки, у Явы и у Будки лица были, прямо скажем, глуповатые. Глаза вытаращены, рты разинуты, перекошены. Это была, конечно, не радость. Это было бог знает что.

— Стоп! — закричал режиссер. Где-то что-то щелкнуло. Ворчание тонвагена стихло. — Вы что, заснули? Кто за вас играть будет? Я? Вы ж в одном кадре с жандармом. Жандарм падает... Наплыв трансфока-тора — вы радуетесь... Я же предупреждал. Испортили мне первый дубль. И жандарму нужно переодеваться. Видите, что натворили.

Мы сидели как побитые. Мы так увлеклись игрой жандарма, что пропустили момент, когда нам нужно было радоваться. Ну что вы хотите! Это же все-таки наша первая в жизни съемка! Что ж мы вам сразу станем как Аркадий Райкин?!

Жандарм вылез из воды, погрозил нам кулаком, но без злости, усмехаясь. Еще и подморгнул. И пошел за тонваген переодеваться.

— Подвели мы их! Давайте хоть сейчас хорошо обрадуемся, — зашептал с кормы Ява.

— Ага!

— Давай!

— Конечно, — поддакнули мы все трое.

Пока жандарм переодевался, я накапливал в себе радость. Сидел и вспоминал все самое лучшее, что было в моей жизни: и как мне новые футбольные бутсы купили, и как я на баштане самый большой арбуз стащил, и как мой враг отличник Карафолька двойку по физкультуре схватил... Я поймал на себе Явин взгляд. Он смотрел на меня с ехидной улыбкой. Я догадываюсь, что он вспоминает! Он вспоминает, наверно, как я нырял при всех с дерева, зацепился трусами за сучок, разодрал их и летел в воду голый... Ну ладно, пускай вспоминает, мне для искусства не жалко! Лишь бы только съемку не срывал!

— У, гад, жандарм Европы, так тебе и нужно!.. Хи-хи-хи! — это шепчет про себя рядом со мной Будка — настраивает себя, готовится.

Мне не видно и не слышно, как готовится Валька, но я уверен, что она тоже готовится. Ух мы сейчас дадим! Ух мы сейчас обрадуемся!

Из-за тонвагена вышел жандарм в новом сухеньком мундире — будто и не падал в воду.

И вот снова они стоят с Артемом на мостике.

— Внимание!.. Начинаем... Мотор! — кричит режиссер.

И снова подбегает парень в берете, щелкает своим «шлагбаумом» и выкрикивает:

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль второй...

Ворчит тонваген. Борются жандарм с Артемом. Бац!.. Шлеп!.. Бултых!.. Жандарм в воде...

Мы вскакиваем.

— Стоп! — кричит режиссер.

Тю-у-у... Пропал такой заряд.

Оказывается, Артем, убегая, поскользнулся и упал. Он был еще в кадре. А Артем — герой и не должен падать. Герои не падают. В кино падают только отрицательные персонажи.

Виноватый Артем бормотал:

— Конечно... Накидали тут каких-то арбузных корок... И канатоходец поскользнется...

Режиссер хмурится и молчит. Главных героев фильма режиссеры не ругают. Режиссеры ругают только статистов.

Жандарм вылезает из воды, грозит кулаком Артему, но уже не усмехается и не подмаргивает. Идет за тонваген переодеваться.

И вот снова:

— Внимание!.. Начинаем... Мотор!

Щелк! — «шлагбаум».

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль третий...

...Бац! Шлеп! Бултых!

— Ура! Га-га-га! Го-го-го! — как скажанные, по-настоящему радуемся мы, радуемся не столько «по роли», сколько потому, что наконец-то нас снимают. Видим, режиссер улыбается, кивает нам, довольный. Ну все!

— Стоп! — кричит вдруг оператор. — Не годится! Ветка закрывает девочку...

Вот еще!.. Мы враждебно смотрим на Вальку, как будто она виновата, что ее закрывает какая-то ветка.

— Срубить ветку!.. Немедленно. Что за свинство! Не могут подготовить съемку! Срываете мне работу! Черт те что делается на этой студии! — кричит режиссер неизвестно на кого.

Мы сидим, гордо поглядывая вокруг. Мы не виноваты. Мы хорошо сыграли. Режиссер нам кивал и улыбался. И правда свинство, что этот дубль испорчен. Выходит, даром мы радовались.

Жандарм вылезает из воды, ни на кого кулаком не грозит, но про себя что-то бормочет — видно, ругается... Что ж, мы его понимаем. Падать в воду не легче, чем радоваться.

— Внимание!.. Начали... Мотор!..

«Шлагбаум».

Щелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль четвертый...

Бац! Шлеп! Бултых!

— Га-га-га! Урра! Го-го-го!.. И-и-и!..

— Стоп! Еще раз! Жандарм недостаточно выразительный.

Будешь тут выразительным — четвертый раз в воду шлепаться!..

— Внимание!.. Начали... Мотор!..

«Шлагбаум».

Щелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль пятый...

Бац! Шлеп! Бултых!

— Стоп!

У жандарма отклеился один ус... А что же вы хотите! Таких испытаний настоящие усы не выдержат, не то что приклеенные.

Идет за тонваген мокрый жандарм. Выходит из-за тонвагена сухой жандарм.

— Внимание!.. Начали... Мотор!..

«Шлагбаум».

Щелк!

— «Артем»... Двести девяносто седьмой... Дубль шестой...

Бац! Шлеп! Бултых!

— Га-га!.. Го-го! Ох-ох-о!.. Хи-хи!..— стараемся мы.

— Стоп! Молодцы! Наконец-то. Кажется, теперь все! Порядок! — довольно говорит режиссер. (Мы расплываемся в радостной улыбке.) И вдруг он застывает, вытаращив глаза: — Что это?! На руке?!

Я не понимаю, что это ко мне относится, и какое-то время еще радостно улыбаюсь. Будка толкает меня в бок. Я смотрю на свою руку и все понимаю...

— Ча-сы...— бормочу я.

— Что-о?! Убийца! Где ты видел, чтоб дети бедняков до революции носили часы! Ну! Зарубил мне все дубли. Ну! — каким-то плаксивым голосом кричал режиссер, потом поднес к губам рупор и уже обычным своим голосом закричал: — Все остаются на местах! Пересъемка! Пересъемка! — А потом плаксиво мне: — Снимай немедленно часы и отдай на берег! Немедленно!

У меня сразу онемело всё внутри, я опустил голову и сказал:

— Не отдам!

— А?! Что?! — не поверил своим ушам режиссер.

— Не отдам... Это не мои часы... Они уже раз пропадали. А я их сегодня хозяину отдать должен.

— Так что же, ты мне всю съемку испортить хочешь?!

— Если так, я лучше сниматься не буду. Я на берег пойду.

Мокрый жандарм, что стоял по пояс в воде недалеко от нас и слышал весь разговор, сказал:

— Ну давай уж мне эти несчастные часы...

— Ого... Какие быстрые! — говорю я и прячу руку с часами за спину, как будто жандарм хочет их силой отнять.

— Не доверяешь? — усмехается жандарм.

Я молчу.

И вдруг жандарм тихо так, тихо говорит:

— А я тебе на пляже доверил... Не побоялся...

Будто меня палкой по спине трахнули — рванулся я и рот разинул.

— Что-о?

— Не узнаешь? — улыбается жандарм.

Я вглядываюсь, вглядываюсь, вглядываюсь... Нет, не может быть. Не похож ведь совсем. Обернулся я к Яве — он только плечами пожимает: тоже не узнает.

Смотрит жандарм вокруг, кого-то глазами разыскивая, остановился взглядом на Людмиле Васильевне в белом халате, кулаком ей погрозил — его излюбленный жест — и крикнул:

— У-у... Размалевала меня так, что хлопцы собственных часов отдавать не хотят.

Вижу — все кругом смеются: и Людмила Васильевна, и режиссер, и оператор, и все-все, кто на озере. И Валька, вижу, смеется, и Будка,

и Ява уже рот растягивает. Значит, это он!.. Он, наш незнакомец из тринадцатой квартиры! Ну, я и сам начал улыбаться, а потом и говорю:

— А почему же вы такой... Сказали: «царь, царь...» — а на самом деле обыкновенный жандарм. А мы, дураки, по всему Киеву царя искали.

Еще пуще засмеялись все.

— Все правильно,— сказал жандарм-незнакомец.— Что касается царя — никакой с вашей стороны ошибки нет. Царя я таки играю. В этом же самом фильме. И царя, и жандарма — две роли. Это вот Евгений Михайлович так задумал. А вообще извините, дорогие, что я вам столько хлопот задал своими часами. Поверьте, совсем не хотел... Очень я тогда спешил... На репетицию. Мне Максим Валерьянович рассказал про ваши переживания... Что же вы не догадались зайти в милицию пляжа? Я же туда специально забежал — предупредил и адрес свой оставил...

— Ну хватит, хватит... — улыбаясь, перебил его режиссер. — Потом побеседуете. У вас-то хорошо кончилось, а вот у меня... Бегите переодевайтесь. Пересъемка! И все из-за ваших часов.

— Боюсь, что ничего с переодеванием не выйдет, — вздохнув, сказал царь-жандарм. — Это был последний сухой мундир. — И он двумя пальцами взял себя за край галифе, с которых стекала вода.

— Как?! Клава! Клава! Где сухие мундиры для жандармов? Чтоб сейчас же мне были сухие мундиры! Жду! Немедленно! Вы срываете мне съемку!

— Евгений Михайлович! В костюмерной было шесть мундиров. Все шесть подмочены. — Клава засмеялась. — Больше взять негде. Нужно ждать, пока высохнут.

— Что ждать? Что ждать? Солнце не будет ждать. Солнце вон уже садится! — кричал режиссер, хотя солнце еще и не думало садиться.

— Евгений Михайлович, — спокойно сказал оператор, — я думаю, переснимать нет необходимости... Я уверен, что часов в кадре не было. Я бы их заметил... Вот проявим пленку, и вы убедитесь...

— А если были?

— Тогда переснимем.

Оператору все-таки посчастливилось уговорить режиссера, и тот объявил перерыв на обед.



— После перерыва снимаем эпизод «Встреча Артема с Марией».

— Вы, друзья, не убегайте,— сказал нам царь-жандарм.— Я сейчас переоденусь и выйду. Я сегодня больше не снимаюсь. Марию играю не я... Так что не убегайте... Сегодняшний день нам нужно отметить. Максим Валерьянович, вы подождите меня у проходной. Хорошо?

Максим Валерьянович, который, уже давно, с третьего дубля, сидел на стуле около тонвагена, закивал, улыбаясь.

Мы пошли переодеваться. А потом подошел ассистент, тот самый, который приезжал за нами, и вручил нам всем по три рубля. Оказывается, статистам, которые принимают участие в съемке, платят в день по трешке. Вот это здорово! Мало того, что ты в кино снимаешься, славу добываешь, тебе еще и платят за это!

Прощаясь с нами, Евгений Михайлович сказал:

— Спасибо вам, дорогие друзья! За помощь. Молодцы! Создали очень убедительные образы революционно настроенных детей бедняков периода 1905 года. Если придется переснимать, мы вас вызовем. До свидания!

И он каждому из нас пожал руку. Эти рукопожатия плюс трешки произвели на нас очень хорошее впечатление. Настроение у нас было блестящее. По-моему, с такого настроения начинается счастье.

У памятника Пушкину Олег Иванович — так звали нашего незнакомца из тринадцатой квартиры — взял такси, и мы поехали. Поехали туда, куда не только «до шестнадцати не...», а, наверное, и «до восемнадцати не...» — мы поехали в ресторан. В тот самый, что стоит на горе над Крещатиком, в наивысшей, как говорят, точке Киева, в ресторан «Москва». И через все шестнадцать этажей поднялись скоростным лифтом на самую крышу.

Весь Киев лежал у нас под ногами. Игрушечные машины и троллейбусы сновали по Крещатику, а на тротуарах сутились какие-то муравьи, а не люди. И видно было так далеко, что, кажется, еще немного — и увидишь родную Васюковку...

Мы сели за столик, и к нам сразу подбежала молоденькая официантка, еще издали улыбаясь и здороваясь с нами, а вернее, с Олегом Ивановичем и с Максимом Валерьяновичем. Так здороваются только с теми, кого хорошо знают, уважают и любят.

Олег Иванович начал заказывать всевозможные кушанья. Долго заказывал — официантка две страницы в блокноте исписала.

Мимо нас пробежал какой-то дяденька-официант и тоже приветливо поздоровался, кивая Максиму Валерьяновичу и Олегу Ивановичу. Официант держал на руке большой поднос с тарелками, от которых шел пар и очень вкусно пахло.

— Что это так пахнет? — тихо спросил меня Ява. (Мы же с утра ничего не ели — даже про бутерброды свои забыли.)

Официантка услышала и повернула к Яве свою улыбку:

— Это шницель. Хотите?

Ява покраснел, как мак. Вышло, что он напросился на этот шницель.

— А как же... Всем шницели непременно. Мы же голодные, как волки! Целый день снимались... — громко, на весь ресторан, сказал Олег Иванович.

Тут уж мы все четверо покраснели — от удовольствия и гордости.

Официантка куда-то побежала и начала носить на наш стол разные бутылки и тарелки.

Мы «кутили» в ресторане, как настоящие взрослые артисты. Мы ели многочисленные закуски: шпроты, сардины, ветчину, галантин (это такая куриная колбаса), салаты, икру, крабы... Ели шницель... Ели пирожные, конфеты и мороженое...

Максим Валерьянович и Олег Иванович пили коньяк. А нам дали понемножечку шампанского, от которого на нас только икота напала. Мы прикрывали салфетками свои рты и внимательно слушали, что говорил Олег Иванович:

— Позвольте выпить за ваши успехи, юные друзья! За ваши первые шаги по тернистому пути искусства! Того, кто ступает на этот путь, ожидают и великие муки, и великие страдания... и великое счастье. Позвольте выпить за ваше счастье!

Мы позволили.

Мы сидели и украдкой озирались во все стороны. Какие-то усатенькие пареньки и накрашенные девчата, что сидели за соседними столиками, перешептывались, поглядывая на нас.

Это была слава.

Та слава, о которой мы так давно мечтали.

Так вот она какая — слава! Ресторан, столики с бумажными салфет-



ками в вазочках, весь Киев под ногами, галантин, шницель, шампанское и икота... Хорошо!

Выпив за наши успехи и за наше счастье, Олег Иванович и Максим Валерьянович оставили нас в покое и завели речь о каком-то Степане Степановиче, который «ни биса не понимает, извините, в искусстве и только мешает создавать истинно художественные фильмы».

Хоть и был тот Степан Степанович нехорошим человеком, но мы чувствовали к нему благодарность, так как благодаря ему мы могли наконец очнуться от своего счастья и уделить должное внимание пирожным, конфетам и всем тем лакомствам, которые стояли на столе. И все это было такое вкусное, такое вкусное, что у нас три дня потом болели животы.

А через три дня, когда выздоровели, мы начали аккуратненько транжиривать свои впервые заработанные трешки. Мы их тратили и коллективно — вместе с Будкой и Валькой, и индивидуально — вдвоем с Явой.

Мы с Явой будто переродились после того «съемочного дня» — ходили погруженные в мечты, задумчивые и как будто сонные.

Нас не интересовали захватывающие игры в густых зарослях возле Лавры (Будка звал нас в свою компанию, которая оказалась совсем не зловредной и каждый день играла во что-нибудь интересное). Нас не манили тихие прогулки с Валькой и ее подругами.

Нас не радовали все многочисленные радости «Городка развлечений», куда широкую дорогу открывали нам наши трешки.

Другого, совсем другого жаждали наши сердца.

Кулисы, декорации, грим, приклеенные усы и бороды, огни рампы, прожектора, киносъемочные аппараты и... аплодисменты, аплодисменты (ох как жаль, что на киносъемках не аплодируют!) — вот чего хотелось нам нестерпимо, безумно, до боли...

Мы выходили на дорогу и смотрели, не едет ли за нами ассистент из киностудии. Но ассистент не ехал. На студию нас больше не приглашали. Ни съемки, ни пересъемки для нас не было.

Тогда мы отправлялись на улицы и долго ходили по городу, оста-

навливаясь у театров, разглядывая сверкающие афиши и вздыхая.

А потом шли и с горя пропивали свои трешки на газированной воде с сиропом.

И вот однажды, сидя в павильоне «Соки — воды» на бульваре «Дружба народов» за стаканом доброго лимонада, мы... Ну конечно, это была Явина идея. Как все гениальное, она была очень проста, и удивительно, что она не родилась у нас раньше. Организовать театр!.. Свой собственный театр в Васюковке! Не какой-нибудь драмкружок, который готовит одну захудалую постановку к празднику, а потом распадается. Нет! Театр! Настоящий, постоянный театр с богатым репертуаром... С эмблемой (во МХАТе чайка, а у нас может быть селезень, дикий гусь или хотя бы аист), со швейцаром в гардеробе (дед Саливон — во кандидатура для этого!), с билетами от рубля — первый ряд, до двадцати копеек — галерка. Обязательно! Бесплатно только паршивые драмкружки выступают... Словом, настоящий художественный театр. А что? Сельская «Третьяковка» может быть, а сельский МХАТ нет?

Больше в Киеве делать нам было нечего. И хоть мы еще должны были гостить не меньше недели, мы в тот же день застонали, что страшно соскучились по дому, уговорили тетку взять билеты и начали собираться.

Великие дела ждали нас в родной Васюковке.

## Глава XV

### ПОГИБЕЛЬ ЯВЫ СТАНИСЛАВСКОГО И ПАВЛУШИ НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО. И ВСЕ-ТАКИ МЫ ЖИВЕМ!

И вот мы лежим навзничь в траве, смотрим в небо, где насмешливо подмаргивают нам звезды, и страдаем. И зачем мы придумали этот самый ВХАТ на свою голову!

Ну как теперь показаться людям после такого позора! Как смотреть им в глаза...

И это же не в первый раз. Ведь был уже сигнал! Злая доля подкрадывалась к нам уже давно.

Впервые почувствовали мы это в то время, когда показывали в клубе

новый, только что выпущенный на экран фильм Киевской киностудии имени Довженко «Артем».

О том, что в этом фильме главные роли революционно настроенных детей играют артисты Рень и Завгородний, давно знало не только наше село, а и три соседних: Пески, Яблоневка и Дедовщина... И так как фильм показывали сначала у нас, нетерпеливые наши родичи из Дедовщины, Яблоневки и Песков притарахтели в тот вечер на телегах, мотоциклах и велосипедах в Васюковку. В клубе яблоку негде было упасть из-за родичей.

Мы с Явой сидели в первом ряду в белых рубашках и новеньких, скрипучих ботинках рядом с председателем колхоза Иваном Ивановичем Шапкой и завклубом Андреем Кекало. На афише, которая уже три дня висела на дверях клуба, огромными буквами было написано, что после просмотра будет «встреча с участниками картины». Андрей Кекало считал это «пунктом номер один» в плане работы на май. Мы три дня не играли в футбол — писали конспект встречи и волновались.

И вот начали крутить кино. Мы вытянули вперед шеи и замерли. Кино крутилось.

Уже прокрутилось полкартины. Нас не было...

И вдруг мы с ужасом увидели, что знакомого нам жандарма Олега Ивановича, «нашего жандарма», убили революционеры. Мы похолодели... Как же это так? Как же он, мертвый, будет задерживать Артема на мостике? И как же теперь будет с нами?

Судорожно вцепившись руками в стулья, мы смотрели на экран. Мы еще рассчитывали на чудо — что жандарм оживет (чего только не бывает в кино!). Но чуда не случилось. Жандарм не ожил. Не было в фильме ни речки, ни мостика, ни бац, шлеп, бултых, ни революционно настроенных детей бедняков... Не было того эпизода, в котором мы снимались... Не было совсем.

И когда в зале наконец вспыхнул свет, мы сидели в своих белых рубашках и новых, скрипучих ботинках жалкие и несчастные. Но наши родичи были хорошие, благородные и добрые люди. Вместо того чтобы смеяться и ехидничать, они, наоборот, успокаивали нас.

— Ничего, ничего... Наверно, у них что-нибудь случилось такое, что... — сказал двоюродный дядя из Дедовщины:

— А скорее всего по техническим причинам. Из-за какого-нибудь

брака... Сами же рассказывали, с каким скрипом оно снималось,— сказал троюродный брат из Яблоневки.

— Ага, ага... Пленка засветилась или еще что... Всяко бывает,— поддакивала пятиуродная тетка из Песков.

Один только завклубом Андрей Кекало поглядывал на нас косо — мы ему сорвали «пункт номер один» в плане культработы на май.

Родичи как в воду глядели. Через несколько дней пришло из Киева письмо от Вальки, где она писала, что режиссер Евгений Михайлович передает нам сердечный привет и очень извиняется, что эпизод на мостике пришлось, к сожалению, вырезать, так как он «не монтировался» (а вообще, вышло здорово, он нам очень благодарен за помощь и прямо плакал, когда вырезал,— это его собственные слова).

Вот такой пшик вышел у нас с кинематографом...

Казалось, этот серьезный сигнал со стороны прихотливой артистической судьбы должен был предостеречь нас, предупредить об опасности. Но мы были легкомысленными шмендриками, похлеще Хлестакова, и не обратили на это внимания. И вот тебе нă! Лежи теперь и плачь, и грызи землю, и волком вой на рогатый месяц...

И не так нам больно и горько из-за своего собственного провала, из-за своего собственного позора и стыда. Что там наши личные боли и страдания! Сколько раз переживали, переживем и теперь!

Главное, что доставляет нам наибольшие, наибольшущие, наигоршие страдания, так это то, что мы вели себя как провокаторы, как предатели, как жалкие подлые штрейкбрехеры... Мы же сорвали весь спектакль, подвели всех. Многомесячная работа всего ВХАТа из-за нас выброшена на помойку...

Много всяких грехов было на нашей совести. Но никогда не были мы предателями. С наибольшим презрением и отвращением мы сами всегда относились к предателям. И вот...

— У-у, позорники несчастные, сопляки задрипанные! — сквозь зубы ругает нас Ява.

— Зазнайки поганные, барахольщики паршивые! — сквозь зубы ругаю нас я.

— Чемоданы безголовые, а не артисты...

— Индюки ошипанные...

— Конечно, было стыдно стоять и блеять, как бараны, слов не зная.

Но мы должны были оставаться на сцене и как-нибудь выпутываться.

— Ну да, должны были наконец набраться мужества и спросить суфлера, что там говорить дальше. Ну посмеялись бы люди малость, и спектакль бы продолжался. А так...

Нам даже страшно представить себе, что сейчас творится в клубе... Вот, должно быть, вышла на сцену Галина Сидоровна и упавшим голосом сказала, что спектакль отменяется, так как все видели, что Бобчинский и Добчинский сбежали, как предатели, со своего боевого поста. Зал возмущенно гудит. Какие только слова не сыплются на нашу голову! Родные матери и те отказываются от нас в эту минуту. Что же делать теперь? Чем же помочь беде? Какой выход найти из нашего безвыходного положения?

Нет выхода...

Кинуться с моста в воду, утонуться?

Никто ведь даже не пожалеет... Скажут: так им и нужно, штрейк-брехерам сопливым! Нет выхода. Нету.

Придет завтрашний день, и мы узнаем, что малость многовато на себя взяли, переоценили свою роль в жизни. Мы узнаем, что спектакль совсем не сорвался, что городничий после нашего побега не растерялся и сказал: «Так я и знал, что эти никчемные трусы Бобчинский и Добчинский испугаются и убегут. Хорошо, что я перед этим встретил их на улице и они мне все рассказали...» И ловкач Карафолька дивно пересказал все то, что должны были говорить мы с Явой. И спектакль пошел-поехал как по маслу. Актеры ловко перестраивались на ходу, и то, что должны были говорить мы, говорил кто-нибудь из них. Зрители ничего даже и не заметили. Будто Гоголь написал «Ревизора» без Бобчинского и Добчинского. Спектакль прошел с неистовым успехом. Аплодировали так, как никогда не аплодировали никаким настоящим приезжим артистам... А исполнитель роли Хлестакова Коля Кагарлицкий, тихий, забитый Коля, которого даже не все соседи знали, в один этот вечер прославился на все село. Прославился так, что еще немного и его именем называли бы одну из сельских улиц. И тогда мы вдруг поняли, что для того, чтобы добиться успеха, нужно прежде всего долго-долго и настойчиво трудиться, как трудился Коля Кагарлицкий. Эта старая и такая

известная истина, которую повторяли, вбивали, втолковывали нам на протяжении всей нашей жизни и родители, и учителя, и детские писатели и которую мы всегда так легкомысленно понимали: «А, это для дураков, для неспособных!» — эта старая истина вдруг дошла до нас. Дошла до самой глубины души. Дошла так, как доходили правила арифметики: раз — и все ясно. Долго с грустью будем размышлять мы над суровой неумолимостью этой истины. Но все это — завтра. Завтра!..

А сегодня мы еще ничего этого не знаем... Мы лежим навзничь в траве и тихо стонем.

Покатилась в небе звезда.

Зашелкал в кустах беззаботный влюбленный соловей. Неподалеку в свинарнике счастливо хрюкает спросонья свинья, вспоминая с удовольствием что-то свое, свинячье.

Где-то далеко-далеко, в Дедовщине, громко лают собаки.

Пахнет молодой свежей зеленью, медвяным цветом и коровами.

Прекрасная и неповторимая земная жизнь торжествует, продолжая полет в предрассветном просторе вселенной...

Вдруг Ява вскакивает, садится, обхватывает колени руками и утыкается в них подбородком. В глазах у него прыгают бесенята.

— Артистов из нас не получилось — это точно! — решительно говорит Ява. — Я теперь сам ни за что не хочу быть артистом. Пусть даже мне платят в день сто рублей — не хочу. Мне такая нервная работа не подходит. Проваливаться... переживать... Это просто вредно для здоровья. Знаешь, у меня идея, Павло...

«Павло»? Я уставился на него. Никогда он не называл меня Павлом. Что-то сейчас произойдет... Очень уж, должно быть, серьезная идея, раз он так официально меня называет.

— Денисович... если уж так, — подсказываю я.

— Можно и Денисович... — сказал он, даже не улыбувшись. — Так вот, Павло Денисович, прошлым летом у нас с вами было, помоему, немало приключений. Так? Так. Если бы эти приключения были не с вами, а с кем-то другим и этот кто-то рассказал бы их вам, было бы интересно? Так? Так вот у меня идея: мы садимся и пишем книгу про наши приключения... Напишем книгу, заработаем кучу денег и поедем в кругосветное путешествие. На материале этого путешествия снова напишем книгу, снова получим кучу денег и снова махнем куда-нибудь.

И закрутится машинка... И мы станем писателями... А что — плохо? Писатели... Мы с тобою... Стоим и даем автографы... Карафольке, Коле Кагарлицкому, Гребенючке... А? Здорово! Как мы раньше не додумались? Писатели... Это, брат, не то, что артисты... Артистов тысячи, а писателей — единицы. Вот сколько ты писателей знаешь? Ну, Пушкин... Ну, Шевченко... Ну, Глебов, Квитка-Основьяненко, Котляревский... Ну, Толстой... Ну, Чехов... Горький... Это классики. А из современных? Ну, Гайдар... Ну, Чуковский... Михалков... Ну, Забила, Бычко, Кава... Ну, Близнеец... И — все! Писатели — это, брат, такие люди, что... А в детстве, между прочим, были самые обыкновенные пацаны, вроде нас... А Горький, так тот вообще босяком был...

Я слушаю и смотрю на Яву с восхищением. Эх, Ява! Ну что за парень! Какой он все-таки умница! Как хорошо иметь такого толкового друга!

— И главное, риска никакого, — продолжал толковый Ява. — Никаких провалов. В крайнем случае пришлют на доработку... Как Андрею Кекало.

Наш сельский поэт, завклубом Андрей Кекало, уже сколько лет рассылает свои стихи во все республиканские, областные и районные газеты Украины. Столько писем, как он, никто в селе не получает.

Когда его спрашивают: «Ну, как поэтические дела?» — он гордо отвечает: «Прислали на доработку...»

Дорабатывает он, дорабатывает, а там, глядишь, в какой-нибудь районной газете — раз! — и напечатали.

— Ага, конечно, конечно, — говорю я с жаром. — Доработка так доработка! Подумаешь... Все дорабатывают. Ничего страшного.

И мы тут же начинаем обсуждать Явину идею.

Как будем писать?

Очень просто — от руки. Как Пушкин и Шевченко. Некоторые писатели пишут теперь на машинке. Мы не будем. Во-первых, с нашим умением одну страницу три дня придется мурыжить. Во-вторых, кто нам позволит тюкать в сельсовете на машинке. Правда, есть еще у Кекало, но он свою машинку конкурентам не даст. Он сам каждый день тюкает.

В какой форме будем писать?

Прозой... Только прозой. Никаких стихов. И всё — как было. Ничего не привирая. Разве что, как оно у писателей называется, «художественные детали». И писать будем от первого лица, так всегда правдивее выходит. Да и смешно называть себя самих «они». Мы — это мы. Но все

время писать «мы» тоже как-то не того... Каждый в отдельности ничего сделать не сможет. Ни чихнуть, ни почесаться, ни в носу поковырять. Нужно будет писать «мы чихнули», «мы почесались», «мы поковыряли в носу»... Глупость какая-то! Чего это я должен чихать или чесаться, когда мне не хочется! Только «за компанию»? Да и совсем оно не художественно получается.

Думали мы, думали и надумали, что, сочиняя вдвоем, будем писать вроде как от одного лица. А другого уже называть по имени. Первую книжку будет писать один «Я», вторую — другой.

Кому первым быть «Я»? Тут же бросили жребий. Выпало мне. Ява помрачнел. Ему очень хотелось быть первым «Я»: и идея-то его, и вообще он привык всегда верховодить. Он, наверно, рассчитывал на мое благородство, что я предложу: «Будь ты, Ява, первым». Но я не предложил. Мне не хотелось на этот раз быть благородным, мне хотелось быть «Я», тем более раз честно выпало. Я же не махлевал. Ява, конечно, не стал спорить.

— А название знаешь какое будет? — сказал он. — «Незнакомец из тринадцатой квартиры, или Похитители ищут потерпевшего». Здорово? И подзаголовок: «Приключенческая повесть». Читатели в очереди стоять будут...

— Здорово, — сказал я. Хотя название мне не совсем понравилось. Очень уж детективное, несерьезное. Мне хотелось бы какое-нибудь романтическое, возвышенное... Но изменять Явино название после того, как он не стал «Я», — было бы свинством.

Так и осталось: «Незнакомец из тринадцатой квартиры, или Похитители ищут потерпевшего. Приключенческая повесть».

Мы начали обсуждать план книжки. Значит, так. Начинаем с того, как приехали в Киев. Пишем и про корыто в метро, и про Явино ухо, и про Будку... Потом — про пляж, про незнакомца из тринадцатой квартиры, про часы, про утопленника... Словом, про все, что с нами случилось... И кончаем тем, как мы провалились на «Ревизоре». Честно! Писатели прежде всего должны быть честными.

Мы поднимаемся с земли и расправляем плечи. И нам кажется, что головами мы упираемся в самые небеса. Ява одним ухом даже какую-то звезду сбил — во-он покатилась...

Ну — все!



Завтра мы покупаем в сельмаге большую общую тетрадь в линейку,  
три авторучки (одна про запас!), садимся и пишем.

Пишем, пишем, пишем...

Потом посылаем...

Потом дорабатываем, дорабатываем, дорабатываем...

Потом снова посылаем...

И — все!

Ну, смотрите же!

Мы еще покажем человечеству, на что мы способны!

Подождите!

Вы еще увидите, кто такие Ява и Павлуша!

.....

А потом я все-таки буду летчиком!



# Тайна ТРЕХ НЕИЗВЕСТНЫХ

Удивительная история,  
рассказанная  
Лвой РЕНЕМ





## Глава I

### О ТОМ КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ С ПАВЛОМ ДЕНИСОВИЧЕМ

**З**наете ли вы Павла Денисовича? О нет, вы не знаете Павла Денисовича: чудный, необычный человек Павел Денисович. Добрый, воспитанный, умный. А какой смекалистый! Это ведь он придумал штуковину для расстегивания пуговиц. После ее испытаний Степан Иванович Карафолька три дня не мог сесть.

Прекрасный человек Павел Денисович! Когда он проходит по своей родной Васюковке, все собаки лают от восторга, а куры, гуси и прочая птица почтительно разлетаются в разные стороны, давая ему дорогу.

Прекрасный человек Павел Денисович! Его знают не только в окрестных селах и в районном центре, но даже и в Жмеринке, где он иногда бывает у родичей. А какая рогатка у Павла Денисовича! Бог ты мой,

какая рогатка! Николай-чудотворец, святой угодник! Необычайная! Несравненная! Невиданная! Разрази меня гром, если у кого-нибудь в мире найдется еще такая! Кожича — из материнского шлепанца, рогатулька из могучей орешины, а резинка — из футбольной камеры. Катапульта, а не рогатка! Ах ты господи, отчего же у меня нет такой рогатки!

Очень хороший также человек Иван Васильевич — тот самый, что заблудился в кукурузе и вывесил дедовы подштанники на телевизионной антенне.

И собаки точно так же лают, а куры и гуси так же разлетаются в разные стороны, когда Иван Васильевич проходит по селу.

Но Павел Денисович и Иван Васильевич не совсем сходны между собою.

Павел Денисович очень любит вареники с вишней и может скушать их целую миску.

Иван же Васильевич больше всего любит мороженое и как-то отведал за один присест восемь порций.

У Павла Денисовича большие оттопыренные уши.

У Ивана же Васильевича — совсем наоборот. Зато у Ивана Васильевича весь нос и щеки в рыжих веснушках.

Павел Денисович говорит не спеша, растягивая слова.

Иван Васильевич строчит, как из пулемета, — мысли едва поспевают за его словами, а иной раз мысль так и не может угнаться за словом, и летит себе слово с языка Ивана Васильевича этаким легким порхающим мотыльком без всякого смысла.

Но оба — и Павел Денисович, и Иван Васильевич — любят поговорить. И, бывает, сойдясь вместе, наплетут такого, что сами удивятся, замолкнут и некоторое время смотрят друг на друга, хлопая глазами. Но только не было еще случая, чтоб они растерялись и не нашли, как выкрутиться.

Их имена все время на устах у классного руководителя Галины Сидоровны. «Изумительны эти двое, — говорит она, — просто бесподобны! Если я не доживу до нового учебного года, то только из-за их оригинальности».

А как дружили Павел Денисович с Иваном Васильевичем! Боже мой, как дружили! Так могут дружить только великие люди или герои. Друг без друга — ни на шаг. Водой не разольешь!

И вот эти прекрасные люди поссорились. Что там поссорились,— как говорится, горшки побили. Да как! Вдребезги, на мелкие черепки... Не соберешь и не склнешь!

Это было так невероятно, что, если б мне за месяц до того сказали, что Павел Денисович и Иван Васильевич будут проходить по улице, не замечая друг друга, как незнакомые, я просто посмеялся бы над таким человеком. Ведь это никак не укладывалось в моей голове. Но это так. Поверьте мне на слово.

Тем более, что Иван Васильевич (а по-уличному — Ява) — это я сам. А Павел Денисович — мой лучший друг, мой верный и неизменный дружище Павлуша, с которым ой-ой-ой сколько всего пережил я за свои тринадцать лет!

Как же это случилось?... Ну, видно, придется рассказать все по порядку.

Как-то на большой перемене Павлуша мне говорит:

— Знаешь, давай запишемся в кружок рисования.

— Это зачем? — спрашиваю я удивленно.

— Как «зачем»? Рисовать будем. Интересно же.

— Может, — говорю, — и интересно, кто умеет, а нам-то что?

— Ты же собирался когда-то стать художником!

— Ну и что?

Верно, был момент, когда мне вдруг втемяшилось стать художником. Давно еще, в первом классе. Когда на уроке рисования учитель Анатолий Дмитриевич похвалил меня при всех за то, как я нарисовал курочку Рябу. Но это было случайно. Курочка Ряба осталась первым и последним моим шедевром в живописи. Больше учитель рисования меня никогда не хвалил, да и сам я через несколько дней уже мечтал быть директором кондитерской фабрики. Кстати, как раз тогда выяснилось, что я дальтоник, то есть не различаю зеленого и красного цветов, путаю их. С тех пор все очень любят удивляться этому. Даже мама. Покажут что-нибудь и спрашивают: «Скажи, какого это цвета?» И когда я неверно отвечаю, всплескивают руками: «Ты смотри!.. Ты правда не видишь или прикидываешься?»

Сперва меня это злило, а потом привык. Ну какой из меня художник, если я цветов не различаю! Это все равно, что безголосый певец! И Павлуша, как будто ничего не знает, говорит мне такое. Вот уж честное слово!..

Я смерил его взглядом и спросил с насмешкой:

— А ты что, почувствовал в себе талант?

— При чем тут талант?.. Просто можно было бы...— Павлуша отвернулся и покраснел.— У меня вот, говорят, что-то получается...

— Ах, говорят!.. Ха-ха-ха! Уж я-то знаю, кто это говорит. Она! Ну конечно же, она!

Если бы вы только видели, что это за штучка! Тюлька какая-то, мелочь пузатая. И что он в ней нашел, никак не пойму! Когда ее нет — человек как человек, но стоит ей появиться — враз меняется. Начинает крутиться, на месте не усидит. Смеется каким-то деланным, придурковатым смехом, кричит, всех перебивает, никому слова не дает сказать. И говорить начинает так, будто у него вареник во рту — каким-то сдавленным горловым басом. Наверно, ему кажется, что так он совсем взрослый и мужественный... Смотреть противно! И из-за того, что с ним такое творится, я ее еще больше не терплю.

Ну конечно же, она накрутила его с этим рисованием, Гребенючка! А кто ж еще? Ведь она ходит в изокружок. Даже староста кружка. И воображает себя великим скульптором. Вылепила из пластилина две какие-то фигурки и думает, будто уж бога за бороду схватила. А когда была выставка работ кружковцев, посетители просто смеялись и, разглядывая Гребенючкиного казака на коне, насмешливо спрашивали: «А кто это на собаке едет? А?» (Правда, это я спрашивал, но так оно и было — вылитая собака, а не конь.)

Как-то на одном уроке Павлуша написал ей записочку и, должно быть, что-то там такое изобразил, потому что я сам слышал, как она ему сказала: «А знаешь, у тебя выходит. Ты чувствуешь форму и хорошо передаешь движение». Ишь знаток нашелся! Набралась от Анатолия Дмитриевича всяких научных слов и воображает. А Павлуша рот разинул, уши развесил и верит. Ну, а она видит, что он лопух, и играет с ним, как кошка с мышкой. И тянет его в этот кружок, потому что, наверное, хочет, чтоб он ее портреты рисовал, как Анатолий Дмитриевич.

Наш учитель рисования Анатолий Дмитриевич был без памяти влюблен в Галину Сидоровну. И все время рисовал ее портреты. Все стены в его хате были завешаны портретами Галины Сидоровны. Из-за этих портретов все село знало про его несчастную любовь. Вот и Гребенючка хочет, чтоб и Павлуша так же...



Я уже собирался вывести ее на чистую воду: «Ты думаешь, дурачок, что у тебя есть талант...» — как тут, будто из-под земли, выросла Гребенючка.

— Не слушай его, Павлуша! — закричала она. — Он просто завидует тебе. Вот уж у него точно никаких способностей нет! У него одни хулиганские выходки в голове. Он только и знает... А у тебя способности... Он на тебя плохо действует...

Тут я повернулся к ней и говорю:

— Вот я сейчас как начну действовать по твоему портрету... Будешь тогда таять!

А она:

— От тебя только этого и можно ожидать. Хулиган!

— Молчи! — сказал я, замахнувшись.

И тут Павлуша схватил меня за руку:

— Не тронь!

— Что значит — не тронь? Она будет обзывать, а я...

— Обзывайся и ты, а рукам воли не давай! Она же тебя не бьет.

— Пусть бы только попробовала, я бы ее... Да я бы из нее шашлык сделал! Ха! Чтоб какая-то мартышка меня ударила! Ха!

— Она не мартышка, а человек! — басом сказал Павлуша.

— Ах, так! — вскипел я. — Ну и целуйся со своим человеком! Тьфу! — Я вырвал руку, повернулся и пошел прочь.

И еще слышал, как она сказала:

— Вот и хорошо! Хватит тебе под его дудку плясать!

Что он на это ответил, я уже не разобрал.

## Глава II

ИЩУ НАПАРНИКА. ГЕНИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ  
АНТОНЧИКА МАЦИЕВСКОГО. У МЕНЯ ИДЕЯ

Сперва я даже не очень беспокоился. «А, ничего, — думаю, — завтра помиримся».

Мы не раз, бывало, ссорились с Павлушей, но через день-другой кто-нибудь из нас заговаривал, и ссора тут же забывалась. Обычно заговаривал тот, кто был больше виноват. Я считал, что на этот раз больше

виноват он. А что?! Во-первых, знает же, что я дальтоник, и лезет со своим рисованием. Во-вторых, поднял на товарища руку. Еще немного — и ударил бы. За что, спрашивается? «Нас на бабу променял», — как поется в известной песне о Стеньке Разине. Так там хоть княжна была персидская, а тут...

И я надеялся, что завтра Павлуша одумается и все будет опять же как в той песне: «И за борт ее бросает в набежавшую волну». Ну, я, конечно, не требовал, чтоб он обязательно ее из лодки в речку выкидывал. Но пусть бы хоть выкинул ее из головы...

Но прошел день, другой, третий... А он все не заговаривал. Он отворачивался точно так же, как и я, и не смотрел в мою сторону. А на четвертый день узнаю, что этот пентюх все же записался в изокружок.

Это уже была измена. Такое я не прощаю. У меня внутри все клокотало, как борщ в горшке. Ах ты перебежчик, предатель несчастный! Бросил меня, дальтоника, а сам подался в художники, в живописцы! Знает же, что я не могу туда, физически не могу. Это все равно что бросить друга на поле боя. Ах ты Иуда, Иуда Завгородний! Только так теперь тебя и буду звать. Ты думаешь, я заплачу? Да? Ну нет, не увидишь ты моих слез! Не увидишь никогда. Думаешь, я без тебя не проживу? Ха! Сначала ты будешь плакать, ты приползешь ко мне и будешь умолять, чтоб я тебя простил! Я ж тебя знаю — ты без меня помрешь от скуки через несколько дней среди этих кисточек, красочек, фанерочек...

И я почувствовал немедленную потребность выкинуть что-нибудь такое, чтоб мир пошатнулся от удивления. Чтоб у этого Иуды от зависти в носу защекало.

Непременно нужно что-то выкинуть — какую-нибудь штуку. И причем немедленно. Но что? Запустить что-нибудь в небо? Было.

Запускали уже с этим Иудой на бумажном змее кувшин со сметаной.

Поймать что-нибудь такое и... Тоже было.

Поймали как-то с Павлушей, то есть с Иудой, в лесу совенка и выпустили во время лекции... Вот ведь! Когда не нужно, так разных этих идей всегда, что называется, целая торба, а когда нужно, то хоть лбом в стену бейся...

Кроме того, нужен напарник. Без напарника, одному, отмочить что-



нибудь сногшибательное не так-то легко, а во-вторых, неинтересно. И я пошел на выгон к ребятам.

Они сидели кружком и разговаривали о чем-то страшном.

Я молча подсел к ним.

— Надо купить, не торгуясь, на базаре котелок,— зловещим голосом говорил Вася Деркач.— Только обязательно не торгуясь: сколько бы за него ни запросили — тут же покупать. Так вот, взять такой неторгованный котелок и сделать в дне маленькую дырочку. Поймать летучую мышь. Пойти в лес в полночь. Найти муравейник. Положить туда летучую мышь. Накрыть котелком. И сразу быстро уходить, не оглядываясь, а то летучая мышь начнет дико кричать... На другой день, тоже в полночь, пойти на это же место, поднять котелок... Там будут только косточки от летучей мыши. Разгрести их палкой. Найти одну такую, что похожа на вилку, а другую — как крючок... И вот если ты хочешь, чтобы какой-нибудь человек от тебя отцепился, то его нужно тихонько тронуть этой вилкой. А если хочешь привлечь, то нужно зацепить крючком...

«Не иначе, как Гребенючка, сатана, зацепила Павлушу таким вот крючком, а от меня оттолкнула вилкой»,— подумал я.

— Брехня! — пренебрежительно хмыкнул Карафолька.

— Чего ж ты не оттолкнешь математичку, чтоб она к тебе не цеплялась и двоек не ставила?

Ребята засмеялись.

— Легче всего сказать «брехня»,— надулся Вася Деркач.— Ведь ты же не проверял?

— Да что там проверять! Ты бы еще учил нас, как чертей ловить или призраков. Неандерталец! Это все пережитки! — сказал Коля Кагарлицкий.

Вася Деркач был такой темный... ну прямо, как... гудрон. А все под влиянием своей двоюродной бабушки. Эта бабушка, бабка Мокрина, была страшно религиозной и суеверной. Она олицетворяла в нашей Васюковке темные силы невежества. Так говорили про нее лекторы. И в каждой антирелигиозной беседе приводили ее как пример пережитков прошлого.

— А все-таки эти привидения как-то, знаете...— проговорил Антончик Мацевский.

Вчера в клубе показывали чешский фильм «Призрак замка Моррес-

вилл», фильм-комедия, но привидений и всякой чертовщины там столько, что в зале все время охали и ахали. После таких фильмов обычно тянет поговорить о страшном. И хочется показать, что для тебя всякие там ужасы — тыфу, чепуха, да и только.

— Вообще в наш космический и атомный век все эти привидения в замках — чепуха на постном масле, — снова отозвался Коля Кагарлицкий. — Наука это объясняет элементарно...

«С таким, конечно, никакую штуку не выкинешь, — подумал я. — Дуже грамотный».

— С одной стороны, конечно... Квантовая механика... Лазеры... — брякнул Вася Деркач и, опустив глаза, покраснел.

Балда! Понятия не имеет, что такое квантовая механика, что такое эти лазеры, а туда же!

Ну, с этим тоже каши не сваришь.

— А главное — кибернетика, — авторитетно заявил Степа Карафолька. — Наука сейчас на грани создания электронного мозга — машины, которая полностью заменит разум человека.

«Тебя первого нужно было бы заменить какой-нибудь машиной, чтоб не воображал! — подумал я. — Если бы мне даже сто миллионов давали, я б его в напарники не взял».

— А все-таки... — несмело повторил Антончик Машиевский. — Кибернетика... Лазеры-шмазеры... Я понимаю... Но... Вот вы мне скажите, что с человеком делается после смерти? Вот жил-жил человек, все чувствовал, думал, мечтал... И вдруг умер и — нет... Нет ничего! Вот как это может быть, чтоб не было ничего? Должно же что-то быть. Вот даже по закону физики. Ничего из ничего не возникает. Ничто без следа не исчезает, а просто переходит в другую форму... Закон Ломоносова. Железно! Так что ж, каждый из вас верит, что он умрет и ничего от него не останется? Ничего и никогда он не будет чувствовать, думать? Вот скажите мне! Только честно!

— А ну тебя, пришибленный, с твоими дурацкими разговорами! Нашел о чем говорить — о смерти!

— Тыфу! Замолчи! — возмущенно замахал на него руками Карафолька.

Наш отличник Степа Карафолька не терпел, просто не выносил таких разговоров. Очень уж он дрожал за свое здоровье. Даже когда чихал,

то всегда сам себе говорил тихонько: «Будь здоров, Степан!» И разговоры о смерти, наверно, считал небезопасными для себя — как будто тот, кто говорит, уже самым разговором мог накликать на него несчастье и помешать долголетию.

Но Антончик на Карафолькины проклятия особого внимания не обратил.

— Нет, правда,— сказал он.— Вот если по закону физики ничто не исчезает, то почему не могут мысли там... чувства... ну, все, что называют душой... перейти после смерти в привидение?

Все разинули рты и переглянулись.

— Я читал, что вот в Англии привидения стоят на учете,— продолжал Антончик.— Точно. Сам читал в журнале «За рубежом». И в самом Лондоне и в других городах. Живут они в древних замках и регулярно появляются. Вот как это объяснить? А?

— Так то ж... то ж при капитализме,— возразил Коля Кагарлицкий.— Они и в бога верят. Так что ж из этого?!

— Да! А вот легенда про Горбушину могилу,— не сдавался Антончик.— Живет же она у нас в народе. Сколько уж лет... Лет триста, не меньше. И говорят ведь, что видели люди, и не раз...

И тут меня будто ударили. Вот!

— Ребята! Идея! — сказал я.— Чем так языком трепать, предлагаю проверить легенду про Горбушину могилу. Собственными глазами убедиться, правду или нет говорят. Пойти ночью в пятницу и проверить.

Все снова разинули рты и переглянулись. Эту легенду про Горбушину могилу знал каждый с малолетства.

### Глава III

#### ЛЕГЕНДА О ГОРБУШИНОЙ МОГИЛЕ

Страшная это была легенда. Будто бы давным-давно, еще во времена казачества, возвращаясь из турецкого похода, возле нашего села в долине разбили свой стан запорожцы под командой сотника Горбуши. И случилась тогда удивительная история. Неожиданно исчез ночью мешок золотых червонцев, вся казна казачья, все драгоценности, все трофеи, взятые в трудном походе. Хранителем казны у запорожцев был

старый казак Богдан Захарко. Сотник Горбуша обвинил его в краже. И как ни клялся старый Захарко, как ни божился, призывая в свидетели всех святых, что не виновен, но доказать ничего не мог. И приказал сотник Горбуша казнить Захарко. Отрубили казаку седую голову. И на том же месте похоронили. А сотня двинулась дальше, на Запорожье.

Прошло время, сотник Горбуша возвратился в эти места и купил там землю, заложил имение, построил дворец. И стал жить пан паном — денег у него было, что навозу. Он швырял их на ветер, ежедневно пируя и гуляя с соседями. Ведь это он сам украл тогда сокровища запорожцев и закопал темной ночью в долине под ивой...

Но не принесли счастья сотнику Горбуше краденые казацкие червонцы. Не прошло ему безнаказанно злодейство. Темными ненастными ночами стал являться ему призрак невинно казненного старого Захарко. В длинной белой рубаше, без головы, подходил он к Горбушиной кровати и наклонялся, протягивая руки, то ли угрожая, то ли прося о чем-то. И так страшен был этот безголовый призрак, что Горбуша вскакивал с кровати и бежал куда глаза глядят, пока не падал обессиленный. Наутро его находили где-нибудь далеко в степи исцарапанного, окровавленного, едва живого.

И приказал Горбуша раскопать Захаркову могилу, спалить останки, а пеплом выстрелить из пушки, развеять его по ветру! Надеялся, что это избавит его от ужасных ночных видений, отгонит прочь дух Захарко. Начали раскапывать могилу. Раскопали — голова Захарко есть, а тела нет. Побледнел, как полотно, сотник Горбуша, аж задрожал весь. «Копайте,— кричит.— Копайте, пока не найдете!»

Семь дней и ночей без перерыва копали сотниковы слуги. Выкопали огромную яму, метров сто в ширину и двести в длину. Но тела старого казначея так и не нашли. А на седьмую ночь вдруг дно ямы разверзлось, забил источник, и сделалось озеро, которое и стало называться — Захарково.

Еще пуще после этого помрачнел сотник Горбуша, одичал совсем, еще больше пил, заливая вином страх в своем сердце. Но темными грозowymi ночами все так же являлся ему безголовый призрак и протягивал руки. И Горбуша срывался и бежал куда глаза глядят. И как-то раз после такой ночи на берегу Захаркова озера под ивой, где когда-то закопал Горбуша краденые сокровища, слуги нашли его мертвого и... без головы.

Опознали сотника только по рубашке да по шраму на плече от турецкой сабли. А голову, как ни искали, нигде найти не могли. Так его без головы и похоронили. И поставили над могилой часовню. А немного погодя как-то сама собой загорелась усадьба сотника Горбуши и сгорела дотла. Женат он не был и никаких родичей не имел, и поэтому земля его отошла в казну. И осталась от Горбуши только вот эта часовня. Одиноко стоит она среди поросших травой могил,— ветхая, замшелая кирпичная часовня с прорезанными еще, наверное, лет двести назад узкими оконцами, с полуоткрытыми проржавевшими железными дверцами, которые уже ни закрыть, ни открыть — на полметра вросли в землю... И когда начинает смеркаться, возле часовни уже не увидишь живой души. Люди обходят ее за версту. Говорят, что это место нечисто. Будто бы в каждую пятницу (потому что как раз в пятницу был казнен Захарко) ровно в полночь являлся возле часовни белый призрак без головы. То приходил к Горбуше старый казначей напомнить о себе. И из-под земли слышался стон и приглушенный крик ужаса. Горбуша и в могиле не знал покоя, мучился, искупая свой грех.

Но считалось, что увидеть призрак может не каждый. Только если ты что-нибудь украл и придешь после этого в пятницу в полночь к часовне, тогда тебе явится призрак, говорили люди.

Ну, а из-за того, что таких дураков немного, которые бы после кражи бежали ночью на кладбище повидаться с призраком, то живых очевидцев мы не знали. Только слышали рассказы, что кто-то когда-то видел: или чей-то прабабушкин свояк, или прапрадедушкин кум.

## Глава IV

**БЕРУ В НАПАРНИКИ АНТОНЧИКА МАЦИЕВСКОГО.**

**КРАЖА АППАРАТА. В РАЗВЕДКУ НА КЛАДБИЩЕ**

— Ну, так что? Бойтесь? Г-герои! — презрительно глянул я на ребят.

— А иди ты!.. Да ну тебя!.. Тоже мне! — загомонили все.

— Это ж еще и украсть что-то надо, а то ведь...

— А что? И украсть! — не колеблясь, сказал я. — Раз для науки нужно — можно и украсть. А что? Вы понимаете, если выяснится, что

Антончик прав и что душа по закону физики превращается в призрак,— что тогда будет... Переворот в науке!

— Да что ты мелешь! — отозвался Карафолька.— Какой переворот? В какой науке? Если тебе с перепугу что-то померещится, пригрезится, как ты докажешь?

— Как? Да сфотографирую!

Эта мысль мелькнула в моей голове так неожиданно, что я и сам удивился.

— А что? А что? — загорелся я.— Если призрак и вправду существует, то он должен выйти на фото. Обязательно.

— А что?.. Вот, наверно, так и нужно... А? — неуверенно сказал Антончик.

— Дурило! Из тебя философ — что из гнилой пакли кнут! — оборвал его Карафолька.— Если б можно было сфотографировать привидение, так это давно бы уж сделали.

— Ты думаешь? — упорствуя, сказал я.— Если хочешь знать, великие открытия всегда совершались неожиданно для современников. И эти чудики современники сперва всегда смеялись над гениальными Ньютонами и Эдисонами, а потом удивлялись, как же это все просто и как это они раньше сами не додумались.

— Ой, держите меня, а то упаду! — не своим голосом закричал Карафолька.— Эдисон нашелся! Переэкзаменовщик задрипанный! Скажи лучше, сколько будет дважды два.

Ребята засмеялись.

— Смейтесь, смейтесь! Смех полезен для здоровья! — спокойно сказал я.— Слушай, Антончик... раз они такие... давай с тобой вдвоем. А? Ты, я вижу, все-таки хлопец что надо! С тобой можно в разведку идти! А они...— Я махнул рукой.

Антончик покраснел от удовольствия. Несколько дней назад, когда мы еще не поссорились с Павлушей, он был «тюлька маринованная», потому что не прошел по перилам мостика, как это делали мы с Павлушей.

— Идем! — кивнул я Антончику.— Они еще пожалеют...

Карафолька насмешливо закричал нам вслед:

— Только пусть вам призрак автограф на портрете поставит, а то наука не поверит! Ха-ха-ха!

И ребята снова захохотали.

Но сбить меня с панталыку им не удалось. Я вошел в раж и уже горячо верил в успех нашего дела.

Когда, отойдя немного, Антончик не очень уверенно спросил: «Ты что, серьезно хочешь сфотографировать привидение?» — я с таким жаром начал его убеждать, как это все здорово у нас получится, будто не он, а я сам придумал теорию превращения по закону физики человеческой души в привидение. Антончик слушал-слушал, кивал головой, поддакивал, а потом скривился и сказал:

— Ничего все-таки не выйдет. Это ведь аппарат нужен не простой, а такой... Какой-нибудь специальный. Чтoб ночью снимал. Моя «Смена» не возьмет.

Я вскипел.

— Ах ты, т-т... — хотел сказать, по привычке, «тюлька маринованная», но вовремя смекнул, что сразу же потеряю напарника, и сказал: — Г-герой! Тоже мне! Просто хороший аппарат нужен. «Киев» или вроде этого.

— А где взять?

— Как — где? Украсть, конечно!

Антончик даже споткнулся:

— Ты что?!

— Все равно ведь нужно что-то украсть. Чтобы призрак явился. Так украдем фотоаппарат.

— Да ну еще!.. Можно где-нибудь пару яблок стянуть, кавун или еще что-нибудь, — в крайнем случае по шее надают, а за фотоаппарат еще в тюрьму посадят.

— Да мы же потом вернем, чего ты?

— Ну да! А как сцапают! Доказывай тогда, что ты хотел вернуть.

— Дрейфило! Да я один буду красть. Ты только покараулишь.

— А у кого? — уже спокойнее спросил Антончик.

— Да у кого же?! У Бардадыма.

— Ну-у... Ты что?! — Продолговатое лицо Антончика еще больше вытянулось. — Тот как сцапает — руки-ноги повыдергает, точно!

Я и сам знал, Гришка Бардадым, двухметровый верзила-десятиклассник, кулаком забивал гвозди да еще был, как говорится, в кипятке купанный: слово ему скажи — он уже заводится. Его все мальчишки боялись. И вот как раз у него был самый лучший в селе аппарат

«Киев» — с телеобъективом, с пленками такой чувствительности, что сам Фарадеевич, наш васюковский Эдисон, говорил, будто этим аппаратом можно снимать даже то, что зарыто в землю. Бардадым увлекался фотографией, его снимки часто печатали в нашей районной газете. Фотоаппаратом своим он страшно гордился и, конечно, очень просто мог за него повыдергать руки-ноги. Но если уж фотографировать призрак, то только Бардадымовым аппаратом. А что до риска... Что ж... это даже хорошо. Уже сама кража аппарата у Бардадыма — не какое-нибудь пустячное дело, и оно наверняка станет известно всем. А мне ведь и нужно, нужно доказать этому лопуху Павлуше, кого он, тютя, променял на какую-то индюшку ошипанную. Чтoб он плакал во-от такими слезищами в свою подушку, чтoб мучился, страдал и каялся. А я в его сторону и не посмотрю. Пусть кается! Пусть! Чтoб знал, как предавать друга. Пусть плачет! Для этого можно и рискнуть.

— Только, наверно, уже на той неделе придется, — с надеждой сказал Антончик. — Ведь сегодня уже как раз пятница, а мы не успеем и украсть, и все остальное... А?

— Сегодня, — твердо сказал я. — Вот прямо сейчас и пойдем.

— Да чего так спешить? Это ведь такое дело... Нужно все обдумать, рассчитать.

— Что там рассчитывать! Пойти и украсть, вот и все. Айда!

Я просто так сказал, не задумываясь. А вышло, будто я наперед все знал, — как в воду глядел. Антончику даже караулить меня не пришлось.

Бардадымово окно было открыто, на стене у окна висел аппарат. Ни в хате, ни во дворе никого не было. Протягивай руку и бери. Я так и сделал. И мы с Антончиком огородами рванули к речке.

— Вот здорово! Ну честное слово! — прямо захлебывался Антончик. — Никто из хлопцев не осмелился, а мы... Да что хлопцы, — никто б во всем селе! Никто бы вообще на свете... А мы... У Бардадыма! Скажи! Вот ведь... Правда? А?

Антончика распирало от гордости.

И тут у речки мы неожиданно увидели Павлушу.

Он сидел на берегу, держал на колене продолговатую фанерку и что-то мазюкал на ней кисточкой.

Увидев его, Антончик метнул на меня взгляд и ощерился:

— Гы-ы! Художник!



Он знал, что мы поссорились, и хотел сделать мне приятное — старался изо всех сил: кричал, кривлялся и пританцовывал! Антончик раньше сам дружил с Павлушей. Но после того, как он бросил Павлушу в трудный момент на баштане, когда мы играли в фараона, тот перестал с ним водиться. И теперь Антончик из вредности издевался над Павлушей. Это было мерзко и противно, и не стоило бы его поддерживать. Но я поддержал. И тоже злорадно загоготал. Я, может, и не стал бы гоготать, если бы не эта проклятушая фанерка. Я сразу заметил — то была крышка от посылки. На обратной стороне ее черной краской был написан адрес:

Село Васюковка,  
ул. Гагарина, 7  
Гребенюк С. И.

Сердце мое так и забилося. Ну, всё! Эх, ты! На Гребенючкиной фанерке рисуешь. На семейной, так сказать, фанерочке. От посылки, которую им прислала какая-нибудь ихняя тетя Мотя. Так вот же тебе: — Ха-ха-ха-ха!!!

Он посмотрел на меня долгим взглядом, и столько в этом взгляде было укора и горечи, что мне даже... даже...

А ничего мне не «даже»! Можешь себе смотреть сколько хочешь! И можешь рисовать на Гребенючкиных фанерках сколько влезет, и можешь вообще... Но скоро ты узнаешь!

Я крепче прижал под рубашкой Бардадымов «Киев». Скоро...

— Ты тут, художник, краски переводишь, а мы...

— Цыц! — с досадой перебил я его. — Идем быстрее.

— Да-да, ведь подготовиться нужно... Такая операция! — многозначительно подмигнул Антончик — и не мне, а Павлуше. Вот трепло! А в общем, пусть помучается. Он ведь любопытный — страх! Уж я-то его знаю!

С каменным лицом я прошел мимо Павлуши, даже не взглянув на его фанерку, хотя меня так и подмывало посмотреть, что же он там намалявал. Но на какой-то миг я все-таки скосил глаза и успел заметить, что он рисовал куст и чуть поодаль — лужу. Нашел, что рисовать! Хоть бы уж иву срисовал, с которой мы в речку ныряли. Историческая ива! Я на ней рекорд поставил — с самой вершины в воду сиганул. И этого

рекорда никто так и не побил до сих пор! А то — куст... Хотя... может быть, под этим кустом Гребенючка сидела. Его Дульсиней! Ну и провалились вместе с нею, со своей Дульсинеей!

Я был так возмущен, что совсем не чувствовал страха от того, что мне может влететь за кражу. Страх пришел лишь тогда, когда, забравшись в кусты, мы с Антончиком начали разглядывать аппарат. Вот это была техника! Ну просто что надо! Я хоть и мало понимал в аппаратах, усек это с первого взгляда. Антончик разбирался в этом деле лучше меня. У него была ученическая «Смена», он делал ею паршивенькие снимки, но воображал себя большим специалистом. Он забрал у меня фотоаппарат, начал крутить его в руках и, словно меня и не было рядом, восторженно бубнил себе под нос:

— Классный аппарат... Автоматическая экспозиция... Оптика. Вот это оптика! А затвор какой удобный! Такой плавный спуск!

Он то и дело прикладывался глазом к аппарату и наводил его то на меня, то за кусты куда-то вдаль. И все время восторженно ахал.

Мне стало противно. Я решился на кражу, рисковал, из меня Бардадым, может, теперь руки-ноги повыдергает, а он тут ахает, распоряжается, да еще и привидение, видно, думает снимать собственноручно. И получается, что он герой, а я так... сбоку припека. На кой мне нужна такая самостоятельность! Нет уж!

— Дай сюда! Снимать буду я! Ты мне все покажешь, что нужно делать, а сниму я сам. Давай!

Антончик нехотя протянул мне фотоаппарат:

— На! Только так сразу не научишься. На это нужно несколько месяцев...

— Может, несколько лет? — ехидно спросил я. — Какой умный! Сам же говорил, что здесь все автоматическое, только наводи и щелкай.

— Да нужно же знать, как наводить, ловить в кадр, как выбирать освещение и многое другое!

— Ага... ловить в кадр? Нам не на фотовыставку. Лишь бы в этом кадре был призрак... И вообще, не заводи меня, а то...

Антончик сразу присмирел и начал показывать мне, как наводить, что поворачивать и как нажимать спуск. Я очень быстро это освоил. И для практики снял Антончика на фоне речки, где паслась на берегу корова. А потом еще крупным планом свою грязную, в цыпках ногу.

Больше фотографировать не стал — оставалось всего десять кадров. «А вообще-то и этих вполне хватит, — решил я, — вряд ли привидение станет долго нам позировать. Хорошо, если посчастливится хоть раз щелкнуть».

До ночи я спрятал аппарат в сене на чердаке, и мы с Антончиком пошли на кладбище в разведку. Нужно было выбрать удобное место для наблюдений и определить пути подхода, чтобы не было потом непредвиденных помех и неприятных неожиданностей. Вы же знаете, что ночью на кладбище пугает все: и куст может показаться человеком, и самая обычная кошка — чертом (если сверкнет глазами), а если не знать дороги и нечаянно свалиться в какую-нибудь яму, то и вовсе с ума спятить можно, думая, что в могилу падаешь! Так что разведка тут нужна обязательно.

Кладбище находится на краю села. С улицы огорожено высокой глухой оградой, посередине которой стоят тяжелые дубовые ворота, что всегда закрыты на огромный висячий замок («Чтоб покойники не разбежались», — шутит дед Саливон). Но если бы покойники и вправду захотели разбежаться, то могли бы это сделать очень просто, ведь загорожено кладбище только с улицы, а со всех других сторон никакой ограды нет. Отпирались ворота очень редко — только когда кого-нибудь хоронили. И тогда, отверженные, они выглядели необычайно торжественно и значительно — это были ворота, отделявшие этот свет от того, живой, гомонящий, подвижный — от света неподвижного, безмолвного...

А так, изо дня в день, ворота имели обычный, будничный, совсем не кладбищенский вид. Может быть, потому, что на них висел почтовый ящик. Кто и когда его повесил, я не знаю, но висел он давно. И повесили его, должно быть, потому, что больше тут повесить было негде: на всей длинной-предлинной улице — только низенькие плетни да загородки из жердей. А почта с другим ящиком была на противоположном конце села, за три километра отсюда.

Насчет этого почтового ящика дед Саливон шутил: «Туда можно бросить письмо на тот свет. И дойдет. Быстрее, чем до Жмеринки».

И еще эти ворота имели некладбищенский вид, наверное, потому, что за ними, чуть вправо, ближе к хате деда Саливона (усадыба деда граничила с кладбищем), росла гигантская сосна и посередине ее голого

ствола, там, где он искривляется и от него отходят в стороны два сука, было гнездо аиста, сооруженное, конечно, не без дедовой помощи. И насчет аистова гнезда дед Саливон тоже шутил.

«Это,— говорил он,— не просто аисты. У них соцсоревнование с безносой. Она людей косой подсекает, а они, вишь, всё новых свеженьких младенцев подкидывают. И человечество растет. Уж к четырем миллиардам подошло. А в двухтысячном году будет шесть. Смерть отступает, жизнь побеждает».

И как это дед Саливон мог без конца шутить, каждый день видя перед собой кресты и могилы! Неприятное все же соседство. Да еще этот страшный Горбушин склеп почти у самого порога. Две крайние вишни из дедова сада ветками касаются стен гробницы.

Конечно, удобней всего добраться до Горбушиной могилы через усадьбу деда Саливона. Не идти же со стороны поля, через все кладбище.

У деда в доме как раз никого не было. Дед — на баштане, а бабка его на речку пошла, на пляж (к ним племянник с детьми из Одессы приехал, мы видели, как она их повела). Можно было спокойно прикинуть маршрут на местности. Значит, так: с улицы заходим не к деду Саливону, а сперва к Карафольке (так удобнее: у деда — плетень, зацепиться можно, а у Карафольки — жерди). Карафолькиным огородом пробираемся в дедову картошку, проходим мимо свинарника, перелезаем через погребню и вдоль пасеки — в сад (вот только бы улей не повалить, иначе не поздоровится). В саду залезаем в кусты смородины, и всё. Отсюда Горбушина могила как на ладони. И главное — мы даже не на кладбище, а в садике возле людей. В хате не только дед с бабкою, но и гостей полно: племянник с женой и двое маленьких ребятишек. В общем, ничего страшного. Не сравнить, как мы с Павлушей запорожца, предка деда Саливона, выкапывали или как в Киеве в Лавру ходили. Я повеселел.

— Все будет в порядке! Идем, Антончик! Нужно малость подремать, чтобы к ночи не сморило.

Мы вылезли из кустов на улицу. И тут встретили Карафольку. Он шел домой, держась рукой за лоб, и лицо у него было такое, как будто он только что откусил яблоко-дичок.

— Ой, хлопцы,— воскликнул он,— там такое творится, такое творится! У Бардадыма кто-то его «Киев» украл. Он уверен, что пацаны.

Прибежал к нам. «Кто, кричит, взял, гады? — И прямо трясется весь.— Признаетесь, кричит, прошу. Не признаетесь — найду, руки-ноги по-выдергаю...» И, по-моему, Ява, он на тебя думает...

Меня всего сразу охватила какая-то противная слабость... И руки-ноги уже как не мои, будто их и вправду повыдергали.

Карафолька принял руку со лба. На лбу сияла здоровенная синяя шишка.

— Что это у тебя? — спросил Антончик.

— А-а...— замялся Карафолька.— Обо что-то зацепился и упал... А ты, Ява, ему лучше на глаза не попадайся, серьезно... Ну, я пошел, приложу что-нибудь холодное, а то...— Он скривился и, схватившись уже обеими руками за шишку, шмыгнул к себе во двор.

Некоторое время мы молча шли по улице. Глаза у Антончика были как у кота, которого загнала на грушу злая собака. Он уже несколько раз вздыхал, и я чувствовал, что он сейчас что-то скажет. И он сказал:

— Слушай, Ява, а может, признаться... И отдать ему аппарат, а то, знаешь... А?

Он все же был трус, этот Антончик Мациевский. Я не мог говорить, так как еще не справился со своей слабостью. Только отрицательно замотал головой.

— Как хочешь. Мне-то что...— пожал плечами Антончик.— Я просто хотел, как тебе лучше. А то ведь знаешь...

Это он намекал, что аппарат своровал я и мне отвечать, а его, мол, хата с краю. Вот что!..

Павлуша бы так никогда не сказал.

Я посмотрел на Антончика, как на какую-нибудь паршивую козявку, и прошедил:

— Если ты такое дрейфило, так я могу и один.

Тот замахал руками:

— Ну чего ты сразу! Какой горячий! Уж и слова сказать нельзя. Это я просто так. Мы же завтра с утра и отдадим, и все... Это Карафолька, дрейфило, паникует... Где встретимся?

— Возле клуба, в одиннадцать...

— Все! Ясно! Я даже ложиться не буду, чтоб не проспать... Ну, до вечера! — И он побежал к своей хате, петляя и озираясь, будто за ним кто-то гнался.

## Глава V

### ПРИВИДЕНИЕ. ВНИМАНИЕ! СНИМАЮ!

Дома дед Варава встретил меня словами:

— Тебя Гришка чего-то спрашивал, Бардадым. Сказал, как придешь, чтоб к нему зашел.

Как это часто бывает в минуту опасности, я даже не испугался. Просто все во мне напряглось, и в голове волчком завертелась мысль: что делать? Надо немедленно забрать аппарат с чердака и дать тягу из дому.

— Да-а,— безразличным тоном сказал я.— Это он собрался вечером идти на рыбалку. Ловить с фонарем. Что-то там такое придумал, хочет попробовать.

— И лучшей компании, чем ты, не нашел? — покосился дед в мою сторону.

— А я знаю? Просто, наверно, из-за того, что лодчонка у них легкая, а помощник нужен... И чтоб весил немного и в рыболовном деле соображал...

Ой, только б не завратся! Дед мой брехню за пять километров чует. Нужно не давать ему расспрашивать, самому нужно что-нибудь спросить.

— А вы, диду, не знаете, у нас на чердаке где-то было... такое... ну... чтобы фонарь к корме прикрепить. Я вот полезу, найду...

И, не дожидаясь дедова ответа, начал быстро карабкаться на чердак. Сердце во мне болталось, как пороссячий хвост. Скорее-скорее-скорее! Что, если Бардадым сейчас снова придет!

Я выхватил из-под сена аппарат, сунул его под рубаху — и вниз.

— Ой, что-то живот заболел! — скривился я, отворачиваясь в сторону, и, не давая опомниться деду, юркнул мимо него за овин, а там, пригибаясь между подсолнухами и кукурузой, на улицу — и за село, в рошу...

До позднего вечера, уж пока совсем не стемнело, слонялся то в роще, то в степи, то в кустах по-над речкой.

Я никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Худо мне было, ох, как худо! Я боялся всего, как трусливый заяц. Мне даже казалось, что у меня уши шевелятся, когда я, озираясь, прислушивался к малей-

шему звуку. Только бы не попасться кому-нибудь на глаза! И как это воры живут на свете? Ведь это не жизнь, а мука адская! Все время прятаться, ждать, что тебя вот-вот схватят, все время только и думать о своем преступлении...

Бедные воры! Несчастные люди!

Когда уже совсем стемнело я, крадучись вдоль плетня, направился к клубу. Я специально назначил Антончику это место, потому что на клубе есть часы. Нам нужно быть ровно в двенадцать. А часов у меня нет. Красть еще и часы — это уж было бы слишком!

Возле клуба безлюдно. Сегодня пятница, и ни кино, ни танцев в клубе нет. У нас кино три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, а в воскресенье — танцы. Часы показывали без пятнадцати одиннадцать.

Я забрался в кусты напротив клуба и начал ждать.

В одиннадцать Антончик не пришел.

«У него ведь тоже нет часов, ничего страшного, есть еще время», — решил я.

В четверть двенадцатого Антончика не было.

«Наверно, не может выйти из дому, ждет, пока заснут», — решил я.

В половине двенадцатого с темной улицы послышались шаги.

Он?!

— «Нас-с оставалось только тр-рое...» — вполголоса пропело из темноты. Это возвращался из чайной пьяненький Бурмило.

И снова тишина.

Без четверти двенадцать мимо клуба торопливо пробежала чья-то собака.

Антончика не было.

Вот свинья! Не пришел! Сдрейфил. Нет, Антончик — это не напарник. Как был тюлька маринованная, так и остался.

Павлуша бы не подвел.

Эх, если бы сейчас со мной Павлуша! Совсем бы другое дело...

Но ждать больше нельзя. До деда Саливона отсюда идти минут десять, не меньше.

Я вылезаю из кустов, разминаю затекшие ноги и еще с какой-то последней надеждой вглядываюсь в темноту. Может, все-таки идет Антончик... Нет, не идет.

И я трогаюсь с места.

Иду по улице и почему-то спотыкаюсь на ровном месте.

Эх, если бы сейчас со мной Павлуша! Все было бы по-другому.

И чего ему не хватало? Ведь так нам было хорошо вдвоем! Так было здорово помечтать вместе о мировой славе!.. Столько сил понапрасну потратили мы для ее достижения... И вдруг он бросил меня и пробивается к славе один. Ну разве ж это не предательство! А что, если он и вправду станет знаменитым художником? Разве это по-товарищески? Станет там каким-нибудь лауреатом, а я так и останусь дальтоником, который зеленое от красного не отличает.

Вот и сейчас. Ну куда я иду? И зачем? Фотографировать привидение! На Горбушину могилу. Смех! Поверил, что душа и разум человеческий по закону физики превращаются в привидение. И кто это сказал? Тоже мне классик выискался! Философ-теоретик! Антончик Мациевский, дрейфило и растяпа!

Какие там привидения! Никаких привидений у нас и в помине нету. Подумаешь, в Англии... Да за границей у империалистов чего не бывает? У них и ку-клукс-клан, и гангстеры, и привидения, конечно... А мы в космос раньше всех полетели и точно знаем, что ни бога, ни черта и никаких привидений нет.

Так что — может, не идти?

Эх, если б можно было!..

Ведь завтра же ребята дознаются — засмеют. И для чего же я тогда аппарат крал? Ведь Бардадым конечности из меня повыдергает.

Пойду. Известно, никаких привидений там нет, но для очистки совести пойду.

Погода испортилась. Поднялся ветер. По небу стремительно неслись клубящиеся темные тучи. И полная луна, которая еще полчаса назад освещала все вокруг, теперь едва проглядывала светлым пятном, а то и совсем исчезала.

Но я подумал, что плохая погода для привидений как раз самая хорошая. Во всех книжках они являются чаще всего в непогоду, когда дует ветер, хлещет дождь, бушует пурга.

Пригнувшись, я пролезаю между жердями и, как аист переставляя ноги (чтоб меньше шуршать), осторожно крадусь Карафолькиным огородом. Вот уже и дедова картошка.



Тихо. Все спят. Только в хате деда Саливона кто-то заливисто, с выкрутасами храпит: то густо и тяжело, как старая лесопилка, то высоко и тоненько, будто лобзиком выпиливает. Должно быть, племянник-одессит. Очень уж складно, интеллигентно, по-городскому. А из свинарника ему в тон подхрюкивает свинья. Я даже развеселился от этого дуэта. И стало мне совсем не страшно. Чего это я, дурак, боялся? Вот сейчас дойду до часовни, минут пять подожду, шелкну несколько раз часовню, чтобы ребята не сомневались, что я тут был,— и домой. Я загодя снял с объектива крышку, поставил палец на кнопку затвора. Чего там ждать пять минут? Можно и сразу шелкнуть и уходить. Вон люди уж десятый сон видят, а я, как дурак, в такую погоду (ишь какой ветер!) по кладбищу шатаюсь. Вот уж придумал! Вот учудил! Павлуша и бровью не поведет. Только хмыкнет пренебрежительно: «Подумаешь, кладбище! Очень оригинально! Как будто мы с тобой и не ходили уже раскапывать могилу запорожца, предка деда Саливона, и в Киеве в Лавре ночью не были. Постыдился бы!»

И мне действительно стало стыдно, что я на самом деле ничего оригинального-то и не придумал.

Не буду, конечно, ждать ни минуты. Дойду до часовни — и сразу назад.

Я прошел мимо свинарника, перелез через погребню и на ощупь, чтоб не опрокинуть ульи, двинулся в садик.

Вон уже в конце его вырисовывается на фоне неба Горбушина часовня.

И вдруг... Холодные, скользкие мурашки потянули мою душу по спине вниз, в пятки. Но и в пятках она не задержалась, выскочила и ушла в землю. И я оцепенел без души, пустой, как барабан. Ничего во мне не осталось, ничегошеньки... кроме страха.

У Горбушина склепа стоял... призрак. Белый призрак без головы. Стоял, гневно размахивая руками. А из склепа слышался приглушенный стон.

Я мотнул головой.

Призрак не исчезал.

Я протер глаза рукой.

Привидение было на месте. Старый казацкий казначей Захарко ходил у могилы своего коварного убийцы и мстительно грозил кулаком.

Я ущипнул себя за руку (может, это снится мне). Больно. Значит, не сплю.

Призрак стоял, трагически размахивая руками. Белый. Без головы. Я видел его удивительно отчетливо на черном фоне часовни. А вон что-то темное возле шеи — это, наверно, пятна крови.

Вдруг показалось, что он приближается ко мне. А я не могу сдвинуться с места от страха. Прошла секунда, другая, третья... Нет, не приближается. Топчется у часовни и грозит кулаками. А сквозь шум ветра явственно слышен из-под земли стон и плач сотника Горбуши.

Я уже готов был пуститься наутек, как вдруг вспомнил про фотоаппарат, который сжимал в руке.

Снимай, дуралей, это же то, из-за чего ты шел сюда! Снимай, ну! Это же...

Я поднес аппарат к глазу, навел на привидение и щелкнул.

Ну, сейчас исчезнет...

Но призрак не исчезал.

Это противоречило всем моим представлениям о призраках и привидениях.

И тут мне стало просто не по себе.

Я начал понемногу пятиться к ульям. А глазами впился в привидение, не сводя с него взгляда. Я не мог повернуться к призраку спиной. Мне казалось, что тогда он кинется на меня сзади и схватит руками за горло. Это уж закон. К привидениям нельзя поворачиваться спиной. Они этого страшно не любят.

Только стукнувшись задом об улей и услышав, как угрожающе загудели пчелы, я на миг оторвал взгляд от призрака, чтобы высмотреть путь для бегства. Продолжая все время пятиться, я перелез на ошупь через погребницу<sup>1</sup>. И уже когда зашел за свинарник, лишь тогда, в последний раз кинув взгляд на призрака, повернулся и задал стрекача.

Загородку я перескочил с ходу, даже не зацепив верхней жердины. Такому рывку мог бы позавидовать даже колхозный жеребец Электрон.

Я бежал по улице, все время оглядываясь, не гонится ли за мной безголовый призрак. И временами мне казалось, что сзади во тьме что-то белеет. Тогда я включал сверхзвуковую скорость, так что даже ветер в ушах уже не свистел.

<sup>1</sup> Погребница — передняя часть погребя, свод под ступеньками, ведущими в погреб.

Я не мог идти спать в хату, но на дворе оставаться было боязно. Тогда я залез в сарай, где стояла наша корова Контрибуция, и зарылся там с головой в сено. Нужно было, чтобы рядом находилась хоть какая-нибудь живая душа, пусть даже коровья. Меня успокаивали ее сонные вздохи. Под эти вздохи я в конце концов и заснул.

## Глава VI

### ИДУ К БАРДАДЫМУ. БЕЙ! НОКАУТ! МОИ ТРИУМФ

И странно, несмотря на такие страшные происшествия, мне ничегошеньки не снилось в эту ночь, я спал как убитый. Заснул и как будто сразу же и проснулся. Было уже утро, и мать доила Контрибуцию. Когда я зашевелился, она сразу увидела меня и не удивилась, не ругала. Только насмешливо спросила:

— Ну, как рыба? Что-то не вижу!

Дед все-таки поверил моей брехне про ночную рыбалку с Бардадымом, а тот вечером так и не приходил.

— Да-а-а,— махнул я рукой: не спрашивайте, мол, похвалиться нечем. И, выбравшись из сена, боком, пряча под рубахой аппарат, выскользнул мимо матери из сарая.

К Бардадыму! Скорее! Пока он не пришел сам. А то подумает, что я и вправду украл. Может, уговорю. Все ему объясню. Все начистоту. Там же, в аппарате, доказательство. Ой, только б вышло что-нибудь на пленке! Только бы вышло!

В голове у меня все вертелось, прыгало и переворачивалось...

Бардадым, фыркая, умывался во дворе у колодца.

Я тяжело вздохнул и решительно подошел к нему:

— Гриша!

Он поднял на меня мокрое лицо.

Я протянул ему аппарат:

— Бей, Гриша! Бей! Это я твой аппарат украл. Бей! — Я подставил ему свой нос и зажмурился, ожидая удара.

Но удара не последовало.

— Зачем брал? — пробасил Бардадым.

— Привидение ночью снимал... На Горбушиной могиле.

— Снял?

— Снял.

— Врѐ!..

— Во! — чиркнул я себя ладонью по шее.

— А ну, идем проявим.

— Идем,— пропищал я, еще не веря, что так легко отделался.

На ходу вытираясь полотенцем, Гриша повел меня в хлев, где у него была оборудована фотолаборатория.

Потом в полной темноте, хоть глаз выколи, он чем-то щелкал, шуршал пленкой, хлюпал в каких-то ванночках. Я только догадывался, что это он достает из аппарата пленку и закладывает в проявитель, промывает и снова закладывает уже в фиксаж.

Я с трепетом ждал. Неужели ничего не будет?

Наконец он отпер двери хлева и вышел, держа в руках мокрую пленку. Он сразу поднес ее к глазам, разглядывая.

— Ну что? Что там? — так и подскочил я от нетерпения.

— Да цыц ты! — скривился он и начал щуриться, вглядываясь в пленку. И вдруг закричал: — Есть!.. Есть, черт подери!.. Разрази меня гром, что-то есть!.. Вот черт!..

Лицо его было по-детски растерянным.

— Дай! Дай! — схватил я его за руку.

И он — в другой раз уж обязательно дал бы мне за это затрещину — покорно нагнулся, показывая мне пленку.

Ой! Есть! Есть все-таки! Правда, не очень четко, даже очень нечетко, но есть! Виден белый силуэт Горбушиной часовни (негатив же!) и на нем темный силуэт — туловище, руки, а головы нет...

Меня сразу охватило такое чувство, что и передать не могу. Вот есть русское слово «восторг». Так вот, этот самый восторг меня и охватил. И мне показалось, что я стою уже не на земле, а на какой-то воздушной подушке (как некоторые современные корабли). И эта подушка растет и поднимает меня все выше и выше.

Ой, мама! Мамочка моя! Неужели это я совершил такое, чего никто на свете еще не делал: сфотографировал привидение, живое привидение сфотографировал!

— А ну рассказывай, как это было! Только не ври, а то... — Бардадым поднес к моему носу кулачище.

Но я спокойно отстранил его. Чего мне бояться? И чего мне врать?

Я рассказал Бардадыму все, как было, даже как наперебой храпели племянник-одессит и свинья.

— Чертовщина какая-то! Призрак! — пожал плечами Бардадым. — Какой, к бису, призрак? Нет никаких призраков! Какие могут быть привидения? Люди в космос летают, а ты — «призрак».

И тут я ему рассказал про теорию Антончика Мациевского о вполне научном превращении, так сказать, по закону физики разума и души человеческой в привидение.

— Чушь! — сказал Бардадым. — Околесицу какую-то несешь...

Но в глазах его не было уверенности. Скорее неуверенность и растерянность. Бардадым не был отличником. Он больше умел работать руками, чем головой. И задурить ему голову было нетрудно.

— А что ж это тогда, если не привидение? — спросил я.

— Леший его знает! Может, кто-нибудь переоделся, чтоб тебя напугать.

— А голову куда дел? Отрезал на время? И ног не было. Он будто в воздухе летал... Я же видел.

— Ну, вот пусть пленка высохнет, отпечатаем — будет виднее.

Внезапно из-за плетня высунулась голова Антончика Мациевского.

— А? Что? Есть что-нибудь? Есть? — криво усмехнулся он.

Я бросил на него убийственный взгляд и отвернулся.

— Ну чего ты? Чего? Меня мать не пустила. Честное слово! Что я, виноват? Заперли в хате. Клянусь!

Я молчал, не глядя на него. Тогда, обращаясь к Бардадыму, он снова спросил:

— Есть что-нибудь? Есть? Да? Гриша!

— Да, есть, — нехотя отозвался Бардадым. — Похоже на привидение, но кто его зна...

— Гриш, а Гриш... Можно я гляну? Ну покажи, Гришенька! Можно я гляну?

Он так просил, что даже у меня не хватило бы духу отказать ему.

— Иди, — сказал Бардадым. — Только смотри не залапай. Вот так бери, двумя пальцами за края.

Вытянув шею, Антончик благоговейно начал разглядывать пленку.

— У-у! Точно! У-у! Привидение!

И вдруг со всех ног бросился со двора.

— Ты куда?

— Я сейчас! — уже с улицы крикнул он.

Минут через десять у Бардадыма на дворе было полно народу. Все ребята с нашего конца сбежались сюда: и Вася Деркач, и Коля Кагарлицкий, и Степа Карафолька, и Вовка Маруня... Не было только Павлуши...

Прыгали, как воробьи, вокруг Гришки Бардадыма и, отпихивая друг друга, без умолку гомонили:

— А ну-ка, ну-ка!

— Дай-ка я!

— Да пусти, я гляну!

— Да я еще сам не разглядел.

— Ух ты! Вот это да!

— Смотри-и!

— Ох ты!

Наконец пленка высохла, и Бардадым пошел печатать снимки. Я стал проталкиваться в хлев следом за ним, хотя мне там и нечего было делать. Мальчишки почтительно расступились, давая мне дорогу. Вася Деркач сунулся было тоже, но Бардадым, пропустив меня, молча отпихнул Васю и запер дверь. Гордость захлестнула меня до краев и даже выплеснулась наружу. Я с Бардадымом, а вы все — «отвали!» (как говорил Будка, наш киевский приятель).

Бардадым вставил пленку в увеличитель, включил его — негативное изображение отразилось на фотобумаге. Затем выключил и погрузил бумагу в ванночку с проявителем. И в неестественном, каком-то цирковом освещении красного фонаря я вижу, как на фотобумаге действительно начинает проступать изображение темной Горбушиной часовни и белого привидения на ее фоне. Сердце мое на миг замерло, а потом забилось с удвоенной силой.

Есть! Есть фотография призрака! Пусть теперь кто-нибудь скажет, что я вру. Вот! Вот! Вещественное доказательство! Самому президенту Академии наук покажу, если нужно будет! Ур-ра!

Когда мы вынесли еще мокрое фото во двор и показали ребятам, говорить они уже не могли. Они только молча переглядывались круглыми птичьими глазами и удивленно разевали рты.

В боксе это называется «нокаут». Когда противник от меткого сокрушительного удара шлепается на землю и лежит, как неживой...

Такого триумфа среди мальчишек я еще не знал. Даже когда с Павлушей мы выкидывали разные штуки-трюки, и то я все-таки делил славу с ним. И для меня то была не целая слава, а полславы. Только теперь я понял, что настоящая слава неразделима. Настоящая слава — это когда только ты, ты один пьешь ее целыми бочками, никому ни капли. Вот наслаждение! Вот счастье.

Эх, какая жалость, что нет сейчас здесь этого неверного Павлуши! Вот бы завертелся волчком, вот бы запрыгал, как карась на сковородке, от зависти. И где его носит! Наверно, мазюкает где-нибудь кисточкой по бумаге, маляр несчастный. Ну ничего, он сегодня все равно узнает...

Все равно!

Я представил себе, как это будет, и по-настоящему, от всей души ему посочувствовал. Как он станет жалеть!

Эх, дурень, дурень!

А в общем — сам виноват.

## Глава VII

АНТОНЧИК СТАРАЕТСЯ ВЫЛЕЗТИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО.

ИСТОРИЯ КАРАФОЛЬКИНОЙ ШИШКИ.

АТАКА БАБКИ МОКРИНЫ. АТАКА ОТБИТА

Неприятно было только то, что своим подвигом я подтверждал философскую теорию труса и предателя Антончика Мациевского.

А он уж крутится среди ребят и, захлебываясь от радости, выкрикивает:

— А? Что я говорил! А? Что я говорил? Человеческий дух не может исчезнуть без следа. Он должен во что-нибудь превратиться. Абсолютно точно! По закону физики! Что я говорил?!

Гляди ты, хочет вылезти на первое место! Микроб! Ну, меня так просто не оттолкнешь.

— Ты бы,— говорю ему, вкладывая в свои слова как можно больше презрения,— лучше рассказал людям, как ночью бросил меня одного, как сдрейфил и не пришел. Теперь-то ты герой!

Он сразу скапустился.

— Да я... Да что... Меня мать не пустила... Я ж говорил... Что я, виноват?

Ребята ехидно зафыркали. Антончик стал теперь уже не страшен. Он был уничтожен. Солнце моей славы безраздельно засияло на небосклоне.

— Да... все на меня! — закусил губу Антончик. — Карафолька вон вчера сказал Грише, что это, наверно, ты аппарат украл, так ему ничего, а все на меня... Ладно, ладно...

— Где уж «ничего»! — усмехнулся Бардадым. — Он свое получил. Больше ни на кого клепать не будет.

Карафолька покраснел, как помидор, отвернулся и, согнувшись, стал чесать ногу (нога у него, вишь, зачесалась!).

Вот оно что! Вот откуда та самая шишка на Карафолькином лбу!

А. Бардадым, оказывается, справедливый — не любит доносчиков.

И злости на Карафольку у меня как не бывало. Никакого вреда своим доносом он мне не причинил, а слава моя от этого засияла еще ослепительней.

— Ну-ка, идем к часовне, посмотрим, что там и как, — сказал Бардадым.

И мы гуськом потянулись за ним на кладбище.

И хоть сейчас было утро, сердце мое почему-то сжималось от страха, когда мы пробирались среди могил. После того как я увидел да еще и сфотографировал здесь привидение, это место стало для меня страшным даже днем.

Возле Горбушиной часовни, ясное дело, никакого привидения мы не встретили. Вместо него по кладбищу ходила бабка Мокрина, двоюродная Деркачева бабушка, и рвала траву для кроликов. Вася тут же подбежал к ней и выпалил:

— Баб Мокрин! Баб Мокрин! А Ява сегодня ночью тут привидение сфотографировал.

— Свят! Свят! Свят! — осенила себя крестом бабка Мокрина. — Что ты такое болтаешь? Да воскреснет бог... Святая Варвара-великомученица, спаси и помилуй...

— Точно! При чем тут ваша Варвара? Вот гляньте! — и, взяв у Бардадыма снимок, показал бабке.

Та сначала долго его разглядывала, потом расспрашивала, а после торжествующе сказала:





— Правильно! Оно самое! Привидение! Ну конечно! Ох, боже! Наконец-то! — И она радостно закрестилась.

Мы удивленно переглянулись — чего это она?

— Наконец-то! — повторила бабка Мокрина. — Может, хоть теперь вы не будете, ироды, насмехаться и издеваться над господом богом нашим. Может, хоть теперь поверите в существование силы духовной, бестелесной, божественной... Слава тебе, господи, что явил ты отроку Яве сие видение! Наконец-то! Счастливый ты, сынку! Дай боже, чтоб с твоей помощью повернули мы на путь праведный это стадо заблудшее. Благослови тебя мать божья!

Бабка Мокрина трижды перекрестила меня, потом вдруг наклонилась и поцеловала. Я отшатнулся и, споткнувшись о могильный холмик, чуть не упал. Щеки мои так и горели. Вот еще! Этого мне еще не хватало — чтоб меня к попам на службу вербовали! Чтоб я направлял пионеров в лоно церкви! Дудки!

— Вы, бабушка, не так поняли. Никакого отношения к вашему богу это не имеет. Наше привидение не божественного, а научного происхождения, по закону физики.

— Ну как же, ну как же! Это ты, сынку, не понимаешь! — кротко заулыбалась бабка Мокрина. — Привидение — оно привидение и есть. А если вы мне Николая-чудотворца по науке выведете, я обижаться не буду. Мне научный Никола тоже будет мил...

Кто-то из мальчишек хихикнул.

Один — ноль! Вела бабка Мокрина.

Я весь напрягся.

— Да... — махнул я рукой. — Нам некогда. Обратитесь в Институт кибернетики, пусть вам там выведут. Будете иметь полупроводникового Николая-чудотворца на транзисторах...

Снова кто-то из ребят хихикнул.

Один — один.

Нужно было немедленно кончать дискуссию, пока бабка не набрала решающее очко. Не давая ей рта раскрыть, я затараторил:

— Айда, хлопцы, к деду Саливону. Нужно с ним поговорить... Будьте здоровы, бабуся, кланяйтесь Варваре-великомученице!

— Привет Николе на транзисторах! — тоненько подтявкнул мне Антончик Мациевский (ишь грех свой замаливает!).

Ребята захохотали (много ли им нужно?). Ласковая улыбка сразу исчезла с лица бабки Мокрины, вместо нее появилась злобная гримаса.

— Ах вы аспиды, ироды проклятые, черти болотные! Гореть вам в геенне огненной, богохульники сопливые! Чтоб языки у вас к зубам приросли! Чтоб на вас икота напала! Чтоб вас язва извела! Чтоб вам в гробу перевернуться! Чтоб вам ни дна ни покрывки! Чтоб...

Под эти нескончаемые бабкины проклятия мы направились к деду Саливону.

Вот так бабка, ну и ну! Ведь только что была такая хорошая, тихая да ласковая. А теперь слышь как лается! Нехорошо, бабуся.

Два — один в нашу пользу.

Когда мы уже вошли во двор к деду Саливону, Карафолька сказал:

— Только если ты серьезно к деду, то их сейчас никого нету. Сегодня в шесть утра все пошли на автобус. В Камышовку поехали, на свадьбу. Дедова сестра внучку замуж выдает. А что ты хотел?

— Да ничего особенного. Просто он тут живет... Может, что-нибудь знает. И вообще...

— М-да! — задумчиво проговорил Бардадым. — Ну что ж, идем! Тут нам делать нечего. Пока что картина туманная, картина неясная. Одно могу сказать: за аппарат свой я ручаюсь — он зафиксировал то, что было. А что там было — этого уж я не знаю.

## Глава VIII

«ЖИЛ ДА БЫЛ ОДИН КОРОЛЬ». «ИДИ ОТСЮДА!» —

ГОВОРIT МНЕ ПАВЛУША.

ВТОРАЯ АТАКА БАБКИ МОКРИНЫ

Теперь главное состояло в том, чтобы, пока я на коне (ведь вы же знаете, в жизни все бывает), про мой всемирно-исторический подвиг как можно быстрее узнал Павлуша. Чтоб он раскаялся в своей измене, заплакал бы и чтоб я мог его простить и мы помирились. А то, честное слово, это мне уже страшно надоело... Но как сделать, чтобы он узнал? Его и не видно нигде. Конечно, кто-нибудь из ребят ему в конце концов расскажет, но когда? Это может быть и завтра, и послезавтра, и через

три дня. Не просить же кого-нибудь специально. И не пойдешь ведь сам докладывать.

Во! Гребенючка! Нужно действовать через нее. Нужно как-нибудь между прочим ей рассказать, а уж она ему все в точности перескажет. Главное — между прочим. Чтоб она не догадалась, что это специально.

Гребенючка жила на улице Гагарина, которая тянулась от автобусной остановки до самой речки.

Расставшись с ребятами, я побежал на эту улицу. Гребенючку я увидел еще издали — она копалась в огороде.

Беспечно помахивая прутиком, я прошел мимо ее двора, отвернувшись в другую сторону и даже не взглянув на нее.

Главное — «между прочим». Чтоб она не догадалась... Пройдя несколько хат, я повернулся и пошел назад.

Она меня не замечала.

Дойдя до автобусной остановки, я опять повернул в сторону речки. Теперь я уже негромко насвистывал что-то бодренькое.

Она не слышала. Потому что даже головы не подняла.

Пройдя несколько хат, я повернул назад. Теперь я насвистывал уже громче.

Но она все равно не слышала.

Дойдя до автобусной остановки, я снова повернул назад.

Главное — «между прочим», чтоб она не дога... И я уже в полный голос пел песню:

Жил да был, жил да был,  
Жил да был один король.  
Правил он, как бог, страню  
И людьми.  
Звался он Луи Второй,  
Звался он Луи Второй,  
Но впрочем, песня не о нем,  
А о любви.

Что — разве человек не может идти и петь? А если у него хорошее настроение? Очень просто!

Но она знай вымахивала тяпкой — только мелькало. Будто это не я пою, а лягушка квакает.

Когда я в восьмой раз все так же, «между прочим», проходил,

напевая, по улице, соседка ее, тетка Ульяна, вышла на порог и из-под руки стала на меня смотреть. И смотрела долго, пока я не скрылся из глаз.

А Гребенючка даже не шевельнулась в мою сторону. Заложило ей уши, что ли? Глухая тетеря! Так я целый день ходить буду.

Я взял комок земли и опять же «между прочим» кинул в нее. Она даже не распрямилась над грядкой, только голову повернула:

— Ты чего?

-- Ничего,— спокойно сказал я и так же «между прочим» спросил: —

А что ты делаешь?

— Танцую! — ответила она, продолжая окучивать.

— А я сегодня ночью на кладбище был...— начал я.

— Ну и дурак! — сказала она и повернулась ко мне спиной.

— Ах ты, редиска! — нечаянно (вот уж, честное слово, нечаянно) выпалил я, схватил земляной комок и швырнул ей в юбку.

А что? Что бы вы сделали, если б над вами вот так издевались?

— С девчонками воюешь? Александр Македонский!

Я резко обернулся.

В нескольких шагах от меня стоял... Павлуша.

Вот тебе и раз!

— А что ж? А что ж она обзывает?! — крикнул я.

— А чего ты ко мне лезешь? Чего? — закричала Гребенючка.—

Я тебя звала? Ходит тут, ходит, насвистывает, поет... «Жил да был один король... впрочем песня не о нем, а о любви...» Девять раз прошел. Чего, спрашивается? Чего?

Значит, видела! Все видела, змея, а притворялась, что не замечает.

И еще «...впрочем, песня не о нем, а о любви». Ты смотри, на что намекает!..

Павлуша смотрел на меня какими-то совсем белыми глазами.

Он уже, наверно, думает...

Да нужна она мне!

Да глаза б мои на нее не смотрели!

— Ведь я же... Я же хотел...

— Иди отсюда! — глухо сказал Павлуша.

— Я... я могу и пойти... Да!.. Но ты... ты... — Мне не хватало слов.—

Я, может, сегодня привидение сфотографировал... Вот! Впервые в истории... Вот! А ты... ты можешь малевать кустики и цветочки хоть двести лет!

Я повернулся и пошел по улице в сторону реки.

Я шел, не замечая дороги. Тысячи кошек скребли у меня на сердце.

Вот какую злую шутку сыграла со мной моя коварная судьба. Вот как насмеялась она надо мной. Такую заковыристую дулю мне показала. Вот уж правда — у кого доля, а у меня дуля. Одна буква, а сколько в ней насмешки, сколько стыда и позора!

Шел же я с тем, чтобы «между прочим» рассказать этой проклятушей Гребенючке про свой подвиг, чтоб она передала Павлуше, чтоб он заплакал, раскаялся и чтоб мы помирились. А что вышло?

Вышло, что он мне сказал «иди прочь», как своему злейшему врагу.

И пропасть между нами стала еще глубже и страшнее. Теперь уж ее так просто не перескочишь. Срываются из-под ног огромные камни и с грохотом летят в эту пропасть. А на дне ее, будто Терек в Дарьяльском ущелье, ревет и бурлит речка слез моих невыплаканных (ведь плакать же я не умею). И сам же виноват, сам! Ну что бы мне не бросать тот самый комок, когда она дураком меня обозвала! И Павлуша б тогда ничего, и она бы, наверно, не стала говорить, что я к ней лезу, что девять раз прошел... А теперь он невесть что думает. Наверно, думает, что я влюбился в нее и хочу у него отбить. Как будто не знает, что я люблю Вальку Малиновскую из Киева. Танцорку тонконогую, которая в балерины собирается.

Да-а, докажи теперь, когда все так вышло. Какие у него глаза были! Попадись тогда ему пистолет в руки — убил бы, наверно.

А день какой!

То всю неделю пасмурно было, дождик накрапывал, забыли уже, как и солнце светит, не купались ни разу. А теперь! На небе ни облачка. Солнышко радостно улыбается в свои лучистые усы. Веет теплый ветерок — будто мать нежно гладит ласковой рукой.

Про такую погоду дед Саливон обычно говорит: «Вот это погодка! Видать, покойники каются».

А мне наоборот — умереть хочется, такое настроение!

Интересно, плакал бы тогда Павлуша? Наверное, нет. Конечно, не смеялся бы. Был бы серьезным для вида. Губы вот так сжал бы, как

он умеет, когда ему Галина Сидоровна взбучку дает, но не плакал бы. Шел бы за моим гробом в паре с Гребенючкой, поглядывал бы на нее и думал: «Хоть бы скорее кончались эти похороны, да идти рисовать ее портрет».

А я по закону физики превращусь в привидение и темными ненастными ночами буду носиться над кладбищем. О господи! Как же это все мрачно и нудно — все время летать над кладбищем!

Неужели и вправду привидения летают только над кладбищем?

Хоть бы над стадионом во время футбола, это бы еще полбеды, а над кладбищем... Бр-р-р!.. Жуткое дело! Все время видеть перед собой кресты и могилы! Можно спятить. Я не хочу быть привидением! Пусть лучше так умру, чтоб ничего не осталось.

— Что грустишь, сынку? Что такой невеселый? — вдруг услышал я ласковый голос и даже вздрогнул.

Поднял голову — навстречу мне бабка Мокрина. Тыфу ты! Только ведь: «чтоб вас черви источили» — и сразу «сынку» медоточивым голосом.

— Понимаю, понимаю тебя, милый, душа твоя в смятении. Мысли суетные, мирские уступают место думам высоким, духовным. О жизни и смерти, о сути всего сущего...

Мне стало не по себе — она будто читала мои мысли.

— Не тревожься, ангел, радоваться надо, а не грустить. Ведь тебе одному явилось видение, тебе сей знак, на тебе перст указующий. Ты один сподобился. Значит, ты не такой, как все.

Я сдвинул брови — ишь куда хватила! Она это сразу заметила.

— Ну чего сразу надулся, как мышь на крупу? Думаешь, бабка тебя агитирует, хочет в монахи записать? Да оборони бог! Будь пионером, стучи себе в барабан, дуди в трубу. Когда ж еще в барабан стучать, как не в твои годы... Но... не так оно в жизни все просто, как кажется, как по радио о том говорят. Ох, как много еще такого, чего люди и не знают! Вот, вишь, ты привидение живое сфотографировал... И как знать, может, кто-нибудь и докажет, что это высшая сила, которую мы, старые люди, богом называем. Ведь нельзя же, сынку, еще ничего не зная, посрамлять то, во что люди веками верили. Нельзя. Пока что вся история точно по Библии идет. Вот ты же не читал, сынку, Библию? Не читал?

Я отрицательно покачал головой. Стыдно признаться, я еще «Миколу

Джерю» не читал, который по программе требуется, не то что Библию.

— Вот видишь, а кричишь: «Передайте привет Варваре-великомученице!» А ты бы спросил сперва, что это за Варвара, почему она великомученица, за что муки приняла и чем людям помогала... Господи, сохрани и помилуй! — Бабка перекрестилась.

У меня голова шла кругом. Я чувствовал, как твердый материалистический грунт, на котором я стоял всю свою сознательную жизнь, зашатался подо мною. Не то чтобы я сразу поверил в бога, нет, но какая-то неуверенность скользким червяком заползла мне в душу, тревога и растерянность завладели мной.

Я чувствовал, что если сейчас же не перебею бабу Мокрину, позволю ей говорить дальше, не спрошу ее о чем-нибудь, то может случиться страшное — свет перевернется для меня, и я стану другим, не таким, как был до сих пор, не таким, как все ребята. И великий страх охватил меня.

— Бабушка,— сказал я, еще не зная, что спросить, и боясь, что она снова заговорит,— бабушка... а скажите мне, пожалуйста...

— Что? Что, голубчик? — Беззубый бабкин рот растянулся до ушей в сладкой улыбке.

— А скажите... э-э... привидения только на кладбищах бывают? А?

Но она не успела ответить. Издалека, с конца улицы, послышался крик моей сестренки Иришки:

— Ява-а! Иди, тебя дед кличе-ет!

Я как-то облегченно взглянул на бабу Мокрину и пожал плечами — простите, мол, зовут.

— Ну, беги, беги,— кивнула бабка.— И приходи ко мне. Я тебе все расскажу, что тебя интересует, и яблочками попотчую. Знаешь, какие у меня яблочки? И фотографию эту захвати. Я ее показать хочу...

— Ага! — бросил я уже на ходу и что есть духу пустился наутек. Я так от привидения не бежал, как от бабки Мокрины.

Дед Варава встретил меня хмуро:

— Где бегаешь не евши, ветрогон? Черти тебя носят? Все остыло.

И, уже хлопоча возле стола, скосил вдруг на меня свой мутный, но всевидящий глаз.

— Ты что там такое снова отмочил? А-а? Говорят, сатану какую-то открыл? Нечистую силу сфотографировал... Ой, гляди, доиграешься...



Заберут тебя в приют, в лагерь для малолетних... Голову людям брехней морочишь...

— Да дедушка... Вот честное слово!..— И я, захлебываясь, рассказал ему все, как было.

Дед выслушал внимательно, не перебивая, долго разглядывал фотографию, потом покачал головой:

— Насчет физики, насчет Ломоносова не скажу, не знаю, а насчет привидений — ярунда... Не верю. Я ведь сам когда-то в детстве... с хлопцами...

— Ну-у! И вы? И что же?

— Да что ж... Ничего. И не один раз — трижды ходили.

— Но ведь фото же!

— Ну и что ж? Должно быть, что-нибудь там в пленке засветилось. Или, может, кто-нибудь из хлопцев подшутил, разве я знаю...

— Нет! — убежденно сказал я, потому что точно знал, что не засветилось, иначе бы в глазах у меня засветилось. А из ребят никто не мог подшутить, гарантия.

— Ну, уж не знаю, что там такое, — рассердился дед, — но не привидение! Восемьдесят лет живу на земле и ни одного привидения не встретил, а он, от горшка два вершка, и уж гляди ты... Если бы по твоему закону физики все после смерти превращались в привидения, то их бы уж столько развелось — негде бы и курице клонуть.

— Да что? Думаете, мне это очень нужно! — воскликнул я. — Я и сам не хочу, но ведь...

## Глава IX

### ОТЕЦ ГОГА

И правда, мне уже теперь хотелось, чтоб вся эта история оказалась «ярундой». Меня это стало угнетать. Особенно бабка Мокрина с ее разговорами.

Мокрина была в нашем селе церковным начальством. Все богомольные старушки крутились вокруг нее. Церкви в нашем селе нет. Церковь в Дедовщине, в четырех километрах от нас. Служил там отец Георгий. И бабка Мокрина была его заместителем у нас в Васюковке: собирала

деньги на храм, созывала старушек на собрания, ну, и всякое такое.

Отца Георгия с легкой руки деда Саливона все атеисты звали Гога. Когда-то в нашем селе отдыхал художник Георгий Васильевич, которого жена называла Гога, вот с тех пор дед Саливон и окрестил этим именем отца Георгия. И оно к нему прилипло — не оторвешь.

Дед Саливон, как выпьет, любит вести с батюшкой антирелигиозные беседы. Он тогда говорит: «Пойду с Гогой побалакаю... Пусть мне Гога расскажет про бога». Берет бутылку, садится на велосипед и, выписывая кренделя, едет в Дедовщину.

Отец Гога выпивки не чурался, а в антирелигиозные беседы не вникал. Выпить он мог, как добрый молотильщик, и не пьянел.

После этих диспутов дед Саливон говорил: «Специалист! Ну и специалист этот Гога! Хитрый, как змий! Он же сам в бога не верит. А говорит — как поет. Просто должность ему, видно, нравится. Специ-а-лист!»

«Должность» у отца Гоги была и вправду ничего себе. Сперва он имел простой мотоцикл, затем мотоцикл с коляской, потом «Запорожец», потом «Запорожец» поменял на «Москвич», а теперь, говорят, записался в очередь на «Жигули».

С прихожанами ладить он умел. Службу божью вел по-прогрессивному. Изучал науку, все ее достижения, выписывал журнал «Знание — сила» и двенадцатого апреля каждый год служил молебен в честь космонавтов.

И разговоры бабки Мокрины — все это, конечно, от отца Гоги.

Я не успел еще позавтракать, как во двор к нам зашли трое восьмиклассников. Я плохо их знал — они были не с нашего конца.

— Ну, расскажи, что там... Как?

Оказывается, Бардадым размножил и пустил ее по селу.

И началось...

Скрип-скрип!..

Скрип-скрип!..

Калитка наша не закрывалась.

Только я кончал рассказывать, как снова приходилось начинать сначала.

Наконец я не выдержал. Схватил удочки — и дёрю. Махнул в плавни.

А когда вечером воротился, то увидел, что возле наших ворот стоит

машина. Я не стал догадываться, чья эта машина, — к моей маме, депутату, часто приезжали из района и даже из области, но, зайдя во двор, я так и присел: под яблоней рядом с дедом Варавой сидел... поп Гога. Я хотел броситься назад, но было уже поздно — меня заметили.

— А-а, рыбак, — приветливо улыбнулся мне отец Гога, — Здравствуй!

Я замер. Ну, сейчас начнет, как бабка Мокрина: «Славен еси, отроче... видение, что тебе явлено... Варвара-великомученица, сохрани, спаси и помилуй...» Да еще при деде. Хоть крестись и уноси ноги!

Но он не начинал.

— Ну-ка, показывай улов, — сказал он весело и, взяв у меня прут с нанизанной на нем рыбой, начал разглядывать. — О, три чехони, подлещики, устирочка, ерши... носачи и обычные... краснопер, язык... О! И линек один даже есть... Молодец! Знатная будет ущица. Здорово клюет? На что ловил? На червяка, мотыля, на хлеб... или, может, на тесто? А?

— На червяка... красненького, — едва-едва выдавил я из себя, настороженно глядя на него: когда же он начнет?

Но отец Гога только взглянул на меня внимательно своими серыми прищуренными глазами и вдруг поднялся:

— Ну, пойду. Спасибо за воду. Будьте здоровы.

И пошел к машине.

Когда он отъехал, я бросил удивленный взгляд на деда:

— Что такое? Чего он хотел?

— Кто его зна... Воды попросил... в радиатор залить. Говорит, выкипела...

Чудно! И почему обязательно к нам? Недалеко отсюда на улице колодец, и ведро там есть.

Неспроста. Ой, неспроста этот Гога заехал! И как он посмотрел на меня! Насквозь взглядом прошел. По глазам видно было, что все-все знает.

И оттого, что он ничего не сказал, еще как-то тревожнее стало. У меня было такое впечатление, что он не хотел говорить при деде. Он как-то так на меня смотрел, будто у нас с ним было что-то общее и от деда хранимое в тайне. И взглядом своим он будто сказал: ничего, мы потом потолкуем.

О господи! Ведь это выходит, что я заодно с попом Гогой! Заодно

с бабушкой Мокриной и всеми богомольными старушками. Заодно с этими грязными небритыми алкоголиками, которые побираются в Дедовщине у церкви и примазываются к богу, чтобы легче было выпрашивать на похмелье.

А если я заодно с попом Гогой, то, значит, против родной мамы, депутата и передовика, которая всегда сидит в президиуме; против Галины Сидоровны, которая проводит в селе антирелигиозную пропаганду, против всей науки во главе с академиком Келдышем.

И все из-за того, что я, болван, сфотографировал привидение, черт бы его побрал со всеми потрохами! И теперь поп Гога не отцепится от меня. Он может поймать и запутать меня в свои сети, как запутал он десятиклассника Валерия Генцу из Дедовщины, который, не пройдя по конкурсу в гидромелиоративный, поступил в духовную семинарию и теперь учится на попа. Так и я... Павлуша станет художником, Гребенючка тоже, Карафолька академиком, Коля Кагарлицкий артистом, Вася Деркач фининспектором, а я... монахом. С длинными грязными патлами и реденькой бороденкой. В черной замызганной рясе и с крестом на шее.

Мысли роились и гудели в моей бедной голове, как пчелы в улье. Это ведь еще и маму могут из-за меня из депутатов выставить... А что ж? Какой же она депутат, если ее сынок с крестом ходит! Хорошо, что хоть она не видела попа Гого у себя на дворе. Сегодня партийное собрание, и они с отцом придут, наверно, поздно.

Сидит себе в президиуме и не знает, бедняжка, какие черные тучи собираются над ее головой.

Нет!

Не-ет!..

Нужно спастись. Нужно что-то делать. Нужно людей звать на помощь.

Прежде всего нужно идти к деду Саливону. Поговорить с ним, расспросить, может, он что-нибудь видел, замечал, это же все-таки возле него, почти у самой хаты в саду. Не мог же он никогда ничего не замечать.

И вообще, нужно, может быть, какую-нибудь комиссию создать — пусть разрешают сообщать эти сложные научные вопросы. А то спихнули все на меня одного.

Но прежде всего — завтра с утра к деду Саливону.

С таким твердым решением я и заснул.

## Глава X

### Я НАВЕЩАЮ ДЕДА САЛИВОНА. САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЧУДЕСА

Дед Саливон сидел на завалинке и крошил в деревянное корыто картошку для свиньи. Голова его была обмотана мокрым полотенцем, и вода с полотенца текла по лицу, свисая сияющими каплями на седых усах. Дед кривился и стонал.

«Это же он на свадьбе перепил, — догадался я. — Еще, чего доброго, турнет и разговаривать не станет».

— Здравствуйте, диду, — несмело поздоровался я.

Он не ответил, только кивнул.

— Похмелиться бы вам, — сочувственно сказал я.

Он, застонав, отрицательно покачал головой. Я вспомнил — дед Саливон никогда не похмелялся: где-то он вычитал, что похмеляются только алкоголики, и с тех пор всегда стойко переносил похмелье.

Я топтался на месте, не решаясь заговорить.

Он впрямительно взглянул на меня и наконец раскрыл рот:

— Тебе что? Меду?

— Да нет! Нет!

— А что?

— Да вы же плохо себя чувствуете...

— Ничего. Что тебе?

— Да хотел кое-что рассказать да расспросить...

— Рассказывай.

И я рассказал деду все и показал фотографию.

Дед Саливон выслушал меня внимательно, потом посмотрел прямо в глаза и сказал:

— Я знаю. Я тоже все видел.

У меня на затылке онемела кожа.

— И вы... тоже... видели... привидение?

— Видел, — спокойно сказал дед Саливон и поднялся. — Идем!

«Значит, правда, — в отчаянии подумал я. — Значит, привидения действительно существуют. Значит, после смерти человека человеческий дух по физическому закону Ломоносова — Лавуазье на самом деле превра-

шается в привидение... И не миновать мне сетей попа Гоги. Придется, как видно, быть монахом».

Дед Саливон повел меня в сад. Возле ульев остановился.

— Тс-с! — приложил он палец к губам, потом показал на часовню: — Смотри.

В черном проеме наполовину открытых дверей часовни в глубине что-то белело. Но нельзя было различить, что именно. И вдруг оттуда послышался сухой, какой-то деревянный стук.

«Кости! — похолодел я. — Мертвец встает».

Белое из темноты начало приближаться к дверям — вырисовывалось все четче, четче, четче... И вот в дверях появился... аист.

— Ясно? — усмехнулся дед Саливон.

Аист!

Так вот оно что! И стук — это же стук аистовым клювом. Значит, не привидение, а аист. Самый обычный аист. Тыфу ты! Так это же здорово! Это же прекрасно! Вот и никаких привидений не существует. И не нужно мне становиться монахом. И поп Гога может теперь оставаться с носом. Урра! Диду! Дайте я вас поце...

Но что это? Я приглядываюсь и вижу, что аист... без головы. Шелестит, переступает ногами, а головы нет. Только туловище, крылья и ноги.

«Наверно, он спрятал ее под крыло, — решил я и подумал: — А может ли человек спрятать голову под крыло... то есть под мышку?» И почему-то решил, что может, и подумал: «Вот, наверное, привидение без головы именно так и получается».

Я пристально всматриваюсь в аиста и вдруг замечаю, что нет — на самом деле нет головы. Вон там, где должна начинаться шея, — ровное место. Если бы он спрятал голову под крыло, то хоть шею было бы видно, а так...

— Диду, — спрашиваю я, пораженный, — диду, а где же его голова?

— Что? Голова? — будто не понимая, переспрашивает дед Саливон и вдруг со стоном хватается за свою голову: — Ой, голова! Голова!

— Что с вами, диду? — пугаюсь я.

— Ой! Так болит, так болит, что не могу! Нет! Лучше уж совсем без головы! — говорит дед и вдруг, схватив себя руками за голову, срывает ее с шеи и швыряет в кусты.

И голова его катится по земле, тяжело подсакивая, как арбуз. Точь-в-точь как арбуз! У него же много арбузов на баштане...

Я замираю от страха. А дед стоит рядом — без головы, в белой рубахе — и размахивает руками. Видно, он что-то говорит, но я не слышу его, ведь он без головы. И тут я смекаю, что дед Саливон — призрак. Тот самый призрак, которого я видел позавчера ночью.

И вдруг я еще замечаю, что ульи, возле которых мы стоим, — не ульи, а... гробы... Пять присыпанных землею трухлявых гробов.

Внезапно крышка одного из них заскрипела, поднялась, и оттуда высунулась... голова попа Гоги.

— Здравствуй, рыбак! — И поп Гога захохотал: — Го-га-га!.. Го-га-га!.. А ты уже думал... Вот тебе, вот тебе, во-от! — И он показал мне кукиш. Потом сразу стал серьезным, помрачнел и молча поманил меня крючковатым пальцем. И подвинулся в гробу, давая мне место.

Тут я увидел, что в гробу рядом с попом Гогой уже лежит... Павлуша. Неподвижный, с закрытыми глазами.

И невыразимый страх, не столько за себя, сколько за друга, который, верно, уже не живой, охватил меня.

Я хочу крикнуть, хочу кинуться к Павлуше — и не могу.

Что-то на меня наваливается, наваливается, становится все больше и больше...

Я задыхаюсь, задыхаюсь... и просыпаюсь.

## Глава XI

**Я НАВЕЩАЮ ДЕДА САЛИВОНА ТЕПЕРЬ УЖЕ НАЯВУ.  
ВОТ ОНО ЧТО!**

Несколько секунд я все еще не могу сообразить, что это сон. Наконец прихожу в себя. Я вспоминаю все вчерашние события, попа Гогу и свое твердое решение с самого утра бежать к деду Саливону.

Отца и матери, хоть и пришли они после собрания поздно, уже нет. Они в поле. Вот что значит передовики, активисты. Я их почти не вижу.

Наскоро позавтракав, я побежал к деду Саливону.

Бежал и волновался: а что, как он еще не приехал, свадьбу же по

нескольку дней играют. И сам себя успокаивал: да нет, не оставят они свое хозяйство надолго, на день еще так-сяк — соседей можно попросить свинью, кур покормить, подоить корову и всякое такое, — а больше нет. Да и Камышовка недалеко, в соседнем районе, сорок пять минут на автобусе. Приедут.

Мне казалось, что если я сейчас, немедленно не поговорю с дедом Саливоном, то пропаду — поп Гога околпачит меня, и я навеки потеряю и маму-депутата, и всех родных, и школу, и Галину Сидоровну, и все-все, что было самым светлым в моей жизни.

Я еще издали увидел, что приехали. Из трубы летней кухни курился синий дымок.

Дед Саливон, его жена баба Галя, племянник-одессит в белоснежной рубашке, его супруга, крашеная блондинка, и двое маленьких ребятишек сидели в саду за столом и завтракали. Сейчас подходить, конечно, было неудобно.

Я притаился за плетнем, пережидая, пока они позавтракают.

Ждать пришлось довольно долго.

Они не столько завтракали, сколько судачили — про жениха, который им не очень понравился (особенно бабе Гале), потому что все время молчал и почти ничего не ел (видать, или чересчур гордый, или какой-нибудь хворый); про какого-то Павла Гика, который, наоборот, все время кричал и не давал никому слова сказать и которому его жёнка все время говорила: «Сиди и молчи. Тут ты не главный. Это не твоя свадьба»; про закуску, которая была, в общем-то, неплоха, но пирог недопеченный, винегрет кислый, рыба пересоленная, а яйца несвежие...

Я терпеливо слушал эти пересуды и думал, что я бы согласился, наверно, целый год есть кислый винегрет, пересоленную рыбу, несвежие яйца и недопеченные пироги, лишь бы выпутаться из этой мерзкой истории, в которую я влип по собственной глупости.

Наконец они позавтракали. Гости пошли в хату, баба Галя — мыть посуду, а дед Саливон остался на дворе один.

Теперь можно.

— Здравствуйте, диду! — вежливо поздоровался я, заходя во двор. — Можно к вам?

— А! Здорово, шелсгейдик! — поднял кверху брови дед Саливон. — Заходи! Чего тебе? Меду?



У меня задрожали ноги. Это было почти слово в слово, как и во сне. И я почувствовал, что и сам сейчас скажу те же слова, которые говорил тогда. Испугавшись этого, только замотал головой.

— Значит, просто так, в гости? — усмехнулся дед Саливон. — Пожалуйста! Прошу!.. Ну, как живешь? Какую новую авантюру придумали вы с приятелем? А?

Я растерялся. И как-то не знал, с чего начать, как заговорить, о чем хотелось.

— Чего стесняешься? Что-то нужно, я ведь вижу! — подмигнул дед Саливон. — Так давай, ну!

— Да нет, я просто... просто хотел спросить... — наконец отважился я.

— Так спрашивай, чего там. Да побыстрее, не мучай. А то я весь уже дрожу от нетерпения...

— Диду, вы позавчера ночью, перед тем как ехать на свадьбу, ничего не замечали?

— Ночью? Позавчера? — Дед удивленно опустил уголки губ. — Гм!.. Ночью... Да, честно говоря, не очень приглядывался, ведь... темновато было... А что?

— Ну, а не почувствовали ничего... такого?

— Почувствовал? Гм!.. А-а!.. Кажется, укусило что-то. То ли комар, то ли, помилуй бог, блоха. А что?

— Да нет! Ну так... в душе!

— А-а... в душе? Чувствовал! Чувствовал! Точно. Мучило меня, что за ужином я вареник один с творогом не доел — скиснет ведь, думаю, к утру. В сметане на тарелке остался.

— Да ну, какой вы, ей-богу! Я совсем не про то! Я о видении. Видения какого-нибудь не было вам позавчера ночью?

— Тыфу ты! Видение! Да что я, хворый или что? Помилуй бог!

— Да я тоже вроде бы здоров, а вот позавчера ночью в вашем саду возле Горбушиной могилы не только видел, а даже сфотографировал... Вот гляньте! — И я протянул деду фотографию.

В этот момент я повернул голову в сторону Карафолькина огорода и вздрогнул — там стояла вся наша компания: сам Карафолька, Вася Деркач, Антончик Мациевский, Коля Кагарлицкий и (я даже не поверил своим глазам) Павлуша с Гребенючкой. Они стояли, по-гусиному вы-

тянув шеи, и внимательно прислушивались к нашему разговору. Дед, наверно, давно их заметил, так как стоял к ним лицом, а я спиной.

— А ну-ка, ну-ка! — Дед с любопытством поднес фотографию к глазам. — Что ж это такое? А?

— Да что ж еще! Разве не видно?.. По-моему, привидение. Без головы!

— Ну-у! — разинул рот дед.

Из хаты вышел его племянник.

— Что там такое? — спросил он без особого интереса, старательно ковыряя в зубах.

— Ну-ка, Сережа, иди посмотри! — крикнул ему дед Саливон. — Ты человек грамотный, помоги разобраться. Хлопцы вот тут привидение сфотографировали. У нас в саду. Позавчера ночью.

— Привидение? — Племянник подошел, взял у деда фотографию. Посмотрел и покачал головой: — Ай-яй-яй!.. Что ж это вы, дядя! Нехорошо! Кажется, атеист, смеетесь над суевериями, а сами привидения у себя в саду разводите. И это тогда, когда люди по Луне гуляют! Подрываете авторитет науки.

— М-да-а, — растерянно развел руками дед Саливон. — Конфузия вышла. Опозорился на старости лет. Вот беда! Что же теперь делать? Могут ведь быть неприятности...

— Разве я знаю... — пожал плечами племянник. — Нужно что-то придумать. Как-то выкручиваться.

— А что, если... — задумчиво протянул дед и вдруг решительно повернулся к племяннику: — Ну-ка, снимай сорочку! — Потом крикнул девушке, которая стояла на пороге: — Оксанка, давай плечики!

— Правильно! — подхватил племянник и начал снимать свою белую нейлоновую сорочку.

Из хаты вышла жена племянника с пластмассовыми плечиками в руках.

— Что это вы... — начала она.

Но племянник перебил ее:

— Постой! Давай сюда! — И, заговорщически приставив ладонь ко рту, он таинственно проговорил, обращаясь ко мне: — Пустим слух, что это была... рубашка! А?

И только тут я догадался, что они надо мной смеются.

Ой ты! Да это ж и вправду была рубашка! Самая обычная нейлоновая рубашка на плечиках, которая сушилась вон на той вишне в конце

сада. Выстирали к свадьбе, чтобы чистенькую утром надеть. Ветер качал ее, размахивал рукавами... А я... Ах ты...

Первым начал Антончик. Сперва нерешительно, короткими очередями:

— Хи-хи... Хи-хи... Хи-хи... — Потом, почувствовав поддержку, раскатило, во весь гогот: — Га-га-ха-ха-ха!

И ребята, те самые ребята, которые еще вчера только рты разевали и лежали в нокауте, как говорится, задрав копыта, те же самые ребята хохотали теперь надо мной, едва по земле не катались. И даже Гребенючка пискляво хихикала. А Павлуша смеялся, глядя на меня с горьким сочувствием, как смотрят на пьяного калеку. И жена племянника (видно, добрая душа) смотрела на меня с жалостью. Они жалели меня.

Они думали, что я страшно огорчен такой конфузией, как говорит дед Саливон.

Да люди добрые! Да ну, ей-богу, я ни капли не жалею!

Да, я рад, рад, что это не призрак, а рубашка. Да это же так прекрасно! Я прямо как заново на свет родился! До лампочки мне теперь и поп Гога, и бабка Мокрина, и вся их церковная братия. Не боюсь я их нисколько. Потому что снова стою на твердой материалистической почве.

И я смеюсь, хохочу вместе с ними. Но сам чувствую, что слишком громко, слишком уж сильно хохочу. И они мне не верят.

— Ну так расскажи, расскажи, как же вы это учудили? — насмеявшись наконец, спросил дед Саливон.

— Да! — махнул я рукой: не хотелось даже думать про это.

— Ну! Ну...

— Да что там... — не поддавался я.

— Вот ведь ломается! Тогда давай ты! — крикнул он Павлуше и, повернувшись к племяннику и его жене, сказал: — Эти хлопцы всегда что-нибудь такое выкинут, шелегейдики, живот надорвешь. Специалисты! Ну!

Павлуша пожал плечами.

— Ну что? И тебя просить нужно? — скривился дед.

— А я тут ни при чем, — хмыкнул Павлуша.

— Как?! — удивился дед Саливон. — Разве вы не вместе?

— Не-а!.. — сказал Павлуша, покраснев, потом повернулся и пошел прочь.

— Вот так так! Что случилось? Ну и ну! — Дед даже расстроился.

— Да они поссорились! Совсем! Уже не дружат! — выскочил Антончик.

— Э-э... Не годится. Что ж это вы? Такие закадычные друзья! Негоже! — протянул дед Саливон.

Тут уж я покраснел, повернулся и тоже пошел прочь. Только в противоположную от Павлуши сторону. Прямо через кладбище, туда, в поле, где только ветер, подальше от людей.

Ну, теперь все! Конец!

Если раньше, доказав Павлуше своими подвигами, что он, дурень, променял меня, героя, на какое-то чучело в юбке, я мог еще простить ему измену и помириться, то теперь уж нет. Потому что он при всех отрекся от меня.

Всё!

Оборвалась наша дружба, как гнилая веревка.

Всё!

Нет у меня больше друга.

## Глава XII

### ТОСКА. Я ОТГОНЯЮ ВОСПОМИНАНИЯ. МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ ВОРОНОЙ. СОЛДАТЫ. «ВОСЬМЕРКА»

Прошло несколько дней. Всего три слова, три маленьких словечка — «Прошло несколько дней...». Написал — и не видно их. Будто и не было ничего.

А как же трудно, как долго они тянулись, эти несколько дней! И долго, и тоскливо, и грустно, ну прямо как в тюрьме, в одиночной камере. И погода, как назло, снова испортилась.

Дождь зарядил с утра до ночи. Нос из хаты не высунешь.

Сядешь у окна, уставишься на покрытый лужами двор и только слушаешь, как беспрерывно журчит в водосточной трубе вода. И так тебе плохо, что и сказать нельзя. Будто весь этот дождь — сплошные твои слезы.

До чего дошло — учебники прошлогодние перечитывать стал!

А тут еще мать сердце надрывает:

— Пошел бы хоть к Павлуше — не скучал бы так.

С этой своей работой, с этими своими общественными обязанностями она все время забывает, что мы поссорились навеки.

А там еще и отец душу выворачивает своей музыкой.

Придет с работы, вынет скрипку да как начнет пикировать жалобное, — кажется, не по струнам, а по жилам твоим смычком водит... Лучше б он уж этой скрипкой по голове меня треснул!

Наверно, впервые в жизни я понял по-настоящему, что это за беспроектная штука — полное одиночество. Когда даже мыслью поделиться не с кем.

И делать ничего не хочется, и читать не хочется, и играть не хочется — ничего не хочется...

Павлуше хорошо — сидит себе, наверное, и малюет какую-нибудь муру...

А чего это я про него думаю?! Пускай хоть на голове стоит — мне-то что! Предатель! Гребенюшкин угодник!

А дождь хлещет... И вода в водосточной трубе журчит без перерыва... И лужи уже всю землю покрыли, и, кажется, плывет хата среди бурного моря. И нет этому морю ни конца ни края — безбрежно и безлюдно оно, как после всемирного потопа. И кажется, солнце уже никогда не проклянется сквозь плотные мутно-серые тучи.

А в голову непрощено лезут воспоминания... Я их гоню, выталкиваю, а они всё лезут и лезут...

Про робинзонскую историю на необитаемом острове в плавнях, про то, как заблудился в кукурузе, про незнакомца из тринадцатой квартиры, про киностудию, про подземелье Лавры, про торсаторский бой с Контрибуцией, про ВХАТ с «Ревизором», про атомную бомбу на транзисторах и т. д. и т. п.

И о чем бы я ни вспоминал, всегда — хоть ты тресни! — этот Павлуша в голову лезет, всё с ним связано, всегда он там обязательно. Как будто у меня и не было своей личной жизни, а только общая с ним. Будто сам я не целый человек, а полчеловека. С одной ногой, одной рукой, полживота и полголова. А другая нога, другая рука, другая половина живота и головы — Павлушины. Вот ведь как!..

Я уж себя даже по лбу кулаком бил, чтоб выбить эти воспоминания, но все напрасно. «Это, наверно, оттого, что я все время сижу на месте,

без дела,— наконец решил я.— Нужно двигаться, чем-то заняться, что-то делать, и тогда они сами собой улетучатся».

Я соскочил с подоконника и начал двигаться — быстро ходить по хате из угла в угол, сперва просто так, а потом размахивая руками.

Дед Варава, который дремал на печи, открыл один глаз и спокойно спросил:

— Чесотка напала? Иль укусил кто-нибудь?

— Зарядку делаю,— соврал я.

Не объяснять же ему, что это я воспоминания из головы таким способом выгоняю.

И все-таки эти несколько дней прошли.

Как-то, проснувшись утром, я увидел, что дождя уже нет и сияет солнышко.

Мне стало чуть полегче. Я вывел на двор велосипед, зацепил на правой ноге штанину деревянной бельевой прищепкой (я всегда так делаю, чтобы штанина не попадала между цепью и зубцами передачи), сел и поехал.

Ясное солнце купалось в грязных лужах и делало их чистыми.

Я с разгону врезался в лужи, и они разлетались в разные стороны солнечными брызгами.

Выехал за село и помчался полевой дорогой. Ветер насвистывал в ушах какие-то веселые песни без слов. А потом внезапно появились слова. Но это был уже не ветер. Это навстречу мне шли солдаты. Шли они и дружно пели лихие походные песни:

Путь далек у нас с тобою,  
Веселей, солдат, гляди!  
Вьется, вьется знамя полковое,  
Командиры впереди.  
Солдаты,  
В путь, в путь, в путь!  
А для тебя, родная,  
Есть почта полевая,  
Прощай! Труба зовет,  
Солдаты — в поход!

И после этих серьезных слов они вдруг рванули на тот же самый мотив знакомый стишок, который учат обычно в детских садах:

Наша Таня громко плачет,  
Уронила в речку мяч.  
Тише, Таня, Танечка, не плачь,  
Эх, не утонет в речке мяч.  
Солдаты,  
В путь, в путь, в путь!  
А для тебя, родная,  
Есть почта полевая.  
Прощай! Труба зовет,  
Солдаты --- в поход!

Я съехал на обочину и остановился, пропуская их. Они все были очень молодые, эти солдаты, многие, должно быть, еще и не брились, и стишок про Таню был еще свеж в их памяти. Они так весело и дружно пели, что мне стало завидно. Здорово, наверно, быть солдатом. Идти вот так полем и петь в строю.

Солдат и вообще военных мы видели часто. Километрах в пяти от нас, за Дедовщиной, в лесу были военные лагеря, а дальше, в степи, — артиллерийский полигон.

И уже с год, а то и больше в центре села возле сельмага на столбе под репродуктором висела доска с объявлением:

#### ВНИМАНИЕ!

На полигоне регулярно днем и ночью проводятся стрельбы.

Красные флаги на вышках — на полигоне стрельба.

Выпас скота, сбор грибов и ягод в этом районе — только с разрешения начальника полигона.

И хоть бухало на полигоне далеко не каждую ночь и не каждый день, пасти скотину и собирать грибы да ягоды возле него никто не решался, даже с разрешения начальства. Только мы, ребята, несколько раз ходили туда искать порох, гильзы и другие боеприпасы. Да и то больше «на слабó», если кто-нибудь заденет за живое: «Вот, мол, тебе слабó!..» Но все это так, без результатов.

Солдаты через нашу Васюковку ездили все время на разных машинах, мотоциклах, бронетранспортерах, на грохочущих здоровенных тягачах, для которых специально были отведены грунтовые дороги за селом.

А в субботу солдаты приходили к нам в клуб на танцы. И мы любили толкаться возле них и слушать, как они отпускают шуточки. Особенно

нависал над невысокий, но весь какой-то ладный солдат из Рязани — Митя Иванов, рыжий и курносый.

Он неумолимо подшучивал над своим другом, здоровенным увальнем Всеволодом Пидгайко, который был вдвое выше его ростом.

Заметив, например, что мимо них проходит какая-нибудь красивая дивчина, Митя Иванов неожиданно громко выкрикивал:

— Солдат Пидгайко, смир-рно! Равнение на середину!

Пидгайко краснел и махал рукой:

— Да ну тебя!

Тогда Митя начинал его отчитывать.

— Кто такой солдат? — строго спрашивал он и сам отвечал: — Солдат — это военнослужащий, который умеет — что? — отлично владеть оружием; который досконально знает материальную часть и... неукоснительно выполняет — что? — приказы своего командира. А вы, Пидгайко? Вы лентяй, неряха и обманщик. Вы думаете только о еде и о девчатах. Позор! До какой жизни вы дошли! Какой пример вы показываете подрастающему поколению? — И он широким жестом показывал на нас, мальчишек. — Позор! Мне стыдно за вас, солдат Пидгайко! Два наряда вне очереди! И три часа строевой. Кру-гом! От меня до следующей колонны шаго-ом арш! Песню!

Последние слова он произносил каким-то особенным голосом, видно, кого-то копируя, старшину или еще кого-нибудь... Раздавался дружный хохот, — должно быть, было похоже.

Вообще в клубе они были очень ребячливы и во многом похожи на нас, эти солдаты. Шутя передразнивали своих командиров, как мы — учителей. Рассказывали, как кто-то из солдат ходил в «самоволку» (то есть без разрешения начальства — вроде того, как мы прогуливали уроки). И все время шутили и смеялись.

А шутки, по-моему, — самое главное в жизни. Жизнь не может быть без шуток. Я вот даже боюсь чересчур серьезных взрослых, которые не понимают этого. Мне кажется, они злые, недобрые люди, которые если еще и не сделали ничего плохого, то наверняка когда-нибудь сделают.

А веселые, остроумные, по-моему, гораздо нужнее в жизни, чем чересчур серьезные, важные и сердитые. Эти только и умеют, что покривать да наказывать, а шутник скажет что-нибудь остроумное, и сразу легче работать, и дело спорится. А если ваш начальник веселый человек



и шутить умеет, тогда вообще здорово. Вот у нас такой председатель колхоза Иван Иванович Шапка. А был до него Припихатый. Тот все время только кричал и руками размахивал. И от этого размахивания колхоз... развалился. А нынешний не кричит никогда, только шутит, и колхоз — первый в районе.

Да я уверен, что и в бою этот самый Митя Иванов и тот же Пидгайко скорее совершат героический подвиг, чем кто-нибудь другой.

И это ничего, что Митя Иванов идет вон там в строю последним (потому что самый маленький ростом). Но как солдат он совсем не последний. И, наверно, эту самую дошкольную «Таню» он первый запел, а все подхватили.

Проходя мимо, Митя Иванов подмигнул мне и улыбнулся. И так захотелось побежать следом за ним и, пристроившись к колонне, зашагать и подхватить песню!.. Но если б я был сейчас хотя бы во втором классе, а то ведь...

Но все же встреча с солдатами как-то сразу подняла настроение, и я помчался полевой дорогой с удвоенной скоростью, и в душе моей сама собой начала петься, вымурлыкиваясь под нос, эта удалая солдатская песня: «В путь... в путь... в путь...»

Эх, как я люблю вот так мчаться на велосипеде среди бескрайних полей, или тропинкой в лесу, или по мокрому песку возле самой речки (лучше, чем по асфальту)!

Молодчина тот русский мужик Артамонов, который велосипед выдумал! Что бы это люди делали без велосипедов! У нас все село на них ездит: и в поле,— тятку к раме привязав, и на базар,— корзины к багажнику да к рулю приторочив, и вообще куда угодно.

Вообще велосипед — главный транспорт на селе. Так говорит дед Саливон. В городе на велосипедах только дети да спортсмены ездят, а здесь все. В городе вы старой женщины на велосипеде сроду не увидите, а у нас какая-нибудь семидесятилетняя бабушка Палажка жмет на все педали, только ветер свистит. И никто не удивляется, как будто это не старушка, а дивчина-спортсменка.

Я люблю свой «велик», как, должно быть, когда-то казак-запорожец коня любил. Даже воображаю, что это и есть мой конь боевой. И ласково называю его — Вороной. Потому что у него черная рама. И сдается мне — ни у кого в мире нет такого резвого коня.

— И-го-го-о! — так голосисто заржал он на все поле моим голосом, что я даже охрип.

Разве существуют для такого коня какие-нибудь преграды!

Гоп-ля! — с ходу перескочил он какую-то палку, лежавшую у нас на пути.

Гоп-ля! — перескочил выбоину.

Го... Геп! Ляп! — перескочил я руль велосипеда, пролетел несколько метров в воздухе и со всего маха шлепнулся носом в жидкую грязь.

У-у-у, чтоб тебя!.. Тьфу ты!

Тьфу!

Тьфу!

Это была не просто лужа, как мне показалось. Это был ровик, до краев залитый водой.

Мой Вороной лежал на боку, как-то странно и неестественно задрал вверх переднее колесо. Я подошел к нему, и крик отчаяния вырвался у меня из груди: переднее колесо было скручено в какую-то страшную спираль. «Восьмерка»! Такой дикой «восьмерки» я еще никогда не видел.

А до Васюковки километра два.

Вот еще передряга!.. И что я такой невезучий?! Вот всегда так: только чуть полегче станет, только покажется, что жизнь улыбается снова, как судьба тут же бац по носу! И ты в луже. Эх!..

Поднял я своего Вороного, обнял за руль и поковылял к селу, волоча за собой. Если просто так идешь, то редко кого и встретишь, а если не хочешь никого встретить, то на каждом шагу:

— Ай-яй-яй!

— Что ж это ты сделал?

— Ого-го!

— Вот это «восьмерка»!

— Ай-яй-яй!

А уже возле самого дома на Павлушу наткнулся. Он как раз выходил из своей калитки.

Увидев меня, Павлуша не мог сдержать удивленную улыбку. Я в сердцах только плюнул в его сторону и тут же, как назло, споткнулся. Павлуша рассмеялся.

— Дурак! — крикнул я, яростно дергая велосипед, который застрял в калитке.

Он не ответил. Отвернулся и пошел себе по улице.

Дед взглянул на искалеченное колесо и спокойно спросил:

— Трактор, что ли, на таран брал, а?

Я только зубами скрипнул. С дедом ссориться я не мог: кто ж тогда Вороного вылечит? Мой дед умеет все на свете. Что бы я ни сломал, что бы ни испортил, я всегда шел к нему. И он меня выручал. Хоть и говорил при этом всякие неприятные слова. Но я к ним привык.

Вот и сейчас я вздохнул и молча с надеждой взглянул на него. Дед в свою очередь вздохнул и сказал:

— Принеси плоскогубцы, клещи и молоток.

Я не заставил его повторять. Молниеносно метнулся в сарай за инструментом. И дед сразу взялся за дело.

— Варвара! — Дед любил перекручивать слова. — Только и знаешь золоти вербы выращивать... Вредитель! Колорадский жук! Не на велосипеде тебе, а на корове ездить. Багамот! Этак колесо искрутить! Ведь это же нужно суметь! Десять злодеев будут специально крутить и так не скрутят. Вот тебя бы так скрутило, чтоб знал, как ездить.

Я молча слушал и только время от времени вздыхал, показывая свое раскаяние.

Дед любил, когда я каялся. Тогда он делал для меня все на свете.

Провозился дед до позднего вечера. И колесо стало как новенькое, будто только что из магазина.

У моего деда золотые руки. Если бы мне такие!.. А мои только шkodить умеют. Эх!..

## Глава XIII

**НЕДАРОМ ЭТА ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ — В НЕЙ  
ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕЧТО НЕОБЫЧНОЕ, НЕПОНЯТНОЕ  
И ЗАГАДОЧНОЕ. ТАЙНА ТРЕХ НЕИЗВЕСТНЫХ**

На следующий день я уже выехал на своем Вороном как ни в чем не бывало. Правда, теперь я ехал осторожненько, объезжая каждую ямку, каждый камушек, каждую лужицу.

Дед стоял у ворот, как будто просто так, но я заметил, что он искоса

поглядывает на мое переднее колесо. Ему было интересно, как оно вертится. И он, видно, был доволен своей работой.

Я проехал нашу улицу и повернул на центральную, Шевченковскую, которая вела через все село в поле. Уже миновал крайние хаты, когда услышал позади треск мотоцикла. Я свернул на обочину, чтобы дать ему дорогу, и обернулся. Меня догонял какой-то военный в шлеме и больших мотоциклетных очках-крагах, которые закрывали ему пол-лица.

Поравнявшись со мной, военный вдруг затормозил.

— Рень? — коротко спросил он и, когда я кивнул в ответ, протянул мне какой-то конверт. И сразу дал газ и рванул вперед.

Я так растерялся, что уронил конверт на землю. И пока поднимал, от мотоциклиста только пыль на дороге осталась. Я лишь успел заметить, что это был офицер: старший лейтенант или капитан (то ли три, то ли четыре звездочки на погонах). А лица — хоть убей — не разглядел. Только и запомнил, как белозубо сверкнуло это короткое «Рень» на загорелом запыленном лице... И очки и зеленый шлем...

Я взглянул на конверт:

**Яве Реню** (*Совершенно секретно*).

Занемевшими пальцами разорвал конверт и вытащил письмо:

*Сегодня в девятнадцать ноль-ноль приходи к разбитому доту в Волчий лес. В расщелине над амбразурой найдешь инструкцию, что ты должен делать.*

*Это письмо нужно немедленно уничтожить. Дело чрезвычайно важное и секретное. Никому ни слова. Чтобы тебе легче было хранить тайну, мы пока что не называем себя.*

*Итак, ровно в девятнадцать ноль-ноль.*

Г П. Г

У меня сразу вспотели ладони. Я поднял голову и осмотрелся. На улице никого не было. Только у крайней хаты во дворе старушка кормила кур, приговаривая: «Цыпоська, цы-па-цы-па, цыпоська, цы-па-цы-па». Но в мою сторону она даже не смотрела. Кажется, никто ничего не видел.

Я сел на велосипед и погнал в поле. Письмо я крепко сжимал в руке, притискивая к ручке руля. В голове моей была сумятица и неразбериха.



Что это? Шутка? Кто-нибудь из ребят? Или все вместе? Решили подшутить и посмеяться надо мной? Отомстить за то, что я их дурачил с этим привидением? Но ведь они же видели, что я сам остался в дураках. Чего же мстить-то?

И разве стал бы офицер на мотоцикле вступать во всякие ребячьи выдумки, передавать письмо? Нет, вряд ли! И почерк в письме не детский, не ученический. Ученический почерк, даже самый что ни на есть каллиграфический, сразу можно узнать, а это совсем взрослый — очень четкий, разборчивый, с наклоном влево и каждая буква отдельно.

Нет, это не ребята. Но кто же?..

И что означают эти буквы — Г П. Г.? Что это? Инициалы? Или зашифрованное звание? Например, гвардии полковник Герасименко (или там Гаврилов, Гогоберидзе...). Или — генеральный прокурор Гаврилов (или опять-таки Герасименко, Гогоберидзе...).

Но в письме стоит «мы». Выходит, Г П. Г. — не один человек? Должно быть, трое — «Г», «П», «Г». И кто же они, эти трое неизвестных? Хорошие люди или плохие?

Не останавливаясь, я еще и еще раз перечитывал письмо. И ничего не мог понять. Они просят порвать. Ну что ж, порвать можно. Даже если это шутка — тем более.

Я порвал письмо на мелкие-премелкие клочки и, двигаясь по дороге, понемногу их выбрасывал.

Теперь это письмо сам черт не соберет.

До семи часов вечера было еще далеко. Но ноги мои механически крутили педали, а руль сам собой поворачивал в сторону Волчьего леса. Я и не заметил, как оказался уже на опушке. И только тогда вдруг подумал: «А почему это я сюда еду? Ведь в письме сказано — в девятнадцать. И если я приду раньше, может, это повредит делу — кто его знает».

Я крутанул руль и свернул на дорогу, которая ведет вдоль леса в Дедовщину, — как будто кто-то невидимый следил за мной и я хотел его убедить, что я и не собирался ехать в лес.

«Заеду в Дедовщину, куплю фигурных леденечков», — решил я. В дедовщинской лавке бывали фигурные леденцы на палочках — девятнадцать копеек сто граммов. В нашу таких почему-то не завозили, и мы иногда специально ездили за ними в Дедовщину.

Не доезжая до села, я увидел на дороге «Москвич» с поднятым капотом. В моторе кто-то ковырялся. Когда я приблизился, этот кто-то поднял голову, и я узнал попа Гогу. Увидев меня, отец Гога сказал:

— О! Ну-ка, поддержи мне вот тут немножко.

Я слез с велосипеда и, глуша в сердце тревогу, поддержал ему в моторе какую-то штуковину, которую он прикручивал плоскогубцами.

— Спасибо! — сказал он, когда кончил. Потом хитро глянул на меня прищуренным глазом и проговорил какие-то непонятные, загадочные слова:

— Темна вода во облацех.— И усмехнулся.

Я удивленно захлопал глазами, потом торопливо сел на велосипед и поехал. Мне стало как-то не по себе от этих слов.

Я даже забыл про фигурные леденцы на палочках и свернул на другую дорогу — назад в Васюковку.

«Может, это поп Гога написал? — растерянно думал я дорогой.— Вместе с бабкой Мокриной. «Г П. Г.» «П. Г.» — это может быть «поп Георгий» — абсолютно точно. А «Г»? Гавриловна!.. Это по отчеству бабу Мокрину. Мокрина Гавриловна. Ее иногда так и зовут — Гавриловна. И они хотят заманить меня в лес и... убить.. За то, что я их с этим привидением подвел. А что! Были же такие случаи, когда религиозные фанатики убивали людей. Даже в газетах писали... Эх, если бы рядом был Павлуша, ничего бы страшно не было. И зачем это он предал меня? Вот убьют меня, тогда уж он пожалеет, тогда уж поймет, что это он виноват, потому что бросил меня на произвол судьбы. Да уж поздно будет...»

В селе я свернул на улицу Гагарина и поехал по ней до речки. Мне не терпелось взглянуть, что сейчас делает бабка Мокрина. Ее хата была крайней, почти у самой воды. Под соломой, но чистенькая и опрятная, а сад большой, лучший в селе. Таких сортов яблок, как у нее, не было ни у кого. Но не выпадало нам счастья их отведать, потому что и такого злющего Бровка, как у бабки Мокрины, тоже ни у кого не было.

Бабка Мокрина как раз трясла яблони, собирая яблоки в подол. Завидев меня, она вся так и вытянулась в струнку.

— А, это ты? По яблочки пришел! А вот тебе, во-от! — И она сложила пальцы в здоровенную дулю.— Пошел вон! Атеист сопливый!



Бандюга! Чтоб тебе чертей в пекле фотографировать! Марш отсюда! Прочь!

Я только усмехнулся и поехал. Мне сразу стало легче. Если б они собирались меня убивать, она бы так не лаялась. Она бы, наоборот, старалась сладкими речами глаза мне отвести, чтоб я ничего не подозревал. Да и что это я вообразил! Кому я нужен, чтоб меня убивать? И разве мог офицер на мотоцикле быть заодно с попом Гогой и бабкой Мокриной? Тьфу! Глупость какая-то!

Я твердо решил ничего не бояться и к девятнадцати часам ехать в Волчий лес. Видно, дело действительно серьезное. Я кому-то нужен и могу быть полезным. И нечего думать. Мой дед всегда говорит, что, если ты можешь сделать доброе дело, делай, не задумываясь и не откладывая.

Но не думать я не мог и до шести часов вечера только об этом и думал.

## Глава XIV

### ВОЛЧИЙ ЛЕС. ИСТОРИЯ ДОТА. НЕОЖИДАННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Наконец я сел на велосипед и поехал.

Волчий лес был когда-то дремучим, с непроходимыми чащами, и в нем на самом деле водились волки. Теперь там волков давно уже нет — всех истребили, — но непроходимые чащи остались и, хоть без волков, все-таки страшноваты. Во время войны в Волчьем лесу шли большие бои. Весь он был изранен окопами, которые теперь поросли густой травой да узорчатым кудрявым папоротником. А в старом дубняке на взгорье громоздятся гигантские глыбы взорванного дота.

Когда-то здесь была опушка, и как раз возле дота перекрещивались две дороги. Одна, внизу по краю леса, вела на Дедовщину, другая — в лесную чащу, на Гарбузяны. А теперь опушка отодвинулась почти на километр, потому что поднялась тут густая посадка сосняка, через которую прорублена новая дорога. Эту дорогу люди называют «глеканкой». Если ехать по ней на телеге, то на корнях колёса, как у нас говорят, «глекают». А дорогу, которая через лес на Гарбузяны, называли «гене-



ральской», потому что в лесу от нее есть поворот к военным лагерям. Славная история у этого дота.

В сорок первом, когда немцы стали захватывать Украину, здесь держали круговую оборону трое наших бойцов. Весь район уже был оккупирован, фронт продвинулся на тридцать километров к востоку, а немцы все никак не могли захватить этот дот. Ни бомбы его не брали, ни снаряды, ни мины. Восемь дней держались бойцы без воды, без пищи до последнего патрона. Четыре танка подбили из противотанкового ружья, без счета фашистов покосили из пулемета. И, только когда не стало уже боеприпасов, вышли защитники дота и безоружными пошли на врага. И, говорят, каждого из них пробило не меньше чем сто пуль.

А дот, даже пустой, нагонял страх на фашистов. Они привезли туда три воза взрывчатки и взорвали его.

Но и разбитый, покалеченный, с искореженными железными рейками, которые, будто кости, торчали на изломах из толстых метровых глыб, он поражал силой и мощью. Его огромные грязно-серые глыбы, кое-где покрытые ржавым мхом, были из какого-то невероятного, нигде теперь не встречающегося железобетона, густо замешанного на кусках гранита, какими часто мостят дороги. Между этих камней торчала черная погнутая арматура из железных прутьев в палец толщиной, которую даже ржавчина не брала.

Весь дот зарос густой жалеющей крапивой, будто оберегая таким способом свое суровое одиночество и неприкосновенность.

Все же на одной из глыб какой-то досужий Вася, желая, наверно, пробиться в бессмертие, попытался запечатлеть чем-то острым свое имя, но не осилил. Буквы нацарапались едва заметно, а последнее «я» было уже такое хилое и немощное, что даже стыдно становилось за этого Васю с таким его жалким «я».

Хоть и был дот не очень-то далеко от села, мы, мальчишки, к нему почему-то почти не ходили. Я за всю свою жизнь раза три, может, только и был. И по грибы и по ягоды мы больше ходили в Пешанский лес, за Пески.

И теперь, когда я подъезжал к доту, все вокруг показалось мне чужим, незнакомым и таинственным. Стояла какая-то жуткая тишина, даже птичек не было слышно, только где-то в лесной вышине едва-едва шелестели под ветром листья.

Я прислонил своего Вороного к дубу возле дороги, потом осторожно раздвинул кусты и, хватаясь руками за ветки, стал карабкаться вверх, к руинам дота.

— Ты куда?! — раздался вдруг негромкий, но властный голос.

От неожиданности я выпустил ветки, за которые держался, и упал на колени.

— Куда лезешь? — повторил голос.

— Никуда... а... а что такое? — спросил я, все еще стоя на коленях и напрасно вглядываясь в чашу — того, кто говорил, за кустами не было видно.

— Сейчас учения. Не видел, что ли, — флаги на вышке. Ну-ка, давай отсюда!

Ясно: караульный. Когда учения, всегда выставляют караулы на дорогах, которые ведут к лагерям.

Спорить было нечего. Я повернулся и на карачках стал спускаться вниз.

Вот черт! И нужно же! Поставили как раз на этом месте. Ну, ничего! Я его как-нибудь обойду. Зайду осторожненько сбоку — он и не углядит. Эти караульные, по-моему, просто так стоят, для вида. Развалятся себе в кустах и покуривают. Очень это им нужно. Кто сюда пойдет! Если бы я прямо на него не наткнулся, он бы, наверно, и головы не поднял.

Я спускаюсь на дорогу и, пригнувшись, кидаюсь вправо; перебегая от дерева к дереву, начинаю обход сбоку. Теперь я смотрю в оба и стараюсь двигаться как можно тише. Но когда я оказался уже почти у самой цели, из кустов послышалось:

— Ты что, в жмурки со мной играешь? Ну-ка, давай отсюда!

Заметил. Все-таки заметил, чертяка!

— Уж и грибов поискать нельзя! — проворчал я и, насупившись, пошел назад.

Вот ведь!

Как же я теперь возьму инструкцию? Разве они не знали, что будут войсковые учения? Не может быть. Что же делать? Вот так просто ехать домой, и все?..

А может, они потому обратились ко мне, что надеются на мою ловкость, пронырливость, на то, что я смогу незаметно проскользнуть мимо часового? Может, как раз в этом и состоит мое задание? Да кто ж такие тогда «они»? Если «они» хотят делать что-то тайно от армии...

Может, «они» шпионы? Э, нет! Ерунда! Хватит с меня шпионов. Были уже в моей жизни «шпионы». Кныш и Кнышиха. Хватит. Настоящие шпионы не такие дураки... Да и не стану я делать ничего такого, — что я болван?! Я сперва узнаю, что им нужно и для чего, а уж тогда...

Но домой так просто идти я не могу. Я должен достать эту инструкцию. Должен! Иначе я не буду уважать самого себя.

Я беру Вороного за седло и встряхиваю, чтобы он подал голос — задребезжал. Пусть часовой думает, что я уезжаю. Для этого я еще и кашляю громко в придачу. Потом сажусь и еду по дороге — будто бы в сторону села. Но, отъехав метров сто, так что от дота меня уже никак не видно, сворачиваю в лес, прячу Вороного под папоротником в окопе и по-пластунски, на животе, начинаю в обход подкрадываться к доту. Я ползу долго и осторожно, через каждые два-три метра замирая и прислушиваясь. Наконец прямо передо мной дот. Часового не видно. Он, должно быть, с той стороны, в кустах. Но и амбразура тоже с той стороны. Выход один — пробраться через руины дота и попробовать нащупать трещину над амбразурой изнутри. Но это легко сказать — пробраться. Я уже говорил, что весь дот зарос густой и зверски жалищей крапивой. Одно дело идти по такой крапиве в полный рост, раздвигая ее какой-нибудь палкой, и совсем другое — ползти по ней по-пластунски, да еще и так, чтоб тебя не было видно, чтобы эта крапива не шевелилась.

Я полз вперед, опустив лицо к земле и прикрывая его рукой. Крапиву я раздвигал макушкой. И пока покрытые иглами зубчатые листья проходили по волосам, я их не чувствовал. Но когда они касались шеи, меня всего так и передергивало — будто кто-то лил мне на шею кипяток.

Но больше всего страдали уши. Мои бедные уши. Мне даже казалось, будто я слышу, как они сухо трещат, пылая жарким пламенем. И казалось, что не по крапиве я лезу, а через какой-то страшный адский огонь. Но я стискивал зубы и лез, лез, лез...

— М-да-а! — услышал я вдруг над головой уже знакомый голос. — Видно, ты или чокнутый, или что-то задумал. Вставай!

Ругнувшись про себя последним словом, я поднялся.

На покато́й глыбе дота, расставив ноги, с автоматом на груди стоял Митя Иванов. Это был он! И где-то в глубине души шевельнулась у меня одобрительная мысль: «А часовой-то что надо, самого черта не пропустит».

Митя Иванов смотрел на меня беззлобно, с интересом. Мои сплошь обожженные крапивой уши, шея, руки говорили сами за себя.

— Ну, так что ж тебе нужно? — спросил он, усмехаясь.

— Ничего, — я еще не успел придумать.

— Ничего? Гм! Значит, дурень, — с разочарованием сказал он. — А может, все-таки нужно?

И вдруг у меня мелькнула мысль: «А может, это все специально? Чтоб меня проверить?»

Ну так нет, дудки! Ничего вы от меня не услышите! Хоть мне и очень хочется доказать, что я никакой не дурень.

## Глава XV

### СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПАВЧАДЗЕ. Я ОСМАТРИВАЮ ЛАГЕРЬ

Вдруг на дороге затрещал мотоцикл и, чихнув, сразу смолк — остановился.

— Иванов, что там такое, а? Чей велосипед на дороге? — раздался хрипловатый голос с кавказским акцентом.

— Да вот, товарищ старший лейтенант, нарушитель... Пацан какой-то. Я его гоню, а он лезет...

Кусты раздвинулись, и появился офицер, высокий, стройный, с черными грузинскими усиками. Пристально взглянув на меня, он спросил:

— В чем дело, а?

Я тоже внимательно посмотрел на него и молча пожал плечами. А в голове крутилось: «Тот или не тот? Тот или не тот?» И никак я не мог вспомнить, с усиками был тот или без. Да разве за те считанные секунды, пока он передавал мне письмо, можно было что-нибудь запомнить? Но лицо такое же загорелое, запыленное, улыбка белозубая. И на погонах три звездочки... Кажется, все-таки тот.

— Ты что, немой, да? Не понимаешь, что тебе говорят? А что с ушами? Почему такие красные? И шея... Иванов! — Он неожиданно метнул сердитый взгляд в сторону солдата. — Ты что... а?

— Да что вы, товарищ старший лейтенант! — Уши Иванова стали

сразу еще краснее, чем мон.— Как вы могли подумать? Это он по крапиве лез. Шальной какой-то!

— По крапиве, да? — Офицер удивленно поднял брови и взглянул на меня с нескрываемым любопытством.— Инте-ре-сно! Так что тебе тут нужно, а?

«Ничего-ничего,— подумал я,— проверяйте, проверяйте! Вы меня не «подцелите». Я не «расколуюсь», не бойтесь».

И, строя из себя дурачка, я захлопал глазами и сказал:

— Да грибков хотел поискать... Что, нельзя? Нельзя разве?

Офицер прищурился, пронизывая меня взглядом, потом повернулся к солдату:

— Иванов, приглядишь за его велосипедом, да...

— Есть! — козырнул солдат.

— А ты поедешь со мной,— приказал мне старший лейтенант и пошел на дорогу к мотоциклу.

Я молча двинулся за ним.

— Садись! — кивнул он на сиденье позади себя и нажал ногой стартер.

Мотоцикл сразу фыркнул, зарычал, и мы так стремительно рванулись вперед, что я едва не слетел с седла. Хорошо, что успел цепко ухватиться за офицерскую гимнастерку.

Мы мчались по ухабистой, разбитой тяжелыми военными машинами «генеральской» дороге. Меня все время подбрасывало, и полдороги я, считай, летел в воздухе и только полдороги ехал. Но я не замечал этого. Даже наоборот. Это было близко моему настроению. Меня изнутри тоже будто что-то подбрасывало. Не знаю, как называется по-научному эта нервная тряска, а по-нашему, по-мальчишески,— «мандраж». Разве я мог, скажите, быть спокойным, когда ехал на какое-то необычное, какое-то важное и секретное задание, для которого требовалось мужество, смелость, может быть, даже героизм. Ясно теперь, что это военное задание. Секретное задание военного значения. Наверно, у них там что-то сломалось и взрослому не пролезть. Пацана нужно. Может, надо залезть в дуло какой-нибудь гигантской пушки или в ракету с атомной боеголовкой.

И было мне, честно говоря, так страшно, что пятки холодели (ведь если же она бахнет — даже пепла от меня не останется, похоронить нечего будет). А с другой стороны, подпирала радостная гордость, что

выбрали не кого-то, а меня,— значит, считают, что я подхожу для такого дела. И как же хотелось доказать, что я как раз такой и есть! Даже в животе щекотало, как часто бывает перед экзаменом или перед тем, как арбуз с баштана стянуть. Ох, если бы только повезло, чтобы все было в порядке! Это было бы так кстати, так кстати! Павлуша умер бы от зависти! Вот только рассказывать, наверно, нельзя будет. Уж если так засекречивают, предупреждают, если уж так проверяют да испытывают... А может, наоборот, придут в школу и на общем собрании благодарность объявят. А то и подарок какой-нибудь ценный вручат — фотоаппарат, транзистор или еще что-нибудь... А могут и медалью наградить. Разве не бывает, что ребят награждают медалями? Если они совершат что-нибудь героическое? Это уж точно!

Мотоцикл так резко остановился, что я ткнулся носом офицеру в спину. Мы были на большой поляне перед высокой деревянной аркой, какие бывают на шоссе при въезде в новый район, украшенной поверху флажками. Но в отличие от районной, эту арку перекрывал внизу полосатый шлагбаум, как на железнодорожном переезде, и стояла будка с часовым.

— Пропускай! Лазутчика везу! — крикнул офицер часовому.

Тот поднял шлагбаум, и мы въехали на территорию лагеря.

«Лазутчика везу»,— значит, придется все же куда-то лезть.

Мы ехали (теперь уже медленно) по чистенькой, посыпанной белым песочком дорожке, с обеих сторон которой стояли брезентовые палатки, точь-в-точь как в пионерском лагере.

И даже красные лозунги на фанерных щитах, что выстроились вдоль дорожки, были похожи на пионерские: «Равняйся на отличников боевой и политической подготовки», «Тяжело в учении — легко в бою», «Стрелять только на «хорошо» и «отлично»!»

«Выходит, солдаты — тоже ученики, только взрослые,— подумал я.— Значит, люди и после школы должны учиться, думать про оценки и равняться на отличников». А я-то мечтал закончить школу и навсегда забросить учебники на самую высокую иву... Не тут-то было!

— Класс тактики,— не оборачиваясь, сказал офицер.

Мы проезжали мимо площадки, где стояли ряды длинных лавок, вкопанных в землю, как в летнем кинотеатре, только вместо экрана на дереве висела черная школьная доска.

— Спортилошадка, полоса препятствий, да,— снова, не оборачиваясь, сказал офицер.

Здесь было много всего — и футбольное поле, и волейбольная площадка, и турник, и кони, и огромная перекладина на двух столбах с канатом, кольцами и наклонной лестницей (чтоб на руках подниматься). А то, что он назвал «полосой препятствий», было: бревно, яма с водой, высокий забор, низенькое проволочное ограждение, под которым нужно на животе пролезать, и всякие другие сооружения. Это, должно быть, интересно. Вот бы попробовать!.. А вообще, может, мне сейчас придется такую «полосу препятствий» преодолевать, против которой эта — детские игрушки?!

— Артиллерийский парк, да.— Мотоцикл сбавил ход возле огромного загона, где вся земля была перенахана колесами тяжелых машин и орудий и гусеницами тягачей. Но сейчас ни орудий, ни тягачей не было. Только в глубине под навесом стояло несколько приземистых бронемашин с вытянутым корпусом и каких-то высоких грузовиков с будками. Да кроме того, под другим навесом, стояло несколько восьмиколесных машин со скошенными вниз, как у лодок, носами.

— А это что такое? — Я ткнул рукой в сторону восьмиколесных машин.

— Бронетранспортеры-амфибии. Для преодоления водных рубежей да и для высадки десантов. Понял?

— Понял.

Он говорил на каком-то смешанном языке — половина слов украинских, половина русских. Ему, наверно, трудно было, но он все-таки старался говорить по-украински, и это выходило у него как-то очень мило.

А это свое «да» почти после каждого слова он выговаривал с певучей кавказской интонацией, и оно не раздражало, а, наоборот, тоже было каким-то симпатичным.

Мы еще немного проехали. Возле длинного деревянного барака он сказал:

— А это столовая.

Перед столовой стояла машина с прицепом, похожим на пушку, нацеленную дулом в небо. Я уже знал, что это такое. А когда-то всем нам было невдомек и мы долго спорили. Антончик Мациевский говорил, что это гаубица, Вася Деркач — миномет, а Карафолька

доказывал, что это секретное оружие ракетного типа последнего образца. А прицеп оказался... походной кухней!

— Ну что, нравится тут у нас, да? — спросил офицер.

— Ага,— сказал я.

— Ты в каком классе?

— В седьмом.

— Значит, через четыре года... Ну все, поехали, да...

Он развернул мотоцикл и дал газ. И через минуту мы снова были возле арки. Часовой поднял шлагбаум, и мы рванули по «генеральской» назад к доту.

«И это все? — разочарованно подумал я.— Или, может, так и надо — сперва простое знакомство с территорией лагеря, а потом... Или, может... или, может, я им... не подошел?»

Мне стало ужасно горько от этой мысли.

Мы подъехали к доту. Стали. Какое-то время я еще сидел, держась за его гимнастерку. Во мне еще оставалась капля надежды, что это еще не все. Он повернул голову и улыбнулся.

— Мне слазить? — тихо спросил я.

-- Да, дорогой, да,— сказал он.

Я с трудом перевалил через седло ногу и слез.

А он снова улыбнулся.

— Да, будем знакомы — старший лейтенант Пайчадзе.— Он протянул мне руку.— Кстати, скажу по секрету, да, у нас в штабе был разговор, чтобы взять шефство над вашей школой, да. Поднять военно-спортивную работу среди старшеклассников. А? Будем приглашать к себе, да, знакомить с материальной частью, с боевой техникой. Нужно готовить из вас хороших воинов, да. Верно я говорю, да?

Нет, что-то он не то говорит... Неужели я ему не понравился, неужели не подошел?

Я вопросительно посмотрел на него долгим взглядом и решился.

— Вы, может, думаете кого-нибудь получше найти? — Я пренебрежительно хмыкнул.— Вряд ли. Разве только Павлуша... Но...

Он пристально взглянул на меня и сказал:

— Думаю, что ты хороший хлопец, да... Но не понимаю, о чем ты говоришь...

Кровь бросилась мне в лицо. Зачем я сказал? Эх!



— Ничего, это я просто так... Спасибо! До свиданья! — Я быстро вскочил на Вороного и нажал на педали.

Отъезжая, слышал, как Митя Иванов говорил:

— Чудной какой-то хлопец, правда?

Пайчадзе что-то ответил, но я уже не расслышал.

Тьфу ты! Вот ведь как вышло!

Если они в самом деле ничего не знают про это письмо, то наверняка думают, что я или круглый дурак, или уж, во всяком случае, с придурью.

А если... Тогда еще хуже. Выходит, что я им все-таки не подошел...

Но почему в письме было сказано про амбразуру, про инструкции? Для чего? Неужто просто так? Вряд ли.

И, кажется, у того офицера, который передавал письмо, все-таки не было усов. Я бы их запомнил.

Тогда, может, и Пайчадзе и Иванов просто не в курсе дела? Когда проводится секретная операция, о ней знает только небольшая группа людей, даже среди своих. Слава богу, фильмов про это я насмотрелся да и книжек прочел — будь здоров!

Тогда нужно подождать, может, эти тактические учения скоро кончатся и пост снимут. Я выехал на опушку и свернул в посадку молодого сосняка. Положил Вороного на землю под сосенки, а сам прилег на теплый и мягкий, как перина, мох.

Отсюда хорошо было видно и деревянную вышку, которая поднималась над лесом, и дорогу. На вышке развевался красный флаг. Я решил ждать. Может, этот флаг скоро спустят, и тогда я смогу подойти к амбразуре. Не мог же я спокойно ехать домой, даже не узнав, что там такое, в этой инструкции!

Но как же я не люблю ждать, если бы вы знали! Самая большая для меня мука — это стоять в очереди. Еще хуже, чем зубрить какой-нибудь нудный урок.

Ох, как я не люблю ждать! Но что поделаешь.

## Глава XVI

ПАВЛУША. НЕУЖЕЛИ?..

НЕ ХОЧУ, ЧТОБ ОН МЕНЯ ВИДЕЛ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ В САДУ УЧИТЕЛЬНИЦЫ. КТО ОН ТАКОЙ?

Начало смеркаться. Потянуло вечерней прохладой. Я лежал и думал, как было бы здорово, если бы вот сейчас рядом со мной лежал Павлуша. Ничего мне не было бы страшно, никакие испытания. И ждать я мог бы хоть целую ночь. И зачем мы поссорились? Зачем эта Гребенючка нас разлучила? Почему она такая вредная? Ненавижу ее! Ненавижу! С какой радостью я б ей сейчас всыпал по первое число, дал бы так, чтоб только мокрое место осталось! Да разве бы это помогло...

От села по дороге кто-то ехал на велосипеде.

Я сначала думал, что в Дедовщину. Но велосипедист миновал поворот на Дедовщину и начал приближаться по «глеканке» к лесу. Кто же это? Неужели не видит, что на вышке флаг? Не пропустят же...

Он ехал быстро и с каждым мгновением приближался. Уже можно было разглядеть, как надувается ветром рубашка на спине. Я напряг все свое зрение, и вдруг меня так и подкинуло. Я даже встал на четвереньки.

На велосипеде ехал... Павлуша.

Он что было сил крутил педали — торопился. Лицо серьезное и сосредоточенное. И не видно при нем ни кисточки, ни красок. Значит, не рисовать он ехал. Да и кто ж это на ночь глядя поедет в лес рисовать?

Вдруг неожиданная догадка ледяной волной захлестнула мое сердце: это его вызывали вместо меня. Потому что я не подошел. Не понравился. Что-то не так сделал. И они решили, что я не справлюсь, решили поручить другому. А кто же из ребят подходящий? Конечно, Павлуша. Не Карафолька же, не Антончик Мациевский, не Вася Деркач и даже не Коля Кагарлицкий. Да я и сам назвал Павлушу старшему лейтенанту.

Эта внезапная догадка прямо парализовала меня. Тело мое стало каким-то ватным — вялым и бессильным. Я не мог шевельнуться. Раскорячившись, как теленок на льду, я стоял на четвереньках с разинутым ртом и только смотрел вслед Павлуше, пока тот не исчез в лесу.

И хотя никто меня не видел, это были минуты самого большого

в моей жизни позора и стыда. Если бы мне при всех плюнули в глаза, было бы легче, чем сейчас.

Я представил себе, как возвратится Павлуша после успешного выполнения опасного секретного задания, как наградят его медалью, ценным подарком или просто грамотой и он, покраснев от смущения, как девчонка, опустит глаза, как будто бы он никакой не герой (это он умеет!). А Гребенючка подойдет к нему и при всех поцелует, и Галина Сидоровна обнимет его и, может быть, тоже поцелует, а на меня никто и не посмотрит, будто я умер и меня совсем нет на свете. Я все это себе представил, и мне стало так горько, словно я полны наелся. И мне захотелось, чтоб сейчас же подо мной провалилась земля и поглотила навеки или чтобы прилетел с полигона какой-нибудь шальной снаряд и разорвал меня на атомы. Но снаряд не летел и земля подо мной не проваливалась.

Только кругом становилось еще темнее — наступал вечер.

За несколько метров уже ничего не было видно. Где-то близко прострекотал мотоцикл, не разберешь — то ли в сторону села, то ли в сторону леса...

Может, это старший лейтенант Пайчадзе повез Павлушу выполнять секретное задание?

Непреодолимая тревога овладела мной. Меня неистово тянуло махнуть туда, к доту, и посмотреть, что же там делается.

Но остатки гордости и самолюбия, которые горсткой маковых зерен еще перекатывались на самом доньшке моей опустошенной горем души, не пустили.

Чего это я буду лезть, мешаться, если меня отшили? Пусть себе справляются сами, пусть! И недоставало еще, чтобы Павлуша увидел меня вот тут несчастенького, жалкого, выброшенного, как ненужный хлам.

Эта мысль подхватила меня с земли, вмиг посадила на Вороного и во весь дух погнала в село.

Нет, этого бы я не пережил! Если бы такое случилось, — тогда прямо хоть в пропасть вниз головой.

Я даже не поехал улицей, а свернул на тропинку, что вела по задворкам. Чтоб и не видел никто, что я из лесу еду. Не было меня там, не было! И письма не было! Ничего не было! Докажи теперь! Докажи! Я только

смеяться буду. Ничего я не знаю! Никаких Г. П. Г. Какая тайна? Какие трое неизвестных? Три «ха-ха» — вот что было!

Я проезжал за садом нашей учительницы Галины Сидоровны и вдруг заметил, что какой-то человек, пригнувшись, крадется в полумраке между деревьями. Увидев меня, он враз присел, потом стремительно юркнул в кусты и спрятался там, притаился.

Вот это да! Кто ж это такой? Галина Сидоровна живет вдвоем со своей матерью, мужчин у них в доме нет. Какой-нибудь преступник?! Вор или еще кто-то? Порядочный человек не стал бы прятаться.

Я нажал на педали. Через две хаты тропа выводила на улицу. И через какую-нибудь минуту я уже соскочил с Вороного возле ворот Галины Сидоровны.

— Галина Сидоровна! Галина Сидоровна! — громко закричал я, открыв калитку.

— Что? Кто? Кто это? — послышался встревоженный голос учительницы. — А, это ты... — проговорила она, выскочив со стороны сада из-за хаты. — Что такое? Что случилось?

— К вам сейчас дядя Петро и дядя Микола придут! — закричал я, чтобы слышно было там, в саду, и прошептал: — Это я нарочно. У вас в саду вор прячется.

— Да что ты?

— Тс! Точно! Сам только что видел. Я соседей кликну, а вы...

— Да нет, это тебе, наверно, показалось.

— Клянусь! Я по тропинке за вашим садом ехал, а он крадется, а потом как кинется в кусты...

— Что ты говоришь! У нас ведь и красть нечего.

— И высокий такой, метра два.

— Ты скажи! Ну-ка, идем посмотрим.

— Да, может быть, все-таки кликнуть кого-нибудь? Ведь он здоровый, как вол. Одни не справимся.

— Да ну уж! Как-нибудь! Топор возьмем, серп. Подожди, я сейчас.

Она заскочила в сени и быстро вынесла оттуда серп, топор и электрический фонарь.

— Если бы я каждый раз к соседям обращалась, им бы покою не было. Я могу и сама постоять за себя. Идем!

Она дала мне серп, сама взяла топор, включила фонарик и смело

двинулась вперед. Она была отчаянная и решительная, наша Галина Сидоровна. И я невольно залюбовался ею.

— А ну, кто тут лазит по чужим садам?! — звонко закричала она и круглым пятном света стала ощупывать деревья.

— Вон там, в кустах,— подсказал я.

Луч осветил кусты. Там никого не было.

Мы прошли весь садик, но ничего не обнаружили. Видно, тот человек, услышав мое «к вам дядя Петро и дядя Микола», сразу дал дёру.

— Вот видишь — нету,— весело проговорила Галина Сидоровна.— Это тебе показалось. Мне в темноте тоже часто кажется, что в саду кто-то стоит за деревом.

— Да видел я, ну честное слово, видел! — Мне было досадно, что учительница не верит.

— Ну, может быть, может быть,— успокаивала она меня.— Значит, удрал. Видно, кто-то проходил да яблочка захотелось... Хорошо, что мамы нет, пошла к тетке. Перепугалась бы до смерти. Ну, спасибо тебе, защитник мой!

Она взъерошила мне волосы и нежно провела рукой по щеке. От ее руки маняще пахло тонким ароматом каких-то духов. И было приятно чувствовать прикосновение ее руки и почему-то стыдно от того, что это было приятно.

— Слушай, а как там Павлуша? Вы уже помирились?

Все приятное сразу исчезло.

— Не знаю,— буркнул я.— Ну, я пойду. До свиданья.

— До свиданья. Жаль. Вы так хорошо дружили...

Я ничего не ответил. Молча вышел со двора, сел на велосипед и поехал.

И так у меня на душе было темно! Темней, чем глухой ночью.

Павлуша, может, в это время уже выполнил важное секретное задание и генерал или полковник пожимает ему руку, вынося благодарность от командования, а я... Даже Галина Сидоровна не поверила, что я видел того человека в ее саду, и решила, что мне померещилось, и благодарила просто так, из вежливости. Я же видел. По голосу понял. Голос у нее был какой-то не такой, как обычно, а какой-то деланный, будто она шутила со мной... Ну и пусть! Пусть ее обкрадывают, раз так...

И тупое безразличие ко всему охватило меня.

## Глава XVII

### МЕНЯ ВЫЗЫВАЮТ К ТЕЛЕФОНУ. «РАССЛЕДОВАНИЕ ФУТБОЛЬНОЙ БАТАЛИИ». НОВОЕ ПЛАТЬЕ ГРЕБЕНЮЧКИ. ИСПОРЧЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

На следующее утро я заспался, потому что с вечера долго ворочался и никак не мог заснуть — очень уж много переживаний на меня навалилось.

Проснулся я оттого, что кто-то тряс меня за плечо:

— Вставай, деятель! Царство божье проспишь. Без тебя Советская власть управлять не может, — услышал я голос деда.

Когда тебя насильно будят, то всегда как раз в эту минуту больше всего хочется спать. Я дрыгнул ногри, натянул одеяло на голову и сонно проворчал:

— Не трожьте, диду! Я сплю!.. Я спать хочу...

Но дедова рука безжалостно стянула с меня одеяло:

— Вставай! Вставай! Говорю же, тебя к телефону в сельсовет кличут. Давай быстро!

Я вмиг подскочил и сел на кровати, хлопая глазами:

— А? Что? Кто?

— Да кто ж его знает? Какой-то человек. Из Дедовщины звонит. Вишь, понадобился ты ему с самого утра. Может быть, что-нибудь натворил, а? Беги живей, ведь сельсоветский телефон занимаешь.

Я вскочил в штаны и вылетел на улицу.

Вы, наверное, не раз видели, как в кино в комических местах быстро бегает (так называемая «ускоренная съемка»). Так вот, в таком же темпе пронесся и я по улице от нашей хаты до сельсовета (метров триста). За какие-нибудь считанные секунды.

В сельсовете я сгоряча пробежал мимо телефона в другую комнату.

— Стой! Куда ты? — весело крикнул мне секретарь сельсовета Спиридон Халабуда. — Гони назад! Вот тут, вот тут!

Я обеими руками схватил трубку, прижал ее к уху и крикнул что есть силы:

— Алло!

— Здравствуй! — услышал я в трубке басовитый мужской голос. — Слушай внимательно! Если будут спрашивать, кто звонил, скажешь — инспектор роно Федорищенко. Просил подъехать в Дедовщину. Он расследует дело о драке на стадионе тридцатого июня. Хочет уточнить кое-какие факты. Почему с тобой? Потому что знает и уважает твою маму-депутата и считает, что сын такой матери скажет все честно и объективно. Понял? Запомнил? Федорищенко. Инспектор роно.

— Ага. Ясно. Ясно, товарищ Федорищенко, — сказал я, метнув взгляд на Халабуду, который даже рот от любопытства разинул, уставясь на меня. Такого и вправду не бывало, чтобы в сельсовет к телефону вызывали ученика, пацана.

— Теперь слушай, — продолжал басовитый голос (он говорил медленно, четко выговаривая каждое слово). — Вчера ты не смог достать инструкцию. Мы это знаем. Но не горюй. В этом не твоя вина, а наша. В связи с обстоятельствами операция на один-два дня откладывается. Следи за мачкой возле школы. Когда на мачке появится белый флажок, в тот же день в девятнадцать ноль-ноль пойдешь к амбразуре за инструкцией. Ясно?

— Ясно! Ясно! — И радость горячей волной прокатилась по всему телу, хлюпнула-зашекотала в горле. Значит, не отшили, не забраковали меня, а просто что-то помешало! И так мне не хотелось вешать сейчас трубку, так хотелось еще поговорить, спросить что-нибудь. — Слушайте! — И голос мой сорвался. — Слушайте, а... а... — я не знал, что сказать, — а... а... а как вас по отчеству?

— Фу ты! — Он запнулся и вдруг рассмеялся. — Вот тебе и раз! А я и сам не знаю, как имя-отчество этого Федорищенко, да. А на что тебе? Обойдется и так.

Я растерялся. Халабуда не спускал с меня глаз и прислушивался к каждому слову. Я понял, что сморозил глупость. Нужно было как-то выпутываться.

— Ага, спасибо, теперь буду знать, — сказал я, прикидываясь перед Халабудой, будто получил ответ на свой вопрос.

Тот, на другом конце провода, все понял.

— Молодец! — сказал он. — Ну, хорошо. Тогда все. А в Дедовщину все-таки съезди на полчаса, чтоб не вызывать подозрений. Ну, будь здоров!

— Ага, сейчас поеду. До свиданья,— и я положил трубку. В голове моей как-то странно гудело и звенело.

— Что за Федорищенко? — сразу спросил Халабуда.

— Инспектор роно. Просил приехать в Дедовщину. Он расследует дело о драке на стадионе тридцатого июня. Хочет уточнить кое-какие факты.

— А-а... его я, кажется, знаю,— важно прогнусавил Халабуда.— Точно. Знаю. Федорищенко. Знаю...

Спиридон Халабуда любил похвастать своим особым знакомством с руководящими работниками района. И хотя по выражению его лица было видно, что Федорищенко он наверняка не знает, я встревожился: а что, если он где-нибудь слышал его имя и отчество и сейчас меня спросит? И я, делая вид, что мне нужно спешить, быстрее попрощался и убежал.

Деду я сказал слово в слово то, что и Халабуде, и, даже не позавтракав, а выпив только стакан молока, сел на велосипед и поехал.

Выезжая, я искоса взглянул через плетень на Павлушу. Он сидел на земле посреди двора, хмурый и злой, перед велосипедом, который стоял вверх колесами, и крутил рукой педаль. Заднее колесо то и дело чиркало о раму. «Восьмерка»!

«Видно, они проверили его вчера и убедились, что он не лучше меня,— подумал я,— и решили вернуться к моей кандидатуре».

Мне стало жаль Павлушу. Но что же я мог сделать? А может, он вообще не туда ехал... А куда? Кто его знает! Может, просто катался...

Когда я не могу найти ответ на какой-нибудь вопрос, то просто отбрасываю его и начинаю думать о чем-нибудь другом. Такой уж у меня характер.

А какой густой голос у этого дяденьки по телефону! Наверное, не ниже чем полковник. А может, и генерал. Говорит так внушительно, солидно. И все продумано. Инспектор роно. Драка на стадионе.

Я выехал за околицу и как раз проезжал мимо стадиона. По правде говоря, это не совсем стадион, а просто кусок поля, ворота с двух сторон (без сетки, конечно). И по бокам в один ряд лавки вкопаны из кривых нестроганных досок.

По всему полю трава вытоптана, а у ворот выбита так, что иногда во время игры пылица — мяча не видеть.

Тридцатого июня этого года здесь проходила товарищеская встреча



по футболу между командами класса «Г» — нашей васюковской «Ракетой» и дедовщинским «Космосом». Команды были школьные, играли старшеклассники. У нас на воротах стоял Бардадым, центром нападения был Вовка Маруня, наш васюковский Блохин. Он хотя и учился только в восьмом классе и выглядел очень щуплым, но обводил здоровяков-десятиклассников, «как мальчишек» (по выражению деда Саливона).

Матч проходил в жаркой борьбе. За пятнадцать минут до конца счет был 23:18 в пользу дедовщинского «Космоса». Стадион неистовствовал, ревел ревмя. Среди наших болельщиков особенно отличались дед Саливон и баба Маруся, наша школьная уборщица. Дед Саливон не замолкал ни на минуту, подзадоривая игроков:

— Вовка, давай, давай! Ванюшка, пасуй Грицко! Головой, головой!.. А, чтоб ты треснул! Чего же ты отдал мяч, недотепа? Бей, Вовка, бей!..

А баба Маруся все время вполголоса бубнила:

— Господи милосердный! Боже праведный! Сделай, чтобы наши забили гол! Господи милосердный! Боже праведный! Сделай, чтоб наши забили!..

И когда наши забивали, она верещала тонким, пронзительным голоском:

— Шту-у-ка! Шту-у-ка!

И крестилась.

За пятнадцать минут до конца игры Вовка Маруня прорвался с мячом к воротам и влепил бы в девятку, но защитник «Космоса», здоровенный бугай Роман Гепя (двоюродный брат того Гепы, который пошел учиться на пола), подцепил его ногой, и Вовка запахал носом. А судья, дедовщинский киномеханик Яшка Брыль, вместо того чтоб назначить одиннадцатиметровый, дал угловой. Мол, Гепя, действовал правильно, только выбил за линию ворот, а Маруня, дескать, сам упал.

Ух, что тут поднялось! Наши болельщики так отчаянно загорланили, засвистели, завопили, будто настал конец света.

— Судью на мыло! Судью на мыло! — кричал, чуть не лопааясь, дед Саливон.

— Пенальти! Пенальти! Ах ты вражья сила! — верещала баба Маруся.

Но судья не обратил на этот рев никакого внимания. Таков уж порядок: на поле судья — хозяин. После встречи можете опротестовывать его действия сколько хотите, а во время игры слово судьи — закон.

Стиснув зубы, Вовка Маруня подал угловой и от волнения неудачно — в аут.

Но за минуту до финального свистка мяч снова попал к Маруне, и он опять прорвался к воротам. Гепя, видя, что судья смотрит сквозь пальцы на его нарушения, теперь уж нарочно зацепил Маруню, и тот снова запахал носом. Уж тут Маруня не стерпел (он у нас такой горячий!), вскочил и, несмотря на то что едва доставал Гепе до подбородка, дал ему в нос. Гепя лягнул ногой, и Маруня кубарем покатился по земле. Тогда к Гепе подскочил наш левый крайний Юрка Загубенко и врезал ему под дых. Ну, и началось...

Пока болельщики опомнились и бросились разнимать, наша «Ракета» успела так пройтись по дедовщинскому «Космосу», что от него осталось только мокрое место. Ведь один наш Бардадым мог свободно отлупцевать по крайней мере пятерых дедовщинских форвардов. А двадцать три пропущенных гола удесятерили его силы.

Игроков едва растащили.

— Вот так товарищеская встреча! — сказал дед Саливон. — Вторую такую придется, наверно, проводить прямо на кладбище.

— Это еще, знаете ли, ничего, — сказал Павлушин отец. — Это еще мелочи. А вот между Сальвадором и Гондурасом из-за футбольного матча настоящая война началась. Сотысячные армии... Артиллерия, самолеты, танки... Вот это, знаете ли, болельщики...

Особенно я был доволен, что Бардадым успел заодно надавать подзатыльников и судье. Чтоб знал, свинья, как подсуживать своим!

Вот какой матч был тридцатого июня.

Честно говоря, было что расследовать.

Я заехал в Дедовщину и свернул прямо к сельмагу. Купил там леденцов на палочках, покрутился немного — и назад. Настроение у меня было прекрасное. Несмотря на то что погода портилась, собирался дождь.

На вышке над лесом алел флаг. Значит, учения еще идут.

Подъехав к селу, я, как и вчера, свернул на тропинку, что вела по задворкам мимо сада Галины Сидоровны. Меня тянуло взглянуть, что там такое было — нет ли каких-нибудь следов вчерашнего человека. А может, он еще ночью приходил?

Возле сада учительницы я слез с велосипеда, положил его на землю и, крадучись, как настоящий сыщик, пошел, озираясь по сторонам.

Тропинку в двух местах пересекали следы здоровенных сапог (не меньше чем сорок пятый размер!). Они четко отпечатались на влажной земле. Одни следы были повернуты носками к саду, другие наоборот — к полю. Это он приходил, а это — возвращался.

Возле кустов малины, где он прятался, трава была примята и лежал мокрый окурок сигареты с фильтром. Я поднял. Сигарета была очень мало откурена и загашена о землю. Марка — «Столичные».

Шерлоку Холмсу или майору Пронину одного этого окурка и следов было бы достаточно, чтоб узнать все. Но я не был ни Шерлоком Холмсом, ни майором Прониным. Я мог сказать только то, что человек — курящий и что у него большие ноги. Ничего другого я сказать не мог. Разве только, что сигареты он покупал не в нашем сельмаге (в нашем «Столичных» не было), а может быть, в дедовщинском, там есть, я только что видел.

Но для выяснения личности незнакомца этого было маловато.

Что ж он тут все-таки делал? Почему прятался? Неужели хотел ограбить учительницу, а я его спугнул? Не похож он был ни на кого из наших, совсем незнакомый какой-то...

— Только смотри все же осторожнее, Ганя,— услышал я возле хаты.

— Ой, что вы, Галина Сидоровна, что вы!.. — пискляво застрекотало в ответ. Это был голос Гребенючки.

А, чтоб ты лопнула! Еще не хватало, чтоб она меня тут видела!

Пригнувшись, я проскользнул на тропинку, к велосипеду. Оседлал Вороного — и аллюром во весь опор!

Вот ведь эта Гребенючка! Терпеть не могу, когда к учителям подлизываются, лезут со всякими нежностями: «Галина Сидоровна, дорогая! Галина Сидоровна, золотая! Галина Сидоровна, серебряная! Ах! Ох! Ах!» Противно!

Уж лучше двойки получать, чем подлизываться.

Я выехал на улицу и увидел в спину Гребенючку, которая шла от ворот Галины Сидоровны в нарядном белом платье в синий горошек. Она не шла, а выступала на цыпочках, как какая-нибудь дрессированная собачонка в цирке, мелко перебирая ногами. Наверно, думает, что она такая уж хорошая и пригожая, что сил нет.

И тут я вспомнил Павлушу, сидевшего на земле с велосипедом, хмурого, мрачного, как осенняя ночь. И лютая злоба к Гребенючке

охватила меня. Это она виновата во всем, ведьма курносая! Она! Она! Это из-за нее мы стали врагами!

Посреди улицы разлилась огромнейшая лужа. Гребенючка как раз проходила мимо нее и осторожно жалась к тыну, чтобы не забрызгать платье, ступая по краю лужи.

Она смотрела под ноги и меня не видела.

Эх, разогнался я да и прямо через лужу — ш-шуррр! Бры-ызы! Целые гейзеры жидкой грязи хлынули на Гребенючку, и белое чистенькое платьице ее вмиг превратилось в грязную тряпку, а вся она стала похожа на пугало огородное.

— Ой! — только и успела вскрикнуть она, отшатнувшись.

А я пришпорил своего Вороного и, не оглядываясь, помчался дальше. В груди у меня булькала и kloкотала радость отмщения.

Вот тебе! Вот тебе! Чтоб знала, чтоб не разлучала друзей, не делала из них врагов. Кр-р-апива кусачая!

Я резко свернул вправо, на нашу улицу. Еще издалека увидел — Павлуша все еще сидит на земле около своего велосипеда и крутит ключом какие-то гайки.

И тут я подумал, что сейчас Гребенючка пойдет домой (куда же еще идти в таком виде!) и ей обязательно нужно будет пройти мимо наших с Павлушей хат. Павлуша ее увидит и...

Я нажал на педали и проскочил в свой двор. Павлуша даже головы не поднял.

Прислонил я Вороного к воротам и притаился за плетнем. А ну-ка! Сейчас он увидит свою красавицу. Хе-хе! Это даже хорошо. Может, хоть теперь расчихает наконец, на кого променял друга.

Секунды ожидания тянулись так долго, что я подумал, уж не вернулась ли она назад к Галине Сидоровне жаловаться на меня и требовать наказания. Дудки! Попробуй докажи! Кто видел? Ничего не знаю. Сама замаралась, как хрюшка, а потом на кого-то сваливает.

Я смотрел сквозь плетень на Павлушу. Улицы я не видел и потому не заметил, как Гребенючка подошла. Но вдруг Павлуша так резко вскочил, что велосипед упал на землю.

— Ой, Ганя, что такое? Где ж ты это? Кто тебя так? — воскликнул он удивленно.

Сердце мое так и заколотилось.

Ну, сейчас начнется! Сейчас она на меня всех собак навешает. Только держись! Ну и пусть! Пусть докажет! А кто видел? Ничего не знаю. Сама забрызгалась, как хрюшка, а потом...

— Да сама виновата,— весело затараторила Гребенючка.— Грузовик ехал, а я не успела отбежать, растрепала. Вот уж разукрасил, правда? Хи-хи-хи!

— Да беги домой быстрее! Вот еще! — крикнул Павлуша с искренним сочувствием и досадой.

А я только рот разинул...

Ну и ну! Что это она?.. Ишь ты, какая благородная!.. И стало мне как-то не по себе, как будто не она, а я весь в грязище с ног до головы.

Гребенючка давно убежала домой, Павлуша вернулся к своему велосипеду, а я все еще сидел на корточках у плетня и не мог двинуться с места.

Стал накрапывать дождь.

Павлуша потащил велосипед в хату.

Пошел со двора и я... Настроение было вконец испорчено.

...Дождь лил весь день. А к вечеру поднялся ветер. Он, как из ведра, обдавал окна тяжелыми струями ливня — аж стекла звенели. И дико завывал в трубе. В такую погоду хорошо лежать где-нибудь в укромном местечке и читать какую-нибудь приключенческую книжку. Я стащил у отца «Покушение на бродягу» Жоржа Сименона (он сам мне ее не давал — считал, что она не детская) и, укрывшись с головой и оставив только узенькую щелку, чтобы падал свет, окунулся в захватывающий мир комиссара Мегре, мир загадочных убийств, страшных преступлений и тайн.

## Глава XVIII

### СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ. Я ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЕ

Ночью я внезапно проснулся и сразу почувствовал тревогу. В хате горел свет и слышались приглушенные голоса, ощущалась какая-то суета и движение. Так было, когда у отца однажды среди ночи случился приступ аппендицита и его отправили в больницу. Тогда меня

тоже никто не будил, я проснулся сам. Вот и теперь. Я мигом вскочил и, запинаясь от волнения, спросил:

— Что? Что такое?

Среди хаты стояли одетые в плащи отец, мать и дед. У деда в руках было весло.

— Спи, сынок, спи! — повернулась ко мне мать.

— Что случилось?

— Река от дождей поднялась, вышла из берегов. Плотины у мельницы прорвало. Село внизу заливают, — молвил дед.

— Да ты спи, спи, — повторила мать.

Я вскочил с кровати. Ну да, спи! Там людей заливают, а я — «спи»!

— Я с вами!

— Да ты что?! Вон Иришка проснется, бояться будет, если никого не окажется. Ложись, спи сейчас же! Это тебе не игрушки! — повисила голос мать.

Но я уже одевался. Меня била какая-то нервная дрожь, и я долго не мог попасть ногой в штанину. Зубы отбивали бешеный рок-н-рол. «Спи»! Может, я всю жизнь ждал этой ночи... Вот когда можно совершить что-нибудь геройское! А тут — «спи»! Нет уж! Нет!

— Пусть идет. Глядишь, подсобит. Он уже взрослый, — сказал дед.

— Правда, пускай! — поддержал отец.

Свет мигнул и погас.

— Оборвало! А может, и столб повалило, — сказал в темноте отец.

Дед чиркнул спичкой, зажег керосиновую лампу, стоявшую на выступе лежанки.

— Надень вот отцовский ватник и сапоги, — сказала мне мать.

— Фонарик свой возьми, — добавил отец.

— Лампу не будем гасить. Пусть горит. А то Иришка проснется... Ох, лучше бы ты не ходил! У меня душа была бы на месте. — Мать вздохнула.

— Да что вы, мама, с этой Иришкой! Здоровущая девчонка, в школу уже ходит, а вы...

— Пошли, пошли, хватит уж вам, — вмешался дед.

Мы вышли из хаты в сырую, ветреную темень. Ветер хлестал дождем прямо в лицо.

— Главное — лодки, наверно, снесло, потопило, — едва расслышал я голос деда, который шел рядом.

Я хотел сказать, что плоскодонку нашу, может, и не снесло, потому что она на пригорке лежит вверх дном, но ветер заткнул мне рот, и я только хавкнул.

То тут, то там будто мерцали светляки — то отовсюду с фонарями спешили люди.

Еще издали сквозь ливень был слышен какой-то тревожный шум. Чем ближе мы подходили к улице Гагарина, которая вела к берегу, тем явственней и громче становился этот шум. В нем уже можно было различить рокот мотора, стук топоров и отчаянные, душераздирающие женские крики: «Спасите! Караул! Ой, лишенько!» Тяжко ревела скотина, верещали свиньи, выли собаки.

Все это раздавалось уже совсем близко, рядом, но, как я ни напрягал зрение, сквозь дождь и темноту ничего не было видно.

И вдруг впереди вспыхнули два горящих глаза — фары.

И первое, что я увидел в свете фар, — были плетень и вода. Вода набегала волной и разбивалась о плетень, а он шатался и кренился набок. Потом возле плетня возникла фигура по пояс в воде, с телевизором на голове. В свете фар мокрый от дождя экран поблескивал огромным страшным бельмом.

Фары были тракторные — в проудке натужно взрёвывал трактор «Беларусь». Его большущие задние колеса буксовали, разбрызгивая грязь.

— Давай, давай, ну! — кричал кто-то позади трактора: там светились еще фары машин.

Несколько мужчин посреди улицы стучали топорами — наскоро сби-вали из бревен плот.

Наши сразу бросились помогать: дед — строить плот, отец — к трактору, а мать прямо в воду, к ближайшей хате — выносить добро.

— Побудь пока тут! — крикнула она мне на ходу.

И я не успел опомниться, как остался один.

В темноте то и дело, будто водяные, появлялись из воды люди, таща на себе разный домашний скраб. Вон провели корову, которая уже не мычала, а только стонала. Вон старушка, спотыкаясь, тянет за собой по воде, как лодку, оцинкованное корыто с узлами и подушками. И, плача, все время причитает:

— Ой, что делается! Ой, господи! Ой, за что ж такая кара! Ой, пропало все, пропало! Ой, боже ты мой, боже!

— Хуже всего внизу, на берегу,— сказал кто-то в темноте,— Гребенюк, Мазниченко, Пашко затопило совсем. А старую Деркачку — так по самую крышу. И добраться не на чем, лодки потопило. Еще и трактор вон застрял — бревна для плотов не подвезешь...

— Что ж это такое в природе творится, ей-богу? Одни стихийные бедствия по всему миру: ураганы, землетрясения, наводнения, смерчи. То в Америке, то в Японии, то в Голландии. Да и у нас... То в Закарпатье, то на Кубани... А теперь вот здесь...

Раздался скрип колес, храп коней — люди подъезжали на телегах.

— Кладите сюда! Давайте! Телевизор вот тут поставьте, на сено! Я кинулся помогать грузить на телеги вещи потерпевших.

Из темноты послышался голос Ивана Ивановича Шапки, председателя колхоза:

— Везите в школу! Занимайте классы! И клуб занимайте и правление! Там все отперто!

А трактор все рычал и рычал, аж взвизгивал. Но ни с места.

Там командовал мой отец:

— Переключай на первую! Влево подай, влево! Давай назад! Теперь вперед!

То было проклятое место. Там всегда грязь даже в самую сухую погоду. И вечно застревали машины. А теперь от дождя оно совсем раскисло и прямо засасывало, как трясина.

Внезапно издалека, с берега, донесся душераздирающий женский крик:

— Спасите! Спасите! Ой!

Люди беспорядочно засуетились. Кто-то из мужчин кинулся прямо в воду. Ему закричали:

— Куда ты? Чем ты поможешь? Сейчас плот кончим.

Но он уже исчез в темноте.

Тогда все накинулись на тракториста:

— Что ж ты засел? Там люди гибнут, а ты!.. На тракторе не можешь проехать, герой!

Кричали так в досаде от собственного бессилия.

Тракторист хрипло отругивался:



— Что — на тракторе! Что — на тракторе! Тут на танке не проедешь, не то что на тракторе! Умники!

«На танке. И тут я вспомнил военный лагерь, артиллерийский двор, удивительные машины со скошенными, как у лодок, носами... «Бронетранспортеры-амфибии, да... Для преодоления водных рубежей... для десантов, да...»

Я уже где-то читал, как они помогали людям во время стихийных бедствий...

И внезапная мысль пронзила меня.

--- Иван Иванович! Иван Иванович! — закричал я в темноту.

Но председатель не откликнулся. Тогда я бросился к отцу:

— Тато! Тато!

Он, забрызганный грязью с ног до головы, толкал трактор. Из-под буксующего колеса прямо на него летела грязь.

— Отойди! Отойди! — кряхтя от натуги, с раздражением прохрипел он.

Эх! Да что там спрашивать!.. Нельзя терять ни минуты.

И, не раздумывая больше, я бросился домой. Запыхавшись, влетел в сени, схватил велосипед, прижал динамку к шине, чтоб светила фара, и вскочил в седло.

Ехать было ой как тяжело! Колеса вязли в грязи, буксовали на глине. Приходилось то и дело слезать и толкать велосипед рядом с собой. Хорошо, что это не трактор. Когда выбрался из села на укатанную полевую дорогу, колесам стало немного легче. Колесам, но не мне. Тут бушевал сильный ветер, который сбивал, прямо валил на землю. Дважды я не мог удержать равновесие, припадал на ногу и некоторое время прыгал на ней, не имея возможности выровняться. А раз просто упал в болото. Но торопился из последних сил. И с тревогой вглядывался вперед, в темную громаду леса, который все приближался. Я искал глазами вышку с флагом и не мог найти. И думал со страхом: «А что как учения еще не кончились и в лагере никого нет? Что делать? А даже если и есть кто-нибудь, послушают ли меня, поверят ли они какому-то пацану?»

Нужно было бы, наверно, разыскать председателя или хоть кого-нибудь из старших вызвать. Так нет же! Вылетел пулей и помчался. Как бешеный!

И я уже жалел об этом и ругал себя. Но возвращаться в село было нельзя. Люди гибнут. Каждая минута дорога.

А вот и посадка сосняка. Я въехал на «глеканку». Ветер сразу отпустил меня... Он пошел верхом, с диким свистом расчесывая взьерошенные шевелюры стройных сосенок. Но теперь мне все время приходилось быть настороже, чтобы не наскочить на пеньки. Ведь если наскочишь, «восьмерка» обеспечена — тогда все. И, впившись глазами в «глеканку», я так и не заметил, есть ли флаг на вышке или нет.

Где-то тут уже и дот на взгорье, за дубами, невидимый в потемках: я выехал на «генеральскую» дорогу. И, как о чем-то далеком и не имеющем ко мне отношения, подумал о тех инструкциях, что лежат там в расщелине над амбразурой. Все мои мысли вытеснял этот пронзительный крик: «Спасите!», который то и дело звучал в моей памяти. И я еще крепче нажимал на педали.

Кто был ночью в лесу в непогоду, когда гудит, по-волчьи завывая в кронах, ветер, когда стонут человеческими голосами деревья, когда где-то что-то грохочет, свистит, трещит, ломается, падает, ревет, бушует и свирепствует, тот знает, как это страшно.

Но клянусь вам, я не чувствовал тогда страха. Я даже подумал: «Почему мне не страшно?» Но тут же забыл об этом. Я весь был какой-то нацеленный вперед и только вперед. Я думал только о том, чтобы ехать быстрее, быстрее, быстрее... Вся моя энергия уходила в ноги, которые крутили педали и уже страшно болели от напряжения; я видел только дорогу, эти бесконечные корни, ямки, бугорки — чтобы не наскочить, не наткнуться, объехать...

## Глава XIX

ПОЛКОВНИК СОБОЛЬ. СНОВА СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ  
ПАЙЧАДЗЕ

Когда я выскочил наконец на поляну к шлагбауму, освещенному фонарем, то как-то не сразу сообразил, что уже приехал.

Часовой крикнул:

— Стой! Кто идет!

Я подъехал вплотную к шлагбауму.

— Мне начальника... Главного... Пожалуйста... Очень нужно. Немедленно...— Я не знал, говорить ему, в чем дело, или нет: он ведь сам не решает. Ну, а если не захочет позвать офицера?..

-- Что случилось? Только вернулись с учений. Может, утром?

— У нас село заливает,— выдохнул я.

— Погоди. Сейчас.— Часовой кинулся к будке, схватил телефонную трубку: — Товарищ капитан! Докладывает пост номер один. Тут мальчик приехал. Говорит, у них село заливает... Есть! — Он обернулся ко мне: — Давай вон к той палатке!

Я нырнул под шлагбаум и поехал. А из палатки навстречу мне уже выходил высокий офицер с красной повязкой на рукаве.

— Что такое?

Заикаясь, я рассказал ему про нашу беду — про хаты, затопленные по самые крыши, про лодки, снесенные водой, и порванные провода и даже про трактор, который буксует и не может подтащить бревна для плотов...

— Ясно,— сказал капитан.— Идем. Придется будить полковника. Хоть и жалко — час всего, как лег, только что из похода возвратились. Да ничего не поделаешь — тут такое дело...

Мы прошли несколько палаток и возле одной остановились... Капитан пригнулся и нырнул в нее. Вмиг палатка осветилась изнутри желтым светом, и на брезенте заколыхалась длинная тень.

— Товарищ полковник! — послышался голос капитана.— Извините, что тревожу, но дело серьезное. В соседнем селе наводнение. Затопило хаты, нужна помощь.

Кто-то (должно быть, полковник) прокашлялся и проговорил густым неторопливым басом:

— Значит, так... Поднимать пока что офицеров — начштаба, начартиллерии, транспортников, командиров мотострелковых батальонов... Других не нужно. Пусть отсыпятся.

У меня так и перехватило дыхание. Показалось, будто это тот самый голос, который говорил со мной по телефону.

— Кто сообщил про наводнение?

— Мальчик, товарищ полковник. На велосипеде примчался...

— Пусть войдет.

Из палатки вышел высокий капитан:

— Зайди, с тобой товарищ полковник хочет поговорить.

Я вошел в палатку. На узкой железной кровати сидел, натягивая сапоги, плотный лысоватый мужчина. Он был уже в галифе, но еще без кителя — в одной майке. И мне сразу бросилось в глаза какое-то странное несоответствие: виски седые, лицо уже не молодое, в глубоких морщинах и такое загорелое, ну прямо до черноты, а тело наоборот — белое, чистое, молодое, с выпуклыми, как у борца, литыми мускулами, и шея тоже борцовская — широкая и мощная. И было такое впечатление, что эта голова не от того тела.

— Здравсте,— поздоровался я.

— Здравствуй. Садись. Ну, докладывай, что там у вас.

Я сел на лавку возле стола и стал рассказывать.

Пока я говорил, он надел китель, висевший на стуле у кровати,— с полковничьими погонами и несколькими рядами орденских колодок на груди.

Еще я не кончил свой рассказ, как начали заходить офицеры. Тихо здоровались. Он, не перебивая меня, молча показывал им на длинные лавки, стоявшие вокруг стола. Все садились.

Вошел старший лейтенант Пайчадзе. Удивленно вскинул брови — узнал меня. Чуть заметно усмехнулся, но тут же все понял — нахмурился.

Наконец я смолк.

Полковник поднял глаза на офицеров, обвел их взглядом:

— Все?

— Так точно, товарищ полковник,— ответил высокий капитан.

Полковник подошел к столу, вынул из планшета карту, расстелил:

— Товарищи офицеры! Итак, вы слышали — в селе Васюковка наводнение. Речка вышла из берегов, прорвала плотину, затопила хаты. Гибнет скот, имущество. Нужно эвакуировать население, спасти скот, добро. Предполагаемый район действий... Затопило, видимо, ту часть села, которая в низине у речки... Вот эту улицу, эти хаты... Подходы здесь, здесь и здесь...

Полковник и офицеры склонились над картой.

«Чего они так тянут? — с досадой подумал я.— Вместо того чтобы сразу всех поднять по тревоге, броситься по машинам и в село, совещания какие-то проводят... А там уже люди, может быть, гибнут...»

Только потом мне стало ясно, что на все это ушли считанные минуты.

Просто тут дисциплина, организованность, при которых не бывает беспорядка и суеты. Делать быстро — не значит пороть горячку. Но все это я понял только позднее, а тогда досадовал, что они, как мне казалось, очень уж долго поворачиваются.

— Значит, так,— говорил полковник.— В операции примут участие бронетранспортеры, два мотострелковых батальона, первый и третий, три малых арттягача. Действовать будем в соответствии с обстановкой. Сигнала тревоги по лагерю не давать. Людей поднимать тихо, без шума. Других не будить. Готовность...— он взглянул на часы, и в это время на столике возле кровати зазвонил телефон. Полковник снял трубку: — Полковник Соболев слушает. Да... да... здравствуйте... Здравствуйте, товарищ Шевченко... Да... Уже известно... Через пять минут выступаем... Откуда? Откуда известно?... Да тут нам сообщили...— Он взглянул на меня, усмехнулся, прикрыл трубку рукой, спросил тихо: — Как тебя зовут? Секретарь райкома звонит...

— Ява...— растерялся я и добавил: — Рень.

— Один товарищ... Ява Рень. Знаете?... Да... да... Хорошо, передам. Значит, через пять минут выступаем, товарищ Шевченко. Не волнуйтесь, все сделаем, что в наших силах. До свиданья.— Полковник положил трубку и снова взглянул на часы.— Готовность... четыре минуты! Без четырнадцати два. Выполняйте!

Миг — и палатка опустела.

— А тебе секретарь райкома просил передать благодарность. За инициативу и оперативность. Он, оказывается, тебя знает.

Я покраснел и опустил глаза:

— Это он мать мою знает, а не меня. Она депутат.

Полковник накинул на плечи длинный, почти до пят, зеленый плащ с капюшоном без рукавов, и мы вышли.

Из палаток выскакивали солдаты, на ходу поправляли гимнастерки и бежали к артиллерийскому парку. Не слышно было ни криков, ни разговоров. Только стук сапог по дорожкам лагеря.

В парке заводили машины. Пока мы подошли, они уже друг за другом выехали на дорогу. Обгоняя бронетранспортеры и тягачи, вперед вырвался «газик» с брезентовым верхом, похожий на наш колхозный, на котором ездит председатель и который все называют «бобик». Но этот «бобик» был совсем новенький, не забрызганный грязью, с

белыми кругами на колесах. «Бобик» подскочил к нам и резко затормозил. Сзади сидело трое офицеров. Свободным было только место впереди, рядом с шофером:

Полковник на какой-то миг задумался:

— М-да, с велосипедом мы сюда не влезем...

— Товарищ полковник, я его возьму в свою машину. Да мы с ним старые друзья,— послышался сзади голос старшего лейтенанта Пайчадзе.

-- Хорошо.

И я не успел опомниться, как Пайчадзе схватил мой велосипед и побежал с ним вперед, крикнув мне на ходу:

— Давай за мной!

Я кинулся следом.

Пайчадзе подбежал к амфибии, передал кому-то вверх велосипед и тут же сам взлетел туда и исчез за бортом. А я подбежал и только беспорядочно суетился, не зная, как вскарабкаться. Я всюду натыкался на мокрую, скользкую броню. Меня охватило отчаяние — мотор шумел, машина содрогалась, вот-вот тронется. А я все карабкался и сползал, как жаба в стеклянной банке. В отчаянии я уже хотел крикнуть, но услышал сверху:

— Давай руку, да! — голос старшего лейтенанта.

Меня, как пушинку, оторвало от земли и втянуло в машину. И тут же она тронулась. Мое настроение из отчаянно-безнадежного вмиг превратилось в радостно-приподнятое. Впервые в жизни я ехал на такой машине! На военном бронетранспортере-амфибии, который предназначен для высадки десантов и преодоления водных рубежей. Ну разве ездил кто-нибудь из ребят на такой машине? Да никогда в жизни! Они лопнут от зависти, когда узнают! Эх, машина! Вот это машинка! Она ведь, наверно, еще и секретная... Наверняка секретная! А как же! Разве есть еще где-нибудь в мире такие машины!

Меня распирало от гордости, радостно щекотало в груди. Только бы увидел кто-нибудь из ребят! Только бы увидел! А то ведь не поверят...

И вдруг я вспомнил, куда и зачем я еду... «Эх ты! — с презрением сказал я самому себе.— Там такое творится! Такое несчастье! Людей заливают, а ты... Только бы кто-нибудь увидел!.. Свинья!»

Но радостное щекотание в груди не проходило. Я стоял возле самого водителя, смотрел на освещенные перед ним приборы, на разные ци-

ферблаты и стрелочки, смотрел через стекло вперед на дорогу, где в свете мощных фар новенький «бобик» легко подскакивал на выбоинах, и мне казалось, что я иду в настоящий бой. Сердце мое сладко замирало.

«Эх ты! — снова сказал я себе. — Там такое творится... Такое... а ты... Свинья! Барахольщик паршивый, эгоист!..»

Мы уже миновали дот и въехали на «глеканку». Машины шли полным ходом. Я даже не успел доругать себя как следует — уже позади «глеканка», и вот уж полевая дорога, а вон и Васюковка. И снова мне показалось, что иду я в настоящий бой, врываюсь в захваченное врагом родное село. И такой охватил меня боевой задор, что от нетерпения я даже подскакивать начал. Машины с ходу влетели в село и, не останавливаясь, повернули прямо на улицу Гагарина.

В свете фар я еще издали заметил людей, которые возились у плота, и трактор, буксовавший в проулке, и телеги, на которые потерпевшие грузили свой мокрый скарб. Все было таким, каким оставалось в момент моего отъезда. И я невольно удивился: неужели так мало времени прошло? А мне казалось — целая вечность.

«Бобик» полковника подъехал к людям и остановился. Остановились и мы.

Полковник и офицеры вылезли из машины. Наш старший лейтенант тоже соскочил на землю и подбежал к ним. И тут же появились и председатель колхоза Иван Иванович Шапка, и секретарь сельсовета Халабуда, и директор школы Николай Павлович, и зоотехник Иван Свиридович — короче, все наше сельское начальство. Они окружили военных и все разом возбужденно заговорили, размахивая руками. Слов не было слышно, потому что в машинах ревели невыключенные моторы.

А я весь напрягся, съежился и замер. Я думал об одном: только бы меня не высадили сейчас из машины, только бы позволили остаться. «Ну пожалуйста, ну что вам стоит? Ну забудьте про меня, забудьте, ну пожалуйста!..» — причитал я про себя. И боялся поднять глаза, чтоб не встретиться взглядом со старшим лейтенантом, или с водителем, или с солдатами из нашей машины. Вцепившись в мокрый холодный поручень, я напряженно смотрел вперед, на полковника, окруженного людьми. И ждал, чувствуя почему-то, что главное зависит от него. Он уже что-то убежденно говорил офицерам, показывая рукой то в одну, то в другую сторону. «Наверное, ставит задачи», — подумал я.

И вот люди расступились — офицеры кинулись к машинам.

Пайчадзе вскочил на нашу амфибию и приказал водителю:

— В конец улицы... Да, к крайней хате!

Я вскинул глаза на Пайчадзе и похолодел. Он смотрел прямо на меня. Я опустил глаза. Ну, сейчас скажет: «Слезай!» — и все. Просить, уговаривать в такой момент невозможно. Не до того.

Но вместо «слезай» Пайчадзе сказал: «Давай!..» — и не мне, а водителю. Тот крутанул руль и, объезжая «бобик», повел машину прямо к воде.

— Только сиди и не рыпайся! — услышал я над собой голос Пайчадзе.

Я облегченно вздохнул и с благодарностью взглянул на него. Но старший лейтенант на меня уже не смотрел. Он смотрел вперед. Шофер включил верхнюю фару-прожектор, и она прорезала темень далеко впереди. Сколько хватало глаз — всюду была вода, бурлящая, темная. Уже волны с плеском бились о борта машины. Она все глубже погружалась в воду.

Водитель перевел какой-то рычаг, и позади амфибии закипела, забушевала вода. Я сразу почувствовал, что мы уже не едем, а плывем: нас шатало и покачивало — под колесами не было грунта.

Заборы и плетни с обеих сторон скрылись уже под водой, и трудно было поверить, что мы плывем по улице.

## Глава XX

### ПОДВИГ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ПАЙЧАДЗЕ. НЕОЖИДАННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ПАВЛУШИ

Странно было видеть хаты, по окна затопленные водой. Они походили на какую-то необычную флотилию белых кораблей, которая плыла не среди камыша и тростника, а между огромных диковинных кустов, сплошь усеянных желтыми, белыми, красными плодами (так странно выглядели кроны деревьев полузатонувших садов). Урожай фруктов в этом году выдался богатый, и в садах теперь был самый настоящий компот — вода тяжело колыхалась, перемешивая сбитые плоды.

Всюду на хатах, на сараях, на хлевах, на ригах теснились люди. Все скаты крыш были заставлены разным домашним добром. Очень чудно



выглядели там чья-нибудь швейная машина, велосипед или зеркало. А вода несла какие-то обломки, поломанные доски, всякий хлам — тряпки, корзины, ведра...

Завидев нас, люди начали махать с крыш руками, подзывая к себе.

Но старший лейтенант Пайчадзе закричал:

— Не волнуйтесь, сейчас вас снимут! Сейчас вас снимут, да! Не волнуйтесь!

Конечно, мы не могли остановиться здесь. Мы направлялись к крайней хате, туда, где самая большая вода, где всего труднее.

Но вдруг хаты за две до крайней мы услышали душераздирающий женский крик:

— Ой! Спасите! Ой, быстрее! Малец в хате на печи! Ой, потонет! Ой, спасите!

Это была хата Пашко, где жил тот самый гундосый третьеклассник Петя, который раздвигал занавес во время представления «Ревизора», когда с таким треском провалились когда-то я — Бобчинский и Павлуша — Добчинский.

Петина мать была не обычная мама, а мать-героиня. У нее было одиннадцать детей. Четверо уже взрослых, а остальные — мелюзга. И вот эта мелюзга сидела теперь на крыше вокруг матери, как птенчики в гнезде.

Уже потом Пашиха рассказывала, что ее мужа и старших детей в ту ночь как раз не было дома — поехали в Киев устраивать в техникум среднего сына. И бедной матери пришлось одной спасать детей от наводнения. И, закрутившись, не успела она вынести пятилетнего Алешку, который с перепугу забился на печь. А вода уж и окна залила.

— Ой, спасите! Ой, пропадет малец! Ой, люди добрые!

Старший лейтенант Пайчадзе не колебался ни секунды.

— Поворачивай тачку к ее хате, да! — приказал он водителю.

И через несколько мгновений мы были уже возле Пашков.

— Ой, ломайте хату! Ой, что хотите делайте, спасите мне только сына! Ой, люди добрые! — голосила, надрываясь, Пашиха.

Пайчадзе сбросил сапоги и одним махом вскочил на борт машины.

— Прожектор в окно! — скомандовал он — и бултых в воду.

В тот же миг яркий свет выхватил из темноты стену Пашковой хаты, где едва выглядывало над водой верхнее стекло окна. Возле него

появилась голова Пайчадзе. Нырнула в воду и тут же появилась обратно. Видно было, что он вышибает ногами окно. Но вот над водой мелькнули босые ноги — старший лейтенант снова нырнул.

Есть такое выражение «время остановилось». Я раньше не очень его понимал. Но, оказывается, и правда бывают минуты, когда не ощущаешь, сколько прошло времени — секунда или час. Как будто выключаются у тебя где-то внутри часы и перестают тикать. И сам ты будто уже не дышишь, и сердце твое не бьется. И так страшно. И пусто. И ничего в тебе нет, кроме жуткого ожидания.

Но вот... снова затикало! Из воды у окна вынырнули две головы — Пайчадзе и Алешкина, живая, перхающая. Это была такая радость, что я закричал. И мать закричала, и вся ее малышня, и солдаты на «точке». Их руки мигом подхватили Алешку из воды и передали на крышу — матери. И Пайчадзе подхватили солдатские руки и втащили на бронетранспортер. Все это случилось так быстро и так просто, что не о чем вроде бы и рассказывать.

Прижимая к себе мокрого Алешку, целуя его, мать не успела даже поблагодарить старшего лейтенанта. Мы уже отплывали. Пайчадзе только крикнул:

— Вас сейчас снимут!

И правда, уже подплывала другая машина.

До меня сразу дошел железный закон армии: приказ есть приказ. Выполнить его — первая обязанность солдата. Вот Пайчадзе только что совершил подвиг: рискуя жизнью, спас ребенка, вон у него даже кровь на руках и на лице — порезался, видно, стеклами в окне; но он сейчас не думает об этом — он спешит выполнить приказ, спешит к крайней хате. И он как будто даже чувствует себя виноватым, что из-за сложившейся обстановки вынужден был задерживаться для подвига, и всячески старается наверстать потерянное время.

Я с восхищением смотрел на Пайчадзе, который по-мальчишески прыгал на одной ноге, вытрясая воду из уха. И только теперь я рассмотрел его как следует. Он был совсем молодой, хоть и с усами. И уши у него оттопырены, как у Павлуши. И вообще, как ни странно, он чем-то напоминал мне Павлушу. И я подумал: «А где сейчас Павлуша? Что он делает?» И внезапно вздрогнул — я увидел его. Слушайте, это было просто невероятно! Но я уже давно заметил: стоит,

например, встретить на улице кого-нибудь похожего на вашего друга или знакомого и подумать о нем, как обязательно встретишь и его самого. Со мной уже много раз так бывало... И я не знаю, почему, но это — закон.

И когда я увидел Павлушу, я вздрогнул от неожиданности, но почти не удивился. Так как где-то в глубине души уже предчувствовал, что увижу его.

В первое мгновение я увидел только лодку, которая плыла навстречу нам от густых прибрежных ив. И только потом разглядел фигурку человека. Он стоя греб в лодке. И я сразу узнал Павлушу. Я узнал бы его даже без прожектора, в темноте, по силуэту... На дне лодки лежала хорошо знакомая мне красная надувная резиновая лодочка, которую подарил Павлуше в прошлом году киевский дядя. Хорошенькая одноместная, которая не тонула, как бы ее ни опрокидывали. Она вызывала зависть у всех наших ребят. Ясно — Павлуша добрался на своей надувной до ив, где привязывались лодки всего села, нашел там лодку, которую чудом не снесло и не потопило, и теперь плывет спасать людей. Вот молодец! Ну и молодчина! Удалой все-таки парень! Что бы он там про меня ни думал, что бы ни говорил, но объективно... Молодец! Молодец, ничего не скажешь!

А я?... Эх, я... Катаюсь себе на амфибии, где никакой опасности, ее даже атомная бомба не потопит. Тоже мне героизм!..

Мы как раз подплывали к крайней хате. Вернее к двум постройкам, стоявшим в одном дворе. Это была усадьба бабки Мокрины. Одна постройка была старой, покосившейся хатой под соломенной крышей, другая — новым недостроенным кирпичным домом, у которого не было еще крыши, только белели одни свежееотесанные стропила.

На старой хате верхом на стрехе, обхватив руками трубу, сидела бабка Мокрина. А с чердака недостроенного дома смотрели, держась за стропила, две ее дородные немолодые уже, но незамужние дочки. Между ними как ни в чем не бывало стояла пятнистая рыжая корова.

Раздвигая кроны знаменитых бабкиных яблонь, мы заплыли во двор и, развернувшись, стали так, что носом уперлись в стену хаты, а кормой пришвартовались к каменному дому.

— Коровушку, коровушку сначала! Коровушку, люди добрые! — закричала бабка Мокрина.

Водитель навел прожектор на каменный дом, и все мы подались к корме — и Пайчадзе, и солдаты, и я. От чердака до машины было метра полтора, не больше, но корова — не кошка, прыгать не умеет, и за шкуру ее не возьмешь, чтобы ссадить вниз.

— А как вы ее туда заташили? — спросил Пайчадзе бабкиных дочек.

— Да по сходням же, по сходням, — пробасила одна.

— Куда-то их смыло, — пробасила другая.

Сходни — это такие доски с прибитыми к ним поперечными планками, по которым, как по лестнице, поднимаются на стройках рабочие, когда еще лестниц нет.

— Придется на веревках, товарищ старший лейтенант, — проговорил один из солдат, и только теперь я с удивлением узнал моего знакомого Митю Иванова. Фу ты! Вот ведь! Сколько ехали вместе, а я и не заметил, что это он. Правда, было темно, да и молчали они всю дорогу, не до разговорчиков... А вон и друг его, здоровяк Пидгайко. Ну как нарочно!

— Да, придется на веревках! Да! — согласился Пайчадзе. — Айда!

Один за другим солдаты начали карабкаться на чердак. Я сунулся было за ними, но Пайчадзе схватил меня за руку:

— Сиди, сиди! Мы уж как-нибудь сами, да! Будешь мешать только...

Кровь кинулась мне в лицо. Мальцом меня считает, оберегает, чтоб чего-нибудь, не дай бог, не случилось. И Павлуша ведь, должно быть, слышал. Вон темнеет его лодка у стены хаты — подплыл, смотрит: никогда же не видел амфибий — так близко и в деле.

Замычала встревоженно корова — солдаты уже обвязывали ее веревками.

— Осторожненько! Осторожненько! — завопила на стрехе бабка Мокрина.

— Да не гавкайте, мама! — раздраженно крикнула какая-то из дочек.

— Без вас обойдется! Сидите себе тишком! — добавила другая. — Покою от вас нет!

— Вот видите, люди добрые, какие у меня дети! — заохала бабка Мокрина. — Родную мать в грош не ставят!

И внезапно голос ее набрал силу, в нем зазвучал металл:

— Вот господь бог и наслал кару на землю за то, что дети ко мне плохо относятся!.. Потоп! Потоп! Разверзлись хляби небесные. Потоп! Вот видите, видите!

«Что-то бабка явно перехватила,— подумал я.— Если бы даже и существовал бог на свете, не стал бы он из-за одной бабки и ее семейных передрыг расходовать столько пороку и энергии. Уж очень неэкономно. Обошелся бы чем-нибудь более скромным. А то чего ж это столько людей должны страдать из-за одной бабки».

— Да цыте вы, мама, чтоб вам пусто было!.. И так весело, а тут еще вы твякаете! — снова закричали дочери.

Бабка Мокрина замолкла, всхлиывая и постанывая.

И мне стало жаль ее. Свиньи все-таки у нее дети. Чтоб вот так разговаривать с матерью, какая бы она ни была! Да разве можно? Если бы я своей такое сказал, я б, наверно, язык себе отрезал!

Может, эта бабка потому и в бога верит, что у нее такие дети...

— И пожалеть и защитить некому...— продолжала стонать бабка Мокрина и вдруг вскрикнула: — Ой лишенько! Ой, забыла! Забыла! За иконой... О господи!

И она тихонько завyla, шмыгая носом, как маленький ребенок.

Никто на ее вопль не обратил внимания.

На чердаке было шумно — кряхтение, топот, возня. То и дело слышались крики: «Сюда!», «Давай», «Тяни!», «Держи!», «Пускай!» Обвязанную веревками корову никак не могли выпихнуть с чердака...

— Пропало!.. Пропало!.. О господи! — в отчаянии повторяла бабка Мокрина.

## Глава XXI

Я ныряю в затопленную хату... ловушка. один  
на один с богом. в безвыходном положении

На это я решился внезапно. Но одним махом, как старший лейтенант Пайчадзе, вскочить на борт машины не смог — мне было высоковато. Подпрыгнув, я повис на животе, перегибаясь через борт, потом перекинул ногу, на миг повис на руках уже на той стороне и неслышно соскользнул в воду. Несколько движений — и я уже возле окна. Икона должна быть

вот тут вот, в уголке, сразу за окном вправо. Нащупаю. Только бы стекло высадить так, чтоб не порезаться.

Хата была затоплена почти по самую стреху, и окна, собственно говоря, я не видел, только верх резного наличника выступал над водой. Подплыв, схватился за этот наличник и сунул руку в воду, ощупывая. Рука свободно прошла в окно: стекла уже были выбиты. Все в порядке. Я повернул голову в сторону лодки. Эх, жаль, что Павлуша, кажется, не видит. Ну ничего, он увидит, когда я вынырну и буду передавать бабке Мокрине то, из-за чего она плачет. Увидит!

Я слегка подался вверх, хватил полной грудью воздуха и нырнул.

Проплывая в окно, я зацепился за что-то ногой и уже думал, что застрял. Что есть сил дернул ногу — отпустило. Гребнул руками и вынырнул уже в хате. Раскрыл глаза и сразу увидел в углу икону. Да, так сразу и увидел, потому что перед ней горела лампадка... Мне сперва даже не показалось это странным. Я сделал два-три движения и остановился возле иконы. Сунул за нее руку и нащупал какой-то продолговатый небольшой сверточек. Выхватил — и назад к окну. Нырнул, но тут же ударился обо что-то головой, руки наткнулись на какую-то преграду. Я стал торопливо нащупывать руками проход. В окне что-то застряло. Мне не хватило воздуха, и я вынырнул. Снова нырнул и снова не мог пробиться. Вынырнув, попробовал нащупать и оттолкнуть ногой то, что мешало. Я колотил что есть силы, но напрасно. Окно завалило чем-то большим и тяжеленным. То ли я это сдвинул ногой, когда зацепился, то ли водой прибило, неизвестно. Я рванулся в приоткрытые двери сеней к наружным — они оказались запертыми. Мало того: я нащупал, что они были еще и подперты изнутри какими-то колодами, — должно быть, бабка Мокрина думала спастись так от воды... Я поплыл назад в хату. Другое окно было загорожено шкафом: то ли вода его сюда подвинула, то ли опять-таки сама бабка — неизвестно. Больше окон не было. Хата у бабки Мокрины старая, в два окна, тесная и неудобная. Потому-то дочери и построили каменный дом — для себя.

Мокрая одежда тянула книзу, трудно было держаться на воде, видно, давала себя знать еще и усталость от велосипедной гонки. Я вцепился в электрический провод, на котором в центре хаты висела лампочка. Дышать было трудно.

И вдруг я осознал весь ужас своего положения. Я висел на эле-

ктропроводе почти под самым потолком в затопленной хате, а вода все прибывала. В трепетном свете лампадки я видел, как плещется она о стены. Вот уже вода, задевая, качает лампадку. И только теперь я заметил, как непостижимо странно выглядит эта лампадка перед иконой в углу. Как не потухла в буйстве стихии эта маленькая капелька света? Просто удивительно!.. А может... Может, и вправду, чудо? Может... Тут я впервые пригляделся к иконе и увидел... бога. Он взирал на меня из угла большими круглыми черными глазами — спокойно и строго. Казалось, он стоит в воде по грудь и вода шевелится, плещется возле него оттого, что он дышит.

Это было так страшно, что я почувствовал, как у меня волосы встают дыбом.

Вспомнился поп Гога, его таинственные слова: «Темна вода во облацех...», которые я никак не мог понять, хоть явно чувствовал в них осуждение и укор. Пришла на ум и бабка Мокрина с ее проклятиями... Темна вода... Вода... Вот она — вода...

«Неужели все-таки есть на свете бог и это он меня карает? — с ужасом подумал я. — И сейчас мне придет конец. Потому что никто ведь не знает, что я нырнул сюда. Они возились там с этой коровой, и никто не видел. Сейчас вода поднимется до потолка, зальет всю хату, я захлебнусь, и все...»

Но я не хочу умирать! Не хочу! Я хочу жить! Хочу кататься на велосипеде, играть в футбол, есть мороженое «крем-брюле». Я рванулся к окну и нырнул. И отчаянно, изо всех сил заработал руками, стараясь пробиться через окно. Я возился под водой до тех пор, пока не почувствовал, что еще мгновение — и я захлебнусь. Тогда я вынырнул. Открыв глаза, я успел еще увидеть, как в последний раз мигнул и погас огонь лампадки. Видно, ныряя, я поднял легкие волны, и они сделали свое дело. Сплошная непроницаемая тьма окружила меня. Я барахтался в воде, как слепой котенок. Сил оставалось все меньше и меньше. Я начал глотать воду и захлебываться. Невыразимый страх охватил меня. Неужели конец?! Не хочу! Не хочу! Не хо...о...о!.. Я закричал. И сам услышал, каким сдавленным и бессильным был мой крик. Так кричат сквозь сон, когда спящего душат кошмары. А может, это и вправду только кошмар, может, это все мне снится? И я сейчас проснусь, увижу солнце, которое светит в окно, и услышу...

## Глава XXII

«ДАВАЙ РУКУ!» Я С НОВА С НИМ. ЧТО БЫЛО ЗА ИКОНОЙ

— Ява! Ява! Ява! Где ты? Ява!

Это был голос... Павлуши.

Я не сразу сообразил, что это наяву, что это мне не мерещится. Но тут же я увидел тоненькую полоску света. То светился остаток воздуха над водой в сенных дверях. Ой! Там же в сенях в потолке ход на чердак! Как же я раньше не раскумекал! Из последних сил, глотая воду и захлебываясь, я рванулся туда.

Свет фонаря ослепил меня, и я ничего не видел. Только слышал Павлушин голос:

— Давай руку! Давай руку!

Я с трудом поднял над водой руку и почувствовал, как ее цепко схватила рука друга. И только теперь я смог отдышаться. Я дышал, как паровоз. Как еще может дышать человек, которого только что вытащили из воды? Я хватал воздух целыми кубометрами, жадно, ненасытно, глотал и не мог наглотаться.

Павлуша молчал. Он только крепко стиснул мою руку. А я стиснул его. И более крепкого, более горячего рукопожатия еще не бывало в моей жизни.

Когда я немного отдышался и глаза привыкли к свету, я огляделся вокруг. Лестницы на чердак не было — видно, снесло водой или бабка куда-то затащила. Да уж, сам бы я тут не выбрался ни за что. Павлуша начал меня понемногу подтягивать вверх. Но я так обессилен, что не мог вскарабкаться и все время сползал в воду.

— Ничего, ничего, сейчас... Все будет хорошо! Еще немного! Вот так! О! О! Ох! — успокаивал меня Павлуша, кряхтя от натуги.

И ему пришлось здорово помучиться, пока я не оторвался наконец от воды и не перевалился, как куль, на чердак.

Некоторое время мы лежали рядом, отдуваясь. Потом я положил руку ему на плечо и сказал, запинаясь:

— Спасибо, с-старик!.. Я уже думал, что конец... Вот влопался...

— А я вижу, что ты нырнул... Потом гляжу — нет тебя... Мало ли что, думаю... и — на чердак... — Павлуша на минуту примолк. — Знаешь, я как



увидел, что ты нырнул, страшно стало... Я как раз про тебя подумал — где ты... А ты тут... Я тебя искал, знаешь... Думал, вот бы вместе за лодкой... А ты здесь...

Я засмеялся. Наверно, ему странно было, что я засмеялся. Потому что ничего смешного он не сказал. Но я засмеялся. От радости. Он искал меня! Слышите? Дружок-то мой верный. Как же я мог думать, что мы навсегда поссорились? Как? Да разве могу я поссориться с ним навсегда! Да ведь это ж Павлуша! Павлуша!

Нет, ему не стало странно, что я засмеялся. Потому что вдруг он и сам засмеялся. Он все понял.

Мы лежали и смеялись.

И хотя мокрые штаны и рубашка противно облепили тело и страшно холодили, мне стало так тепло, так хорошо, как, кажется, еще никогда не бывало.

Как хорошо жить на свете, если тебя спас от смерти твой самый лучший друг!

Эх, Павлуша, Павлуша! Какой же ты молодчина! Все тебе прощаю: и твою измену, и рисование, и твои обидные слова, и то, что Гребенючку защищал, когда я ей комком по юбке влепил, и то, что ты не дальтоник... Прощаю! Это все не твоя вина. Это все она... Ну, не буду! Не буду! Даже в мыслях не буду! Пусть она хоть сбесится, твоя Гребенючка! Хоть целуйся с ней, я в твою сторону даже и не гляну. Отвернусь. Главное для меня — что ты такой мировой парень! И нет у меня в целом мире лучшего друга. Я бы даже поцеловал тебя сейчас, да не умею. Не целуются ребята друг с другом, не принято. Это только взрослые мужчины, когда они друзья, целуются.

Понимаешь ли ты все, что я думаю? Да, наверняка понимаешь. Я по смеху твоему чувствую, даже по тому, как ты дышишь. Я ведь тебя так знаю, как никто на свете, как мать родная не знает.

Наконец мы перестали смеяться, и Павлуша сказал:

— А ты все-таки молодец... Я не знаю, решил бы вот так нырнуть в окно... Это ведь погибнуть — девяносто шансов из ста. Да стоило ли еще? Что она могла там, за иконой, прятать? Ну деньги... Ну облигации трехпроцентные... Да чтоб они сгорели! Из-за них голову класть? Да черт с ними!!!

Ух ты! Я ведь совсем забыл, про тот продолговатый сверточек.

Торопливо хватаюсь за свой карман. Есть! Когда я держался за лампочку, то сунул его в задний карман штанов да еще на пуговицу застегнул, чтоб не выскользнул. Не мог же я его бросить, раз из-за него сюда полез. А в руке он мне мешал.

Ой-ой! Если там облигации или деньги, то, может быть, из них уже каша в воде получилась. А ну, посмотрим! Отстегнув пуговицу и оттопырив карман, я осторожно вытащил сверток.

— Да ты что — все же достал? — удивленно воскликнул Павлуша.

Он-то был уверен, что я не достал, и успокаивал меня: «Черт с ним! Да чтоб они сгорели!» А тут смотри-ка... Мне так приятно было видеть его удивление, что даже кровь в голову ударила. Уж только из-за этого стоило нырять и испытать все эти передрыги. Лучшей похвалы, чем Павлушино удивление, для меня и не могло быть.

Но показать, что мне приятно, я постеснялся и только махнул рукой: да, мол, что уж тут такого?

— А ну, посвети фонариком, — попросил я Павлушу и начал осторожно разворачивать сверток — газету, в которую было что-то завернуто. Мокрая старая газета не столько разворачивалась, сколько отпадала мягкими невесомыми клочьями. Наконец газета то ли развернулась, то ли распалась, и мы увидели свернутые трубкой какие-то листки бумаги, исписанные карандашом. Я склонился пониже и прочитал на сгибе: «...снова в бой. Береги дочурок наших и себя. Целую. Михайло...»

Я поднял глаза на Павлушу. Павлуша тоже успел прочитать и покачал головой.

Это были письма. Фронтовые солдатские треугольники от мужа бабки Мокрины, который погиб, освобождая Прагу, в День Победы, девятого мая сорок пятого года. Сколько прошло времени, а в селе до сих пор частенько вспоминают про эту необычную, такую неfortunную, как говорит мой дед, гибель Михайлы Деркача. Рассказывали, что это был большой остряк, веселый, добрый человек. И страстный садовник. Он-то и насадил перед войной этот большой сад, так и не отведав его плодов. А теперь некоторые деревья даже посохли от старости...

И то, что я чуть не утонул, спасая фронтовые письма дяди Михайлы, что рядом со мной солдаты спасали людей, скотину и добро, наполнило меня таким чувством, будто я тоже принадлежу к армии, будто принимаю участие в настоящей военной операции и сделал сейчас что-то похожее

на то, что было на фронте, что-то такое, что достойно бойца. И гордость и радость захлестнули мое сердце.

И я уже ни капли не жалел, что нырнул за этими письмами. Только подумал: «Береги дочурок наших...», а они вон что: «Не гавкайте, мама». И стало мне еще пуще жаль эту старую, несчастную Мокрину, которая сидела теперь верхом на стрехе и плакала, думая, что письма ее мужа погибли... Наверно, вспоминает его и ругает себя за то, что забыла про них...

И стало мне жаль, что она верила в бога, считая, что он такой хороший и справедливый, а он, вишь ты, больше других ее как раз за что-то и покарал — сильнее всех затопил, прямо под самую стреху, а безбожников, атеистов, вроде деда Саливона, например, даже не зацепил... Ну где же тут справедливость?

И еще я подумал, что Павлуша оказался сильнее бога. Потому что спас меня, а бог бы не спас. Всегда надейся не на бога, а на друга.

Хорошо, что дядя Михайло карандашом писал свои письма. Если бы чернилами, расползлись бы, а так высохнет — и всё.

— Идем, сразу ей отдадим,— сказал я.

Мы поднялись на ноги.

— Я вот тут, через слуховое окно, влез,— рассказывал Павлуша.— Но по мокрой крыше вверх не взберешься.

Павлуша навел фонарь, освещая забитые барахлом, затянутые паутиной углы чердака. Вот! За печной трубой стояла лесенка (так вот она где!), а сверху в соломенной крыше зияла дыра, через которую, должно быть, и вылезла бабка Мокрина.

— Ты давай лезь, а я посвечу,— сказал Павлуша.

— Нет, давай вместе,— ответил я. Мне не хотелось разлучаться с ним даже на минуту.

— Ну, давай,— он не стал спорить.— Только лезь первый. Ты же будешь отдавать.

И мы полезли.

Я первый.

Он за мной, освещая дорогу фонариком.

Я, наверно, так неожиданно вынырнул перед бабкой Мокриной из этой дырки, что она испуганно отшатнулась и быстро-быстро закрестилась, приговаривая: «Свят! Свят! Свят!» Ей, наверно, показалось, что это какая-то нечистая сила.

— Это я, бабуся, не бойтесь,— проговорил я и протянул ей письма.— Возьмите!

Она не сразу рассмотрела, что я ей даю, и не сразу взяла. Только пощупав рукой, поняла, что это такое, и, схватив, поднесла к глазам.

— О господи! Господи! — промолвила она отчаянно и заплакала.— Ой, сынку! Ой, как же ты? Господи!..

И так жалобно, так горестно она это сказала, что у меня у самого перехватило в горле. И я не мог ничего ответить.

Да и не пришлось. Потому что совсем близко позади меня послышался голос:

— Сейчас, бабушка, сейчас...

Я обернулся. На крышу поднимался по приставленной из машины лестнице Митя Иванов. Корова была уже на амфибии, бабкины дочки тоже.

Рассвело. Дождь прекратился. На затопленные хаты и деревья ложился туман. В его белой пелене все выглядело еще необычнее.

Я вдруг почувствовал, что замерз, почувствовал, как заоченели ноги в мокрых штанах, как застыли, задубенели руки. От холода даже в груди ломило. Я чувствовал, что если сейчас как-нибудь не согреюсь, то будет плохо.

Да там ведь, в машине, мой ватник. Надеть, надеть его быстрее! Но... как же Павлуша? Что, если я полезу в машину за ватником, а она двинется... Уже ведь, кажется, всё забрали, вот только бабу Мокрину снимут и поедут. А Павлуша ведь на лодке, он лодку не бросит. И машина переполнена. Кроме коровы, подсвинка и кур, вон еще сколько узлов, чемоданов, ящиков всяких...

Митя Иванов, осторожно поддерживая бабу Мокрину, уже помогал ей спуститься по лестнице в бронетранспортер.

— А где пацан, а? Пацан где? — послышался вдруг внизу встревоженный голос старшего лейтенанта Пайчадзе.

Я должен был подать голос.

— Да тут я! — лязгая зубами, как мог веселее откликнулся я.— Вы езжайте, езжайте! Я на лодке, с Павлушей!

Я уж потом сообразил, что этим самым отрезаю себе путь к ватнику, и кто знает, как я теперь смогу согреться. «Да там наверняка ватник и не найдешь за теми узлами».— успокаивал я себя. И чтоб уж

не было никаких сомнений и колебаний, сразу сунулся вниз — назад на чердак. Павлуша, который терпеливо стоял на лесенке ниже меня и все слышал, но ничего не видел, кроме моих мокрых штанов, не успел двинуться вниз, и я чуть не сел ему на голову. Но он даже слова мне не сказал и, не подав виду, стал тут же спускаться.

## Глава XXIII

У ХАТЫ ГРЕБЕНЮЧКИ. «ОЙ, НОГА, НОГА!»  
БЕССЛАВНО ДОМОЙ. ВСЕ ПЕРЕПУТЫВАЕТСЯ

Через слуховое окно мы перебрались в лодку.

— Я п-погребу, а то з-замерз что-то,— пролезгал я зубами и взял весло.

— А ну постой,— сказал Павлуша, снимая свою брезентовую штор-мовку. Она была совсем новенькая, на «молнии», с капюшоном.

— Да ну...— начал я.

Но он меня перебил:

— Надевай сейчас же, а то...— и силой натянул на меня штор-мовку.

— Н-ну л-ладно, я м-малость... а потом отдам.

Застегнув «молнию» до самого подбородка, я взялся за весло.

Я так налегал на него, как будто хотел сломать. И уже через несколько гребков почувствовал, как тепло понемногу пошло в руки и в ноги. Я греб стоя, приседая и двигаясь всем телом. Мне казалось, что лодка летит, как ракета. Но не успел я еще и из сада выгresti, как нагруженная, будто цыганская повозка, амфибия спокойненько «обштопала» нас и, показав корму, с которой меланхолически смотрела пятнистая коровья морда, исчезла в тумане за кронами деревьев. Мощная все-таки у нас техника в армии. Ишь как прет!

Я выгреб на улицу и, уже не торопясь, потому что здорово устал, направил лодку вдоль по улице, мимо садов.

Туман клубился над водой. Он густел, становился белее, и с каждой минутой все заметней светало.

Внезапно вынырнул из тумана, чуть было не наскочив на нас, еще

один бронетранспортер, на борту которого белели большие, почти метровые цифры: 353 (на нашем был номер 351).

Триста пятьдесят третий был тоже нагружен разным домашним добром. Там даже стояло пианино, а на нем сидела... Гребенючка. Заметив нас, она встрепенулась, и, кажется, хотела что-то крикнуть, но не успела — бронетранспортер уже проплыл. Я взглянул на Павлушу. Он смотрел вслед машине растеряннo, и в глазах его было отчаяние и какая-то досада. Такими глазами смотришь вслед поезду, на который ты опоздал.

И вдруг я понял. Он же наверняка спешил к ней: хотел спасать, специально лодку раздобыл. Может, мечтал вынести ее на руках из затопленной хаты. Влюбленные во всем мире мечтают об этом. И была ведь такая возможность, была. А из-за меня ничего у него не вышло. Опоздал. Из-за меня. Вот если бы не спасал меня, может, и успел бы. А так — опоздал...

И я почувствовал, что должен сейчас что-то сделать.

— Слушай,— сказал я,— а давай завернем туда. Там, наверно, еще что-нибудь нужно забрать. Точно.

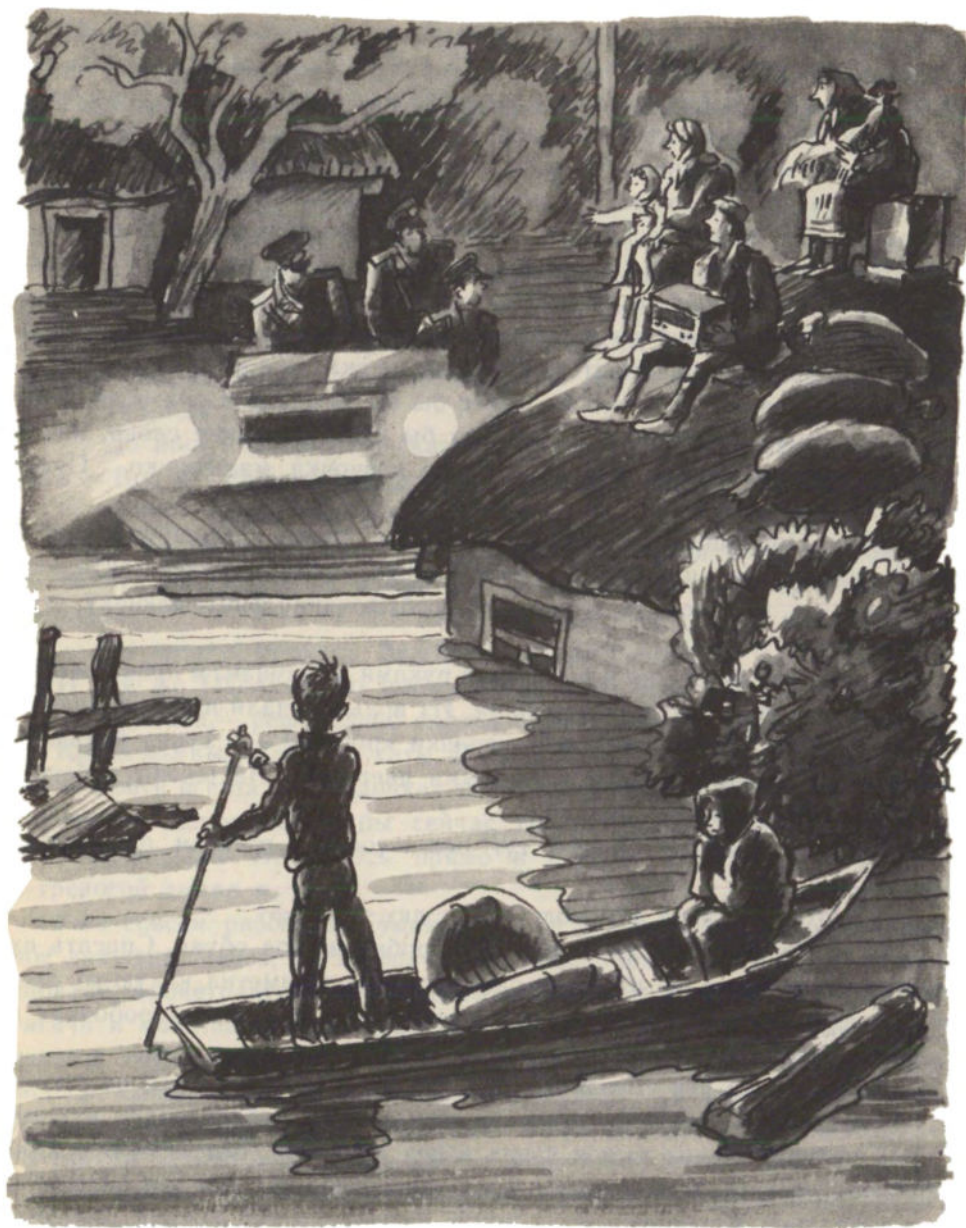
И, не дожидаясь согласия, я повернул лодку туда, откуда только что выплыл триста пятьдесят третий,— к хате Гребенюков. Она была новая и большая — в прошлом году поставили. Не хата, а настоящий дом — просторный, с островерхой крышей, под черепицей, с широкими трехстворчатыми окнами, с узорчатой застекленной верандой. И потому, что он был на высоком фундаменте, залило его только наполовину. Окна были растворены настежь, и внутрь можно было заехать прямо на лодке. Я так и сделал.

— Пригнись,— сказал я Павлуше и сам присел, направляя лодку прямо в окно.

Было так чудно — заплывать на лодке в хату! Никогда мне еще не приходилось этого делать.

Павлуша, который сидел впереди, хоть и пригнулся, зацепил нечаянно головой за люстру, и стеклянные подвески мелодично зазвенели, словно приветствуя наше появление.

В хате почти ничего не осталось. Только большой буфет с пустыми полками отсвечивал в воде зеркалами да посреди комнаты плавал вверх ножками сломанный стул.



Сам Гребенюк был очень энергичный, да к тому же у него, кроме Ганьки, было двое взрослых сыновей. И, конечно, они смогли сделать все по первому классу: вытащили вещи сперва на чердак, а потом погрузили в машину. И теперь я подумал, что Павлуше, честно говоря, не на что было рассчитывать. Никто бы не дал ему выносить Гребенючку на руках из хаты. Разве что только бы лодкой воспользовались (если б солдат не было). Да и всю основную работу по спасению делали бы отец и братья, а мой Павлуша в крайнем случае подавал бы вещи с чердака в лодку. А то и вообще могли бы отправить его домой на этой вот надувной лодочке, чтоб не вертелся под ногами и не мешал. Вот ведь что... Но я, конечно, ничего этого Павлуше не сказал и не скажу никогда. Пускай тешится мыслью, что он вынес бы ее на руках и она обняла бы его, и поцеловала при всех, и сказала бы какие-то такие слова, какие только в мальчишеских мечтах говорит девчонка мальчишке... Пусть тешится...

Бедный Павлуша оглядывался вокруг с таким разочарованным и кислым видом, что мне просто жаль его стало. И так хотелось найти хоть какую-нибудь, пусть самую пустячную Гребенючкину финтифлюшку, чтоб он спас ее!

Положив весло на дно и перебирая руками по стенам, я провел лодку в другую комнату. Это была спальня. Из воды торчали никелированные трубки с шишками и шариками — спинки кроватей — и стоял большой, на полстены, пустой шкаф с открытыми дверцами. На шкафу в беспорядке валялись какие-то коробки.

— Да ну, поехали, ничего тут нет, — сонным голосом проговорил Павлуша.

— Постой, — сказал я и подогнал лодку к шкафу.

С краю на шкафу лежали пустые коробки из-под обуви. Спасать их мог только ненормальный. Но у самой стенки я заметил какую-то плоскую квадратную коробочку темно-синего цвета. В таких коробочках в ювелирных магазинах продают всякие драгоценности.

Дотянуться до нее с лодки я не смог. Нужно было лезть на шкаф. Я это и сделал, как мне казалось, очень ловко. Облокотился руками о край шкафа, сделал рывок вверх и сел на шкаф. Вот если б в этой коробочке да оказалась какая-нибудь драгоценность!.. Но надежды мои не оправдались. Коробочка была пуста. Когда-то в ней лежали, наверно,



серебряные ложечки (об этом говорили специальные перегородки, обтянутые черным бархатом), но это было давным-давно, потому что и бархат уже порыжел и отклеился, и крышка коробочки была оторвана и едва держалась. Должно быть, и ложечки эти уже потеряны.

— Тыфу! Чтоб тебе!..

Я прыгнул назад в лодку.

И тут...

Лодка качнулась, левая нога подвернулась, и я так и вскрикнул от боли. Внизу возле щиколотки что-то хрустнуло. Я не устоял и шлепнулся в воду. Сразу вынырнул и схватился за борт. Павлуша помог мне залезть в лодку:

— Тю! Как же это ты?

— Да ногу подвернул,— сказал я с досадой и виновато взглянул на него.— Вон и штормовку твою замочил.

— А черт с ней. Как нога?

Нога возле щиколотки страшно болела, нельзя было дотронуться, не то что наступить. И прямо на глазах стала пухнуть, отекает. Но я сказал:

— Да ничего, пройдет. Заживет, как на собаке...

И все же Павлуша по моему лицу видел, что с ногой дела плохи.

— Поехали,— решительно сказал он и взялся за весло.

Когда мы выбрались из хаты, Павлуша поднялся и начал гребсти стоя. У нас почти все на плоскодонках так гребут. И весло для этого делается специально длинным. Я бы сейчас гребсти не смог. Боль в ноге не проходила. Она отдавалась прямо в сердце. «Неужели сломал?» — с тревогой думал я.

Уже совсем рассвело. Туман редел, и стало видно, какое оживленное движение здесь, на затопленной улице. Между хат, сараев и садов сновали бронетранспортеры, где-то дальше, в глубине села, рычали тягачи и машины, растаскивая завалы. И всюду маячили зеленые солдатские гимнастерки. Чем ближе мы подплывали, тем больше становилось людей. Казалось, все село теперь тут, в затопленном месте. И никто не сидел сложа руки. Все что-то делали: что-то несли, что-то тянули, что-то передавали друг другу.

Вон Галина Сидоровна в спортивном костюме промелькнула на чердаке хаты. А там дед Саливон. А вон ребята — Карафолька, Антончик,

Коля Кагарлицкий. На борту бронетранспортера едут, и у каждого в руках по две курицы. А лица такие геройские, куда там...

А я... Ну надо же так по-дурацки — как раз теперь, когда такое творится, когда все село, и стар и мал, помогает потерпевшим, — сломать ногу! Это было так несуразно, что я чуть не плакал.

И как я доберусь домой?

Ну, довезет меня Павлуша на лодке до сухого места, а дальше как? На одной ноге прыгать? Не допрыгаю — далеко. А людям разве до меня сейчас! Еще со мной возиться. И тут я вспомнил про своего Вороного, про велосипед свой. Да он же на триста пятьдесят первом остался. Наверно, завезли его и свалили вместе с домашним скарбом бабки Мокрины. Не то чтобы я боялся, что он пропадет. Ничего с ним не сделается. Бабка Мокрина отдаст, конечно. Просто, если бы он был, Павлуша как-нибудь дотащил бы меня на нем до дому. А так...

Только я это успел подумать, как увидел, что навстречу нам шпарит триста пятьдесят первый и старший лейтенант Пайчадзе машет мне рукой:

— Эй, заberi свое добро!

Бронетранспортер был уже порожний.

«Как быстро они обернулись! Молодцы!» — подумал я.

Поравнявшись с нами, бронетранспортер остановился. Пайчадзе, перегнувшись через борт, спустил в лодку велосипед.

— Держи свою тачку, да, — он подмигнул мне и усмехнулся.

— Спасибо, — сказал я и улыбнулся в ответ.

Хоть мне и было совсем не до смеха, потому что, опуская велосипед, он зацепил мне колесом ногу и так она заболела, что я зубами скрипнул, но не хотелось, чтобы солдаты знали про мою ногу. Только теперь я разглядел, какие они усталые, измученные. Глаза у всех красные, губы обветрены и потрескались, на щеках, три дня не бритых, — щетина. Они же ведь только-только легли поспать после трехдневного тяжелого похода, а тут снова. Но держались они бодро, эти совсем еще молодые солдаты. И мне было стыдно сейчас перед ними за свою ногу, за свое бессилие. И я хотел, чтобы они быстрее отъехали, чтоб ничего не заметили.

Пайчадзе кинул мне ватник, сапоги и сказал:

— Надень, а то синий весь, как пуп... Поехали! Разворачивай тачку и давай вон к той хате!

Последние слова были сказаны уже водителю. Все у этого Пайчадзе «тачка»: и велосипед и бронетранспортер. Но почему-то мне это нравилось, что-то было симпатичное. Может, потому, что сам он был какой-то очень свойский, из тех парней, которые в детских играх всегда бывают Щорсами или Чапаевыми. И командовал он солдатами просто, по-товарищески, без начальственного тона. И я подумал, что, если мне когда-нибудь в жизни придется командовать, я буду командовать только так.

Триста пятьдесят первый отъехал.

Через какую-нибудь минуту лодка чиркнула дном о землю.

Про велосипед Павлуша додумался сам, и говорить ему ничего не пришлось.

— Садись на багажник, — сказал он, ставя велосипед возле лодки.

Держа за руль, он довел велосипед до сухого места, а там уже сел в седло.

Павлуша довез меня до дома быстро и без всяких приключений. Никто на нас и внимания не обратил. У нас часто так ездят, особенно мальчишки: один педали крутит, а другой на багажнике сидит, расставив ноги.

Дома у нас никого не было. Даже Иришка, видно, проснулась и побежала куда-то.

Павлуша помог мне приковылять в хату и переодеться в сухое. Сам я и штанов, наверное, не скинул бы. Нога уже была как колода, и Павлуше пришлось минут пять тянуть левую штанину — осторожненько, по сантиметру, потому что так болело, что я не мог не стонать.

Уложив меня в кровать, Павлуша сказал:

— Лежи, я за доктором мотану.

Больницы в нашем селе не было. Больница была в Дедовщине. А у нас только фельдшер Любовь Антоновна, которую все почтительно звали «доктором». И этот «доктор» был для нас больше, чем вся дедовщинская больница. Такая она была способная в исцелении больных. И в сложных случаях врачи всегда звали ее на консилиум. Была она невысока ростом, но крепенькая, как говорят — сбитая, и очень быстрая, несмотря на свои пятьдесят с гаком. К больным она не ходила, а прямо-таки летала, и тот, кто приходил ее вызывать, всегда отставал.

Ну разве ее теперь найдешь, нашего доктора! Там такое творится,

столько людей затопило, и уж, наверно, не одному помощь медицинская нужна! До моей ли ноги ей теперь!

— Не надо. Не ходи,— сказал я.

— Да ты что? — махнул он рукой и побежал.

А я лежал, и меня трепала лихорадка.

Все мое тело, всю кожу с головы до пят прохватывала мелкая дрожь. Поверх одеяла я укрылся еще дедовым тулупом, но только чувствовал тяжесть, а согреться не мог. Главное, что я не мог шевелиться, потому что при каждом движении острая боль ударяла в ногу. И эта бессильная, беспомощная неподвижность была хуже всего.

Все село, от сопливых пацанят до самых старых дедов, было там, чем-то занималось, что-то делало, а я один лежал и считал мух на потолке. И было мне скверно, как никогда.

А что будет, когда придут мать, отец и дед! Даже думать не хотелось. Первое, что скажет мать: «Я ж говорила! Я ж говорила!» И ничего ей не скажешь, конечно, она говорила...

А дед глянет насмешливо и бросит: «Доигрался! Доскакался!»

А отец ничего не скажет, только глянет пренебрежительно: эх, мол, ты, мелочь пузатая!.. А Иришка захихикает, показывая пальцем и припевая: «Так тебе и надо! Так тебе и надо!»

Эх, почему я не солдат?!

Случилось бы такое, например, со старшим лейтенантом Пайчадзе, или с солдатом Ивановым, или с Пидгайко. Ну что ж, боевые друзья отнесли бы его на руках в медсанбат или в госпиталь, и лежал бы он себе в гордом одиночестве, никаких родичей, никто не укоряет, не наставляет, не читает мораль. Только забежит на минутку кто-нибудь из товарищей, расскажет, как идет служба, боевая и политическая подготовка, угостит папироской, а может, и порцию мороженого подкинет... Красота!

А где ж это Павлуша? Что-то долго его нет. А что, как увидел он свою Гребенючку и я уже вылетел у него из головы? Ведь она же несчастная, потерпевшая, ее нужно пожалеть. И он ее жалеет и успокаивает как может. А обо мне уж и думать забыл. И не придет больше, и будем мы с ним снова в ссоре.

И так мне стало от этой мысли тоскливо, что в глазах потемнело. И такая меня взяла злость на Гребенючку, что я аж зубами скрипнул.

Ну все ведь она, все беды из-за нее! Ну не придираюсь! Ну точно же из-за нее! Ну из-за кого же я еще лежу, страдаю, как не из-за этой паршивой Гребенючки! Из-за кого я ноги лишился, шевельнуться не могу? Из-за нее. Хотел же спасти для нее хоть чертовщину какую-нибудь, чтоб порадовать. Коробочку, вишь, ювелирную с драгоценностями высмотрел! Ох, чтоб горела эта коробочка, и шкаф этот проклятый, и вся хата вместе с Гребенючкой синим огнем!..

И вдруг мне стало жарко, так жарко, будто мои проклятия на меня же самого и обернулись и не та проклятушая коробочка, не шкаф и не вся хата вместе с Гребенючкой, а сам я горю синим огнем.

Хочу сбросить дедов тулуп с одеялом и не могу. Что-то на меня наваливается, давит, и так печет нестерпимо, как огромный раскаленный утюг. И что-то в голове у меня крутится, крутится, крутится... И гудит. И мчатся в ней какие-то цифры во всё нарастающем темпе, какие-то бешено растущие числа, какое-то невероятное множество. И чувствую, что нет мне уже выхода из этого множества. И что вот-вот у меня внутри что-нибудь лопнет и будет конец...

Но нет, эта мука не прекращается. И цифры всё кружатся и мчатся в моей голове. И сквозь это кружение я слышу вдруг голос Павлуши, но не могу разобрать, что он говорит. И голос доктора, и чьи-то еще голоса...

А потом все смешалось, и дальше уже я ничего не помню...

## Глава XXIV

### БОЛЕЗНЬ. СНЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЧЕГО ОНИ ВСЕ ТАКИЕ ХОРОШИЕ?

Я прохворал больше двух недель.

Уже потом Павлуша мне рассказывал, что, когда он привел наконец доктора (ее он долго не мог найти, так как потерпевших разместили по всему селу), то я лежал раскинувшись на постели, красный как мак, пыша жаром. Любовь Антоновна сунула мне градусник под мышку — оказалось сорок и пять десятых. Я был в бреду и все время повторял:

— Чтоб она сгорела!.. Чтоб она сгорела!.. Чтоб она сгорела!..

А кто «она» — неизвестно.

Я-то хорошо знал кто, но Павлуше, конечно, ничего не сказал.

Пришел я в себя только на третий день. В хате было так ясно, светло и тихо, как бывает только во время болезни, когда наутро спадает температура.

Первый, кого я увидел, был дед. Он сидел на стуле у моей кровати и клевал носом. Наверно, он сидел с ночи. Но только я шевельнулся, он сразу же открыл глаза. Заметив, что я смотрю на него, он усмехнулся и положил шершавую жилистую руку мне на лоб:

— Ну что, сынку, выкарабкиваешься? Полегчало чуток, милый, а?

Это было так необычно, что я невольно улыбнулся. Дед сроду не говорил мне таких слов. И рука эта чуть ли не в первый раз за всю жизнь коснулась моего лба. Чаше всего она касалась совсем другого места, и, уж конечно, не так нежно. Отцу и матери всегда было некогда, и воспитывал меня дед. Воспитывал по-своему, как его самого когда-то в детстве, еще при царизме, воспитывали. Я, известное дело, был против такого воспитания и доказывал, что это дореволюционный, жандармский метод, осужденный советской педагогикой. Но дед давал мне подзатыльник и говорил: «Ничего-ничего, зато проверенный. Сколько великих людей им воспитано. И молчи мне, сатана, а то еще дам!»

А тут, вишь ты, «сынку», «милый»...

Услышав дедовы слова, из кухни выбежала мать.

— Сыночек, милый! — кинулась она ко мне. — Уже получше, правда?

Мать приложила губами к моему виску (она всегда так мерила температуру и у меня, и у Иришки и обычно угадывала с точностью до десятых).

— Тридцать шесть, не больше. А ну, померь! — Она сунула мне под мышку градусник.

Из спальни зашлепал босыми ногами отец, заспанный, взлохмаченный, в одних трусах, — только проснулся.

Лицо его расплылось в улыбке:

— Ну как? Ну как?.. Ого-о, вижу — выздоравливаешь, козаче! Вижу!

— Да цыц ты! Раскричался! — прикрикнула на него мать. — От твоего крика у него опять температура подскочит.

Отец сразу втянул голову в плечи, на цыпочках подошел к кровати и, склонившись ко мне, шепотом сказал:

— Прости, это я от радости.

Я усмехнулся — впервые в жизни не я у отца, а он у меня просил прощения.

— Ну, как там затопленные? — спросил я и сам не узнал своего голоса, такой слабый, чуть слышный был он — будто из погребка.

— Да ничего, все хорошо. Вода уже спадает. Люди начинают домой возвращаться. Все хорошо.

— Жертв нет?

— Да, слава богу, обошлось. Правда, кое-кто поцарапался, простудился, но серьезного ничего нет. Вот только скотина пострадала. Да и то немного. У кого коза, у кого подсвинок, у кого птица... А коровы все спасены!..

— И все спасибо солдатам! — вставила мать. — Если бы не они, кто знает, что бы тут было.

— Да, техника теперь в армии богатырская, — молвил степенно дед.

— И говорят, что это ведь ты их привел. — Мать нежно положила мне руку на лоб.

— Не знал я, что у меня такой геройский сын, — будто с трибуны, сказал отец.

— А-а!.. — Я отвернулся к стене и почувствовал, как жар бросился мне в лицо, даже слезы выступили.

Все говорили вроде бы искренне, но голоса родителей были такими ласковыми, такими ласковыми, какими только с калеками разговаривают.

«Это они потому, что я больной».

Дед кашлянул и сказал:

— А дружок-то твой вчера целый день просидел тут возле тебя. И не ест ничего, аж похудал... Вот увидишь, сейчас прибежит.

Спасибо, дедушка! Знал ведь, что сказать! Понял, что мне неловко от таких разговоров.

Мать вынула у меня градусник.

— Тридцать шесть и одна. Что я говорила?! Теперь уж пойдет на поправку. А как ножка, болит?

А я и забыл совсем про «ножку». Шевельнул ею — боли почти не было, только почувствовал, что она туго забинтована.

— Слава богу, перелома нет. Вывих. И небольшое растяжение... Любовь Антоновна сказала, через две недели в футбол играть будешь.

Скрипнула дверь, и над дверной ручкой высунулась взлохмаченная

голова Павлуши. Лицо, поначалу вытянутое и какое-то неуверенное, сразу расплылось в улыбке:

— Здравсте!.. Можно?

— Да заходи, заходи, чего там,— заулыбалась мать.— На поправку пошло.

— Я ж говорил, говорил, что сегодня лучше будет! — Павлуша подошел к кровати. Он весь так и светился радостью и приветом.— Здорово, старик! Ну как?

— Ничего...— усмехнулся я, сдерживая радость.

И замолкли оба. При родителях разговор не клеился...

— Ой, у меня ж там молоко! — всплеснула руками мать и побежала на кухню.

Отец пошел в спальню одеваться.

Поднялся, кряхтя, со стула и дед:

— Ну, балакайте, старики, а я, мблодой, по делам пойду,— и зашаркал во двор.

— Садись, чего стоишь,— сказал я Павлуше.

И он присел с краешку на стул.

Он сидел и молчал. Только улыбался и время от времени подмигивал мне. И я тоже молчал и улыбался. И чувствовал себя так, словно возвращаюсь откуда-то издалёка-издалёка в знакомый и родной мир, как возвращаются домой из дальнего тяжелого путешествия.

И близок мне этот мир больше всего потому, что в нем есть Павлуша. Вот этот самый, с облупленным носом Павлуша, у которого волосы так смешно торчат на макушке.

Неужели могло случиться такое, что он перестал бы быть моим другом? Это было бы так страшно, так непонятно... Я просто не знаю, что бы тогда было.

— Ну, как там, расскажи,— сказал наконец я.

— Да как... Ничего. В порядке. Все только и говорят про тебя. Кого ни встретишь: «Какая температура? Как нога? Какой пульс?» Хоть бюллетень вывешивай о твоём здоровье. Как премьер-министр. Таким знаменитым стал, куда там!..

— Вот уж верно — дальше некуда!

— Ну точно, я тебе говорю! Все село уже знает, как ты солдат привел, как письма спасал... Бабка Мокрина день и ночь за тебя богу



молится. Да что Мокрина — отец Гога за твое здоровье в церкви молебен отслужил!

— А ну тебя!.. Ты толком расскажи, как там...

— Да честное слово! Ребята тебе завидуют. Хотя они тоже старались... Вон Карафолька даже ботинки в воде потерял. И фонарь себе под глазом поставил, где-то о косяк навернулся... А Коля Кагарлицкий свою курточку нейлоновую заграничную знаешь как располосовал — сверху донизу! И даже глазом не моргнул. Так в разодранной до самого вечера и таскал вещи затопленных. А Антончик чуть не потонул. Он же, знаешь, плавает паршиво, а полез в кошару овец Мазниченко спасать. Ну и...

Павлуша глянул на меня и запнулся.

— Ну что ж... молодцы ребята,— вздохнул я.

— Вообще-то молодцы, конечно, я и сам не думал... но... но все они мелкота по сравнению с тобой. Точно! Думаешь, кто-нибудь из них вот так нырнул бы в затопленную хату через окно? Ни за какие бублики! Да что там...

— Ну уж, скажешь! — криво усмехнулся я. — Хорошо... А как там вообще?

— Вообще ничего... Порядок! Жизнь нормализуется, как пишут в газетах. Восстанавливаются коммуникации, приводятся в порядок пострадавшие объекты. Предприятия и учреждения работают нормально — и сельмаг, и парикмахерская, и баня... Несмотря на стихийное бедствие, колхозники своевременно приступили к работе — вышли в поля и на фермы. Короче, в борьбе со стихией наши люди победили. Правда, пока еще нет электричества. Но солдаты прилагают все усилия, чтобы в хатах снова засияли лампочки... Вообще, я тебе скажу, вот кто все-таки молодцы, так это солдаты. Как они работают, ты бы видел! Сила! Если бы не они со своими машинами... Эх! Ты даже не знаешь, какой ты молодец, что их привел! Просто... просто считай, что этим ты спас село. Абсолютно точно!

— Да иди ты! И без меня их все равно бы вызвали. Секретарь райкома уже при мне звонил полковнику...

— Ну и что? А все-таки ты их привел. Ты! А кто же? И чего там скромничать! Вот уж любишь ты скромничать!..

Я усмехнулся.

«Эх, Павлуша, мой Павлуша! — подумал я. — Что ты говоришь? Я люблю скромничать? Вот уж нет! Что-что, а скромничать ни я, ни ты не любим. Это все знают. Скорей наоборот».

Но я не стал спорить. Мне было так хорошо, что вот он сидит на кровати и разговаривает со мной! Так радостно! И я боялся, как бы он не ушел.

И он словно прочел мои мысли. Потому что посмотрел виновато-виновато и сказал:

— Ну, я пойду, наверно... Тебе отдых нужен...

— Да посиди, чего там! — встрепенулся я.

— Да я бы посидел, конечно... но мы, знаешь, договорились...

— Ну, иди, — сказал я тихо и обреченно.

— Да ты не обижайся. Я еще забегу. Ты, главное, отдыхай, лучше ешь и выздоравливай. А я... Ведь там, знаешь, еще много... Ну, бывай!

— Бывай! — через силу улыбнулся я. — Передавай привет хлопцам!

И почувствовал, как что-то в горле мешает мне говорить — будто галушка застряла.

— Я еще до обеда забегу обязательно! — бодро уже с порога крикнул Павлуша.

Он даже не сказал, с кем и о чем он договорился и чего там еще много...

Ну, ясно с кем! С ней! Побежал ее ублажать. Эх!..

А почему обязательно ее? Может, и не ее совсем. Что, нечего сейчас делать в селе, что ли? А ты хотел, чтоб он возле тебя нянькой сидел? Побежал парень по каким-то делам, а ты уж и раскис! Глотай вон лекарства и не морочь себе голову. Интересно, а ты бы сидел у его кровати? Вспомни, как однажды Иришка хворала и мама просила возле нее посидеть. Как тебе не хотелось! Вот и не выдумывай. Не выдумывай. Не выду...

Внезапно кровать моя качнулась, мягко двинулась с места и поплыла, покачиваясь, в окно...

Я не удивился, не испугался, только подумал: «Видно, и нас затопило. А от меня скрывали, не хотели волновать, потому что я больной... Потому и Павлуша убежал — спастись отцову библиотеку. У них же стеллажей с книжками — на две с половиной стены. Пока все вынесешь!..»

Кровать моя выплыла через окно на улицу. Вокруг уже не видно было ни хат, ни деревьев — ничего, кроме белой, вспененной воды из края

в край. Белой, как молоко. Я сперва подумал, что это туман стелется так низко над водою. Но нет, это был не туман, потому что видно было далеко, до самого горизонта. Это была вода такая белая.

Вдруг я заметил, что в воде, покачиваясь, плывут большие бидоны из-под молока, и сообразил: залило молочную ферму и выворотило оттуда эти бидоны, а вокруг — всё это вода, смешанная с молоком.

Но почему же моя железная кровать не тонет?

И тут же пришло в голову: ведь у меня же кровать-амфибия, военного значения, и это потому, что у меня мама — депутат. Всем депутатам выдают такие кровати...

Небольшие белые волны плещут около самой подушки, но не заливают ее. Ну конечно, это молоко. Причем свеженькое, парное. Я уже остро чувствую его запах. И вдруг слышу голос матери:

— Выпей, сынок, выпей молочка.

И сразу голос отца:

— Он заснул, не буди его, пускай...

Но я уже проснулся и открыл глаза.

Я выпил молока и снова заснул.

Когда я проснулся, был уже обед. Я пообедал (съел немного бульону и куриное крылышко), полежал и снова заснул... И спал так до утра.

## Глава XXV

ВСЕ! КОНЕЦ! ДАРЮ ВЕЛОСИПЕД. «ЗАГАЗА ЧЕГТОВА!»  
Я ВЫЗДОРАВЛИВАЮ

Проснувшись, я увидел, что возле кровати на стуле сидит Иришка и читает журнал «Барвинок».

В хате было солнечно, прямо глаза слепило, часы на стене показывали без четверти десять, и я понял, что это утро.

Иришка сразу отложила журнал и вскочила со стула:

— Ой, бгатишка, милый!.. Сейчас будешь завтгакать.

Она у нас не выговаривает букву «р».

В один миг Иришка поставила передо мной на стуле молоко, яичницу, творог и хлеб с маслом.

Я догадался, что в хате никого нет, все на работе, и ей поручено приглядывать за мной.

— Ну пожалуйста, милый бгатишка, ешь! — сказала она сладким голосом.

Я насторожился.

А уж когда она в третий раз сказала «милый бгатишка» («Милый бгатишка, спегва поглоти таблетку»), это меня уже совсем встревожило.

«Милый бгатишка!» Она никогда меня так не называла. Обычно она говорила «загаза четгова», «так тебе и надо»... И вдруг — «милый бгатишка»!..

Плохи, выходит, мои дела. Может, и совсем безнадежны. Может, я уже и не встану. Потому-то все такие нежные со мной: и отец, и мама, и дед... И все время успокаивают — выздоровеешь, выздоровеешь. А я...

Вон сплю все время. Значит, нет в организме сил, энергии для жизни. Вот так засну и не проснусь больше. Голову даже поднять от подушки не могу. Поднимусь, сяду на кровати, а голова крúгом идет, даже мутит...

Я взглянул на творог, на яичницу и вспомнил слова деда Саливона, которые он любил повторять: «Как без пищи быть силище. Живется, пока естся и пьется. На пищу налегай, и будешь, как бугай».

— Иришка, дай еще кусок хлеба с маслом,— сказал я тихим, глухим голосом.

— Что? Да ты же еще этого не съел!

— Жалко? — с горьким упреком взглянул я на нее.— Может, я... Может...

— Да что ты, что ты! Возьми! — Она побежала на кухню, откромсала от буханки огромную краюху, намазала маслом в палец толщиной и положила на стул. Прыснула и побежала за печь смеяться.

Я вздохнул. Ничего, ничего! Смотри, чтобы плакать не пришлось, когда меня... когда меня уже не будет...

Яичницу с первым куском хлеба я умял довольно быстро.

А вот тарелка творога, щедро политого сметаной, и краюха хлеба, принесенная по моей просьбе Иришкой, пошли туго. Полтарелки я еще так-сяк съел, а дальше начал давиться. Набивая полный рот творога

и хлеба, я жевал-пережевывал эту жвачку по несколько минут и никак не мог проглотить. Жевал, как какой-нибудь старый вол.

Уж я и молоком запивал, и резко запрокидывал голову назад, как это делает обычно мама, глотая таблетки, но только напрасно — не глоталось. «Ну, все! — с ужасом подумал я. — Уже и есть не могу. Организм пищу не принимает. Все! Конец! Крышка!»

Я бессильно откинулся на подушку.

Лежал и прислушивался, как внутри у меня что-то булькало: бурчало и переливалось. Это гуляет в пустом животе одинокая яичница в окружении творога и молока, думал я. Гуляет, не имея возможности спасти слабеющий организм.

О! Кольнуло в боку!.. И нога занемела, наверно, кровь туда уже не доходит... И левая рука какая-то бессильная и вялая. Да ведь там же сердце близко! Видно, сердце уже отказывается работать...

О! Уже тяжело дышать! Прерывистое какое-то дыхание. И пальцы на руках посинели, видно, отмирают... Эх, жаль — нет Павлуши. Хоть бы с ним попрощаться. Не успею, наверно...

Из-за печи выглянул лукавый Иришкин глаз. Она смеялась. Она и не представляла, как мне худо. Она думала, что я придуриваюсь.

Нужно ее как-то разуверить, что это не шутки, что мне на самом деле плохо, что, может, это последние мои минуты... Я не мог умирать под ее хихиканье.

— Иришка, — чуть слышно проговорил я, — иди сюда.

Она вышла из-за печи.

— Иришка, — вздохнул я и смолк.

Она подошла поближе. Личико ее стало немножко серьезнее.

— Иришка, — вздохнул я во второй раз и снова смолк. Я должен был сказать в этот момент что-то значительное, что-то возвышенное и великое, что говорят только перед смертью. — Иришка, — сказал я наконец тихо и торжественно, — возьми себе мой велосипед... Я дарю тебе его...

И закрыл глаза.

— Ой! — взвизгнула она радостно. — Ой! Пгавда?! Ой! Сегьезно? Ой, бгатишка! Какой ты хогоший! Ой! Дай я тебя поцелую!

И ее губки мазнули меня по щеке возле носа. Я отвернулся к стене, потому как чувствовал, что вот-вот заплачу.

Мы с Иришкой чаще всего ссорились как раз из-за моего велосипеда.

Она хотела на нем кататься, а я не давал. Я считал, что она еще сопливая, чтобы кататься на взрослом велосипеде,— только в первый класс пошла в этом году. Она и до педалей еще даже не доставала. Но все же умудрялась ездить — просовывала правую ногу сквозь раму и, извиваясь червяком, стоя крутила педали. Эта ее находчивость только раздражала меня. Такое уродливое катание, на мой взгляд, было просто издевательством над велосипедом.

И вообще, кому хочется, чтобы на его велосипеде кто-то катался! Это всегда неприятно. Велосипед — это что-то очень личное, близкое, заветное. Это, по-моему, ближе, чем рубашка, штаны да что хочешь...

И теперь, подарив велосипед Иришке, я почувствовал, что мои счета с жизнью почти что окончены.

Я слышал, как она, забыв от счастья про мою болезнь, уже вытаскивала Вороного из сеней во двор. И он жалобно дребезжал и звенел. Эти звуки разрывали на части мое умирающее сердце. Так в последний раз печально ржет верный конь, навеки прощаясь с казаком...

Я вытянулся, как мертвец, сложил на животе руки и обреченно уставился в потолок.

Я ждал прихода смерти.

Часы на стене неумолимо отбивали минуты.

Но неожиданно вместо смерти пришла доктор Любовь Антоновна. Хлопнув дверь, она зашла в хату и быстрым шагом приблизилась к моей кровати.

Положила руку мне на лоб, потом взяла пульс.

И все это — не говоря ни слова, молча, сосредоточенно, строго.

Я замер в безнадежном ожидании.

Окончив шупать пульс, она подняла мне рубаху, склонилась и приложила маленькое холодное ухо к моей груди. Она всегда выслушивала больных прямо так, ухом, без всяких медицинских причиндалов.

И, только выслушав меня, она сказала наконец весело:

— Молодец, козаче! Все хорошо! Скоро будешь здоров.— И хлопнула меня ладонью по животу.

— Ну да! Хорошо! — буркнул я. — Вон уже и есть не могу. Организм не принимает. И голова кружится, подняться нет сил.

— Что? — Она удивленно взглянула на тарелки, что стояли на стуле. — А это кто завтракал?

— Да я же... видите... — вздохнул я.

— Ну, вижу. И яичницу, вижу, принял твой организм, и творогу полтарелки, и молока. Что ж ты хочешь? После такой температуры это даже многовато сразу. Запрещаю тебе есть по стольку! А голова кружится от долгого лежания. Нужно вставать понемножку, раз температуры нет. Разрешаю тебе сегодня встать минут на десять — пятнадцать и походить по комнате. Только не больше... «Организм не принимает!» — Она усмехнулась. — Эх ты, герой!

Я насупил брови и отвернулся.

Не очень-то я ей верил. Она доктор и должна успокаивать больных. Такая у нее работа. Ей за это деньги платят.

И все-таки после того, как она ушла, я почувствовал себя легче — перестало колоть в боку, и нога отошла, и руку отпустило. А сердце забилося живее.

Смерть пока что отступила.

Мне даже показалось, что я услышал, как она, загремев костями, побежала-покатилась куда-то прочь по дороге... Или, может, это загремел, упав вместе с Иришкой, мой велосипед?..

Мой?

Велосипед?

Какой же он мой?

Нет у меня больше велосипеда!

Нету!

Подарил!

Балда!

Да я ведь... я ведь... думал, что умираю.

«Подожди-подожди! Чего уж ты разволновался? Может, еще умрешь и не будешь балдой», — шепнул мне насмешливо внутренний голос.

«Тьфу, провались ты! — ругнул я его. — Лучше быть живым дураком, чем...»

Ну и что? Ну и подарил! Подумаешь! Родной сестренке подарил. Пусть себе катается на здоровье, милая, дорогая, се...

Во дворе снова что-то грохнуло и задребезжало.

Черт! Чего же она, растрепана, падает! Так ведь все спицы повыбивать можно!

Ну и пусть выбивает. Ее велосипед — может совсем его разбить. Чего тебе теперь беспокоиться? Тебе теперь не нужно беспокоиться.

Павлушка, значит, будет на велосипеде, Вася Деркач на велосипеде, Коля Кагарлицкий на велосипеде, Степа Карафолька, воображала, на велосипеде, — короче говоря, все, абсолютно все на велосипедах, а я — пешкодралом. На своих двоих.

М-да...

Тогда уж лучше умереть! Что ж за жизнь без велосипеда! Комедия! Смех!

Эх! Какой это был велосипед! «Украина». С багажником, с фарой, с ручным тормозом. А скорость какая! Ветер, а не велосипед!.. Был!

Во дворе снова задребезжало.

Доламывает!

Сердце мое разорвалось на части. «Разрешаю тебе сегодня встать на десять — пятнадцать минут».

Я поднялся и сел на кровати.

Встать! Хоть взглянуть на него в последний раз! Вот гляну, а потом уж... лягу и умру.

Я встал и, качаясь, заковылял к окну.

Иришка, высунув от старания язык, выгибаясь, кружила по двору. На лбу у нее светилась здоровенная шишка, на щеке царапина, коленка разбита. Но глаза сияли счастьем. И, видно, это счастье ослепляло ее и она ничего не видела. Во всяком случае, дубовый комель, на котором мы рубили дрова, она точно не замечала, потому что перла прямо на него. Я не успел даже рот раскрыть, как она задела за комель и...

Вот тут уж я рот раскрыл. Я не мог его не раскрыть.

Душа моя, которая еще держалась в теле, не выдержала.

Велосипед встал на дыбы и со всего маху грохнулся на землю, задребезжав всеми своими деталями.

— Ах ты!.. Чтоб тебя!.. Ты что делаешь?! — отчаянно закричал я.

Пусть я умру, но даже перед смертью я не могу спокойно смотреть, как погибает мой Вороной!

Лежа под колесом, Иришка растерянно хлопала глазами. Потом сразу насупила брови и молча начала выбираться из-под него.

Встала, подняла велосипед, смерила меня презрительным взглядом и с обидой прокартавила:



— Думаешь, я тебе повегила, что ты подагил? Я знала, что ты нагочно... загаза чегтова!..— И, шмыгнув носом, отвернулась.

Я разинул рот и... улыбнулся. «Загаза чегтова...»

Солнце засияло в небе, запели птички и зацвели-запахли под окном розы.

Жизнь возвратилась ко мне.

Сомнений не было — я не умру. Раз меня опять ругают «загазой».

Дорогая Иришка, милая моя сестричка, я теперь всегда буду давать тебе велосипед — когда только захочешь! Честное слово!

## Глава XXVI

СНОВА ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ. ТЫ МНЕ ДРУГ?  
«НИЧЕГО НЕ РАЗБЕРЕШЬ», — ГОВОРIT ПАВЛУША

Пока мне было очень плохо, я не чувствовал, как идет время. Оно как будто не существовало.

А как только мне чуть полегчало, я сразу почувствовал, до чего же все-таки муторно болеть. Я никогда не думал, что часы могут быть такими долгими, а день — таким бесконечным. Раньше мне его всегда не хватало. Не успеешь, бывало, что-нибудь затеять, начать, как уже и вечер. А теперь до этого вечера была целая вечность. Она без конца и края тянулась, тянулась, тянулась, вытягивая из меня жилы. Этого вечера просто невозможно было дожидаться. А ради вечера я только и жил на свете. Вечером приходил Павлуша. Правда, он забегал и утром и в обед, но это всего на несколько минут. А вечером он приходил часа на два, а то и на три и сидел до тех пор, пока я не замечал, что он уже клюет носом, и тогда я гнал его спать. Он очень уставал, Павлуша. И не только он, все уставали. Все село работало на улице Гагарина, приводя ее в порядок после страшного погрома, который учинила стихия за одну ночь. Отстраивали хаты, расчищали дворы, заново ставили снесенные заборы, чинили поломанные хлева и амбары, раскапывали погреба. Наравне со взрослыми работали и школьники, начиная с седьмого класса. Да и младшие не сидели сложа руки — каждый что-нибудь делал в меру своих сил и возможностей. Потому что рук-то этих, конечно,

не хватало. Пора была горячая, уборка урожая — и фрукты и овощи... Хорошо, что хоть жатву закончить до дождей успели. Все работали с утра до вечера. Все. А я лежал себе паном — пил какао, ел гоголь-моголь и разные вкусные финтифлюшки, которые по ночам пекла мама для укрепления моего больного организма. Пил, ел и читал всякие приключенческие книжки.

А ребята трудились и ели самый обычный хлеб с салом.

И я им завидовал. Завидовал отчаянно!

Я ненавидел какао, гоголь-моголь и вкусные финтифлюшки.

Я бы променял все эти лакомства на кусок хлеба с салом в перерыве между работой.

Мой дед частенько называл меня «всемирным лодырем». Но если бы он знал, как мне, «всемирному лодырю», хотелось сейчас работать! Я бы не отказался от самой грязной, самой противной, самой тяжелой работы. Только бы со всеми, только бы там, только бы не лежать бревном в кровати.

Только теперь я понял одну вещь. Чем страшна болезнь? Не тем, что где-то что-то болит. Нет! Болезнь страшна прежде всего бессилием, бездеятельностью, неподвижностью.

И я понял, почему люди прежде всего желают друг другу здоровья, почему говорят, что здоровье — всему голова...

Как я страдал от своей бездеятельности! Вы себе даже не представляете. Когда никого не было в хате, я зарывался в подушку и просто выл, как какая-нибудь голодная собака.

Один Павлуша по-настоящему понимал меня и все время старался развлечь, успокоить. Но это ему плохо удавалось. Я был, конечно, благодарен ему за сочувствие, но одни слова не могли мне помочь. Какие там слова, если я сам чувствовал, что нет еще сил! Похожу немножко по хате — и в пот бросает, голова кружится, лечь тянет.

Казалось бы, и нога с каждым днем все меньше болит, и температуры нет, а вместо того чтобы выздоравливать, я чего-то снова расклеился. Стал думать, что никогда уже не буду здоровым, и упал духом. Потерял аппетит, плохо ел, не хотелось ни читать, ни радио слушать. Лежал с безразличным видом, уставившись в потолок. И никто этого не видел, потому что с утра до вечера никого не было дома, а Иришка, дорогая моя сестренка, которой поручено было присматривать за мной, дома

не задерживалась. Да я ее и не винил, я и сам, когда она болела, не очень-то сидел возле ее кровати. С утра, подавши мне завтрак, она, как щенок, смотрела на меня и покорно спрашивала:

— Явочка, я немножечко... можно?

Я вздыхал и кивал головой. И она, громыхая, тащила велосипед из сеней во двор. И только я ее и видел потом до самого обеда. Она торопилась, пока я болею, накататься вволю. Она чувствовала, что, когда я выздоровею, не очень-то она покатается.

И если раньше она каталась во дворе, то теперь выезжала за ворота и старалась убраться с глаз долой, чтоб не слышать моих упреков за то, что не так ездит. А мне уже даже и это было все равно. Я и на велосипед махнул рукой.

Иногда вместе с Павлушей забегали ребята, но они были так поглощены своим делом, так им было не до меня, что это приносило мало радости.

Два раза заходила Галина Сидоровна, только мне почему-то было стыдно перед ней, что я лежу беспомощный, жалкий, и я все время с нетерпением ждал, когда же она уйдет. Плохо мне было, ох, как плохо!

Сегодня я почему-то особенно сильно чувствовал себя несчастным и одиноким. Может быть, потому, что сегодняшний день был на редкость хороший — солнечный, ясный, в небе ни облачка. И Иришка, вытаскивая из сеней велосипед, распевала во все горло:

В путь, в путь, в путь.  
А для тебя, родная,  
Есть почта полевая...

Вороной мой подребезжал по двору и, дзынькнув уже за воротами, пустился во весь дух, унося куда-то мою неугомонную сестру.

Я зарылся в подушку и завыл.

И вдруг услышал, как что-то стукнуло об пол.

Я поднял голову. На полу возле кровати лежал камушек. К нему была привязана красной ленточкой какая-то бумажка. Я удивился и поднял. Развязал ленточку, развернул бумажку. И у меня дыхание так и перехватило — я сразу узнал тот самый почерк: четкий, с наклоном в левую

сторону и каждая буква отдельно... От волнения эти буквы запрыгали у меня перед глазами, и прошло несколько секунд, пока я смог прочитать написанное.

*Дорогой друг!*

*Нам все известно, что случилось с тобой в последнее время.*

*Мы довольны твоим поведением. Ты вел себя как настоящий солдат. Нам очень приятно, что мы в тебе не ошиблись. Теперь мы еще больше уверены, что то секретное задание, которое мы должны поручить тебе, ты выполнишь с честью.*

*Стихийное бедствие и метеорологические условия делают невозможным проведение намеченной операции сейчас. Операция откладывается. Надеемся, что к тому времени ты выздоровеешь и нам не придется искать другую кандидатуру. Намеченная операция секретная. Имеет большое военное и государственное значение. Разглашение тайны карается по статье 253 Уголовного кодекса СССР.*

*Это письмо нужно немедленно сжечь.*

*Напоминаем: условный сигнал — белый флажок на мачте возле школы. В день, когда появится флажок, нужно прибыть к доту в Волчий лес ровно в девятнадцать ноль-ноль. В расщелине над амбразурой будут инструкции.*

*Желаем скорейшего выздоровления.*

Г П. Г

Когда я дочитал до конца, пульс у меня был, наверно, ударов двести в минуту. В висках так и бухало.

Они! Снова они! Трое неизвестных!

Как раз сегодня я их вспоминал. А до этого не то чтоб забыл, нет. Просто события той страшной ночи, а потом и моя болезнь как-то отодвинули мысли о них, заглушили интерес, и все это вспоминалось так, как будто было не со мной. Как будто я прочел об этом в какой-то книге или видел в кино.

И чем дальше, тем чаще я думал, что все это, наверно, не серьезно, а чья-нибудь шутка, только непонятно, чья и для чего.

Уж сколько раз я решался поговорить обо всей этой истории с Павлушей, но каждый раз в последнюю минуту что-то мешало: или Павлуша поднимался, чтобы уйти, или кто-нибудь заходил в хату, или у самого мелькала мысль: «А что, если это и вправду военная тайна?» И момент проходил, а я так и не заговаривал. К тому же меня смущало, почему молчит Павлуша. Я раза два пытался выведать, куда это он ехал тогда по «глеканке», но он от ответа уклонялся. В первый раз он как-то

ловко перевел разговор на другое, а во второй, когда я ему прямо сказал, что видел, как он выехал к вечеру из села и махнул в сторону леса, он невинно захлопал глазами: «Что-то не помню. Может, в Дедовщину... Не помню...» — и так он это искренне, правдиво сказал, что если бы я сам не видел его тогда собственными глазами, то поверил бы.

И вот: «Разглашение тайны карается по статье 253 Уголовного кодекса УССР».

Теперь ясно, почему молчит Павлуша.

Да... но как же я узнаю, когда появится флажок на вышке, если я лежу?

Нет, я должен сегодня же поговорить с Павлушей. В конце концов друг он мне или нет? Если уж на то пошло, я готов вместе с ним отвечать по этой 253-й статье. И в тюрьме сидеть вместе с ним (только чтоб в одной камере). А почему обязательно сидеть? Если б я какому-нибудь врагу разгласил, тогда другое дело, а то ведь другу. Да и что разгласил? Я еще и не могу ничего разглашать. Я еще и сам не знаю, в чем состоит эта государственная и военная тайна. Может, Павлуша знает, так пусть мне разгласит. А если не разгласит, то он мне, выходит, и не друг. Интересно, разгласил он Гребенючке или нет? Если ей разгласил, а мне не хочет, тогда все, между нами все кончено.

Если я и так не мог всегда дожидаться прихода Павлуши, то можете себе представить, с каким нетерпением ждал я его сейчас!

И, заслышав во дворе его голос, я даже подскочил на кровати. Он обычно еще во дворе выкрикивал во весь голос: «Ява-а! Э-эй!» — давая знать, что он идет.

На этот раз Павлуша вбежал в хату запыхавшийся, раскрасневшийся и уже с порога начал взволнованно:

— Старик! Только что погреб Пашков откапывали. Не веришь? Откопали кастрюлю, а там вареники с вишней. Попробовали — свеженькие, будто вчера сварены. А больше недели прошло. Ты скажи! Полезные ископаемые — вареники с вишней! Допотопные вареники с вишней! Га? Сила! Главное — как вода туда не попала? Наверно, землей сразу присыпало, а крышка плотная и... Только малость сверху подмочены, а внизу совсем нормальные! Я пять штук умял. Вкуснота! Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?

— Да нет, — мотнул я головой. Я решил не откладывать, так как

в любую минуту может прийти Иришка.— Павлуша,— я пристально посмотрел ему в глаза,— ты мне друг? Скажи честно.

— Ты что? Друг, конечно.

— Скажи, а ты мог бы... сесть вместе со мной в тюрьму?

— Да ты что!..— Он растерянно заулыбался.— Ты что, сельмаг обокрал?

— Нет, скажи серьезно: мог бы?

Он нахмурил брови.

— Мог бы! Ты же знаешь...

— Ну, тогда на, читай! — И я протянул ему письмо.

Пока он читал, я не сводил с него глаз. Он сначала побледнел, потом покраснел, потом начал сокрушенно качать головой. Дочитав, он поднял на меня глаза и вздохнул:

— Так... «Г. П. Г.» Значит, и тебе... Ничего не понимаю...

— А тебе, выходит, тоже? И молчал...

Павлуша виновато пожал плечами:

— Ну когда же я мог сказать? Раньше — сам знаешь... А потом ты заболел, тебе же нельзя волноваться, так что...

— Нельзя волноваться? Мне очень даже можно волноваться! Мне даже нужно волноваться! Мне нельзя лежать, как бревно какое-нибудь, потому что я так не выдержу... А ну, рассказывай! — Я резко сел на кровати, щеки у меня горели. Я и вправду почувствовал какой-то внезапный прилив сил, бодрости и энергии.

— Ну что... Ну, иду я как-то по улице, вдруг навстречу мне офицер на мотоцикле. Остановился. «Павлуша,— спрашивает,— Завгородний? — и протягивает конверт. И как газанет — только я его и видел. В шлеме, в очках, лица не разглядишь.

— Точно!

— Ну, развернул я письмо. «Дорогой друг... секретное задание... нужно прийти в Волчий лес к доту... в амбразуре инструкция».

— В расщелине над амбразурой.

— Точно.

— А в каком часу?

— В двадцать ноль-ноль.

— А мне в девятнадцать.

— Значит, они не хотели, чтобы мы встретились. Ну, и ты был?

— А как же. Только давай сперва ты.

— Ну, значит,\* подъехал я к доту. Только туда, а меня — цап за шкурку! Солдат Митя Иванов, знаешь? «Куда,— говорит,— опять лезешь? Совсем сдурел, что ли?» Ну, теперь-то я понимаю, что это ты передо мной прорывался, а тогда я страшно удивился, почему это он говорит «опять». Ну, да не это меня больше всего удивило, а то, что я никак до амбразуры добраться не мог. Сами писали: «Приди»,— и сами же часового поставили, не пускают. Кстати, на дороге и мотоцикл стоял, а в кустах, кроме Мити Иванова, еще кто-то был. Уж не тот ли, который мне письмо передавал? Я его не видел, но голос слышал. Поэтому я даже психанул. Чего, думаю, голову морочат! «Ах, так! — крикнул я громко.— Не пускаете, тогда я домой пошел. Слышите, дом мой!» И тут из кустов в ответ: «Правильно!» Ну, думаю, раз так — будьте здоровы! Сел на велосипед и поехал...

— Так что — и всё? Больше ничего не было?

— Да подожди! На следующий день пошел я рисовать. Как раз занятие кружка было. Открыл свой альбом, а там... письмо. Снова Г.П.Г «Операция переносится... не волнуйся... Следи за мячтой возле школы... Когда появится белый флажок — приходи в этот день в Волчий лес к доту...»

— И снова в двадцать ноль-ноль?

— Ага! Ты знаешь, меня аж в жар бросило. Альбомы наши хранятся в школе, домой мы их не берем. После каждого занятия староста собирает, и Анатолий Дмитриевич запирает их в шкаф. Как могло там очутиться письмо, хоть убей, не знаю. Не иначе, как кто-то ночью влез в школу, подобрал ключи к шкафу и подложил. Но ведь школа летом на замке, и баба Маруся там всегда ночует, а она, ты же знаешь, какая — муха у нее не пролетит. Просто не знаю.

— Ну, это все ничего не значит. Если нужно, так и бабу Марусю усыпят, и ключ любой подберут... Это не трудно.

— Ну, а у тебя-то что?

— Ну, а у меня... И я подробно рассказал Павлуше про все, что приключилось со мной: и про письмо, и про «экскурсию» по военному лагерю, и про разговор по телефону.

— Ну, так что ж все это может значить, как ты думаешь? — спросил Павлуша, когда я кончил.

— Я, конечно, точно не знаю, но думаю, что, наверно, это связано с военным делом. Я уж думал: может, что-нибудь у них там сломалось, в какой-нибудь пушке или в ракете, куда взрослый пролезть никак не может, и нужен мальчишка.

— Кто знает, может быть... — нахмурил брови Павлуша. — А почему ж тогда и тебе и мне? И в разное время?

— Откуда я знаю... — пожал я плечами. — Должно быть кто-нибудь из нас основной, а кто-то дублер. Знаешь, ведь и у космонавтов всегда дублеры, и правильно, в таких делах...

— Могло быть, — вздохнул Павлуша. — Выходит, ты основной, а я дублер.

— Почему это?

— Ну, ты же на час раньше назначен.

— Ну и что! Это ничего не значит! Может, как раз ты-то и основной! Я почему-то думаю, что основной ты! — убеждал я его, хотя в душе думал, что основной все-таки я, потому что и вправду, зачем это дублеру назначать на час раньше, чем основному? Так и есть, я основной! Но показывать, что я так думаю, было бы нехорошо, нескромно. А Павлуша ведь, помните, сказал, что я люблю скромничать...

— А теперь, после моей болезни, ты уж наверняка будешь основным! — сказал я просто для того, чтобы его успокоить.

И вдруг я понял всерьез, что сказал. И прямо похолодел. Ведь правда! Какой же я основной после такой болезни? Это меня нужно успокаивать, а не его. Немедленно нужно выздороветь! Немедленно, а то и в дублеры не возьмут!

Я беспокойно заворочался на кровати. Нет! Нет! Я все же чувствую себя лучше. Намного лучше. Вот и сила в руках появилась. Могу уже подтянуться, взявшись за спинку кровати. А позавчера ведь не мог совсем. Ничего, ничего! Все будет в порядке... Если ничто не помешает.

— А ты кому-нибудь говорил про это? — Я внимательно посмотрел на Павлушу.

— Конечно, нет.

— И ей не говорил? — Я не хотел называть ее имени, но Павлуша понял.

— Да ты что?! — Он покраснел.

И я почему-то подумал, что он, наверно, все-таки не знает, что это



я обрызгал Гребенючку грязью с ног до головы (она не сказала), и вдруг вспомнил таинственную фигуру в саду у Галины Сидоровны в тот вечер. Я же ничего еще не говорил Павлуше про того человека.

— Слушай,— и тут же начал рассказывать.

Когда я кончил, он только пожал плечами:

— Бог знает что творится... Сам черт ногу сломит. Ничего не разберешь...

## Глава XXVII

СОБЫТИЯ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ МОЛНИЕНОСНО.  
НЕУЖЕЛИ ОДИН ИЗ НЕИЗВЕСТНЫХ — ОНА?  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! «ОН ХОЧЕТ УКРАСТЬ ЕЕ!»  
МЫ СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ... АССА!

Интересная все-таки штука человек! То он едва дышит, тает, как свечка, голову поднять не может, а то вдруг (и откуда только силы берутся!) начинает крепнуть и набираться бодрости с каждым часом. И вы знаете, что я подумал? Я подумал, что, наверно, все-таки главное для выздоровления — это желание стать здоровым.

Когда ты всеми силами стремишься к одной цели — победить болезнь,— ты обязательно и очень быстро поправишься. Я в этом убедился на себе. После нашего откровенного разговора с Павлушей я сразу начал выздоравливать быстрыми темпами.

Ел я теперь, как молотильщик. По две порции.

Любовь Антоновна как-то сказала:

«Больным нужно есть главным образом то, что им хочется. Организм мудрый, он сам подсказывает, что ему требуется».

Слава богу, мне хотелось есть все, что давали.

Но один раз я хитро взглянул на деда и сказал:

— Деда, мой мудрый организм подсказывает, что ему нужно... мороженого.

Дед кашлянул и ответил:

— Кум Андрей, не бери пример со свиней. Только лихоманка отпустила, и снова хочешь? Скажи своему организму, что он не мудрый,

а дурной, если такое тебе подсказывает. Совсем поправишься, тогда будешь есть.

Это еще больше усилило мое желание поскорее выздороветь. Вы же знаете, как я люблю мороженое.

На третий день после нашего с Павлушей разговора Любовь Антоновна послушала меня своим щекотным холодным ухом, ощупала мою ногу и сказала:

— Можешь понемножку выходить во двор, но очень не бегай, а то снова простудишься.

Как же это приятно вместо потолка над головой видеть бездонное голубое небо и дышать свежим ветром, который щекочет тебе кожу нежным прикосновением, и слышать, как приветливо шепчут листья на деревьях, и чувствовать под ногами твердую землю, и брести по улице без всякой цели, и улыбаться без причины, просто потому, что светит солнце, что мурлычет на завалинке кот, что хрюкает в луже свинья — что жизнь прекрасна!..

И хоть шел я, повторяю, без всякой цели, просто так, чтоб немного пройтись (так как далекие прогулки были мне еще строго-настрога запрещены), ноги сами повели меня в сторону улицы Гагарина. А мне на эту улицу докторша даже носа показывать не разрешила.

— Я знаю, все сейчас там дружно работают и тебя потянет, — сказала она. — Так вот, если я тебя там увижу, то прямо при всех возьму за ухо и поведу домой.

Я хорошо знал, что Любовь Антоновна женщина серьезная и слов на ветер не бросает. Но... я ничего не мог поделать со своими ногами. Правда, я шел не прямой дорогой, а сделал порядочный крюк. Потому что сначала должен ведь был я взглянуть на эту самую мачту возле школы, как вы думаете? А что, как там... Хотя мы с Павлушей, конечно, договорились, что он внимательно будет следить за мачтой, несколько раз в день смотреть на нее и мне докладывать. Но что, если он заработался и...

На мачте сидела сорока и легкомысленно трясла длинным хвостом. Увидев меня, она снялась и полетела. Никакого флага не было.

Теперь я мог спокойно идти на улицу Гагарина.

Еще издали я услышал веселую музыку стройки: звонко тюкали топоры, перестукивали гулко молотки, голосисто выводила свою песню

электропила, которую притащили из колхозной столярки и поставили под наскоро сбитым навесом возле электрического столба. Улица смолисто пахла свежими стружками. Все вокруг звучало и двигалось — взад-вперед сновали люди, неся доски, бревна, разный инструмент. В большинстве своем это были молодые, крепкие парни, стриженные наголо, до пояса обнаженные. И только по зеленым галифе и сапогам можно было узнать, что это солдаты. На подручных работах у них трудились наши ребята. Вон и Вася Деркач, и Степа Карафолька, и Вовка Маруня... Да и Павлуша где-то здесь, наверно.

Ремонтировали хаты, чинили сарай, ставили новые плетни и заборы.

И работалось им, видно, с радостью, весело — кто-то пел, кто-то насвистывал, кто-то шуточки отпускал, которые сразу вызывали дружный смех...

Я стал на углу за колодцем под навесом и только с завистью поглядывал на эту веселую, шумливую суету. Поглядывал и прятался за колодцем. Не хотелось, чтоб меня тут увидели: если я не могу вместе с ними, то зачем...

И вдруг услышал радостный звонкий возглас:

— Ой! Ты уж выздоровел? Поздравляю!

Позади меня стояла с ведром в руках... Гребенючка и приветливо улыбалась.

Я покраснел и нахмурился. Вот еще! Нужно же было, чтоб как раз она меня и увидела!

— Спасибо! — буркнул я и, не оглядываясь, пошел прочь.

Вечером я начал наступление на родителей.

— Во-от! — тянул я, скривившись, как среда на пятницу. — Сколько еще мучиться! Я уже совсем здоров, а мне ничего не позволяют! Так я зачахну и совсем пропаду. Я не могу больше. Ну дедуся, ну вы же у нас мудрый, ну объясните им, что я уже совсем-совсем здоров.

Родители меня долго убеждали, что я глупый, что сам не понимаю, как сильно болел, что лучше лишний день выдержать, чем потом лежать, и снова называли меня глупым, а я говорил, что они умные и поэтому должны меня понять...

Наконец маме надоело, и она сказала:

— Ну ладно! Договоримся так. Завтра последний день ты еще побудешь на карантине, а послезавтра, если все будет хорошо, можешь

немножко пойти поработать, только немножко, часика полтора, не больше... И делай что-нибудь легкое, иначе ты же знаешь...

Последний день, если чего-нибудь ждешь, всегда самый длинный, самый нудный, самый тяжелый. Это все равно как последние минуты на вокзале перед отходом поезда. Уже попрощались, поцеловались, уже радио объявило: «Провожжающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих, и освободите вагоны». Уже в который раз сказано: «Так ты смотри, осторожно! И сразу напиши, хорошо?» — а поезд стоит...

Я слонялся по двору, по безлюдным улицам и томился, томился, томился... Улицу Гагарина я обходил за версту. Только издали я слышал веселый шум строительства. Зато к школе я подходил раз десять. Меня как будто на веревке туда тянули, к той почерневшей от дождей, разошедшей и чуть скособоченной ветрами мачте, которая торчала посреди школьного двора. Во время пионерских линеек на ней гордо и торжественно развевался флаг, а в другое время она теряла свое высокое предназначение, и мальчишки старались закинуть на ее верхушку чью-нибудь шапку. Это удавалось очень редко, но когда удавалось, то делало счастливчика в тот день знаменитым на всю школу, а мальчишкам доставляло много радости, потому что тогда устраивали необычное состязание — кто собьет шапку комком земли. Кидали по очереди, каждый три комка. Порядок при этом был «железный», и кто старался его нарушить (или кинуть больше трех раз, или без очереди), тот получал подзатыльник! Один раз мне здорово повезло: я не только закинул шапку на мачту, но и сбил ее, и шапка была не чья-нибудь, а Карафолькина. Он ею страшно гордился — белая в крапинку кепочка с шишечкой на макушке. Этот день я всегда вспоминаю как один из самых счастливых в моей жизни. Вот и теперь, глядя на мачту, я вспомнил свой прошлый триумф, и сразу стало как-то легко на сердце. И захотелось вдруг закинуть что-нибудь на мачту. Шаря вокруг глазами, я прошелся по двору, потом — за школу, туда, где был сад, на пришкольном участке.

Но, свернув за угол, я сразу забыл, за чем шел.

Внимание мое привлекли рисунки, выставленные в окне пионерской комнаты. Это была постоянная действующая выставка работ членов изокружка. Анатолий Дмитриевич выставлял лучшие рисунки своих учеников в окне пионерской комнаты, и эта выставка все время обновлялась.

Теперь все рисунки и скульптуры были новые и все посвящены тому, как спасали село от наводнения. Затопленные хаты, амфибии, нагруженные всяким скарбом, солдаты, снимающие людей с крыш, и т. д.

А один рисунок... У меня перехватило дыхание, когда я взглянул на него. На этом рисунке я увидел... себя!

Темная, почти под потолок затопленная хата, в углу икона, перед которой горит лампадка, а посреди хаты, ухватившись за провод, в воде — я...

Ну конечно, это был рисунок Павлуши. И так здорово, так точно было нарисовано, будто он сам пережил это. Вот что значит художник! Молодец! Просто молодец! Он наверняка станет художником. Есть у него способности, есть. У меня насчет этого — никаких сомнений.

И впервые я подумал об этом без зависти, а с искренней радостью.

И впервые я почувствовал, какое это прекрасное чувство — гордость за друга.

Я долго разглядывал рисунки. Там было много хороших, но с Павлушиным не мог сравниться ни один.

И молчал ведь, сатана, ни слова мне не сказал.

Вот я сейчас пойду и прямо скажу ему, что он талант, и... дам в ухо. Чтоб не задавался. Для талантов главное — не задаваться. И потому обязательно им нужно время от времени давать в ухо.

Я решительно направился на школьный двор. И вдруг стал как вкопанный. Возле мачты стояла... Гребенючка. Стояла и прицепляла к шнуру, на котором поднимают флаг, белый платочек.

Это было так непонятно, так фантастично, что я просто оторопел.

Тыфу ты! Так, значит, один из трех неизвестных — Гребенючка!

Вот тебе и нá! Да почему же из трех?

Может, она одна все это и придумала! «Г.П.Г.» — Ганна Петровна Гребенюк. Но она ведь не Петровна, она Ивановна. Ведь ее отец Иван Игнатович. И почерк же совсем не ее, взрослый почерк. И по телефону говорил басистый дяденька. Она никогда в жизни так голос не подделает. И письмо ведь мне передал офицер на мотоцикле. И мне и Павлуше.

Павлуше?

А может...

Может, Павлуше вообще никто никакого письма не передавал и ничего с ним такого не было, а просто он с ней заодно.

Молчал ведь, не признавался, пока уж я первый не начал.

И «Г» — это Ганя. «П» — Павлуша, а второе «Г» — может быть, Гришка Бардадым или еще кто-нибудь.

А я-то, дурак...

Нет! Вряд ли!

Павлуша не может быть таким предателем! Тогда вообще нет правды на земле!

Нет! Пожалуй, одно только мог Павлуша: не удержаться и рассказать ей про письмо (мы с ним тогда в ссоре были). А может, она сама то, второе письмо прочитала. Она же староста кружка, собирает альбомы, а ведь то письмо было в альбоме. Точно!

Прочитала и решила подшутить. А может быть, даже захотела что-нибудь подстроить, чтобы поссорить нас. Видит, что мы помирились, и это ей покоя не дает. У-у, курноска паршивая!

Мне ужасно хотелось вскочить сейчас к ней и двинуть ей как следует. Но я сдержался. Это бы значило признать себя побежденным. Нет! Нужно что-то придумать такое, чтоб ей... Она ведь не знает, что я вижу, как она прицепляет платок. И этим можно здорово воспользоваться.

Спокойно, Ява, спокойно, дорогой! Дыши глубже и возьми себя в руки!

Гребенючка потянула за шнур, и белый платок пополз вверх, на верхушку мачты. Когда платок был уже наверху, Гребенючка воровато оглянулась вокруг и шмыгнула на улицу. Меня она, конечно, не заметила, потому что я стоял за углом школы да еще и в кустах.

Я еще несколько минут простоял вот так, не двигаясь. В голове роились беспорядочные мысли. Я никак не мог придумать, что бы такое устроить Гребенючке, как бы ее проучить.

Ишь решила шутки надо мной шутить! Ну погоди! Ты у меня заплашешь!

Первое, что нужно сделать, — немедленно снять этот белый платок. Павлуша не должен его видеть. Если он не в сговоре с Гребенючкой, то подумает, что это правдивый знак. А если в сговоре, то должен будет как-нибудь выдать себя: начнет беспокоиться, почему на мачте нет платка, и я таким образом дознаюсь.

Полминуты — и платок у меня в кармане.

Солнце повернуло уже к полудню, скоро Павлуша прибежит домой. Я пошел ждать его у хаты.

Его почему-то долго не было. Уже отец и мать Павлуши пообедали и снова пошли на работу, уже все соседи с улицы поели и разошлись, а его все нет и нет. Я уж волноваться начал — не случилось ли что-нибудь с ним. И наконец вижу — бежит. Запыхавшийся, взъерошенный какой-то, а глаза — как у зайца, что из-под куста выскочил, так и светятся.

Кинулся ко мне и слова выговорить не может, только хекает:

— Слу-шай!.. Слу-шай!.. Слу-шай!..

— Что такое? — спрашиваю. — Горит что-нибудь или снова наводнение?

— Нет... Нет... Но... Слушай, он хочет ее украсть!

— Кто? Кого?

— Галину Сидоровну!

— Кто?!

— Лейтенант.

— Тыфу ты! Что она, военный объект, что ли? Какой лейтенант?

— Да грузин тот с усиками, с которым ты на амфибии ездил.

— Он что, сдурел?

— Не сдурел, а влюбился! И ты же знаешь, какие у них обычаи? «Кавказскую пленницу» помнишь? Понравится такому янычару дивчина, он ее хватает, связывает, на коня — и в горы!.. Понял?

— Да откуда ты взял? Расскажи толком!

— Слышал! Собственными ушами слышал! Понимаешь, начался обед, все разошлись. И я уже собирался... Как вижу, этот самый грузин возле нашей Галины Сидоровны ошивается и что-то ей нашептывает, а она отмахивается сердито и хочет уйти, а он ей дорогу преграждает. Это во дворе у Мазуренков, за хатой, там, где наполовину засохшая груша, знаешь. Ну, я спрятался на огороде в кукурузе, смотрю, что же будет. А она ему: «Ну отойди, ну отойди, я тебя прошу!» А он: «Не могу больше! Я тебя украду, понимаешь, да! Украду!» Она что-то ему сказала, я не расслышал, а он: «Сегодня в одиннадцать, после отбоя». А она как вырвется, как побежит. Он рукой только так — мах! — раздраженно и не по-нашему что-то залопотал, заругался, наверно, а глаза прямо как у волка — зеленым огнем пылают... Вот!

— Ты смотри...— пожал я плечами.— А ведь вроде такой хороший. Мальца Пашковского спас. И вообще...

— Прямо отчаянный. И видишь — дикий человек. От такого всего можно ожидать. Еще зарежет. У них у всех кинжалы, ты же знаешь.

Меня сразу охватила горячая волна решимости. После стольких дней вынужденного бездействия и скуки душа моя требовала острых ощущений и действий.

— Нужно спасать! — твердо сказал я.

— Самим? — недоверчиво посмотрел на меня Павлуша.— А осилим?

— Да чего там! Возьмем хорошенькие дубинки, а если что, поднимем такой тарарам — все село сбежится. Никуда он не денется!

— Но тебя же из дому не выпустят так поздно. Ты ведь еще больным считаешься.

— Да какой там больной? Сегодня последний день. Я, знаешь, к тебе в гости приду, а потом ты меня пойдешь проводить, и мы — фюйть!

Мне даже самому весело стало, как я здорово придумал.

Мы договорились так: Павлуша придет вечером со строительства, зайдет ко мне и пригласит в гости, а я заранее приготовлю хорошие увесистые дубинки и спрячу их в саду под забором.

Поэтому Павлуша побежал быстренько пообедать — боялся, чтобы товарищи не подумали, что он отлынивает. А я сейчас же пошел в орешник срезать дубинки.

Про Гребенючку я Павлуше так ничего и не сказал. Не хотелось портить ему настроение. Кроме того, у меня мелькнула мысль: «А ну как Гребенючка заодно с тем грузином...» Не то чтоб заодно, а просто он, возможно, ее запугал и заставил помочь. И всю эту историю с письмами придумал для того, чтобы меня и Павлушу выпроводить из села на то время, пока он будет выкрадывать Галину Сидоровну. Чтоб мы ему не мешали. И тут я подумал, что это наверняка он был тогда вечером в ее саду. И он знает, конечно, что мы с Павлушей в обиду ее не дадим... Так вот, как раз сегодня, когда он собирается выкрасть Галину Сидоровну, Гребенючка и вывесила на мачте этот условный белый флажок.

Дубинки я долго выбирал в орешнике, но все же срезал две хорошие. Обе с такими балабухами на конце, что прямо настоящие палицы.



Я был полон решимости биться до последнего. Я рвался в бой. А что? Если бы вашу любимую учительницу собирался кто-нибудь украсть, вы бы сидели сложа руки? Ну как же! Усидишь тут! Хотя она и двойки нам ставила, и из класса выгоняла... Но ведь она и ВХАТ вместе с нами создавала (Васюковский Художественный Академический театр), и в Киев на экскурсию нас возила, и пела вместе с нами, и вообще...

Вот если бы завнеда Савву Кононовича кто-нибудь украл, я бы, наверное, и пальцем не шевельнул. Или учительницу математики Ирину Самсоновну. Пожалуйста, крадите на здоровье! Еще спасибо сказал бы. Еще вязать бы помог. А Галину Сидоровну — нет! Не позволю! Головы за нее не пожалею! За обедом я съел здоровенный кусок мяса — с полкило, не меньше. А на картошку даже не взглянул. Дед только крикнул, глядя на это. Но я на дедово криканье не обратил внимания. Что мне его криканье, если мне силы теперь нужны. А на картошке их не наберешь, для силы мясо нужно. Это все знают.

Вечером никаких осложнений не было. Павлуша пригласил меня к себе, я пошел к нему, мы до пол-одиннадцатого играли с ним в шашки, а потом он вышел меня проводить. Мы забрали дубинки и направились к Галине Сидоровне. Зашли, конечно, не с улицы, а с той самой тропинки за огородами, по которой я тогда на велосипеде ехал.

Пробрались в сад и затаились в кустах, там, где старший лейтенант Пайчадзе от меня прятался. И как я тогда не сообразил, что это был он! На тропке ведь даже след от мотоцикла остался...

Кусты смородины, где мы сидели, были на небольшом бугре, и оттуда хорошо было видно и сад, и двор, и хату учительницы.

Мы заметили, как Галина Сидоровна два раза выходила во двор, один раз воду из миски выплеснуть, другой раз — в погреб. И что-то не видно было, чтобы она волновалась.

— Слушай, — прошептал я Павлуше, — может, ты напутал? Может быть, он сегодня красть не будет?

И только я это прошептал, как с тропинки послышалось тарахтенье мотоцикла. Мы прижались друг к другу и замерли.

Мотоцикл фыркнул и замолк, не досезая до сада.

«Конспирация! — подумал я. — А что, и я бы так сделал».

Через некоторое время на тропинке появилась фигура старшего

лейтенанта. Он двигался бесшумно, ступая мягко, как кошка. Прошел мимо нас, стал возле крайней яблони и вдруг зашелкал по-соловьиному. Да так здорово, что, если бы сейчас был не август, можно было бы подумать, что это настоящий соловейко.

Скрипнули двери. Из хаты вышла Галина Сидоровна. Вот ду... Вот глупая! Чего она вылезла?! Из хаты же труднее выкрасть, а так...

Он начал ей что-то тихо, но с жаром доказывать, потом вдруг схватил за руку.

— Пусти! — рванулась она.

Ну, все! Надо спасать!

Я толкнул Павлушу, мы выскочили из кустов и кинулись к Пайчадзе. Разом, как по команде, взмахнули палками.

Куны! Куны!

Я с одной стороны, Павлуша — с другой, как какие-нибудь молотильщики на току цепами, по голове его, по спине! Он сразу охнул, сник, выпустил руку Галины Сидоровны и, словно дерево на лесозаготовках, рухнул.

— Тикайте! — закричал я изо всех сил.

Но...

Но тут случилось невероятное.

Вместо того чтобы спастись, она кинулась к лейтенанту, упала перед ним на колени и, обхватив руками, отчаянно закричала:

— Реваз! Любимый! Что с тобой? Ты жив?!

Я не видел в темноте, разинул ли Павлуша рот от удивления, но у меня нижняя челюсть так и отвалилась.

И тут старший лейтенант, все еще лежа на земле, вдруг прижал нашу Галину Сидоровну к груди и воскликнул счастливым голосом:

— Галя! Я живой! Я никогда не был такой живой, как сейчас! Ты сказала «любимый»! Я — любимый?! Вай! Как хорошо!

Она отшатнулась от него, а он разом подскочил с земли и, как вихрь, пустился танцевать лезгинку, отставляя в сторону руки и выкрикивая:

— Асса!.. Асса!.. Вай! Как хорошо! Асса!

Я не раз видел, как радуются люди, но чтоб так, не видел никогда, честное слово.

Потом он подлетел к нам, сгреб нас в объятия и начал целовать:

— Хлопцы! Дорогие! Как вы мне помогли! Спасибо! Спасибо вам!

Потом так же внезапно отпустил нас и стал серьезный.

— Хлопцы! — сказал он как-то хрипло, приглушенно. — Хлопцы! Я люблю вашу учительницу! Люблю, да, и хочу, чтоб она вышла за меня замуж. А она... Она говорит, что это... непедагогично! Понимаете, любовь — непедагогична, а?.. Значит, ваши мамы не должны были выходить за ваших пап, да, потому что это непедагогично, а? У-у! — Он шутя сделал угрожающее движение в сторону Галины Сидоровны, потом нежно положил ей руку на плечо. — Ну, теперь они уже всё знают, да. Скрывать уже нечего. И тут уж я не виноват. Завтра, да, пишу родственникам. Все!

Галина Сидоровна стояла, опустив голову, и молчала. Я подумал, каково ей, нашей учительнице, которая всю жизнь делала нам замечания, слушать все это при нас. Нужно было что-то сказать, чтобы спасти ее из этого положения, но в голове было пусто, как у нищего в кармане, и я не мог ничего придумать.

И тут Павлуша встал на цыпочки, вглядываясь в лицо Пайчадзе, и сказал:

— Простите нас, пожалуйста, но... у вас вон там кровь на лбу.

— Где? Где? — встрепелась Галина Сидоровна. — Ой, действительно! Нужно сейчас же перевязать!

Молодец Павлуша!

— Нате, нате вот! — кинулся я, выхватывая из кармана тот самый белый платочек, который снял с мачты.

Галина Сидоровна, не раздумывая, схватила его.

— Идем быстрее в хату. Тут ничего не видно. Нужно промыть, зеленкой смазать.

Мы с Павлушей нерешительно топтались на месте, не зная, идти ли нам тоже в хату, или остаться на дворе, или совсем убираться отсюда.

Но Пайчадзе подтолкнул нас в спину:

— Идем, идем, хлопцы! Идем!

В хате Галина Сидоровна засуетилась, разыскивая зеленку. Она бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню, хлопала дверцами шкафа и буфета, что-то у нее летело из рук, звякало, падало, разливалось, рассыпалось, и никак она не могла найти эту зеленку.

Старший лейтенант смотрел на нее растроганно-влюбленными, сияющими глазами.

А мы смотрели на него.

На коротко стриженной голове его, будто рожки у молодого чертика, выпирали две здоровенные шишки, а из-под волос на лбу стекала тоненькая струйка крови.

Мы смотрели на него виновато и с раскаянием.

Найдя наконец зеленку, Галина Сидоровна взялась перевязывать Пайчадзе.

И, глядя, как бережно, с какой нежностью промывала она ему ваткой шишки и какое при этом блаженство было написано на его лице, я подумал: «Ну до чего же эти учителя все-таки странные люди! Они думают, что мы дети, что мы ничего не замечаем. Ха! Вы спросите Павлушу про Гребенючку! А я, думаете, Вальку из Киева не вспоминаю? Ого-го! Мы очень даже все хорошо понимаем. Прекрасно!»

Жаль только лейтенанта...

А крепкая у него все-таки голова. Если бы мне вот так долбанули раза два по кумполу, то он, наверно, треснул бы как арбуз.

— Простите, пожалуйста... Пожалуйста... простите,— виновато пролепетали мы.

— Да что вы, хлопцы! — радостно улыбнулся Пайчадзе. — Это самые счастливые минуты, да, в моей жизни. И это сделали вы, да!

— Мы думали, что вы хотите украсть... — пробурчал я.

— И решили спасти... — пробурчал Павлуша.

— Спасать?! А? Спасать? Ха-ха-ха! — захохотал на всю хату лейтенант. — Слушай, Галя! Слышишь, какие у тебя геройские питомцы, да! Вай, молодцы! Вай! Ты права, им нельзя ссориться, да, ни за что нельзя ссориться! И вы никогда не будете ссориться, правда? Ваша дружба, да, будет всегда крепкой, как гранит того дота! Вы на всю жизнь запомните, да, тот дот! И вы, конечно, не сердитесь на нас за эту тайну, да? «Г.П.Г.» Герасименко. Пайчадзе. Гребенюк. Но все, что вы сегодня прочитали там, святая правда.

Павлуша вытаращился на меня:

— Г-где... что прочитали?

Я пожал плечами.

— Как! Разве вы сегодня не были у дота? — теперь уже удивленно проговорил старший лейтенант.

Он глянул на Галину Сидоровну. Та растерянно захлопала глазами.

— А... а этот платочек? — Галина Сидоровна подняла руку с платочком, который я ей дал. — Это ведь... это ведь... тот самый, я же вижу. Мой платочек, который я дала Гане. Ой, мальчики...

Павлуша вопросительно взглянул на меня. Я опустил голову:

— Это я... снял. Он даже не знает. Я случайно увидел, как она прицепляла. Я думал, что она как-нибудь узнала и хочет посмеяться. Поссорить нас снова.

— Да что ты! Что ты! — воскликнул старший лейтенант. — Скажешь еще — поссорить! Совсем наоборот! Это ведь она все придумала, чтоб помирить вас. Помирить, понимаешь! Она замечательная девчонка!

Павлуша покраснел и опустил глаза.

И я вдруг вспомнил, как обрызгал Гребенючку грязью, а она сказала, что это грузовик и что сама виновата...

И я тоже покраснел и опустил глаза.

Боже мой! Неужто я такой болван, что все время думал про нее бог знает что, а она, оказывается, совсем не такая?! Что ж тогда она должна про меня думать? Она же наверняка считает, что я самый настоящий болван.

И выходит, что это правда! И никто этого так не знает, как я сам!

## Глава XXVIII

**ПОСЛЕДНЯЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, В КОТОРОЙ ИСТОРИЯ НАША,  
КАК ЭТО БЫВАЕТ В СТАРЫХ КЛАССИЧЕСКИХ РОМАНАХ,  
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СВАДЬБОЙ**

На следующий день все село облетела весть о том, что наша учительница, наш классный руководитель Галина Сидоровна Герасименко выходит замуж за старшего лейтенанта Реваза Пайчадзе.

Это было так неожиданно, что все прямо рты разинули от удивления. Никто никогда ничего не замечал и не подозревал. Всем было известно, что наша Галина Сидоровна очень гордая, неприступная и независимая.

В нее влюблялись — да!

Но она — никогда!

Она ходила как царица, и никто не отваживался приблизиться к ней. В ответ на робкие ухаживания она только смеялась.

И вот оказывается, что уже больше года она любила этого старшего лейтенанта и не признавалась ни ему и никому на свете. Она запретила ему на людях даже подходить к ней. Она считала, что учительница не имеет права влюбляться, потому что это может уронить ее в глазах учеников, подорвать авторитет, отрицательно сказаться на воспитании у школьников высоких моральных качеств.

И кто знает, сколько бы еще мучила она лейтенанта и мучилась сама, если бы не мы с Павлушей...

А теперь уж деваться было некуда. То единственное слово, что невольно слетело с ее языка в нашем присутствии, отрезало ей пути к отступлению.

Наша Галина Сидоровна выходила замуж!

— Ну, дай бог ей счастья,— говорили бабы.

— Парень он, видать, хороший.

— Говорят, умный, добрый...

— И не пьет...

— А какой воспитанный!

— Да что там говорить — ну просто герой! Ребенка спас!

— Я своего Карпа хоть сегодня на такого бы променяла...

— Да такой-то тебя не возьмет, ведь ты косоглазая.

— Нашлась красавица! Сама рябая и кособокая! И в носу свистит!

— Да цыц вы! Раскудахтались!

— Надо было лет тридцать назад об этом спорить, теперь поздно. Внуков скоро будете женить.

— Вот я и говорю — дай ей бог счастья!

— Жаль только, хорошая была учительница. Кто еще с этими разбойниками так возиться будет, как она. Другая бы их и грамоте не научила. Так бы в ведомости и ставили крестики вместо подписи.

— Говорят, их полк зимой где-то под Киевом стоит.

— В казарме, значит, жить будут...

— Почему в казарме? Семейные офицеры в отдельных квартирах живут. Газ, ванна, холодильник — все, что нужно.

— А через год, говорят, он в академию поступать будет. На генерала учиться.

— Дай им бог счастья!

А нам как-то сначала и в голову не пришло, что ведь она уже

не будет больше нашей учительницей. Мы были взволнованы и взбудоражены, мы собрались всем классом, чтобы обсудить это чрезвычайное происшествие. Еще бы! Не каждый день твоя учительница выходит замуж! Да еще какая! Классная руководительница, которая ведет тебя с самого первого класса, знает как облупленного и к которой, несмотря на ее «выйди из класса» и двойки, ты привык, может быть, больше, чем к родной тетке, потому что родную тетку видишь обычно только по праздникам, а ее каждый день.

Но из обсуждения ничего не вышло. Мы только мдакали, чертили и ковыряли каблуками землю. Кто-то (кажется, Антончик Мациевский) попробовал шутить, хихикнул, но на него сразу зашикали, он сник и рта больше не разевал.

Наконец среди общей тишины Гребенючка дрогнувшим голосом проговорила:

— Не будет у нас уже такой классной руководительницы... Никогда... Кого б ни назначили...

И тут только мы поняли, что наша Галина Сидоровна больше не наша, что мы расстаемся с ней навеки.

И мы понурили голову, и наступила мертвая гнетущая тишина. И я вдруг почувствовал, прямо физически почувствовал, как щемит не только мое собственное сердце, а сердца всех нас — и Павлуши, и Гребенючки, и Степы Карафольки, и Коли Кагарлицкого, и Васи Деркача, и Антончика Мациевского... Будто сердца наши были соединены между собой тоненькими невидимыми проволочками и по этим проволочкам сразу пустили ток — щемящий ток печали.

— Знаете,— тихо сказал Павлуша,— нужно с ней попрощаться. И так, чтобы она запомнила это на всю жизнь.

— Правильно,— сказал я.

— Правильно,— поддержала Гребенючка.

— Правильно,— добавил Карафолька.

И все по очереди сказали «Правильно», будто других слов и не было на свете.

— Как-нибудь торжественно надо, знаете,— продолжал Павлуша.— Собраться в нашем классе, принести цветов, подготовить выступления...

— Правильно,— снова сказал я,— и...

Я хотел сказать что-то в дополнение к Павлушиным словам, но

никакой мысли, как назло, в голове в этот момент не оказалось. Но я уже сказал «и» и должен был продолжать.

И я сказал:

— и... правильно!

Это было смешно, но никто даже не улыбнулся. Такое у всех было настроение.

Для подготовки торжественного прощания с Галиной Сидоровной ршили создать специальную комиссию. Начали выбирать и выбрали Степу Карафольку, Колю Кагарлицкого и Гребенючку. Ни Павлушу, который подал саму идею прощания, ни меня в комиссию не выбрали. Они, должно быть, считали, что для такого серьезного дела мы не подходим. Не станешь же спорить и выдвигать свою кандидатуру.

Прощаться решили накануне свадьбы.

Времени для подготовки оставалось почти две недели.

Ну что ж, пусть готовятся...

А мы с Павлушей сели на велосипеды и махнули в Волчий лес.

Хоть это было уже и не так интересно, но мы должны были все-таки прочесть, что там написали эти «трое неизвестных», эти «Г.П.Г.».

В лесу возле дота было тихо и торжественно. И как-то не хотелось нарушать эту тишину. Невольно мы старались ступать бесшумно.

Павлуша засунул руку в расщелину над амбразурой и вытащил сверток: в прозрачном полиэтиленовом мешочке была завернута какая-то бумага. Павлуша развернул, и я сразу узнал почерк — четкий, с наклоном в левую сторону, каждая буква отдельно (почерк старшего лейтенанта Пайчадзе).

Мы сели на холодную замшелую каменную глыбу, я обнял Павлушу за плечи, прислонился головой к его голове, и мы начали про себя читать.

*Дорогие друзья! Ява и Павлуша!*

*Это очень-очень хорошо, что вы помирились. Наша тайна теперь не нужна. Потому что все это было придумано для того, чтобы вас помирить. И мы надеемся, что вы не обидитесь на нас за это.*

*Мы хотим от всего сердца пожелать вам, чтобы свою дружбу вы пронесли через всю жизнь. Святое это дело — дружба. Самое святое и самое чистое на свете. И чище всего оно в детстве. Берегите же его и цените! Ведь самые верные, самые большие, самые прекрасные друзья — это друзья детства. И тот, кто на всю жизнь сбережет друга детства, тот счастлив! А кто не сбережет, плохо тому придется. Потому что детство*



*не повторяется... И проживет этот человек свою жизнь без дружбы. И будет она совсем безрадостной, хоть, может быть, и долгой. И не почувствует он себя по-настоящему человеком. Потому что больше всего ты Человек, когда что-нибудь делаешь для друга!*

*Не забывайте этого, ребята!*

*И пусть наша дружба будет такой же крепкой, как эти каменные слэбы, которые стали памятником настоящей солдатской дружбе, дружбе до последней капли крови...*

Г П Г

Мы уже давно прочитали письмо, но все еще сидели, не двигаясь, и молчали.

И так же, как тогда, на чердаке у бабки Мокрины, когда Павлуша вытащил меня из воды, я вдруг почувствовал неистовую, горячую радость от того, что он рядом, что он мой друг, что мы помирились.

Неужели я мог быть с ним в ссоре! И не разговаривать! И проходить мимо, будто незнакомый!

Чушь какая-то!

Но... неужели Гребенючка писала это письмо?

В голове не укладывалось! Хоть убей!

Извините, но я еще не мог привыкнуть, к мысли, что Гребенючка — и вдруг такая хорошая.

Это только в книжках так бывает, что герой только р-раз — и вмиг переворачивается на сто восемьдесят градусов: из плохого делается хорошим, из хорошего — плохим, кого ненавидел, сразу начинает любить и наоборот.

Я так сразу не могу.

Я буду постепенно.

Мне нужно привыкнуть.

Конечно, письмо писала не Гребенючка, а Галина Сидоровна. Хотя писал-то на бумаге его Пайчадзе, но придумывала, диктовала Галина Сидоровна. Он бы так не написал, хотя бы потому, что языка украинского не знает.

Конечно же, Галина Сидоровна и тот разговор со мной по телефону ему написала, и он только читал по бумажке (потому что так солиднее да и легче акцент сбить).

Вообще они думали, что все будет очень легко и просто, что они

малость поводят нас за нос с этими загадочными инструкциями, заставят делать тайно друг от друга одну и ту же работу (из-за этого в разное время и назначали!), а потом столкнут носами и заставят помириться.

Намечалось, что мы будем по очереди раскапывать и расчищать дот, чтобы в конце концов создать там музей боевой славы. Пайчадзе заранее даже маленькую саперную лопатку тут припрятал.

Но вышло все не так, как думали и намечали.

Неожиданно, после того как Пайчадзе уже вручил мне и Павлуше письма, были объявлены по тревоге военные учения. В армии, оказывается, всегда так: никто ничего не знает, ни солдаты, ни офицеры, и вдруг тревога — боевая готовность номер один! И все! А что ж, это верно — армия ежеминутно должна быть готова к бою.

Хорошо, что Пайчадзе со своим подразделением остался в лагере — «в охранении».

А то ведь Галина Сидоровна сказала ему: «Делай теперь что хочешь, но чтобы ребята мои зря не волновались и не переживали!»

Это ведь он вечером после встречи с нами возле дота ездил отчитываться к ней, а я его в саду выследил и наделал шуму (правда, он переждал в кустах и потом все же встретился с ней).

И утром пришлось ему звонить по телефону.

А Павлуше письмо в альбом для рисования это уж, конечно, Гребенючка подложила.

В общем, всю эту кашу заварила Гребенючка.

Она, видишь ли, не могла смотреть, как мучается и страдает Павлуша. (Он, значит, страдал, мучился, а я-то, дурак, думал!..)

И решила нас помирить. Но сама этого сделать она не могла, потому что знала, как я ее «люблю». Тут все бы вышло наоборот.

Тогда она пришла посоветоваться к Галине Сидоровне.

А Галина Сидоровна подключила к этому делу своего Пайчадзе, и уже втроем они разработали план операции.

Гребенючка прямо сказала:

— Нужно что-то интересное придумать. А то ведь они такие ребята... Просто так на удочку не пойдут. Больно вредные. Нужно какую-нибудь загадочную тайну. Вот это они любят!

Ну и что ж? Подумаешь! А кто это из ребят не любит, чтобы было интересно, не любит тайн и загадок!

А вот с раскапыванием дота вряд ли бы что получилось. Мы бы сразу догадались, что это подстроено, и их затея провалилась бы.

— Ну ты скажи, Павлуша, а?!

— Ага!

— Ух! А если бы мы придумывали, мы бы такое выдали, будь здоров!

Вот не знаю, что эта самая комиссия сейчас думает, в которую нас не выбрали. Конечно, они все отличники, серьезные, примерные, но ведь фантазии-то у них — кот наплакал, всем известно!

А тут ведь нужно что-нибудь такое... грандиозное, небывалое, космическое!

— Ой! Слушай, Павлуша! — вдруг воскликнул я. — А давай...

И, захлебываясь, я начал выкладывать ему свою идею.

— Молодец, Ява! — вскрикнул он. — Молодец! Гений! Я всегда говорил, что ты гений!

— Только чтобы никто не знал, — сказал я. — Пусть они себе готовят официально, а мы...

— Это будет наша тайна, — подхватил Павлуша. — Тайна двух неизвестных!

— Точно!

Мы начали готовиться в тот же день. Потому что то, что мы придумали, требовало очень большой, кропотливой работы и времени.

Хорошо, что со строительством на улице Гагарина было все закончено, а то мы просто не успели бы. Эта улица стала еще красивее, чем до стихийного бедствия, прямо как игрушечка.

Теперь все село готовилось к свадьбе. Такой свадьбы у нас еще не знали. Всеми любимая учительница выходила замуж за героя-офицера, который вместе со своими солдатами спасал село от наводнения.

Правление колхоза единогласно проголосовало за то, чтобы устроить свадьбу на всю Васюковку, пригласив спасителей-военных.

В колхозном саду плотники сбивали стол, длиннющий, почти на километр! За этим столом должно было разместиться все село до одного человека и гости...

Стол должны были радиофицировать: через десять метров поставить переносные микрофоны, а на деревьях повесить громкоговорители, чтоб того, кто будет выступать с тостом, слышали все.

Вот будет здорово!

А мы с Павлушей готовились отдельно...

За три дня до свадьбы из Грузии прилетели родственники и друзья нареченного. Их было человек сто, не меньше. Они закупили целый самолет до Киева — «Ту-104», а из Киева заказали три автобуса и одно грузовое такси. На этом такси приехало десять бочек грузинского вина и уж не знаю сколько ящиков с мандаринами, апельсинами, гранатами, чурчхелою и другими кавказскими лакомствами.

Это было здорово!

А мы с Павлушей готовились отдельно...

Вся наша самодеятельность под руководством заведующего клубом Андрея Кекалы ночами...до самого утра разучивала и репетировала новую программу для свадебного концерта.

Гвоздем ее был вновь созданный «хор старейшин» (то есть стариков и старушек). Кекало где-то вычитал, что в Грузии есть такой хор, и немедленно решил создать у себя. Как ни странно, наши дедушки и бабушки охотно откликнулись на эту идею. И вышел мощный хор. Уж кого-кого, а дедушек и бабушек у нас хватает. Соседнее село ведь так и называется — Дедовщина... У нас долго живут люди. Вон бабушка Триндичка сто десять отмахала. А восемьдесят, девяносто — это у нас запросто. Профессор из Киевского института долголетия приезжал, так он говорил, что это из-за того, что у нас вода хорошая — раз, свежий воздух — два, любят трудиться — три и почти нет плохих людей — четыре...

А я думаю, что главная причина в том, что у нас народ веселый, все любят шутить и смеяться.

А смех — дело здоровое!

И говорили, что хор дедов разучивает все песни веселые, шуточные.

Это было здорово!

А мы с Павлушей готовились отдельно...

И вот подошел канун свадьбы. Утром на школьном дворе комиссия созвала весь класс и доложила о результатах своей работы.

Решили, значит, так.

Сначала празднично убираем класс. Чтоб был как во время экзаменов: стол, накрытый красной скатертью, от дверей — ковровая дорожка, на столе и на окнах — цветы.

Потом идем домой, одеваемся во все самое нарядное, праздничное. Каждый берет букет цветов. Приходим в школу. Садимся за свои парты. Ровно в два часа (как на урок — мы во вторую смену последний год учились) придет Галина Сидоровна. Ее уже предупредили вчера. Первой выступит Гребенючка (председатель комиссии). Скажет слово от девчат класса. У нее написано две странички. Она прочитала — всем понравилось, даже мне: здорово, хоть и слишком жалостно. Потом выступит Коля Кагарлицкий — скажет слово от ребят класса. У него было написано целых три с половиной страницы и тоже здорово — с именами, фактами, меня с Павлушей вспоминает, наши выходки, простите, мол, за все...

Третьим выступит Карафолька и прочтет... стихотворение. Собственного изготовления. Это было для всех нас страшной неожиданностью. У нас и мысли никогда не было, что Карафолька может слагать стихи. И вдруг...

Творил свой стишок Карафолька ровно столько же времени, сколько и господь бог землю — шесть дней.

Только, по-моему, результаты были значительно хуже.

Хотя девчонкам стишок этот понравился, особенно последние строчки:

Мы вас по-настоящему любим,  
И во веки веков не забудем.

Мы же с Павлушей, как специалисты, считали, что стишок Карафольки, или, как он его сам, краснея, называл — «мадригал», требует еще серьезной авторской доработки. Во-первых, такие, например, строки, как:

Вы научили любить нас префиксы,  
Корни слов, окончания и суффиксы,—

кроме того, что это не очень здорово звучало, были еще и брехнею, потому что человек, который в своем уме, не может, по-моему, любить префиксы и суффиксы.

Во-вторых (и это главное!), «мадригал» был безличный — в нем даже ни одного раза Галина Сидоровна не называлась по имени.

Карафолька начал бить себя в грудь и говорить, что старался... Но ведь сколько всяких заковок! Ну, например, никак не вставала Галина

Сидоровна в строку, хоть ты тресни! Если бы она была, скажем, Ганна Ивановна (как Гребенючка), так все бы очень просто: «Наша милая Ганна Иванна!», «Мы вас любим, Ганна Иванна!», «Не забудем мы Ганну Иванну...» Но называть ее Ганной Ивановной, когда она Галина Сидоровна, было бы просто нетактично. А «Дорогая наша Галина Сидоровна» в стихах ну никак не читается. Это бы уж были не стихи, а проза. Потому и пришлось ограничиться безличным: «Дорогая и любимая наша!...»

Так оправдывался Карафолька. А мы с Павлушей доказывали, что настоящий поэт тем и отличается, что умеет найти выход из самого безвыходного положения.

В конце концов Карафолька покраснел и опустил голову.

Но тут все на нас зашикали, и нам пришлось согласиться, что это стихотворение, конечно, можно прочесть, ведь это же не для печати, а так просто. Вот если бы для печати, тогда другое дело...

Дальше решили, что в конце торжественного прощания Антончик Мациевский сфотографирует Галину Сидоровну со всем классом. И мы подарим ей эту фотографию с волнующей надписью и все-все, как один, на обороте распишемся.

Вот что придумала наша комиссия.

Ну что ж, для официального прощания вполне прилично. Все с этим согласились. И разошлись. А в половине второго встретились снова...

По-праздничному нарядно одетые, чистенькие, с огромными букетами цветов, мы в торжественном молчании прошли по ковру-дорожке за свои парты, сели и стали ждать.

Наш друг, восьмиклассник Вовка Маруня, заведовал «службой безопасности», и мы были спокойны, что любопытная ребятня не испортит нам дело. А то ведь это такой народ, что облепит все окна, начнет хихикать, гоготать и все сорвет. Вовка расставил посты и блокировал все входы и выходы.

Минут десять мы сидели и молчали.

И это наше молчание было каким-то торжественным началом всего того, что должно было произойти. Мы настраивались на прощальный лад. Мы вспоминали все, что переживали вместе с Галиной Сидоровной за эти семь долгих лет. Она стала нашей первой учительницей, когда мы пришли в первый класс. Тогда она только что закончила одиннадцать

классов (были еще школы-одиннадцатилетки) и первый год начала учительствовать. Она учила нас и училась сама — заочно в пединституте. Мы окончили пять классов, а она — пединститут.

Мы сдавали первые в своей жизни школьные экзамены, а она — государственные. И из учительницы младших классов скоро стала преподавателем украинского языка и литературы. И продолжала нас учить. И довела до восьмого. Мы думали, что и в восьмом классе она будет, и в девятом, и в десятом. И вот... Это просто не укладывалось в голове! Неужели она больше не будет нашей учительницей? Никогда не войдет больше в класс своей легкой, стремительной походкой, не бросит журнал на стол, не спросит, как всегда, звонким голосом: «Ну, кто из вас не приготовил на сегодня задание? Признавайтесь!» После этого вопроса я частенько ложился грудью на парту, прячась за спину Степы Карафольки, который сидел передо мной. Но она всегда замечала это и говорила: «Рень, к доске!» И я поднимался красный, как мак, и, вздыхая, плелся к доске... Неужели этого никогда не будет?! Ни-когда! Наверное, первый раз в жизни это безжалостное слово так поразило меня... Сердце мое сжалось...

В коридоре слышались знакомые легкие шаги.

Я не знаю, как это вышло, но все мы разом, как по команде, не сговариваясь, подхватились и встали еще до того, как она вошла.

Но она не сразу отворила дверь. Нет. Мы слышали, как она подошла и остановилась перед дверью. И какое-то время стояла, не решаясь войти. Она стояла там, а мы стояли тут. И это была минута, которую трудно передать...

И когда она наконец резко, как всегда, отворила дверь, мы стояли за партами с букетами в руках, неподвижно, как вкопанные. Она медленно обвела нас всех взглядом, — кажется, заглянула каждому в глаза. И молча простила к нам руки — будто хотела всех сразу обнять.

Губы у нее дрожали, подбородок вздрагивал, она часто-часто моргала. И тут мы заметили, что она... плачет...

Ух, что тут поднялось!

Буря!

Девчонки все сразу громко заревели, кинулись к ней и обхватили, облепили ее со всех сторон, и начали целовать, продолжая плакать.

А мы, ребята, как по команде, повернули головы и стали смотреть

в окно, кривясь и кусая губы. И все глотали и никак не могли проглотить что-то горькое, что как будто застряло у нас в горле.

Какое тут могло быть художественное выступление Гребенючки и художественно-юмористический номер Кагарлицкого, не говоря уж о Карафолькином «мадригале»?

Все враз полетело к черту!

А потом мы вышли из школы и, сгрудившись тесной толпой возле Галины Сидоровны, пошли на речку, а потом в поле, в лес... И ходили так долго-долго, до самого вечера. И почти ничего не говорили, просто ходили вместе и не хотели разлучаться. А там, в лесу, расселись на кругляках вокруг нее и пели песни. Долго-долго... И никто не драл глотку, как это бывает, все очень старались, и выходило так стройно, красиво, как никогда. И песни выбирали всё лирические, такие, что у девчат по щекам слезы текли, да и не только у девчат... И никто не скрывал этого, что ж тут скрывать, если песня берет за душу.

А на следующий день была свадьба.

Ну что вам сказать?

Чтоб описать эту свадьбу, наверно, нужно было бы запрячь в это дело всех писателей Украины.

Скажу только, что такого мощного праздника в нашем селе не помнили даже самые старые деды. Наверно, такого и не было.

За одним столом сидело всё наше село, да еще полгрузинского, да целый полк солдат, да гости из района во главе с секретарем райкома товарищем Шевченко.

Это была не просто свадьба.

Это был праздник дружбы народов.

Это был праздник доблести нашей армии,

Так говорили, провозглашая тосты, и секретарь райкома товарищ Шевченко, и полковник Соболев, и председатель нашего колхоза Иван Иванович Шапка, и председатель грузинского колхоза Шалва Тариелович Гамсахурдия, и многие другие знатные гости.

Громкоговорители не смолкали ни на минуту, и все эти тосты были слышны, должно быть, даже в соседних селах.

Стол для ребят был накрыт отдельно. И уж мы этого лимонада попили и мороженого, конфет да разных грузинских лакомств поели — от пуза!

Между прочим, когда я бегал на минутку домой (проверить, запер ли



сарай, где была наша «тайна»), я видел, как по улице проехал на машине отец Гога. Возле колхозного сада он остановился, и выглянул из машины, и все смотрел, и прислушивался к свадьбе. Но, заметив меня, скрылся в машине и сразу поехал. Лицо у него было как у мальчишки, которого не взяли на праздник, потому что он плохо себя вел. И я почему-то подумал, что отец Гога, наверно, чувствует себя очень одиноко и завидует нашему шумному веселью. У них в церкви никогда таких свадеб не было и не будет.

А то самое выражение «темна вода во облацех», которым он так меня перепугал, ничего загадочного или страшного не означает. Так говорят, когда бывает что-нибудь запутанное, непонятное. Это мне дед объяснил. И, должно быть, отец Гога всего-навсего хотел сказать, что он плохо разбирается в моторе своего «Москвича».

На свадьбе начали гулять еще до обеда. Но мы с Павлушей с нетерпением ждали сумерек. Нам для нашего сюрприза необходима была темнота.

Но чем дальше шло гулянье, тем тревожнее становилось у меня на сердце. В колхозном саду стоял такой крик, смех и шум, что если и дальше так пойдет, то на наш сюрприз никто и внимания не обратит, просто не заметят его. Выход один — объявить по радио, через громкоговорители. Но ни я, ни Павлуша этого сделать не сможем, мы будем заняты.

Что ж, придется в «тайну двух неизвестных» тайно ввести кого-нибудь третьего, потому что иначе все сорвется!

Павлуша бросил на меня быстрый взгляд, потом отвернулся и несмело пробормотал:

— Может... Ганю?

Я махнул рукой:

— Давай!

Какая, в конце концов, разница? Нужно, чтоб кто-нибудь просто объявил, а кто будет это делать, неважно. И уж раз ему хочется...

Так Гребенючка стала участницей еще одной «тайны трех неизвестных».

И вот наконец стемнело.

Мы с Павлушей потихоньку, чтоб не привлечь внимания, выбрались из шумной свадебной толпы и бросились домой. Там осторожно вынесли

из сарая свою «тайну», приторочили к багажнику, сели на велосипеды и поехали в поле за колхозный сад, где гуляла свадьба.

Погода была как раз такая, как надо,— и небо чистое и ветер.

Начали запускать. Не очень-то легким оказалось это дело. Хоть запускали и с велосипеда. Я мчался на велосипеде, сжимая в руке катушку, а Павлуша бежал позади, поддерживая его. Но вот он наконец стал подниматься, взвился и пошел. Пошел! Все выше и выше... Бросив велосипед, я осторожно разматывал огромную самодельную катушку.

Подбежал Павлуша с корзинкой в руках. Начал помогать, потому что держать было уже трудно.

Ну, вот и все! Катушка размоталась.

— Ну, подключай! — говорю, а у самого сердце — как овечий хвост: выйдет или не выйдет...

Павлуша копошится возле корзинки, руки у него дрожат.

И...

Я даже сам не ожидал, что будет так здорово.

В темно-синем небе засветился разноцветный волшебный фонарь. «Слава Галине Сидоровне!» — золотом пылали на нем слова с одной стороны.

«Желаем счастья!» — светилось красными буквами с другой.

«Не забывайте нас!» — оранжево пламенело с третьей.

А с четвертой стороны счастливо улыбался черноусый красавец. Полного портретного сходства с нареченным, конечно, не было, но что вы хотите — без натуры, по памяти сам Анатолий Дмитриевич не нарисовал бы лучше.

Вы уж, должно быть, догадались, что это был сработанный нами гигантский коробчатый змей. Павлуша ведь с малолетства мечтал стать летчиком, и мы этих змеев с ним понаделали — будь здоров сколько. Павлуша весь его разукрасил. Всю душу летчика и художника вложил он в этот змей.

А я придумал «электрификацию» (сперва мы хотели просто днем запускать, но тогда разве было бы так здорово!). Запускали на тоненьком двужильном проводе (специально в районный город за ним ездили). Аккумулятор и лампочки от тракторных фар выпросили у моего отца. Он ведь механизатор.

Ей-богу, я даже не думал, что так получится!

Когда змей засветился, мы услышали в динамиках звонкий голос Гребенючки:

— Внимание! Внимание! Смотрите все на небо! Внимание! Внимание! Смотрите все на небо!

На какое-то время свадебный гам утих, воцарилась тишина.

А потом тишину как будто взорвало аплодисментами, криками, смехом.

— Молодцы! Молодцы! — слышалось сквозь этот гвалт.

Я глянул на Павлушу, усмехнулся и подмигнул. И он подмигнул и заулыбался в ответ. Мы были счастливы. Наш сюрприз удался. Он светился высоко в небе, и его видело сразу все наше село, и полгрозинского, и целый полк солдат, и гости из района во главе с секретарем райкома...

Такого триумфа у нас в жизни еще не было. Здорово придумали! Вот уж точно молодцы! Ничего не скажешь!

Прошла минута, другая... Аплодисменты стихли, свадебный шум принял другие тона, кто-то уже порывался петь, в одном месте затягивали «Посеяла огуречки», в другом — «Русское поле». Свадьба расходилась вовсю. В небо, наверно, уже больше никто не смотрел.

Нужно было кончать. Тем более, что ветер относил наш змей в поле, в сторону леса, и его из сада уж не видно было.

Но кончать оказалось не так-то просто. Такого гигантского змея мы еще не запускали никогда. Да и ветер был уж очень силен. Прямо рвал из рук провод. Я едва удерживал его. Павлуша помогал мне только одной рукой, другой он держал корзинку с аккумулятором.

Нас волокло по полю, как каких-нибудь щенят.

И вдруг...

Ветер рванул змей так, что мы едва не упали. В этот миг что-то в змее блеснуло, и лампочки погасли. А через мгновение где-то сбоку на змее засветилась красная точка и начала расти.

— Отключи! — крикнул я Павлуше.

Тот изо всех сил дернул на себя корзинку, обрывая контакты, но было уже поздно. Змей горел, падая на землю. Он был из сухих дранок, обклеенных плотной бумагой, и вспыхнул, как спичка. Приближаясь к земле, он уже пылал, как гигантский факел.

Змей с треском упал на землю, рассыпая искры.

И сразу вокруг него вспыхнула и загорелась земля.

Сердце мое охватил ужас. Это же на опушке! Там ведь сено, которое еще не сгребли!

— Павлуша! — вскрикнул я и кинулся туда.

Друг выронил на землю корзинку и ринулся за мной.

Но как ни быстро мы бежали, огонь был еще быстрее. Пока мы домчались, он распространился уже метров на двадцать по фронту в обе стороны от пылающего змея и бежал дальше, слизывая огненными языками сухое сено, которое рядами лежало на земле. Уже с треском занимались кусты на опушке. Загорится лес — беда будет!

Я знал, что такое огонь.

В позапрошлом году горела хата Чучеренок. Вспыхнула, как свечка. И пока люди добежали с поля, сгорела дотла. Остались одни головешки.

Нельзя было терять ни секунды. Я на бегу сорвал с себя новый-новый пиджак и кинулся прямо в огонь, затапывая его ногами и сбивая пламя пиджаком.

Павлуша был без пиджака, в одной рубашке. Он бросился к кустам, сорвал несколько веток с листьями и стал ими сбивать огонь.

Штанины начали тлеть, страшно пекло ноги, мы задыхались от дыма, но продолжали бороться с пожаром.

А из сада долетал веселый свадебный шум, хохот, песни. Никто не видел, не знал и даже не подозревал, что здесь творится... И как ни кричи — никто не услышит.

— Сено, сено отгрести нужно! Чтоб дальше не загоралось! — вдруг услышал я голос... Гребенючки.

Я обернулся. Пучком веток она торопливо отгребала сено, которое еще не загорелось. Правильно! Сперва нужно перерезать дорогу огню, чтоб дальше не распространялся, а потом уж гасить. Я кинулся помогать ей. Павлуша тоже.

Как потом выяснилось, объявив по радио, она сразу побежала искать нас. И видела, как тащило нас по полю, как вспыхнул змей. И бросилась нам на помощь.

Мы торопливо отгребли сено и снова кинулись в бой с огнем.

Втроем дело пошло лучше. Пожар стал понемногу сдавать. Уже больше было дыма, который нестерпимо ел глаза, так что слезы текли по щекам беспрерывно. Но, несмотря ни на что, мы изо всех сил

продолжали борьбу с огнем. И наконец он смирился и погас. Мы еще долго ходили по гари, затапывая тлеющие места, чтоб не разгорелось снова. И вот все кончено.

Изнеможенные, мы сели на землю и сидели молча, только переглядываясь и тяжело дыша. Лица у всех были закопченные, черным-черны, обгоревшая одежда свисала клочьями. Я глянул на Гребенючку и улыбнулся. А она все же молодец! Ей-богу, молодец! Не бросила нас в беде, не убежала, не испугалась огня. Наоборот! Билась с пламенем, как... как тигрица. Молодчина!

И я подумал: «Интересно, наверно, было бы нарисовать такую картину: сидят трое после того, как погасили пожар,— ободренные, грязные, закопченные, но счастливые, как солдаты-победители...»

И еще я подумал, что, должно быть, и Гребенючка и Павлуша станут все-таки художниками. Ну что ж. Пусть! А что ж такого, если есть способности? Вон ведь как змея разукрасил Павлуша. Красота!

И вдруг неожиданная мысль пришла мне в голову: кем бы мы ни стали в жизни, но солдатами мы будем обязательно. Это уж точно. Кончим школу и пойдем в армию. И, может быть, даже попадем в те самые лагеря, которые в нашем лесу. К полковнику Соболю. Вот было б здорово! И будем мы с Павлушей дружить самой крепкой, самой верной солдатской дружбой — до последней капли крови.

Ну, а... Ганька? Гребенючка?

Ну что ж, пусть будет и Ганька!

Пусть будет Ганька-пулеметчица.

Как в «Чапаеве». Пусть!



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Разумневич. Веселая доброта . . . . .</i>	<i>3</i>
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КУКУРУЗО	
<i>Перевел С. Алексеев . . . . .</i>	<i>7</i>
НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ	
<i>Перевел Н. Симаков . . . . .</i>	<i>117</i>
ТАИНА ТРЕХ НЕИЗВЕСТНЫХ	
<i>Перевел Н. Симаков . . . . .</i>	<i>265</i>

Для среднего и старшего школьного возраста

**Всеволод Зиновьевич Нестайко**

## **ТОРЕАДОРЫ ИЗ ВАСЮКОВКИ**

*Повести*

*ИБ № 3708*

Ответственный редактор

С. И. Губарева

Художественный редактор

Н. И. Комарова

Технический редактор

Е. В. Пальмова

Корректоры

Ю. В. Дубовицкая

и Э. Л. Лофенфельд

Сдано в набор 23.07.79. Подписано к печати 25.06.80.  
Формат 70×90/16. Бум. офс. № 1. Шрифт латинский.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,59. Уч.-изд. л. 24,97.  
Тираж 100 000 экз. Заказ № 64. Цена 1 р. 30 к. Ордена  
Трудового Красного Знамени издательство «Детская  
литература» Государственного комитета РСФСР по  
делам издательства, полиграфии и книжной торговли.  
Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский  
ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат  
детской литературы им. 50-летия СССР. Рославль-  
полиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект  
50-летия Октября, 46.

**Нестайко В.**

Н56 Тореадоры из Васюковки: Повести/Пер. с укр;  
Рис. А. Василенко.— Переизд.— М.: Дет. лит.,  
1980.— 430 с., ил.

В пер.: 1 р. 30 к.

Три веселые повести о двух закадычных друзьях, Яве Рене и Паллуше  
Завгороднем, об их приключениях и забавных открытиях.

Н 70803—383  
М(101)03 80 330—80

С(Укр)2







1р.30к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»